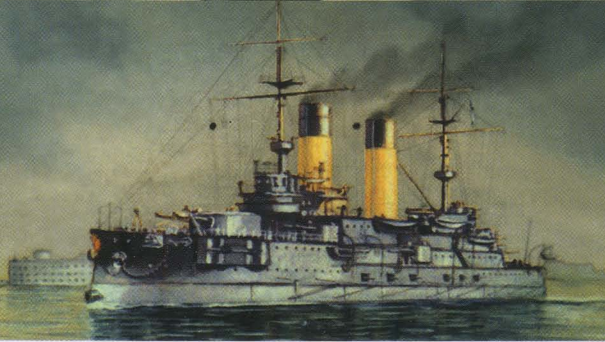
Новиков-Прибой



Людмила Анисарова

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Жизнь ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1567

(1367)

Людмила Анисарова

НОВИКОВ-ПРИБОЙ

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2012

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8
А 67

Автор выражает огромную благодарность за помощь в создании книги дочери Алексея Силыча Новикова-Прибоя — Ирине Алексеевне Новиковой; Общероссийскому движению поддержки флота и лично его председателю М. П. Ненашеву; предпринимателю И. С. Елисееву; историку-краеведу А. В. Бабурину; сотрудникам краеведческого отдела Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького; главному хранителю мемориального музея А. С. Новикова-Прибоя в селе Матвеевское Сасовского района Рязанской области Р. И. Букарёвой, сотрудникам Сасовской центральной библиотеки им. А. С. Новикова-Прибоя, музею «Рязань литературная» средней школы № 55 г. Рязани, а также своей семье: мужу В. В. Анисарову и дочери В. В. Андреевой.

© Анисарова Л А , 2012
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2012

ISBN 978-5-235-03523-2

Морякам российского флота посвящается

9 ИЮЛЯ 1935 ГОДА. МОСКВА

Давняя привычка раннего пробуждения не порадовала, как обычно. Душа не устремилась безоглядно и легко навстречу новому дню, а, напротив, глухо билась уставшей, измученной волной о неведомую преграду, искала выхода, не находила, откатывалась назад — безнадёжно и отрешённо. Плохой будет день.

Безликое утро цвета талой воды, колотившийся в окно ветер, забрызганные ночным дождём стёкла — всё подтверждало тягостное предчувствие: ничего хорошего начинающий день не сулит.

Настроение испортилось ещё вчера вечером, когда Мария передала, что звонили от Алексея Максимыча, который собирает сегодня пишущую братию у себя на даче. Надлежит быть. Тем более встреча не рядовая. Ромен Роллан приехал. Конечно, интересно посмотреть да послушать француза. Только не в радость эти сборища, хоть и с Роменом, хоть и с Роланом... Не в радость... И не откажешься, и ехать — каторга.

Утреннее время, предназначенное для работы, таяло, не превращаясь ни в мысли, ни в дело. Всё съела маета. В пепельнице росла гора окурков «Казбека». Ветер с дождём не выпускали дым из распахнутой форточки, загоняли его обратно, и он, тяжело заполнив весь кабинет, искал выхода, чтобы поползти по квартире. Мария дым, конечно, уже унюхала. Теперь уж проснулась... Сейчас начнёт движение справа по борту, не решаясь зайти, а только недовольно покашливая и громко вздыхая. Он всё знает: в доме ребёнок! Да и самому вредно смолить папиросы одну за другой. Всё он знает. Но и она должна понять...

Когда-то принял его Горький радушно. Нашёл добрые слова. Пригласил в ученики. Похваливал. Поругивал заслуженно, было за что. Что он тогда из себя представлял — матрос Затёртый? Да только много воды с тех пор утекло...

Может, и не так много он, Силыч, написал, только в издательствах рукописи с руками отрывают. Народ читает. Любит.

На встречах — яблоку упасть негде. А вот Алексей Максимыч давно уж его не привечает. По долгу, конечно, приглашает куда надо, как сегодня, к примеру. Не забывает. Но всякий раз не преминет и деготку подлить. Чтоб, значит, не зазнавался. «Маститым, — говорит, — Силыч себя считает. Над языком не работает». Да если б не работал он над языком, то кто бы его сейчас знал? А то ведь знают! Знают! Спроси любого, он тебе скажет, кто такой Новиков-Прибой. Особенно теперь, после «Цусимы».

Несколько раз промерив кабинет тяжёлыми шагами, Алексей Силыч вернулся к столу, опустил на него тяжёлый кулак и выдохнул: «Баста! Работать надо!»

Он разложил на столе несколько писем цусимцев, полученных на днях. Бегло он каждое из них, конечно, сразу прочёл. А вот теперь надо бы получше, поподробнее... Кое-что любопытное там есть. Не сказать, чтоб это было что-то новое для него, но подумать стоит. Особенно вот над этим.

Два тетрадных листа в косую линейку были густо исписаны фиолетовыми чернилами. Почерк был, мягко говоря, не очень разборчив, буквы чуть ли не сливались в длинные прямоугольники слов с вырывающимися вверх и вниз стрелками и петельками, которые позволяли узнать такие буквы, как «в», «д», «у», вот и славно, уже хорошо... да-а... хорошо-то хорошо, да ничего хорошего... и уж если говорить об истинной народности... Стоп! Полный назад! Только письмо — и ни о чём другом!

Алексей Силыч углубился в написанное, отмечая остро отточенным карандашом на полях те места, к которым потом стоило вернуться ещё раз. Иногда он приговаривал вслух: так, так; иногда: ну, это ты, братец, загнул. А мысли его снова и снова возвращались к Горькому.

Да-а, Алексей Максимыч, что ж я тебе покоя не даю? Не нравится, что народ читает? Да вот читает. А критики критикуют, не устают. Горький, ладно, имеет право. А эти-то? Сами-то хоть строчку напишут, чтоб за душу взяло? Вот то-то.

Алексей Силыч вытряхнул из пачки новую папиросу, смял, как обычно, глубоко, с наслаждением затянулся.

Послать их всех куда подальше да внимания не обращать. Ему с ними детей не крестить. Слишком много у него работы, чтоб на всех шавок-варшавок[1] отвлекаться. Одних писем сколько. Благодарят, между прочим. За правду. За народность. А на кораблях как встречают! Книжки его до дыр в судовых

---

[1] Одна из критических статей на роман «Цусима» принадлежала критику С. Варшавскому.

библиотеках зачитывают. Не зря, между прочим. Уж что-что, а море никто так из нынешних не знает и никто про него так не напишет, как он, Силыч. Потому что есть, что писать, потому что повидал столько, сколько вам, господа хорошие, ни в одном страшном сне не приснится. Правду говорят: идёшь на войну — помолись, а уходишь в море — помолись дважды... Так-то...

А Лексей Максимыч-то со своим Климом Самгиным заморочился, не до народа, всё хочет Пильнякам да Бабелям угодить. Теперь они у нас знают, как писать надо. Главное, чтоб издёвки побольше над русским мужиком да чтоб позаковыристей... Тому ли ты нас на Капри учил, товарищ Горький? Нет, не тому. Ну-ну, жизнь покажет... Ладно, что у нас там дальше...

И снова зарябили перед глазами фиолетовые строчки... Вот ведь, чертяка, почерк у тебя какой заковыристый, сколько фантазии надо, чтоб разобрать, что же это ты, братец мой, написал... Но ничего, мы народ упрямый, одолеем, чай не впервой...

Мария всё под дверью дрейфует. Чует, что не в духе... А вот не выйдет он из своей боевой рубки... и баста! Не желает ни с кем ничего обсуждать. Не же-ла-ет! Конечно, надо бы как-то помягче с ней. Она-то при чём? Ладно, утрясётся...

...А вот ведь чудно, послал им с отцом Бог жён-иноверок. Полячку да немку. Чудно! Матушка-то, конечно, характером помягче была. Но уж если его, младшего (поди ведь любимого?), отец по крутости характера обижал, мать вступалась. Да как вступалась! Отец, бывало, сразу на попятный: «Ну, развоевалась, Варшава!» Да, много воды с тех пор утекло. Только уж кого не забыть — так это мать... Алексей Силыч смахнул влагу с глаз. Только этого не хватало! Не пристало мужику, которому скоро 60 стукнет, нюни распускать. Он снова закурил, сел поудобнее в кресло, закрыл глаза...

Вот идут они с матерью из монастыря... Написал уже всё об этом, а не отпускает... Столько лет не отпускает. Думают, про матроса рассказ, да про море, да про судьбу... А рассказ-то про мать. Всё он помнит, что тогда в двадцатом в Барнауле написал, до словечка помнит. Часто на встречах читает — да не читает, листки только для виду перед глазами держит. Он всегда всё наизусть помнит. Память, слава богу, не подводит пока.

«Давно это было, ещё в детские годы...

Помню — тихий летний вечер. Мы с матерью вдвоём, с сумками за плечами, только что покинув монастырь, куда ходили молиться Богу, возвращаемся в своё село. Дорога, извиваясь, идёт красивым бором. Стройные сосны, подняв в безоблачную высь зелёные кроны, кадят солнцу пряным ароматом смолы. Золотой дождь лучей, пробиваясь сквозь вершины леса,

падает на серебристую скатерть мха, расписывая по ней узоры, запутанные, как сама жизнь»[1].

А что, неплохо: «запутанные, как сама жизнь». Как там дальше? А дальше — про зеленоватый свет. «Кругом разлит зеленоватый свет. Под ногами хрустят засохшие иглы хвои. Жарко. Мать в сереньком ситцевом платье, в белом платке с голубыми крапинками...»

Платьишко-то было застиранное, на ощупь мягкое, гладкое... Сколько же лет она, родимая, ходила в нём, если помнил он его с тех пор, как себя знал. Если помнил, как зарывался в материнский подол, прятался от обид.

«Мать в сереньком ситцевом платье, в белом платке с голубыми крапинками, в истоптанных башмаках идёт плавной походкой. Лицо её, когда-то красивое, покрыто мелкою сетью морщин, тонкие губы строго сжаты, и только голубые глаза мерцают, излучая неземную радость. Она довольна тем, что я наконец согласился пойти в монахи».

Ну, это он, конечно, сочинил, что в монахи собирался. Не было такого. А мать и вправду мечтала, уговаривала.

«Хорошая жизнь будет у тебя, сынок, — ласково говорит мать, дотронувшись до моего плеча. — Ты только представь себе... Белая чистая келейка. На стенах иконы. Лампадка горит. Один. Никакого соблазна, никакого греха. Только с Господом Богом будешь общаться...

— А главное — не будешь ты видеть земных грехов, — продолжает мать сладко-певучим голосом. — В монастыре людская злоба не отравит твоего сердца. Тихо и скромно, стезёю праведной, пройдёшь ты путь земной перед светлыми очами Всевышнего с радостью неизреченной. Обрадуется и Бог, как увидит, что твоя душа чиста, как свежий снег, — ни одного пятнышка порока...»

Не пришлось ему с Богом пообщаться. А она-то, Мария Ивановна, так уж хотела сыночку лучшей доли. Не послушал сынок: вместо монастыря — во флот. Как провожала... Крепилась, не голосила, как все матвеевские бабы, не кидалась на шею... Смотрела только не отрываясь в глаза да шептала то по-русски, нашему православному Господу, то по-польски — своему, значит... И образок деревянный дала. И при Цусиме образок уцелел, и в плену не потерялся. Всю жизнь с ним. А мать не дождалась, не узнала, что сохранила её иконка жизнь сыну. В каких переделках побывал, как тут не писать...

---

[1] Произведения А. С. Новикова-Прибоя цитируются по: *Новиков-Прибой А. С.* Собрание сочинений: В 5 т. М.: Общество сохранения литературного наследия, 2004.

Вот ни в бога, ни в чёрта он, Силыч, не верит. А когда о матери думает, вроде и веру ощущает. Головой он, конечно, атеист, материалист, как полагается. А вот сердцем... Бог его знает. Опять — Бог... Всегда слово это наготове, видно, с молоком матери впиталось, никакая наука не вытравит. Или, например, число «три». Магическое число. Из язычества, раз во всех сказках встречается? А христианская троица? Поди догадайся, что откуда взялось. А у матери с её верой никаких вопросов лишних не возникало. Всё от Бога, на всё воля Божья... Все мысли её светлые к нему стремились. А жилось ей несладко, чужая в селе была, не к кому было пойти, некому пожаловаться. И он, дурак, мало жалел... Теперь бы порадовалась житью их с Марией. Полная чаша, считай. С внуками бы понянчилась. Сыны-то уж взрослые, не понянчишься. Игорёк уже в пятый пойдёт, самостоятельный парень, с характером, несмотря на болезнь, а может, потому и с характером, что доказывать надо, что не хуже других, здоровых. Анатолий тем более, не успеешь оглянуться, жену в дом приведёт... А что, отслужит на флоте срочную, да и женится. А вот Иришка-малышка попрыгала бы сейчас на бабкиных-то руках, потолковала бы с ней, она уж вовсю по-своему лопочет. Мать часто горевала: мне бы доченьку... Не хватало ей женского общения, три мужика рядом, и ни матери, ни сестры, ни подруги...

А Мария удивила его на старости лет, ничего не скажешь, дочку ему родила, радости в доме прибавилось.

Силыч, как звали его все друзья-приятели, снова закурил. И самому себе разулыбался — широко и блаженно. Да, вон он какой богатый: два сына да Иришка! Жена-красавица, хозяйка каких мало. Дом в Тарасовке... Скоро у него там такой сад будет, сам Мичурин, был бы жив, позавидовал! Друзей — море, а уж читателей — океан, никак не меньше! А он вздумал горевать-печалиться! Горький его не жалует! Да что ж теперь... Работать надо. Как там у него, у Силыча, в «Море зовёт»: не выношу дряблости человеческой души! Вот именно.

Алексей Силыч затушил папиросу, достал новую. И снова принялся за письмо.

20 АПРЕЛЯ — 3 МАЯ 1944 ГОДА. МОСКВА

Вот уже почти три недели Алексей Силыч Новиков-Прибой лежал в кремлёвской больнице. Ему была сделана операция, но надежды на выздоровление не было: подтвердился неутешительный диагноз.

Силы покидали Силыча. А когда-то ему самому и всем, кто его хорошо знал, казалось, что они беспредельны, что запас здоровья и выносливости бывалого моряка и заядлого охотника, о чём буквально ходили легенды, никогда не иссякнет. Теперь же он ясно и спокойно понимал, что скоро причалит, как сам говорил, к своей последней пристани. Но держался мужественно. Сознание было ещё ясным, за исключением тех моментов, когда накатывала невыносимая боль, но её снимали уколами, и через недолгое время тумана и забытья можно было снова вернуться мыслями к сегодняшнему дню или к воспоминаниям.

Был Саша Перегудов с Ниной... Саша похлопотал, чтобы пропустили, а то ведь только Марию пускают. А позавчера Нина привела под окна Олечку. До окна потихоньку доковылял. Они махали ему, радовались, что разглядели. А Иришка корью захворала, в больнице лежит, доченька его любимая, умница. Но ничего, к 1 мая все дома соберутся.

Доктор обещал, что скоро будет легче. А вот не легче... Пока не легче. Но он никому об этом не скажет. Только доктору можно.

Алексей Силыч захотел вспомнить поподробнее, что говорил Перегудов, что — Нина. Подбадривали. Нина, правда, мало говорила. Смотрела и плакала. А он хорохорился: моряки так просто не сдаются, мы ещё повоюем! Вон наши немцев как погнали — так и он болезнь прогонит. Потом смеялись. Сейчас уж и не вспомнить, над чем же они так смеялись, да мало ли забавных случаев у них на охоте бывало... Хотя нет, это они с Перегудовым Севастополь вспоминали, как он, сухопутная душа, первый раз на корабль попал. Даже Нина

сквозь слёзы смеялась. Потом сестричка заглянула, строгая, брови нахмурила: не положено, мол.

Сырая апрельская ночь за окном тянулась бесконечно долго. Казалось, никогда не рассветёт. Темнота, перемешанная с нудным, редким, но не прекращающимся дождём, мрачнела в верхней части окон, над белыми как снег занавесками, прикрывающими большую часть стёкол, и не давала никакой надежды, что когда-нибудь в палату проникнет желанный животворящий свет.

Под утро Алексей Силыч забылся недолгим тяжёлым сном, как будто плитой придавило. Бороться было бессмысленно — легче смириться.

Когда Алексей Силыч очнулся, за окном было уже светло. Ну вот, а он уж и не чаял... Хотелось встать, подойти к окну, отдёрнуть белые занавески: впустить в палату утро. Он попробовал подняться, но не получилось. Но ничего, сейчас он силёнок-то поднакопит да и встанет. Не дело это — залёживаться. Главное, организму приказать не сдаваться. Ни шагу назад! Алексей Силыч попробовал поднять голову, но не смог оторвать её от подушки. Сознание затуманилось. Кажется, доктор склонился над ним, зовёт: «Алексей Силыч! Алексей Силыч!» Он старается ответить бодро, как на флоте: «Я!» Но, нет, пусть его лучше не трогают. Он ещё, пожалуй, поспит.

Перед глазами поплыли очертания Кронштадта — как тогда, когда он его покидал в девятьсот четвёртом. Лицо матери и голос её — явно, явно... И снова Кронштадт — любимый флотский город, хоть и хлебнул он там лиха. А ещё Севастополь...

Как хорошо, когда никто не трогает, как хорошо... И только эта проклятая боль — кажется, уже везде доползла, всюду проникла...

Делают укол. Сейчас будет легче. И он будет думать только о хорошем. Как немцев одолеют, как Иришка вырастет, как внучка в школу пойдёт.

Внучка. Олечка. А вот внука нет... Родился восьмимесячным, и через несколько дней не стало его. Под самый Новый год это было, в сорок первом. Нина бежала с Олечкой на руках во время налёта прятаться в траншею, упала, вот и...

Алексей Силыч очень ждал внука. Ещё бы один моряк в семье подрастал...

Борис, Нинин брат, забрал тельце мальчика из больницы, принёс в квартиру к Новиковым. Отопления не было, там гробик в холоде и простоял несколько дней, до похорон. Похоронили в могилу отца Нины и Бориса — Саши Неверова. Хороший был писатель, мало успел, но успел-таки... «Ташкент — город

хлебный» — пронзительная книжка получилась. Вот как бывает... Друзей успел созвать, они праздновать пришли, а его уже нет... И не довелось ему узнать, что дети их с Силычем, Нина и Анатолий, через полтора десятилетия соединят свои судьбы.

Александр Неверов, писатель, лучший друг Алексея Силыча, умер в 1923 году, накануне своего дня рождения. Умирая, наказал сыну Борису дружить с «Силычем»: «...он всегда тебе поможет». Борис Неверов стал одним из самых близких людей для всей семьи Новиковых и оставил интересные и тёплые воспоминания «Двадцать лет рядом с автором "Цусимы"».

Алексей Силыч всегда обладал великолепной памятью на людей, события, детали разного рода и на собственные произведения. Пожалуй, ему и соперников в этом не было, чтобы так, как он, страницу за страницей, слово в слово цитировать огромные фрагменты из написанного. И сейчас, лёжа в больнице, он периодически приказывал себе: а ну-ка, давай из «Подводников», или из «Солёной купели», или... И заказывал сам себе эпизод, и про себя проговаривал текст. И вспоминалось, где и когда он с этим выступал, как встречали. И какие-то детали, казалось, давно забытые, всплывали в памяти и качались на её поверхности, как чайки на волнах.

Больше, конечно, вспоминал «Цусиму». Иногда «Цусима»-книга и Цусима-бой смешивались, и ему трудно было отделить одно от другого, и он страшно волновался, что что-то упустил, недописал...

Часто виделась родина, Матвеевское... Как там в «Цусиме»: «...я никогда не забуду свою милую, говорливо-журчащую речонку, где ловил гольцов и пескарей и где прозвучало моё детство, как песня жаворонка».

Много лет спустя замечательный поэт Владимир Хомяков, земляк Новикова-Прибоя, напишет:

Ты сердца выполнил наказ.
Но боль — сильней смыкает веки.
Тебе б на родину сейчас,
сюда, где ждут тебя вовеки

весны оттаявшая даль
и чуть пробившаяся травка,
Твоё село, твоя печаль
и речка тихая Журавка.

Вспоминая Матвеевское, Алексей Силыч думал и о том, скольких односельчан недосчитаются там теперь, после этой войны. И сколько пролито на её полях крови советских людей, и сколько отдано жизней...

Конечно, сейчас уже исход ясен, победа не за горами. Может, даже и он, Силыч, до неё дотянет. Вот это было бы славно! Тогда и помереть не жалко. Нет, стоп, а «Капитан 1-го ранга»? Это война не дала его закончить, надо было и на все события откликаться, и с народом встречаться: вносить свою лепту, так сказать, раз уж по возрасту воевать не подходил.

Уж если он до победы доживёт, то надо и главную морскую книжку дописать.

А если суждено уже теперь... и не даст ему Господь Бог отсрочки... Что ж, стыдно не будет за все его прожитые годы... Как там про сокола-то у Лексея Максимыча: «*...я славно пожил!*» Грех жаловаться, славно...

Сердце писателя перестало биться в 16.00 29 апреля 1944 года. И последней фразой его последнего романа «Капитан 1-го ранга», который закончить ему так и не довелось, остались слова — понятные и дорогие всем, кто связал с морем свою жизнь и судьбу:

«Вокруг расстилалось море, играющее золотыми всплесками под лучами солнца, море, которое так же близко мне, как и земля родины, которое всегда волнует меня и пробуждает во мне самые лучшие чувства, — море, которое я никогда не перестану любить...»

Похороны были назначены на 3 мая, а 1-го тело Алексея Силыча привезли домой. Вот и собрались все... Место на Новодевичьем кладбище выбирали друзья-писатели: Перегудов и Яковлев, оба Александры.

И понеслась по стране скорбная весть — некрологами в газетах. И искренне печалились все, кто любил писателя и человека Новикова-Прибоя. А было их немало — тех, чью душу разбередил он своей «Цусимой» да морскими сказами. И тех, кто, может, и книжек никогда не читал, но кому довелось услышать его простое мудрое слово (наверное, никто из писателей не ездил столько по стране и не встречался так много с людьми, как Алексей Силыч Новиков-Прибой). Кому довелось увидеть его лучистые глаза, добрую лукавую улыбку в моржовые усы и сразу понять: свой, от пяток до макушки свой! Тех, кому помог он словом и делом, заметил, поддержал, ободрил.

Газета «Правда» писала официально, в духе времени, но сквозь казённые, положенные слова пробивались нежность и прощальное тепло всех подписавшихся членов президиума Союза писателей:

«Книги Алексея Силыча, пронизанные романтикой мор-

ской жизни и ещё более насыщенные романтикой и героикой русского народа, навсегда останутся в памяти советских читателей. А для нас, общавшихся с Алексеем Силычем, на всю жизнь сохранится и его личное обаяние, замечательный облик этого большого писателя-патриота, скромного человека, энергичного общественника, чуткого товарища, отзывчивого друга советской литературной молодёжи, все свои силы и весь свой незаурядный талант отдавшего делу служения родному народу».

Утром 3 мая начали прощаться с Алексеем Силычем. Уже в 8 часов утра в его квартире и рядом с домом 5 в Большом Кисловском переулке начали собираться люди. У гроба — безутешная Мария Людвиговна, сыновья, девятилетняя дочка, родственники, вся семья Перегудовых, Костенко, пятеро сыновей боцмана Воеводина, Никандров, Яковлев... В 9 часов — вынос гроба. Скорбная процессия отправляется на улицу Воровского, в Дом Союза писателей. С 11 часов — у гроба почётный караул из советских писателей, которые сменяют друг друга. Среди прощающихся — множество моряков, от матросов до адмиралов. В 14 часов — гражданская панихида. Множество прочувствованных речей и много слёз. Прощались с человеком, которого искренне любили и о котором хотелось говорить бесконечно, так много тёплых и светлых чувств вызывало его имя.

На аллее Новодевичьего кладбища похоронную процессию встретил почётный караул моряков. И снова — речи, последние и такие необходимые, словно сейчас Силыч должен успеть услышать о себе всё, что не успели сказать ему при жизни. Всем запомнились слова Константина Федина:

«...Он обладал жизнью, которая запоминается сразу и навсегда... Он писал расчётливо-метко, как крестьянин, поэтично, как моряк, целеустремлённо, как революционер... В работе над самой большой из книг — над “Цусимой” — он видел свою миссию. “Цусима” была одновременно плодом жизни и целью жизни... Возвращаясь к написанному, переделывая его, дополняя, автор стремился... к отысканию той правды, которая могла быть названа былью...

Новиков-Прибой писал о народе тем языком, которым владеет редкий писатель, — языком народным... Он был непревзойдённым рассказчиком и свои написанные произведения никогда не читал по книге, а сказывал наизусть...

Народность дара Новикова-Прибоя — вот что сделало его рассказчиком, писателем неповторимым, и вот почему в нашей памяти не может заглохнуть песня, которую спел этот необыкновенный человек своей необыкновенной жизнью».

Троекратным ружейным залпом закончилось прощание с Алексеем Силычем Новиковым-Прибоем.

И пока ещё, заслонённая болью потери и погребальными хлопотами, никем не осознавалась необходимость воссоздать на бумаге жизнь этого человека, не пропустить в ней — от рождения до смерти — ничего и рассказать о главном — истовой преданности писательскому делу и морю, которое осталось плескаться на страницах его книг — вечно.

Но спустя годы появится несколько очень хороших книг об Алексее Силыче Новикове-Прибое: «Повесть о писателе и друге» А. Перегудова, «А. С. Новиков-Прибой» В. А. Красильникова, «Новиков-Прибой в воспоминаниях современников», «Отец, друзья, время» И. А. Новикова, сборник «Нам дорог Новиков-Прибой». Вместе с его собственными произведениями, воспоминаниями, письмами они дают яркое и полное представление о жизни знаменитого советского писателя-мариниста. Истинно народного писателя.

РОДИНА И РОДНЫЕ

По преданию, село Матвеевское обязано своим названием беглому крепостному Матвею, который одним из первых поселился в краю топей и болот, оврагов и непроходимых лесов тамбовских земель, граничащих с Мордовией[1]. Примеру Матвея последовали другие крестьяне: сбегали от лютых помещиков, искали воли. Беглецы раскорчёвывали землю, ставили избы, сеяли хлеб, охотились на медведей и кабанов, которые в избытке водились в дремучих лесах.

Село Матвеевское сложилось к середине XVI века; считалось оно «ничьим», крепостное право здесь фактически отсутствовало. Жителей его, заодно с теми, кто проживал в соседнем Бок-Майдане, прозывали с давних времён майданниками да бутяками.

Любопытно, что́ по поводу этих слов написано у Даля. Написано много, а понять можно следующее: *майдан*, он же *буда,* — лесной завод, смоловарня, и *будаками* называли приписанных к казённым *будным майданам* крестьян. Но у слова «майдан» есть и другое значение: место на базаре, куда мошенники зазывали играть в кости, карты и т. п. Соответственно, «майданник» («майданщик»): «мошенник, шатающийся по базарам, обыгрывающий людей в кости, зернь, напёрсточную, в орлянку, в карты. На всякого майданщика по десяти олухов».

На скудные земли Матвеевского и его окрестностей никто из помещиков не зарился, и царил в селе дух вольности и самостийности, так что даже урядники старались по возможности объезжать его стороной.

Матвеевское стало родиной предков отца Новикова-Прибоя — Силантия Филипповича, о котором знаем мы, что был он из кантонистов[2], что родился вскоре после войны с фран-

---

[1] С 1937 года село Матвеевское относится к Сасовскому району Рязанской области.

[2] Кантонист — солдатский сын, прикреплённый со дня рождения к военному ведомству и подготовлявшийся к несению солдатской службы в особой низшей военной школе в России первой половины XIX века.

цузами, что забрили его в солдаты на все 25 лет и когда вернулся он в родное село, не осталось там ни родственников, ни крова. А приехал он не один, а с молоденькой женой-полячкой.

Историю знакомства русского солдата Силантия Новикова и девушки-сироты Марии, воспитывавшейся в католическом монастыре в Варшаве, передаёт в своей книге «Повесть о писателе и друге» Александр Перегудов.

Писатель Александр Владимирович Перегудов, с которым Алексей Силыч познакомился в 1927 году, стал одним из самых близких ему людей. Это была крепкая мужская дружба, многолетняя тёплая привязанность — с безусловным взаимопониманием, искренним восхищением и бесконечной друг другу преданностью. В основу повести, написанной уже после смерти Новикова-Прибоя, положены яркие воспоминания, которыми Алексей Силыч, будучи великолепным рассказчиком (что в один голос повторяли и те, кто хорошо знал писателя, и те, кому довелось его увидеть и услышать хотя бы один раз), охотно делился с Перегудовым при жизни.

Итак, Перегудов пишет, как Мария Ивановна (отчество ей, скорее всего, дали уже в России), мать будущего писателя, рассказывает своему младшему сыну Алёше:

«Как-то мать казначея взяла меня с собой в магазин, где всегда для монастыря полотно, миткаль и всякую материю покупали. Отобрала она что нужно и ушла, а мне наказала принести покупки... А покупок-то столько оказалось, что я елееле на плечо их взвалила. Магазин от монастыря далеко был. Сначала-то я крепилась, хоть и тяжело было, а потом в глазах темнеть стало, сердце колотится. Опустила я тюк на землю, отдохнула немного, хочу опять поднять, а сил-то и не хватает. Я и так и этак пытаюсь — не могу. Мимо народ идёт, одни улыбаются, другие смеются, — должно быть, смешно я с покупками возилась... А мне хоть плачь, и на людей обижаюсь: лучше бы, думаю, помогли мне, а не смеялись... Вдруг подходит солдат, берёт тюк и, как пушинку, на плечо себе вскидывает: “Разрешите, — говорит, — я донесу. Куда вам?” Пошли. Я на солдата посматриваю: ростом невысок, а по силе — богатырь, лицо суровое, а глаза весёлые. Нет-нет взглянет на меня и улыбнётся. Всю дорогу молча шли, у монастырских ворот простились. Поблагодарила я его... А на другой день иду по улице, а он — навстречу. То ли так получилось, то ли ждал он меня. Поздоровались, как знакомые... Вот так и начали встречаться полька да русский солдат и полюбили друг друга. А когда он о женитьбе заговорил, спросила я его: “Ты что же, на польке жениться хочешь, — разве русских девушек мало?” Он

мне памятно ответил: "Русские и поляки — братья, люди одной семьи славянской..." Поженились мы, пожили недолгое время в Варшаве, кончился срок службы солдату, и говорит он мне: "Поедем, Мария Ивановна, в Россию, в родное моё село Матвеевское Тамбовской губернии Спасского уезда. Выделят нам там землю, и начнём мы крестьянствовать, сами себе хозяева..." Боязно мне было ехать, никогда я в деревне не жила, крестьянских работ не знала, но согласилась. Купили мы лошадёнку, кибитку, в каких цыгане ездят, и поехали втроём: я, муж да Сильвестр, тогда он грудным младенцем был... Долго ехали, много городов, сёл и деревень проезжали, а запомнилось мне не это, запомнилось, как поняла я, в какой бедности мы жить будем... Как-то едем мы после дождичка, недалеко уже до Матвеевского осталось, смотрю я — в грязи следы какие-то незнакомые, клеточками. Спрашиваю: "Что это за обувь такая?" А отец засмеялся и говорит: "А это в лаптях шли, здесь все в лаптях ходят. Посмотри, вон баба идёт". А я сроду лаптей не видала, взглянула на бабу: из лыка у неё что-то на ногах обуто, стоптано, ноги толстые, онучами обёрнуты, оборками обвязаны. Заплакала: куда, думаю, заехали?.. А муж посмеивается: "Ничего, Варшава, проживём!.." С той поры он, когда пошутить хочет, всегда меня Варшавой зовёт...»

Об отце Новиков-Прибой так рассказывает в очерке «Мой путь»: «...был широк костью, физически силён, весь от земли. Жил долго и крепко, не поддаваясь разрушениям времени». О матери говорит: «Мать, будучи значительно моложе него, не отличалась таким здоровьем, а непривычный крестьянский труд состарил её раньше времени». И дальше противопоставляет её рассудительному, крепко стоящему на ногах отцу: «Она была мечтательна, увлекалась сказочным миром, в мыслях устремлялась к небу».

За отказ от производства в офицерский чин Силантий Новиков получает материальную компенсацию, что позволяет ему построить на выделенной властями земле дом, обзавестись хозяйством. Хозяйствовал Силантий Филиппович основательно, к чему с малолетства приучал и сына Сильвестра. Долгие годы в семье не было других детей. И вот когда Сильвестру шёл уже шестнадцатый год, Бог посылает Новиковым (по-уличному их звали Силкиными) ещё одного сына. Он родился 12 марта (ст. ст.) 1877 года и был назван одним из самых распространённых на Руси имён — Алексей.

Босоногое детство Алёши Силкина ничем не отличалось от жизни его сверстников. И то, что он впоследствии стал известным человеком, было для односельчан его недосягаемо, заоблачно, а главное, абсолютно непонятно: знали Пушкина,

про Толстого слыхали, а тут нá тебе — свой, матвеевский, кого пострелёнком знали да с чужих огородов гоняли, к ним прибился! Был Алёшка Силкин, а стал — писатель Новиков-Прибой!

Спустя годы именно этот пострелёнок, повидав жизнь и став тем, кем он стал, найдёт удивительно трогательные и нежные слова о родном селе, о речке Журавке, составлявшей смысл существования любого деревенского мальчишки. Может, и мало кто из матвеевских эти слова прочитал. Но в сердцах других — миллионов читателей нескольких поколений — они всегда будут отзываться тёплыми, призывными воспоминаниями о своей малой родине, о своей речке детства.

«В селе, где я родился, сзади нашего двора, за огородами, протекает маленькая речушка Журавка. Глубина её, как говорится, воробью по колено, но в ней водятся гольцы и пескари. Как только ноги мои окрепли для самостоятельного передвижения, я в летние месяцы по целым дням проводил на ней, испытывая необычайное удовольствие...

Впереди у нас ещё будет Великий океан. Всё это было очень грандиозным, но я никогда не забуду свою милую, говорливо-журчащую речонку, где ловил гольцов и пескарей и где прозвучало мое детство, как песня жаворонка».

Но далеко не все дни отрока Алексея звучали, как песня жаворонка, беззаботно и легко. Хватало и печали. И самой большой печалью было то, что поначалу не давалась ему учёба. Читаем в автобиографии писателя: «Школы не было. Грамоте начал учить меня отец. Старинную азбуку я выучил шутя, но, когда дошёл до складов, дело затормозилось. Мне настолько опротивела грамота, что потом никакими мерами не могли заставить меня учиться. Отдали к дьячку. Это был крупный человек в лохматом седом волосе, всегда угрюмый. Внешностью своей он напоминал библейского Саваофа, и это очень пугало меня. Но и с ним я нисколько не подвинулся вперёд к грамоте...

— Какой ты супротивный, Алексей! — сурово говорил дьячок и ломал о мою голову линейку.

Потом молодой священник составил из мальчиков группу человек в двадцать и начал нас учить в церковной сторожке. Он всегда теребил свою русую бородку, красиво обрамлявшую нижнюю часть лица. Маленькие серые глаза смотрели подстерегающе. Тихим голосом он выкликал:

— А ну-ка ты, непокорная тварь, выходи!

Я знал, что это ко мне относится, и ниже нагибался над партой. Тогда священник подходил ко мне, брал меня за подбородок и закидывал мне голову назад. Под его пытливым

взглядом, остро упирающимся в мои глаза, я окончательно обалдевал. В мозгу не оставалось ни одной мысли, точно голова моя превращалась в пустой горшок.

— Врёшь! Я вышибу из тебя дьявола!

Каждый день я возвращался домой с красными ушами. Меня удивляло, что небольшие пухлые руки священника могут причинить такую боль».

После неудавшейся учёбы у священника родители отдали своего Алёшу в школу соседнего села, но и там дело не заладилось. Мальчик сбежал домой от недоброй учительницы, от постоянных окриков и наказаний.

«Мать плакала, — вспоминает Новиков-Прибой, — а отец, сокрушённо качая головою, говорил:

— Эх, Алёша! Несуразный ты уродился у нас... Затрёт тебя жизнь...

В продолжение трёх лет мучился я над складами. Каждое печатное слово вызывало во мне отвращение. Я проклинал тех, кто выдумал азбуку».

А потом случилось (почти как с пастушком Варфоломеем из известного апокрифа о Сергии Радонежском) чудо.

Не желающие мириться с мыслью о том, что их ребёнок останется безграмотным, родители Алексея предпринимают ещё одну попытку — последнюю и, как оказалось, удачную. Они отправляют сына в другое село — Анаево, в десяти километрах от Матвеевского. Вот там-то и нашлась наконец для будущего писателя чуткая и внимательная учительница. «Я сразу почувствовал, — пишет Алексей Силыч, — что в груди моей растаял ком накопившейся злобы, и потянулся к ней доверчиво. В две зимы кончил церковноприходскую школу первым учеником».

Оказывается, светлая голова была у мальчика. А вот сердце — очень ранимое, не принимало оно злобы и лицемерия, а на добро и ласку откликалось доверчиво и скоро.

Учиться Алёше Силкину дальше, увы, не пришлось. Отец решил, что раз сын читать-писать выучился, то уж теперь не пропадёт, а в крестьянском хозяйстве нужны были лишние руки.

Хозяйство Силантия Новикова считалось справным. Хорош был большой бревенчатый дом, да и скотины держали достаточно. Работали много, даже занимались понемногу торговлей леса — одним словом, не голодали. Но до соседей, братьев-лесопромышленников Поповых, Новиковым было далеко. А те всё село в должниках держали, особенно тех, кто победнее. Однако Силантий Филиппович, человек гордый и независимый, хоть и бывали трудные моменты, никогда не

просил помощи у Поповых, зная, какими процентами их «помощь» обернётся. А сам тех, кто нуждался, не раз выручал.

Однажды его младший сын увидел, как у крыльца соседа стоит бедняк Никита Трошин и слёзно молит о чём-то младшего из Поповых — Якова (старший жил напротив, через дорогу). Прислушался. Понятное дело. Трошин просил отсрочки в возврате денег, а Яков Фёдорович отказывал, грозился назавтра с урядником явиться.

Алёша всегда сочувствовал Трошиным. Детей у них было 12 человек, мать с отцом из сил выбивались, чтобы их прокормить. Что ж, не может разве Попов подождать с долгом? Да и долг-то невелик — целковый. Об этом и толковал Трошин богатею. А тот — ни в какую: где хочешь бери, а долг сегодня же верни.

И так захотелось мальчишке наказать соседа-богатея за жестокость и ненасытную жадность, что запустил он в Якова Фёдоровича попавшимся под руку камнем. Слава богу, промахнулся. Но отцом был наказан примерно: отстегал тот сына верёвкой, чтоб неповадно было в людей камнями швыряться. А когда Алёша заплакал (не от боли — от несправедливости) и признался, почему он так поступил, достал Силантий Филиппович из сундука целковый и послал сына к Трошиным.

Кроме братьев Поповых не вызывали никаких симпатий у Алёши и ещё несколько односельчан. Например, торгаш Никита Андреевич, в доме которого всегда останавливался урядник Карнаухов. Или нахальная, крикливая баба по прозвищу Матячка. Вечно она задирала всех Силкиных и особенно насмехалась над матерью, которая и говорила не по-ихнему, и к труду деревенскому была не особо приспособлена.

А вот кто нравился мальчику — так это бедняк Лисей. Он хоть и жил холостяком, но одет всегда был опрятно и чисто. Главным его достоинством было то, что он хорошо играл на тростниковой дудочке. Ни одна свадьба без него не обходилась. А ещё он знал слово какое-то заветное, что его пчёлы не кусали.

Люди — и плохие, и хорошие — всегда занимали Алексея Новикова. Хотелось понять, отчего все такие разные, объяснить, почему одни богатые, другие бедные, одни добрые, а другие злые.

Когда Алёше было 11 лет, с ним случилась большая беда: угодил в прорубь, откуда с трудом выбрался. Стоял морозный январь, до дома добрался продрогший до полуобморочного состояния, в заледеневшей одежде. Болел долго и тяжело. Скорее всего это было воспаление лёгких. А потом случилось самое страшное: отнялись у мальчика ноги. Полтора месяца

оставался он недвижим. Отец и брат очень переживали за Алёшу, подбадривали, как могли. А уж про мать что и говорить, сколько слёз пролила, сколько на коленях перед иконами простояла... И ухаживала за младшим сыном самоотверженно, забыв про покой и сон. Лечила всеми средствами, какие народ подсказывал.

Перегудов, описывая это со слов Новикова-Прибоя, говорит, что спасли его друга тогда не компрессы и настойки, а безграничная любовь матери и её молитвы. Момент своего чудесного исцеления Алексей Силыч запомнил на всю жизнь. В пересказе Перегудова это выглядит так:

«Однажды он проснулся на рассвете. Бледно-палевый свет зари вытеснял сумрак ночи. Мать, одетая, лежала на лавке. Было слышно спокойное и ровное её дыхание.

Алеша потянулся и вдруг почувствовал, что его ноги шевелятся. Он спустил их с кровати и встал, ухватившись руками за спинку стула, потом двинул стул и шагнул. Опять двинул, сделал ещё шаг и, задыхаясь от радости, крикнул:

— Мама, я иду!

Мария Ивановна испуганно вскочила, не понимая, что случилось, затем бросилась к сыну, обняла его и зарыдала...»

Так Алёша снова начал ходить — сначала понемногу, по нескольку шагов. Постепенно ноги становились всё послушнее — и через месяц он был совершенно здоров.

Мария Ивановна, особенно после этой тяжёлой болезни сына, много думала о его будущем. Не хотелось ей для него беспросветной крестьянской доли. Видела: другой он, её младшенький. Смышлёный, чувствительный — не по нему непосильный деревенский труд. Муж-то, Силантий, ещё одного помощника себе хочет вырастить, а её душа противится: другая судьба у Алёши должна быть, другая. Может, в монахи его отдать? Будет молиться о них, грешных. И себя в чистоте сбережёт.

Всем своим любящим сердцем желала мать счастья сыну и поэтому начала всё чаще брать его с собой на богомолье. Он не отказывался: путь до монастыря был неблизким, но зато всегда сулил много интересного.

А одно из путешествий с матерью особенно ему запомнилось. Ещё как запомнилось! Встретился им на пути человек — такой, каких не довелось раньше видывать ни в родном селе Матвеевском, ни в соседних сёлах и деревнях. «Победитель бурь» — было написано на чёрной ленте, обхватывающей его фуражку без козырька и спускающейся двумя концами, как косы, до середины спины; необычными были и широкие чёрные штаны, и синяя фланелевая рубаха. Диковинным и притягательным казалось всё, что рассказывал бойкий мат-

рос, — про безбрежное море, про дальние страны, про бури, которые нипочём бывалым морякам.

И не давали эти рассказы Алёше покоя, всюду ему теперь море мерещилось.

Эта встреча, ставшая позднее основой рассказа «Судьба», безусловно, определила жизненный путь Алексея Новикова, родившегося за тысячи вёрст от любого из морей, омывающих Россию.

«Парадоксально, но факт, — пишет рязанский поэт и прозаик А. Потапов, — рязанская земля, раскинувшаяся в самом центре России, на границе некогда непроходимых мещерских лесов и неоглядных ковыльных степей, откуда до морей — тысячи километров, дала миру выдающихся мореплавателей, адмиралов флота В. М. Головнина и А. П. Авинова, отважного исследователя Аляски морского офицера Л. А. Загоскина. В этом же “морском рязанском ряду” стоит и самобытный художник слова А. С. Новиков-Прибой».

Итак, нескольких баек словоохотливого матроса хватило для того, чтобы в душе пытливого деревенского мальчика Алёши Силкина родилась мечта о море. И потребовалось множество жизненных испытаний, чтобы спустя годы он смог подарить такую же мечту миллионам своих читателей.

После памятной встречи с матросом Алёша Новиков искал случая, чтобы с кем-то поговорить о море. Но поговорить было не с кем. Оставалась надежда на книги. Брат Сильвестр привозил с базара много книжек — но о море там почти ничего не было. Правда, Алёша с жадностью читал всё, что попадало ему в руки. Это были такие «шедевры», как «Бова Королевич», «Еруслан Лазаревич», «История о храбром рыцаре Франциске Венециане и красной королеве Ренцивене»... Но вместе с лубочными картинками — неотъемлемой частью немудрёного крестьянского быта — эти копеечные книжки будоражили детское воображение. И может быть, именно они, как вспоминал позднее Новиков-Прибой, «заронили в него семя писательства».

Причудливый, яркий мир лубочных картинок, сказок, религиозных книжек, с детства войдя в сознание будущего писателя, много позже отразится в его произведениях простотой языка, занимательностью сюжета, романтической образностью. Вероятно, оттуда, из детства, — и особое отношение Новикова-Прибоя к числу «три», которое, по его словам, «на протяжении всей истории русского народа имело в людских глазах особую колдовскую силу».

Языческое, колдовское, подкрепляясь христианским почитанием Святой Троицы, закрепилось (вероятно, на уровне

подсознания) и в творческом методе писателя, сохранявшего в течение всей своей жизни верность народным традициям.

Однажды Сильвестр привёз из города Спасска книжку «Вечера на хуторе близ Диканьки». Автора Алёша поначалу и не запомнил. Особенно сильное впечатление произвели рассказы «Майская ночь», «Страшная месть», «Ночь перед Рождеством». Все они были похожи на сказки, но сказочное так тесно переплеталось с жизненной правдой, что верилось всему, что сочинил писатель. И на фоне этой книги померкли все бовы королевичи и еруcланы лазаревичи.

Книжки о море всё не попадалось, но в доме Новиковых вслед за Гоголем появились произведения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Толстого. В домашнем архиве семьи Новиковых хранится рукопись рассказа «Живой мертвец». Будущему писателю 12 лет. Юный автор выбирает для своего первого произведения форму, чаще всего встречающуюся в книжках, которые он читал, — рассказ в рассказе. Надо сказать, что он очень серьёзно и ответственно подходит к делу. На титульном листе — его имя: «Алексей Новиков», дата: «1889 года октября 2-го» и название: «Живой мертвец». Всё, как нужно, по-взаправдашнему.

Итак, уже не Алёшка Силкин, а Алексей Новиков, вообразив себя человеком вполне взрослым, сообщает, что, возвращаясь в Москву из Нижнего Новгорода по железной дороге, он «заметил в уголке вокзала Владимирской станции» монаха, который читал книгу, скорее всего молитвенник. Далее следует старательное описание: седые, как снег, волосы; борода; оживлённый взгляд чёрных глаз. Автор, заинтересовавшись личностью старца, подсаживается к нему, желая узнать историю его жизни. Монах начинает её на вокзале и продолжает уже в вагоне.

Мы узнаём о знатности и богатстве семьи, в которой родился рассказчик, о ранней смерти его матери, о воспитании в доме бабушки-княгини, о легкомысленном французе-гувернёре, о службе сначала юнкером, а потом корнетом в гвардейском полку.

Жизнь корнета была полна светских развлечений и беззаботности. Замуж за него собиралась первая красавица Петербурга. И вот за несколько дней до помолвки корнет, прогуливаясь по Невскому, решил впервые в своей взрослой самостоятельной жизни зайти в Казанский собор и помолиться перед чудотворной иконой Божьей Матери. Вечером дома ему вдруг стало дурно, и он впал в летаргический сон.

Окружающие думают, что молодой офицер умер. А он, между тем, слышит всё, что о нём говорят. И понимает, что по-на-

стоящему он был дорог только верному слуге Степану. Остальным, а главное, его невесте, нужны были только его деньги.

Он слышит лицемерные разговоры, видит притворные слёзы. После того как все разъехались, рядом остался только верный Степан, причитающий над гробом: «На кого ты нас покинул, голубчик мой, что теперь с нами будет? Умолял я тебя: побереги себя, барин, а ты не хотел и слушать. Погубили тебя приятели вином и всяким развратом. А теперь им до тебя и горя нет, только мы, слуги твои, над тобой плачем!»

И размышляет корнет в гробу о том, как неправедно он жил, вслушивается в чтение Псалтыри и понимает, как сладостна эта божественная книга. Его сердце глубоко ранит несоответствие между евангельскими заповедями и тем, как неправедно живут люди. Думает он и о своих крестьянах, которым, по беспечности его и незлобивости, хоть и жилось легче, чем остальным, но всё равно оставались они бесправными рабами.

Одним словом, «умерший» раскаивается во всех своих грехах и, готовый к погребению, не желая продолжать жизнь, полную разврата и ханжества, отдаёт себя на волю Бога.

Но наутро всё же обнаруживается, что покойник жив. И его чудесное воскрешение, естественно, становится началом новой, праведной жизни. Бывший офицер, ловелас и картёжник отрекается от всех мирских дел и отправляется доживать свой век в монастыре.

«Почтенный, — пишет Алексей Новиков, — заключил рассказ свой следующими словами: “На мне вы видите дивный опыт милосердия Божия. Чтобы искупить душу мою из мрачного сна греховного, Человеколюбец допустил меня пройти вдоль сени смертной и на гробовом ложе просветил очи мои, да не уснув смерть вечную”».

Крестьянский мальчик, в полной мере унаследовавший от матери чувствительность и воображение, прочитавший к этому времени не один десяток книг, показал себя прилежным читателем Льва Николаевича Толстого, радетелем за простого человека, униженного беспросветностью своего существования, каторжным трудом, презрением «господ». Наивный рассказ этот показывает, что душа юного автора не может мириться с царящими в обществе неравенством и несправедливостью, что она рвётся к свету и добру.

Поучительный тон сохраняется и в другом сочинении Алексея Новикова, подшитом вместе с первым «произведением» и названном «О необходимости поминовения умерших». Любопытно, что этот маленький «трактат» никогда ранее не упоминался ни в одном исследовании творчества Новикова-

Прибоя. Причина тому, очевидно, одна: его абсолютно религиозное содержание, без той важной нити размышлений о социальном зле, которая проходит через первый рассказ и вполне может быть названа красной. «О необходимости поминовения умерших» написано, безусловно, под влиянием многочисленных церковно-назидательных книжек, которые водились в доме. Тем не менее рассуждения в заданном ими русле по праву можно считать вторым самостоятельным литературным опытом Алёши Новикова. Один зачин чего стоит: «Жизнь, жизнь! Как трудна наша жизнь души...» Всё-таки не случайно матушка хотела отдать младшего сына в монахи: мальчик был и верующий, и мыслящий, и способный. Можно представить, какой гордостью наполнялось материнское сердце, когда её Алёша, усадив после ужина семью в кружок, выразительно читал собственноручно написанные им «книжки».

Нас нисколько не удивляют ранние литературные опыты Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Толстого, Бунина, Блока... В большинстве дворянских семей традиционными были и чтение вслух, и выпуски рукописных журналов, и постановки домашнего театра. Маленькие аристократы с молоком матери впитывали основы словесной и музыкальной культуры, в них исподволь формировалась восприимчивость ко всем её проявлениям, воспитывался тонкий вкус. Развитие творческих способностей было естественным и закономерным явлением. А вот судьбы знаменитых русских самородков: Ломоносова, Решетникова, Сурикова, Кольцова, Горького, Есенина, Новикова-Прибоя — поистине потрясают. Как много должно было сойтись в судьбе этих замечательных простолюдинов! Как много труда им нужно было приложить, чтобы данное от Бога чувство прекрасного, заключённое в самой природе и растворившееся в мощном духе народной культуры, не нуждающееся по большому счёту ни в какой огранке в виде образования (даровитых сказителей да песенников на Руси во все времена было превеликое множество!), развилось настолько, чтобы стать достоянием национальной и даже мировой (в случае с Есениным это бесспорно) литературы.

Вероятно, именно книги пробудили в беспокойной и восприимчивой душе Алексея Новикова глубокий и искренний интерес к окружающему миру, заставили его пытливый ум искать ответы на вопросы, которые у многих его сверстников, по безграмотности, и возникнуть-то не могли.

А у Алёши вопросов было множество. Ну, например, как это птицы, улетая, снова возвращаются в родные места? Как они дорогу находят? А в том, что находят дорогу и возвращаются именно туда, откуда улетели, Алёша сам убедился. Поймал

он как-то скворца, живущего в деревянном домике, который они с друзьями смастерили и на шест около дома повесили. Привязал к его лапке красную шёлковую ленточку — скворец и перепугался, и удивился, но деваться ему было некуда, пришлось с ленточкой летать.

А у младшего Силкина с этого момента забота появилась — наблюдать за своим скворцом. Видел он его не раз и в начале осени, когда птицы начали собираться в стаи. «Это меня очень забавляло, — напишет потом в «Цусиме» Новиков-Прибой. — Но какова же была моя радость, когда и на следующую весну он прилетел и поселился в той же скворечне. Только красная лента на его ноге поблекла. И мне казалось, что на этот раз он, блестяще-чёрный, с фиолетовым отливом, рассыпался брачными песнями перед своей пёстренькой подругой особенно красиво и весело.

Я вывел во двор отца и мать и, показывая на скворца, восторженно сказал:

— Смотрите! Вот он!

А потом задал вопрос:

— Как он нашёл дорогу обратно?

Отец, николаевский солдат, с седыми бакенбардами, покачав головою, изрёк:

— Не иначе как соображение есть, стало быть, птица умная.

А мать протянула своё:

— Это сам Бог указует птицам путь».

Но ни то ни другое толкование Алексею не понравилось. И остался этот вопрос для него надолго открытым. Волновал и тогда, когда, осуществив детскую мечту, стал он моряком бороздить моря и океаны. С кораблями всё было понятно: компас, карты, специально обученный штурман. А вот как птицы находят верный путь? Это было необъяснимо тогда с точки зрения разума. А душа подсказывала: путь к родным местам может быть трудным и неблизким, но всегда верным, с этого пути не собьёшься.

Ещё будучи подростком, начал Алёша Силкин охотничать. Ему нравилось, когда взрослые, ценившие его за расторопность и сметливость, брали его на охоту как равного. В друзьях у него, мальчишки, числились известные в округе охотники — старик Калитов и Никита Волков.

Старик Калитов, сказочник и песельник, много в своей жизни повидавший, вёл жизнь особенную, не как у других сельчан. На участке, который все считали непригодным, он умудрялся выращивать арбузы, а в небольшом ничейном пруду развёл карасей. Было у него старое шомпольное ружьё, скреплённое проволокой, — с ним и охотился на уток.

А Никита Волков, забросив своё хозяйство, ни о чём, кроме охоты, думать не хотел. Зато уж про неё, родимую, он знал всё.

Вот к этим двум, непохожим на всех остальных людям и тянулся Алёша. То с одним, то с другим увязывался он в окрестные леса не столько за дичью или зверем, сколько за яркими впечатлениями. Окружающий мир — прекрасный, разнообразный, загадочный — манил его к себе величием и тайнами. Ещё не умея сказать об этом, он всё больше ощущал необъяснимую и волнующую связь с природой, чувствовал себя её частью — и действительно был (и остался на всю жизнь) её умным и благодарным ребёнком.

Его притягивало всё красивое. Но не пойдёшь же в лес просто так, без дела, поглазеть — засмеют. Охота — другое дело. Охотник — это добытчик, почёт ему и уважение. А уж о том, что глаза не могли наглядеться на земную красоту, о том — молчок. И всё-таки на всю жизнь запомнился Алексею Новикову день, ознаменовавшийся первой охотничьей добычей.

«Весенней влажной ночью, — пишет А. Перегудов, — шёл Алёша лесом с ружьём, взятым у Волкова... Лес был глух, тёмен, казался таинственным и немного страшным. Над верхушками сосен мерцали зелёные звёзды, в чащах ельника белели пласты нестаявшего снега. В лесной глубине журчали невидимые ручьи, как будто вздыхали, жаловались на что-то...

Мальчик пришёл на место, где, по описанию охотников, должен быть глухариный ток, и долго стоял неподвижно, прислушиваясь к звукам уходящей ночи. И вдруг он услыхал "кляцканье" глухаря. Как заколотилось сердце и задрожали руки, крепко сжимавшие старое шомпольное ружьё! Он начал подходить к глухарю "под песню", как учил Волков, делал два-три быстрых скачка и останавливался раньше, чем глухарь прекращал свою короткую песню. Он уже слышал "скрежетание", будто кто-то в тёмной хвое точил о сковороду нож. Занималась заря, и на бледно-жёлтом её фоне Алёша увидел глухаря. Лесной красавец, распустив хвост и крылья, ходил по корявой ветви сосны. Мальчик вскинул ружьё и выстрелил. А когда он возвращался домой с первым охотничьим трофеем, невиданно прекрасными казались и лес, и небо, и золотое солнце, всплывающее над шапками сосен...»

В год, когда Алексея должны были забрать на военную службу, умер отец, успевший наказать сыну служить верой и правдой царю-батюшке и, конечно, не подозревавший о

том, что сын, став революционером, наказа отцовского не выполнит.

Оплакав мужа, отца и деда, погоревав, Мария Ивановна, Сильвестр со своей семьёй и Алексей снова принялись хозяйствовать, помня наставления Силантия Филипповича делать всё основательно и на совесть. Правда, младший его сынок в мыслях был уже далёк от тяжёлого и однообразного крестьянского быта: его всё больше и больше волновали мечты о предстоящих жизненных переменах. И грезились никогда им не виданные бескрайние морские просторы: богатое воображение расцвечивало всё новыми и новыми красками рассказ того лихого матроса, которого когда-то встретили они с матерью на пути из монастыря.

Алексею не жалко было расставаться с хозяйством: не был он к нему так привязан, как Сильвестр. Другую, не крестьянскую, судьбу свою чуял. Только мать было жалко. Особенно теперь, когда лишилась она мужа, опоры своей. Он ведь ей, сироте, на всю жизнь и отца и мать заменил.

Интересен сохранившийся с 1899 года документ, который выправила мать Алексея Новикова сразу после смерти мужа. Называется он «Вдовий вид» и гласит следующее: «Предъявительница сего солдатская вдова умершего 28 января 1899 года отставного фейерверкера Силантия Филиппова Новикова, поступившего в военную службу 3 января 1839 года и уволенного в отставку 15 октября 1862 года, Марья Ивановна Новикова действительно того самого звания. Приметами она: 60 лет от роду. Рост 2 арш. 4 вер., волосы на голове и бровях тёмно-русые, глаза серые, лицо чистое, особых примет не имеет. Дан сей вид за подписью, с приложением казённой печати 6 июля 1899 года».

«Особых примет не имеет...» И видится ясно картина: читает эту бумагу 22-летний крестьянский парень, удивлённо хмыкает и взглядывает серыми лучистыми глазами в такие же материнские: «Это ты-то у нас особых примет не имеешь?» И к брату старшему, заматеревшему, бородатому, отцу уже немалого к тому времени семейства: «Это наша-то маманя без примет особых? А то, что красавица? А умница? А мечтательница?» И смеётся — и хитро, и весело, и задорно. И крепко обнимает мать, которая сначала смущённо улыбается да отмахивается, а потом с горестным стоном припадает к сыновней груди: вот-вот забреют кровинушку в солдаты...

А он ведь, Алексей, чуть не женился перед тем, как на службу идти. Была у него зазноба, Евдокией звали. Готовился сватов засылать, да только заранее отговорила девку сердо-

больная мать: куда в такую семью идти, хозяйство большое, да детей у брата старшего мал мала меньше. Он, Сильвестр-то, и правит домом. Сам до работы горячий и всех заездил. Алексей не сегодня-завтра служить уйдёт... Нет и нет, другого жениха надо дожидаться...

Бывают странные сближенья... Почти 100 лет спустя дочь давно ушедшего из жизни писателя Новикова-Прибоя Ирина Алексеевна даст в газету объявление: ищет, кто в Москве шерсть прясть умеет. И нашлась женщина. В огромной Москве — одна. Во всяком случае, отозвалась — одна. Оказалась внучкой той самой Евдокии из Матвеевского...

«НАЗВАЛСЯ ОХОТНИКОМ ПОЙТИ ВО ФЛОТ...»

О том, как забирали в армию в России на излёте XIX века, как прощались с вольной жизнью деревенские парни, Новиков-Прибой рассказал в очерках «Как я призывался» и «Как мы гуляли в рекрутах»[1]. В одном из них автор даёт объёмную и выразительную картину жизни деревни в те осенние дни, когда наставала пора прощаться с молодыми ребятами, которым вот-вот предстояло отправиться на службу в армию:

«Носится, серебристо сверкая на солнце, паутина — признак наступающей осени. Желтеют на деревьях листья, блёкнут сады и огороды. Крестьянские избы с серыми соломенными крышами принимают более унылый вид. За селом, в отдалении, неторопливо вертятся крылья ветрянок, размалывая новый урожай. Ближе кое-где крутятся сизым дымом овины. На токах идёт молотьба, и далеко разносится ритмичный стук цепов. Крестьяне заняты последней уборкой — роются на картофельных полях, выбирают коноплю, снимают с огородов овощи. Даже подростки на работе. В селе малолюдно и тихо. Только дряхлые старики и старушки греются на солнце, да детвора возится в дорожной пыли — вперемежку с курами и поросятами.

Но вот откуда-то, с конца села, разлились звуки гармошки и смешались с пьяной, горластой песнью. Шатаясь, они идут в обнимку посредине улицы и жалобно, с надрывом поют:

Как солдатская дорожка
Вся слезами полита:
По ней ходят и гуляют
Молодые рекрута...

До призыва осталось ещё месяца два, а они уже гуляют. Так уж исстари повелось: заранее освобождать рекрутов от тяжёлой крестьянской работы. И ходят они из двора во двор, по

[1] Опубликованы в сб.: *Новиков-Прибой А. С.* Победитель бурь: Проза и публицистика / Сост. И. А. Новикова. Сасово, 2007.

родным и знакомым, пропивая последние гроши, добытые каторжным трудом. По мере того как приближается день призыва, растёт разгул. Пусть гуляют — впереди горе — тяжёлое солдатское житьё».

Все разговоры в деревне — только о призыве. Кому-то «повезло»: дитё в своё время уродилось недужное или настигла его беда, стал калекой — тут уж ни о какой службе речи быть не может, останется, горемычный, на утешение родителям. А те матери, сыновей которых Господь Бог здоровьем не обидел, отправлялись по ворожеям и знахаркам в надежде раздобыть такое снадобье, после которого их сыночек никому, кроме родных, не будет нужен. Богатые, ясное дело, решали всё с помощью денег: «...и часто здоровый, как бык, откормленный кулацкий сынок освобождался по какой-то таинственной болезни». Некоторые освобождались по жребию — и не было тогда конца счастью.

Одним словом, призыва в армию почти никто не жаждал. И желание Алексея Новикова, мечтающего попасть на флот, где служили целых семь лет, было явлением исключительным. Медицинский осмотр показал: годен.

«В городе Спасске, — вспоминал Новиков-Прибой, — нас начали распределять по частям. Я назвался охотником пойти во флот, на это внимания не обратили и назначили меня в конвойную команду на остров Сахалин. Мечта моя рушилась. Но нашёлся человек, который как раз был назначен на флот, а хотел служить на Сахалине — там можно было поднажиться. Мы сговорились с ним обменяться местами. Но воинский начальник не обратил внимания на наши просьбы. Мы не знали, как быть. Один умный человек посоветовал обратиться к старшему писарю с “подарком”. Так и сделали. Писарь милостиво принял взятку, и на перекличке мы поменялись местами. Я попал во флот».

Наиболее полное представление о том, как начиналась служба Алексея Новикова на Балтике, мы получаем из двух его писем (объединённых общим заглавием «Письмо одного матроса к брату»), которые (если считать написанные Алёшей Новиковым в 12 лет рассказ «Живой мертвец» и поучение «О необходимости поминовения умерших») можно рассматривать как третье (пусть и несовершенное) литературное произведение будущего писателя.

Два этих послания долгое время хранились неопубликованными в архиве Новикова-Прибоя в РГАЛИ и увидели свет только в 2007 году (сборник «Победитель бурь»). Написанные не в начале службы, а уже по прошествии двух лет (1902), они явно были рассчитаны на внимание читателей (о чём говорит само название), а не на брата Сильвестра в далёком Матвеевском.

Хотя в основу написанного, безусловно, положено лично пережитое, Новиков отказывается от собственного «я», он смотрит на происходящее со стороны. Он анализирует, обобщает и обличает. Его возмущение, его сарказм — все эмоции выходят за пределы обычного письма. Письмо для него в данном случае — это сознательно выбранный жанр. И удивительно, что ещё так мало смыслящий в литературе парень из деревни понимает это и пользуется этим.

Но обратимся непосредственно к содержанию писем, чтобы представить себе службу флотских новобранцев в царской России.

В «телячьих вагонах» прибывают будущие матросы в Петербург, где их, как «стадо баранов», сгоняют в так называемые проходящие казармы. В казармах — грязь, вонь, грязные рваные матрасы, кишащие вшами. Всюду «гам, залихватская ругань, бессмысленный хохот». Часто — драки. Кормят плохо. Чуть замешкавшимся при выполнении команды — «в морду».

Характерный эпизод:

«Молодой юркий офицер, держа в одной руке записную книжку, подошёл к одному новобранцу и спросил его:

— Губернии какой?

— Петром зовут, — ответил тот, не расслышав заданного вопроса, т. к., очевидно, задумался о своей родине, с которой его так бесцеремонно разлучили.

— Болван! — крикнул на него офицер и, чтобы вывести его из задумчивости, ткнул его кулаком в подбородок.

Покончив с этим новобранцем, он подошёл к другому.

— Какой профессией занимался?

Новобранец, не поняв сущности вопроса, ничего не ответил и только заморгал глазами.

— Специальности какой не знаешь ли, спрашиваю тебя, олух? — возвыся голос, снова задал вопрос офицер.

Опять молчание, т. к. эти занозистые словечки никак не могли быть постигнуты умом безграмотного деревенского парня, не видевшего ничего другого, кроме тяжёлой работы да великого горя.

Офицер, наконец, потерял терпение. Он, поругавшись матерно, схватил молодого матроса за нос, который потянул сначала книзу, а потом моментально вздёрнул вверх, задав при этом вопрос в более простой форме.

— Что ты дома работал?

— Пахал землю, рубил дрова, за скотиной ухаживал и вобче по домашней части занимался, — пролепетал новобранец...»

Да, по-другому представлял себе флотскую службу Алёша Силкин после той — давней, но незабываемой — встречи с бывалым матросом...

Из положительного — прогулка по Петербургу (дали одному вольноопределяющемуся по 20 копеек, он и выпустил новобранцев посмотреть столицу). Но и эта прогулка омрачается для автора посланий мыслями о несправедливости существующего строя и переживаниями за угнетённый народ. Видимо, так изначально был организован его ум, что решал он не вопросы личного благополучия и устройства, а задавал себе задачки посложнее. И душой наделён был чуткой, отзывчивой на чужую беду. Поэтому читаем: «Ну и правда же говорится, что хорош город Питер, только бока кое-кому повытер. Эту пословицу подтвердили встретившиеся нам шедшие с фабрик и заводов люди, которые были одеты в рваное платье и у которых виднелись бледные, худые лица, прокопчённые дымом и покрытые грязью. Этим, вероятно, и здесь жилось тошно».

Однако, вспоминая о первых месяцах службы, писатель Новиков-Прибой признавался в «Цусиме», что он пришёл на флот «наивным парнем, сущим дикарём» и что «если бы в это время кто-нибудь сказал что-нибудь нехорошее против царя», он бы такого человека «уничтожил на месте».

Следующий эпизод из «Письма одного матроса к брату» ясно показывает, что к 1902 году Новиков успел пообщаться с революционерами, но в письме старательно скрывает свою искушённость, сохраняя заданную наивность новобранца, от имени которого ведётся повествование. Читаем: «Добавлю тебе ещё, что в С.-П. очень много городовых и жандармов, которые встречались нам чуть ли не на каждом шагу.

— А сыщиков или, как их называют, шпионов, если хотите знать, ещё больше, — на наше удивление заметил нам один из новобранцев с самым серьёзным видом. Мне он показался кое-где бывавшим.

— Это для чего их столько развели, чтобы ловить воров и грабителей, что ли? — желая узнать о назначении их, спросил я у него.

— Как есть наоборот, — объяснил он мне. — Обязанность их такова, чтобы выхватить из общей массы всех тех, кто слишком уж честен, в ком слишком уж много совести, Божьей правды, и сохранять благополучие отъявленных мерзавцев, которые, ограбляя русский народ, довели его до полного разорения.

Я решительно ничего не мог понять из таких его слов. А когда начал докучать его расспросами, он так рассердился на меня, что начал называть меня деревенщиной, губошлёпом.

— Какой-то чудак, — решил я о нём в душе и больше не вступал с ним в разговор».

Из второго письма мы узнаём о первых впечатлениях рассказчика о море и о Кронштадте. Поскольку письмо это и не письмо вовсе, а литературное произведение, то автор его отдаёт дань описанию природы (как и положено в литературе), а именно — Финского залива:

«Был холодный декабрьский день. По небу ходили белесоватые облака, которые время от времени осыпали живущих на земле пушистым снегом. На этот раз ветер дул с особой свирепостью. Запутываясь в снастях парохода, приготовленного специально для нас, он завывал на разные голоса, рвал с нас платье, продувал тело, доводя до дрожи. Взбаламученные волны пенились, кружились, вздымались кверху, заставляя наш пароход сильно качаться на обе стороны».

Словом, Финский залив встретил автора писем и других новобранцев неприветливо. Не радовали и рассказы старого матроса-конвоира: «...Но качка нашего брата хуже всего донимает. В особенности сильно качает в Немецком море, в Бискайском заливе и в Великом океане, который почему-то называется “Тихим”. Там, братцы, для непривычных беда да и только. Не такой пароход, как этот, а броненосец, это самый большой корабль, и то подбрасывает, словно щепку какую. Волны с колокольню, кажись, будут величиной».

Да... Матрос с корабля «Победитель бурь», помнится Алексею, рассказывал другое. Невесело было парням, никогда раньше не видавшим моря. Невесело.

Но появившийся вскоре на горизонте туманный силуэт Кронштадта уже радостно волновал и необъяснимо манил к себе:

«Тем временем мы стали приближаться к Кронштадту. Этот небольшой город находится на острове Котлин. Его со всех сторон окружают самые могущественные в России крепости. С южной стороны города устроены большие гавани, наполненные на этот раз чуть ли не битком кораблями разных сортов. Тут, как нам объяснил другой матрос, были корабли и военные, и добровольного флота, и коммерческие, и шхуны рыбаков. Целый лес мачт! Красиво! Хотелось бы поскорее обозреть всё это вблизи».

О пяти годах службы в Кронштадте Новиков-Прибой так позже напишет в своей «Цусиме»:

«За пять лет службы я много пережил... и плохого и хорошего. Там, по Господской улице, нашему брату, матросу, разрешалось ходить только по левой стороне, словно мы были отверженное племя. На воротах парков были прибиты дощечки с позорнейшими надписями: “Нижним чинам и собакам вход в парк воспрещён”. Мытарили меня с новобранства, чтобы

сделать из меня хорошего матроса, верного защитника царского престола».

Мытарства новобранцев начинались с шести утра. Под побудку горниста матросы вскакивали; боясь потерять лишнюю секунду, одевались и заправляли койки; обжигаясь, пили чай с чёрным хлебом и, наконец, толкаясь, выстраивались. Начиналась утомительная «гимнастика», которая была тем бессмысленнее, чем в более плохом расположении духа находился инструктор. Самым ненавистным упражнением было прыганье на корточках в затылок друг другу до тех пор, пока матросы не начинали в изнеможении валиться на пол. Потом новобранцев выгоняли во двор: на маршировку и упражнения с ружьями. Положенный после обеда короткий отдых часто отнимали: заставляли колоть и пилить дрова. До вечера — снова маршировали. А потом начиналась так называемая «словесность»: измученным матросам вдалбливали флотский устав и имена-фамилии царствующей семьи и флотских отцов-командиров. Об этом позднее Новиков-Прибой будет с болью вспоминать в рассказе, который так и назовёт — «Словесность», а затем перенесёт сюжет этого рассказа в роман «Капитан 1-го ранга».

Рассказ был написан спустя десять лет после «Письма одного матроса к брату», но, по существу, является его продолжением, поскольку повествование в нём снова ведётся от имени новобранца и выдерживается в той же тональности. Но здесь уже присутствуют такие характерные для рассказа элементы, как завязка, кульминация и развязка. Есть конфликт. Есть замах на художественность. Видимо, поэтому рассказ «Словесность», обладающий достаточно мощным зарядом драматизма, производит более сильное впечатление, чем «Письмо...», хотя «неприятных» моментов службы новобранцев в нём собрано гораздо больше, чем в этом рассказе.

«Словесность» — это и есть, по существу, один из многих, и, пожалуй, самых жутких эпизодов из жизни начинающих матросов. Почему-то именно на «словесности» инструкторы-изуверы отводили душу (хотя о какой душе может идти речь?), избивая новобранцев в кровь и стараясь выбить из них главное — человеческое достоинство.

«— А ты, кукла заморская, поди сюда! — крикнул инструктор на Капитонова.

Зная, зачем его зовёт Храпов, новобранец приближался медленно, дико озираясь, точно ища себе спасения.

Инструктор постучал кулаком по его голове, потом по своей табуретке, прислушиваясь при этом одним ухом, посмотрел на нас и заявил:

— Одинаковые звуки получаются...

Услышав приказание нагнуть голову, новобранец сделал и это покорно и безмолвно.

— Я тебе на шею пластыри приложу.

При каждом ударе по шее Капитонов тыкал головою вниз, точно огромная птица, клюющая свою находку. Раза два он падал на колени, поднимался и снова становился в прежнюю позу».

На некоторое время оставив Капитонова, инструктор переключается на других «подопечных», потом с удовольствием застаёт его врасплох, заставляя повторить правильный ответ рассказчика, друга Капитонова, на один из своих вопросов. Капитонов не справляется. Не желая затруднять себя больше, Храпов приказывает рассказчику «смазать разок» друга «по карточке». Тот отказывается. А дальше происходит следующее: «Храпов стиснул зубы. Лицо у него стало багровым. Сверкая глазами, он несколько секунд смотрел на меня молча, а потом строго приказал:

— Капитонов! Если он не того, то ты ему пару горячих привари!

— Слушаюсь, господин обучающий! — ответил тот, оборачиваясь ко мне.

Не успел я произнести ни одного слова, как по моему лицу раздались один за другим два сильных удара».

Сила рассказа «Словесность» — в его финале, в котором автор сознательно или подсознательно (но для читателя — явно) следует традициям Достоевского. Истинно христианское: доброту, человечность, умение повиниться — не выбьет ни один изувер.

Капитонов горько и искренне раскаивается в содеянном:

«— Брат, прости... — еле слышным дрожащим голосом произнёс он, не глядя на меня, и по его щекам крупными каплями неудержимо покатились слёзы. — Ей-богу, не знаю — как это я... Никогда больше... никогда... Бей меня... Сколько хочешь бей... Только прости...

Дальше он не мог говорить. Голос его оборвался и замер в глухом рыдании. Он опустился передо мной на колени, тыкаясь головою в мои ноги. И только видно было, как вздрагивало его большое тело, да слышались прерывистые всхлипывания...»

После занятий «словесностью» у матросов обычно оставалось немного времени до отбоя, но писать письма или читать они могли только после того, как раздавалась странная и непонятная команда: «На справку!»

Заметим, что Алексей Новиков, обладая прекрасным здо-

ровьем и выносливостью, великолепной памятью, практически не имел нареканий. Матросский устав, например, он знал слово в слово уже через месяц. И справедливости ради надо сказать, что подобное прилежание и замечалось, и поощрялось. Например, до присяги было не положено выпускать новобранцев в увольнение поодиночке. Но именно за успехи в «словесности» инструктор делал исключение для Новикова. И Алексею нередко выпадала возможность познакомиться с Кронштадтом получше.

Что представлял тогда собой этот город? Население его, большую часть которого составляли военные, насчитывало чуть менее шестидесяти тысяч жителей. Это был город-порт, где гражданский люд обслуживал моряков. Работали пароходный и канатный заводы, около двух десятков фабрик; учили детей и юношество мужская и женская гимназии, реальное училище, техническое училище морского ведомства, штурманская и фельдшерская школы.

Во время службы Алексея Новикова в Кронштадте в городе произошло знаменательное событие: на Якорной площади 1 (14) сентября 1902 года по указу императора Николая II в честь 200-летия российского флота был заложен Морской собор. Он был задуман как памятник всем погибшим русским морякам и символ славы российского флота. Молебен по случаю начала строительства храма отслужил Иоанн Кронштадтский.

В это время матрос Новиков был уже заражён революционными идеями и, воинствующий атеист, событие это, очевидно, принял без должного верноподданнического восторга. А об Иоанне Кронштадтском позднее будет высказываться во многих своих произведениях всегда резко отрицательно.

Но тем не менее Новикову нравилась жизнь этого небольшого города, которая так отличалась от жизни его родного села. Здесь всё было иное. Здесь был другой воздух, наполненный свежим морским ветром. Здесь высились каменные дома и храмы под стать петербургским. Здесь улицы были широкими, мощёнными чугунной плиткой. Здесь были другие лица (не сказать, что они были лучше или хуже — просто другие), незнакомые, и непременно хотелось разгадать, что у каждого за душой, каков он.

Во время службы в Кронштадте склонность Новикова к сочинительству, его грамотность и фантазия были востребованы в полной мере. По просьбе матросов (сначала тех, кто служил с ним бок о бок, а потом и совсем незнакомых, с других экипажей) он сочинял письма их возлюбленным, «феям морских глубин», — многословные цветистые письма с восторгами, придыханиями и безбрежной, как море, тоской «исстрадав-

шегося сердца». Тариф — две копейки за послание, неимущим и пропившимся — бесплатно. Сам он относился к этому как к шутке, баловству.

Хотелось высказываться серьёзно, ну, примерно, как те, кто написал умные и занимательные книги, чтение которых здесь, в Кронштадте, стало самой важной частью жизни Алексея Новикова, хотя страсть к чтению у нижних чинов, мягко говоря, на флоте не приветствовалась и служба, прямо скажем, к этому не располагала. И всё-таки при каждом удобном (да и неудобном тоже) случае Алексей хватался за книгу. Ведь в Кронштадте была библиотека и в неё допускались и нижние чины!

Что читал матрос Новиков? Ответ находим в его письме И. Е. Герасимову, преподавателю воскресной школы, куда Новиков поступит осенью 1901 года. Алексей пишет: «Прочитал: Максима Горького всего, Л. Толстого тоже, Лермонтова почти, Пушкина почти, Гоголя почти, Достоевского лишь крупные романы, Писарева 5-й и 8-й томы и другие. Много читал научных книжек. Из иностранных писателей читал: Смайльса "Самообразование" и "Характер", Генриха Сенкевича "Камо грядеши", Байрона "Дон Жуан". Начал читать логику Минто, которая хотя и даётся, но, без помощи со стороны преподавателя, с большим трудом». «...энергия моей жизни так заражена чтением», — пишет Алексей, что отказаться от книги он уже не в состоянии. Даже после того случая, о котором повествует далее.

Старший офицер, застав баталера Новикова и его помощника юнгу в провизионном погребе за чтением, был разгневан настолько, что книжки полетели за борт, юнга был зверски избит, а Новиков позднее постоянно преследовался издевательскими замечаниями и постоянными придирками.

Наученный горьким опытом, Новиков, чтобы почитать, теперь прятался в трюм или кочегарку, куда офицеры обычно не заглядывали. Среди многих прочитанных книг одна произвела на него особенно сильное впечатление, породила пока ещё неосознанную, неясную — на уровне сладкой тревоги и неясных, как гудки парохода в туман, сигналов подсознания — надежду, что, быть может, и он, Алексей Новиков, когда-нибудь...

Это были «Морские рассказы» Станюковича — книга, встречи с которой он так ждал с давнишнего момента полусказочного явления ему диковинного человека без имени, зато в громком звании — «Победитель бурь». Много лет спустя, отмечая «свежесть и молодость» рассказов Станюковича, Новиков-Прибой напишет, что он учился у замечательного русского писателя-мариниста и его пониманию жизни моряка, и

тёплому, любовному отношению к людям, морю, кораблям, родине.

В городе, который был так близок к столице, умному, рассуждающему и уже достаточно начитанному человеку несложно было уловить царящие в обществе настроения, почувствовать революционный подъём. С Новиковым это произошло уже в первый год службы, но определиться с политическими взглядами ему помогла воскресная школа, занятия в которой, как было уже сказано, он начал посещать в 1901 году.

К этому времени он уже старшина 1-й статьи, служит на крейсере «Минин». Кстати, несколько позже, по окончании курсов для баталеров, Новиков будет произведён в унтер-офицеры. Влияние воскресной школы на будущего писателя было огромно. Он никогда не забывал об этом и с революционным пафосом писал: «...из этой школы, как от прожектора, был направлен в мрак царского флота яркий луч знаний». Насколько Новиков-Прибой был благодарен её преподавателям, говорит тот факт, что в 1920-е годы, став уже известным писателем, он разыскал нескольких из них, поддерживал с ними постоянную связь, а тем, кто нуждался, оказывал материальную поддержку.

3 октября 1901 года в газете «Кронштадтский вестник» была опубликована небольшая статья без подписи, под заголовком «Начало занятий в воскресной школе». Начало статьи выдержано в строгом официально-деловом стиле:

«В воскресенье, 30-го сентября, в воскресной школе при Доме трудолюбия начались занятия.

Перед началом занятий, в 2 часа дня, священником А. Шильдским был отслужен молебен, на который собрались учащий персонал вместе с заведующим школой В. В. Ивашинцевым и учащимися. После молебна учащиеся были распределены по группам и размещены в обоих классах и в помещении канцелярии для занятий.

Всего учащихся записалось и принято около 150 человек; запись продолжалась и в день открытия школы, так как желающих заниматься много.

Все учащиеся разбиты на девять групп по возрасту и по степени знаний.

Возраст учеников колеблется от 10 до 55 лет; преобладающим элементом являются подростки от 13 до 16 лет. Взрослые составляют отдельный класс и в свою очередь разбиты на группы».

А дальше автор, увлекаясь, уже не может скрыть (хотя и старается) некоторой взволнованности по поводу радостного события и пишет: «Мотивов, побуждающих идти в школу и учиться, столько, сколько и душ!

Конечно, у всех на первом плане пополнение знаний, которые забыты, потеряны...

В воскресную школу не стыдно прийти взрослому неграмотному: здесь все равны, здесь ни один подросток не позволит себе посмеяться над пожилым человеком, пришедшим учиться азбуке и складам, и если не умом, так сердцем сумеет почувствовать всю духовную красоту этого стремления.

Идеальное стремление к знанию, жажда знаний также вовсе не чужды этой пёстрой толпе: она пришла сюда в надежде послушать хорошую умную книжку или живой рассказ об интересном предмете...»

Эту статью в «Кронштадтском вестнике» в своё время обнаружил исследователь творчества Новикова-Прибоя В. А. Красильников, он же и доказал, что она принадлежит перу матроса Новикова, являясь его первой публикацией[1].

Конечно, Новиков очень гордился тем, что его заметку напечатали в газете. «Товарищи, — вспоминал он впоследствии, — смотрели на меня как на чудо, они считали, что в газету пишут только господа». А в автобиографии, опубликованной в 1926 году, он по этому поводу писал: «Первая моя статья, в которой я призывал матросов посещать воскресные школы, была напечатана в “Кронштадтском вестнике”. Это меня окрылило. Я начал мечтать о литературной деятельности».

Изучение архива писателя, как пишет Красильников, подтверждает эту «окрыленность» матроса Новикова. Так, заметка «Начало занятий в воскресной школе» была опубликована в октябре 1901 года, а в ноябре 1902 года, как сообщал Алексей Новиков в уже упоминавшемся письме преподавателю воскресной школы И. Е. Герасимову, он работал над статьёй-рассказом «На баке военного корабля», в которой хотел «обрисовать жизнь матросов так, как она есть в действительности, то есть показать как хорошие, так и плохие стороны её». В это же время, как уже говорилось, написано «Письмо одного матроса к брату», а в 1903—1904 годах Алексей Новиков работает над рассказом о самоубийстве матроса Терпигорева, оставшимся незавершённым, и начинает рассказ, условно названный «О чёрте».

«Приподнято-наивный стиль», который отмечает В. А. Красильников в первой публикации А. Новикова, сохраняется и в другой статье, которая из-за её резко обличительного тона уже никак не могла быть опубликована, — «Эскизы о воскресной школе и кое-что о другом» (этот очерк, датированный

---

[1] *Красильников В. А.* Первая статья А. Новикова-Прибоя //Вопросы литературы. 1957. № 4.

18—20 января 1904 года, впервые был опубликован в 2007 году в сборнике «Победитель бурь»).

«Отверженный ученик воскресной школы», как подписан очерк, рассказывает о том, как осенью 1904 года к занятиям в школе не были допущены солдаты и матросы. Слушатели школы очень ждали её открытия ещё с сентября. И когда появилось объявление, что занятия начнутся 26 октября, автор «горел от нетерпения, не чая дождаться желанного дня». Настроение горящих желанием учиться матросов — светлое, приподнятое. Ему соответствует погожесть осеннего дня:

«День был, несмотря на позднее осеннее время, очаровательный, небо ясное, воздушное течение чуть-чуть заметно; игривые солнечные лучи уже не изнуряли вас своим зноем, как это бывает среди лета, а, обливая своим ярким, но мягким светом, как-то нежно ласкали. Само солнце, купаясь в небесной лазури, казалось, радостно трепетало, наполняя и вашу душу каким-то чувством радости, восторга. Умилительно и весело становится на душе в такое время. Мысли отрываются от всех земных пошлостей, к которым они почти всегда так прикованы, и парят в неведомую даль поднебесья». В такую погоду, как пишет автор, «хочется верить в Бога, хочется верить в его правду».

Собравшиеся у Дома трудолюбия, по мысли автора, «пришли сюда с одной лишь целью, а именно: просветить свой бедный ум, озарить светом свою тёмную душу и этаким образом открыть новые пути к добру и истине». Но путь «к добру и истине» был перекрыт неожиданным объявлением: «Матросы и солдаты сейчас же могут уходить домой, так как ни в каком случае в школу приняты быть не могут». И вот около сорока матросов, пришедших на занятия и не получивших никаких разъяснений по поводу отказа им в знаниях, понуро отправляются по экипажам. Разговоры их сводятся к одному: правителям не нужен просвещённый народ.

«Им вот наши руки, — говорит один из матросов, — наша сила нужна, да, а не грамота... Ладно, пусть пьют из нас кровь, пусть выжимают последние из нас соки да строят каменные хоромы и катаются на рысаках, но ведь придёт же когда-нибудь время, что этого ничего не будет, что будут на земле все грамотные. Тогда уже не обманет один другого. Нет, брат, шалишь. Только вот что я, братцы, думаю: и поругают тогда нас наше потомство, вот, скажут, дурачьё, вот ослы были, что терпели всё и...»

Но тут заговорил другой матрос:

«А теперь, братцы, послухайте меня, что я вам скажу. Пойдёмте-ка лучше с горя махнём по одной, другой, третьей, ну,

словом, и так дальше. А тогда, смотришь, можно пойти и в школу, но только совсем в другую, где наше вам почтение, и для нашего брата отказа нет... Прямо в объятие... А то тоже, лезем куда. Дома вить ошмётком щи хлебали, а тут, на-ко вот, захотели книжной премудрости. Где уж нам со свиным рылом да в калашный ряд лезть. Видно, как мы росли во тьме, так и сдыхать будем во тьме, вот что».

«Слушая эти, полные глубокой и грустной иронии слова, тоскливо становится на сердце, — пишет автор и размышляет о своих товарищах: — ...Я вполне уверен, что многие из них найдутся такие, которые поступят именно так, как говорил этот последний, т. е. "махнуть" по одной, махнуть по другой, третьей — и намахаются, как говорится, до чёртиков: после чего пойдут в другую школу, именуемую "домом разврата" или "публичным заведением", где примут их прямо в объятия. <...> ...так пропадают даром самые лучшие молодые силы, добрые энергии, благодаря которым сколько бы пользы можно принести на благо общества».

Эти печальные раздумья перерастают в обличение сытых и благополучных граждан:

«Наша интеллигенция часто жалуется на то, что им скучно жить, что им нечего делать. Мне кажется, было бы вернее, если бы они говорили, что им ничего не хочется делать и что они вовсе не нуждаются ни в каком деле, так как хорошо могут жить на готовые капиталы, унаследованные ими от своих предков. А то как можно говорить, что нечего делать, когда перед вами целые горы непочатого дела, пустуют целые поля плодородной почвы! На ваших глазах утопают люди в пороках, невежестве, пьянстве, а вы, не протягивая им руки помощи, лишь клеймите их своим презрением и, смотря на них с высоты своего величия да хлопая глазами, жалуетесь да плачете, как евреи у Иерусалимской стены, что вам нечего делать».

«Эскизы о воскресной школе...» были написаны в 1904 году и ясно передают настроения баталера Новикова — «политического», который успел уже к этому времени за свои взгляды побывать в тюрьме.

Вернёмся к истокам этих взглядов.

С Иваном Ефремовичем Герасимовым, студентом Петербургского университета, который преподавал в воскресной школе, а под именем Ивана Орешина часто публиковался в газете «Кронштадтский вестник», Алексей Новиков близко сошёлся буквально с самого начала их знакомства. Именно от него, а также от двух его сестёр, которые тоже преподавали в школе, Новиков стал в скором времени получать нелегальную политическую литературу. О том, как постепенно растёт об-

щий культурный уровень и как формируется политическое сознание бывшего тамбовского крестьянина, свидетельствует переписка матроса Новикова со своим учителем и наставником Герасимовым. Большое письмо, написанное в ноябре 1902 года, Алексей Новиков начинает так:

«Прежде всего, дорогой мой учитель, позвольте поздравить Вас с окончанием университетского курса...

По-моему, нет лучше, нет выше, нет чище той должности, как учительская, на которой трудно даже представить, насколько может быть доволен и счастлив человек, когда, понимая всю важность науки, он увидит, что семя, брошенное им в молодые сердца, обратилось в обильные плоды. Ни на каком служебном поприще нельзя так много служить на пользу человечества, как на педагогическом...

Каждое человеческое существо чувствует потребность в науке, но жаль, что эта великонравственная потребность при тяжёлых жизненных условиях парализуется, а вместо неё появляется другая, более низкая, как борьба за существование. У нас в России ещё много придётся положить труда, чтобы поставить всех на почву прогресса, восстановить в каждом потребность в науке, пробудить дремлющие сердца, так как сонным свет не нужен».

В своём исследовании творчества Новикова-Прибоя Л. Г. Васильев[1] сравнивает два письма, написанные почти одновременно. В письме родным от 5 сентября 1902 года заботливый и понимающий, чем утешить сердце матери, сын подробно рассказывает о своих хороших отношениях с «начальством». А в письме Герасимову Алексей Новиков признаётся: «В голове всё перепуталось и получился какой-то хаос. Весь смысл своей жизни я потерял. Ранее я работал, как вол, и ничего не рассуждал: для чего работаю, для чего живу и т. д. Теперь ко всему отношусь скептически, одного шагу не могу шагнуть без сомнения».

«Этот скепсис, — пишет Васильев, — был у Новикова началом патриархальных представлений, началом его перехода к революционному миропониманию». С этим утверждением невозможно не согласиться, и в этом убеждают нас не только другие строки из этого же письма, но и вся последующая жизнь баталера Алексея Новикова.

В письме Герасимову он продолжает рассуждать: «Куда идёт весь продукт труда нашего? Ранее я думал, что это всё так и надо и не может быть иначе, а теперь явилось какое-то со-

---

[1] *Васильев Л. Г.* Алексей Силыч Новиков-Прибой: очерк творчества. Саранск, 1960.

знание, и я вижу, что моим трудом злоупотребляют те, кому необходимо надо разукрасить свою грудь, плечи и т. д.».

«Какое-то сознание» толкало молодого матроса всё больше и больше погружаться в книги. «Дарвинизм», «Происхождение органического мира», «Доисторический человек»... А ещё Горький, Толстой... Это вам не «Бова Королевич»...

Прочитанное словно снимало пелену с глаз, но при этом воспринимать жизнь — сложную, многомерную, необъяснимую в своих противоречиях — становилось всё труднее. И книги не давали ответа на все вопросы, а рождали новые, погружая в манящую бесконечность знания, как в загадочную бесконечность Вселенной.

Через два года службы выпало матросу Новикову съездить домой на побывку. В «Цусиме» он напишет об этом так:

«Это было ранней осенью, когда зелень уже начала покрываться багрянцем и золотом. Моё появление в семье было праздником и для меня, и для моих родных. Все жители села приходили полюбоваться матросской формой, невиданной в наших краях: фланелевой рубахой с синим воротником форменки, брюками клёш навыпуск, серебряными контриками на плечах, атласной лентой, обтягивающей фуражку, золотой надписью — название корабля. Дети старшего брата, Сильвестра, а мои малолетние племянники и племянницы — Поля, Егор, Маня, Анета, Ваня, Петя — смотрели на меня с таким удивлением, как будто я свалился к ним с неба. И сыпались бесконечные вопросы: широкое ли море, какова его глубина, видел ли я в нём трёх китов, на которых держится земля, какой величины корабль, на котором я плавал. Я объяснял им, а они от изумления восклицали:

— Ой, ой! Месяц нужно плыть до берега!

— Вся колокольня наша может утонуть! Ух!

— Эх, вот так корабль! Всё село наше может забрать!

А моя мать помолодела от радости. Она каждый день наряжалась в платье, в котором ходила только в церковь. Я смотрел на неё и думал: “Где предел материнской любви?” Она прибегла для меня бутылку малинового сока, совала мне яблоки или горячие пышки. Но больше всего меня удивило её обращение со мной на “вы”. Я протестовал против этого, но она отмахивалась руками:

— Нет, нет, Алёша, и не говорите. Я ведь из Польши. Все правила знаю побольше, чем здешние женщины. А вы теперь вон какой стали. Ни в одном селе такого нет.

Она думала, что я нахожусь в очень больших чинах, и я никак не мог разубедить её в этом.

— Ах, господи, не дождался старик сына, помер. Что бы

ему ещё два с половиной годочка протянуть! Вот уж он был бы вами доволен...

Ласково, как отдалённый напев скрипки, звучал для меня её голос, а кроткие голубые глаза мерцали радостью».

Осенью 1902 года на Балтике образовалось два подпольных социал-демократических кружка. Участники одного из них собирались в Кронштадтской воскресной школе под руководством преподавателя Герасимова. Было бы странно, если бы Алексей Новиков — с его мятущейся душой, с его ярко выраженным стремлением бороться с любой несправедливостью, со всеми накопившимися вопросами — не примкнул к членам кружка.

И очень скоро, а именно в апреле 1903 года, баталер Новиков получил весьма «лестную» характеристику... в донесении Министерства юстиции о революционной пропаганде среди матросов Кронштадта Николаю II. В нём, в частности, говорилось: «В артиллерийском отряде выдающееся значение приобрел баталер Алексей Новиков, происходящий из крестьян Тамбовской губернии и занимавшийся до поступления на военную службу торговлей в деревне лесом и другими товарами. Означенный Новиков представляется заметно развитым человеком среди своих товарищей и настолько начитанный, что в беседах толково рассуждает о философии Канта...» В этом же донесении сообщалось, что Новиков получил от студента-революционера Герасимова для распространения «до 30 социалистических изданий». Имя Новикова упоминается и в секретном отношении министра внутренних дел Плеве морскому министру Авелану от 16 июня 1903 года, уже после того, как в марте наиболее активные члены кружка были арестованы:

«Герасимов прочёл группе, состоящей преимущественно из матросов, несколько произведений Некрасова. По поводу прочитанного стихотворения "Дедушка" одним из слушателей был возбуждён вопрос о том, кто такой упоминаемый в этом стихотворении ссыльный. Наиболее развитый квартирмейстер Новиков, ответив, что указанный ссыльный был декабристом, обратился к Герасимову с просьбой рассказать им что-нибудь о декабристах, что и было предметом последующей лекции того же студента».

Был арестован и баталер Новиков. Его под конвоем отправили из Кронштадта в Санкт-Петербург, где он в течение месяца находился в доме предварительного заключения.

В одном из ранних произведений «Письмо к родным» Алексей Новиков рассказал о своём пребывании в доме пред-

варительного заключения в Петербурге: «...прошла одна лишь неделя, а мне уже так надоело, что я, подобно Илюше (имеется в виду герой рассказа Горького «Трое». — *Л. А.*), готов был удариться головой о стенку, готов вдребезги разбить свой череп, лишь бы сразу избавиться от всех мук и страданий, переживаемых мною. А что будет, спрашивал я самого себя, со мною, если мне придётся пробыть в этих стенах, в этом проклятом каземате, полгода, а то, пожалуй, и целый год? И при такой мысли новое отчаяние охватывало меня, заставляя меня привести свои намерения в исполнение. Но в это время из глубины души моей слышался голос, говоривший мне обратное: "Погоди, потерпи, так как надежда не совсем ещё утеряна, а что ты хочешь сделать, то это можешь выполнить в любое время..." Я почувствовал прилив какой-то новой силы, заставившей меня встрепенуться».

Новикова обвиняли в распространении нелегальной литературы и агитации среди матросов. Однако литературы у него обнаружено не было, никто из товарищей показаний против него не дал, и за отсутствием улик он был освобождён и снова отправлен на крейсер «Минин».

Уже почти четыре года длилась служба баталера Новикова, оставалось ещё три. Немало... Но как раз для того, чтобы подготовиться к сдаче экстерном экзаменов за общеобразовательный курс и поступлению в университет. Алексей мечтал учиться на физико-математическом факультете. Но его ждали совсем другие университеты...

28 января 1904 года во всех российских газетах был опубликован царский манифест, гласящий:

«Мы, Николай Вторый, император и самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсониса Таврическаго, Царь Грузинский; Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский, Финляндский; Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский, Семигальский, Самогитский, Белостокский, Корельский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь и Великий Князь Новагорода, Низовския Земли, Черниговский, Рязанский, Полотский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея Северныя страны Повелитель; и Государь Иверския, Карталинския и Кабардинския земли и области Арменския, Черкасских и Горских князей и иных Наследник,

Государь и Обладатель; Государь Туркестанский; Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голстинский, Сторнмарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая и прочая.

Объявляю всем Нашим верным подданным:

В заботах о сохранении дорогого сердцу Нашему мира Нами были приложены все усилия для упрочения спокойствия на Дальнем Востоке.

В тех миролюбивых целях Мы изъявили согласие на предложенный японским правительством пересмотр существующих между обеими империями соглашений по Корейским делам. Возбуждённые по сему предмету переговоры не были однако приведены к окончанию, и Япония, не выждав даже получения последних ответных предложений Правительства Нашего, известила о прекращении переговоров и дипломатических сношений с Россией.

Не предуведомив о том, что перерыв таковых сношений знаменует собою открытие военных действий, Японское правительство отдало приказ своим миноносцам внезапно атаковать нашу эскадру, стоящую на внешнем рейде крепости Порт-Артура.

По получении о сём донесения Наместника Нашего на Дальнем Востоке, Мы тотчас же повелели вооружённой силой отвечать на вызов Японии.

Объявляя о таковом решении Нашем, Мы с непоколебимой верою в помощь Всевышнего и в твёрдом уповании на единодушную готовность всех наших верных подданных встать вместе с нами на защиту Отечества, призываем благословение Божие на доблестные наши войска армии и флота.

В 27 день января лета от Рождества Христова тысяча девятьсот четвёртое, царствования же Нашего десятое.

На подлинном Собственною Его Императорскаго Величества рукою подписано: Николай».

Так началась Русско-японская война.

Причины начавшейся войны уходили своими корнями в предыдущий век, когда явно обозначилось соперничество крупных мировых держав за дальневосточное наследство разваливающейся Китайской империи, а также Кореи.

В 1895 году Россия, Франция и Германия, обеспокоенные усилением Японии, объединившись, потребовали отказа Японии от аннексии Ляодунского полуострова. Япония уступила. Возвратом Ляодуна Китаю воспользовалась Россия, которая давно мечтала о незамерзающем порте на Востоке. И в 1898 году между Россией и Китаем была подписана конвенция, согласно которой России предоставлялись в аренду порты Порт-Артур и Дальний. Несколькими годами раньше Рос-

сия уже начала строительство железнодорожного пути через Сибирь к Тихому океану. К концу 1890-х годов железная дорога уже подошла к границам Китая, дальше прямое направление к океану, сокращавшее путь на 500 с лишним километров, шло через Маньчжурию, опять же принадлежавшую Китаю.

Осознание того, что Россия фактически отобрала у Японии захваченный в своё время у китайцев Ляодун и прочно обосновывается в Маньчжурии, привело к волне милитаризации Японии, особенно к усилению её военно-морских сил.

Не вдаваясь в подробности развития отношений между Россией и Японией (в них были замешаны и Англия, и США), можно сказать, что к началу XX века они были крайне обострены. Русские начали активно перебрасывать войска на Дальний Восток, но при этом российское правительство полагало, что война с Японией начнётся не ранее середины 1905 года. Эти расчёты не оправдались.

Уже начало войны было для России крайне неудачным: в первый же день, 27 января 1904 года, японскими миноносцами были выведены из строя сильнейшие порт-артурские броненосцы «Цесаревич» и «Ретвизан», а также крейсер «Паллада». А у Чемульпо после неравного боя с японской эскадрой русские моряки затопили крейсер «Варяг» (он уходил под воду с поднятым Андреевским флагом) и взорвали канонерскую лодку «Кореец», навсегда обессмертив мужеством и доблестью имена своих кораблей.

В начале марта в Порт-Артур командовать 1-й Тихоокеанской эскадрой прибыл вице-адмирал С. О. Макаров, пользующийся большим доверием власти и безграничным уважением подчинённых. Буквально в первые дни своего пребывания в Порт-Артуре он изменил ситуацию в эскадре: укрепил дисциплину, поднял дух моряков. Но случилось непоправимое: 31 марта броненосец «Петропавловск» с командующим на борту подорвался на японских минах. Вице-адмирал С. О. Макаров погиб. Это была невосполнимая утрата не только для флота, но и для всей России. Говорят, история не терпит сослагательного наклонения. Но русские моряки и сейчас, спустя столетие с лишним, уверены: был бы жив Макаров — не было бы горя и позора Цусимы.

17 апреля 1904 года[1] была образована 2-я Тихоокеанская эскадра Российского императорского флота или, как она называлась в официальных документах, 2-я эскадра флота Тихого океана; её командующим был назначен исполняющий

---

[1] Здесь и далее даты приведены по старому стилю.

должность начальника Главного морского штаба контр-адмирал Зиновий Петрович Рожественский. Первоначальной целью создания эскадры было усиление в связи с начавшейся Русско-японской войной 1-й эскадры флота Тихого океана, находящейся в Порт-Артуре и серьёзно уступающей в силах японскому флоту.

Летом ситуация на Дальнем Востоке крайне осложнилась. После подвоза к Порт-Артуру японской осадной артиллерии флот вынужден был прорываться навстречу пока только формирующейся на Балтике 2-й Тихоокеанской эскадре. Однако контр-адмирал Витгефт, назначенный после гибели Макарова командующим 1-й эскадрой, по неясным причинам отказался от прорыва быстроходными броненосцами без принятия боя с одновременным отвлекающим манёвром старыми кораблями. Прорыв силами всей эскадры, в том числе с неисправными броненосцами во Владивосток, предпринятый 28 июля, закончился сражением в Жёлтом море. После боя 1-я Тихоокеанская эскадра, по сути, перестала существовать как боевая единица, её командующий погиб. Корабли были сильно повреждены, некоторые из них разоружились в нейтральных портах. Надежда на воссоединение эскадр рухнула, стало очевидно, что имеющимися силами не только победить японцев, но даже удержать Порт-Артур и сохранить имеющиеся там русские корабли не удастся.

10 августа в Петергофе состоялось Особое совещание под председательством императора Николая II, в котором участвовали великие князья генерал-адмирал Алексей Александрович (именно в его ведении находились все военно-морские дела России) и Александр Михайлович, управляющий морским министерством вице-адмирал Ф. К. Авелан, министр иностранных дел граф В. Н. Ламсдорф, военный министр генерал В. В. Сахаров и командующий 2-й эскадрой контр-адмирал З. П. Рожественский. Согласно докладу командующего эскадрой приход её на Дальний Восток был возможен в конце января 1905 года при условии, что в плавание она выйдет 1 сентября 1904 года (по оценке штаба, на собственно переход требовалось 90 суток и ещё 60 суток на стоянки и погрузку угля). В связи с тем, что Порт-Артур к тому времени уже мог пасть (что и произошло в действительности) и тогда 2-й эскадре, сильно уступающей в силе противнику, да к тому же измотанной полугодовым плаванием, придётся самостоятельно пробиваться в ещё покрытый льдом Владивосток, некоторые участники совещания предлагали отложить выход до присоединения крейсеров, которые в то время пыталась приобрести Россия у Аргентины и Чили и которые существенно бы усили-

ли эскадру. Однако З. П. Рожественский настаивал на немедленной отправке эскадры, так как «немыслимо отпустить все зафрахтованные транспорты и вновь организовать позднее весь сложный организм снабжения эскадры в пути». Он считал, что эскадра должна дойти до Мадагаскара и ждать там планируемое подкрепление. Его точку зрения поддержал Ф. К. Авелан, сообщивший, что переговоры с южноамериканскими странами о продаже крейсеров идут успешно (хотя в итоге ни один корабль приобретён так и не был), а роспуск зафрахтованных иностранных пароходов-угольщиков принесёт большие убытки казне. В итоге совещание решило отправить эскадру осенью, дав ей для подготовки ещё полтора месяца. Во Владивосток её приход ожидался в марте 1905 года.

В начале сентября 1904 года Алексея Новикова вызвал командир крейсера «Минин» и сообщил, что он переводится на броненосец «Орёл». Что это значит, объяснять было не нужно: «Орёл» был включён в состав 2-й Тихоокеанской эскадры, которая в ближайшее время должна была взять курс на Восток.

— Путешествие тебе предстоит весьма интересное, — сказал командир. — Многое увидишь. С японцами повоюешь. А главное, есть возможность искупить то преступление, в которое, как я полагаю, ты впутался по своей темноте.

19 сентября 1904 года из Кронштадта «Орёл» отправился в Ревель (Таллин), где на рейде стояли все корабли 2-й Тихоокеанской эскадры, и присоединился к ним.

О расставании баталера Новикова с Кронштадтом автор «Цусимы» напишет: «Я долго стоял на кормовом мостике, уныло оглядываясь назад, на знакомые берега, на исчезающий вдали город. Прощай, Кронштадт!» Дальше, как было уже сказано, шло про мытарства. Но главная мысль этого фрагмента звучит так: «И всё-таки, если выйду живым из предстоящего сражения с японцами, я с благодарностью буду вспоминать об этом городе...»

«ЧТО С НАМИ БУДЕТ ДАЛЬШЕ — ПОКА НИЧЕГО НЕ ИЗВЕСТНО»

Впервые близко увидев броненосец «Орёл», баталер Новиков был поражён его размерами и мощью. В сравнении с крейсером «Минин» этот мрачный красавец казался великаном. Подробное его описание находим в первой книге «Цусимы» — «Поход»:

«Весь он был чёрный, закован в броню крупповской стали, с массой надстроек. На баке укрепилась грузно вращающаяся башня, из амбразур которой выглядывали два длинных дула двенадцатидюймовых орудий, другая такая же башня угрожала с кормы. Кроме того, ещё шесть башен расположились по бортам, с парой шестидюймовых орудий каждая. Главная разрушительная мощь заключалась именно в этой артиллерии. Двумя этажами ниже находилась батарейная палуба с 75-миллиметровыми скорострельными пушками, назначение которых было защищать броненосец от нападения миноносцев. Над палубой громоздились мостики: передний — в три яруса, с боевой рубкой, и задний — в два яруса. На них тоже были пушки, но уже совсем мелкие — 47-миллиметровые. Для того чтобы можно было в темноте разыскивать противника, мостики были вооружены ночными глазами электрических прожекторов. На середине судна возвышались две большие трубы, окрашенные в жёлтый цвет, с траурной каймой наверху. Между ними, на рострах, в специальных гнёздах находились минные и паровые катеры, баркасы, шлюпки. Фок-мачта и грот-мачта соединялись антенной радиоаппарата. На каждой мачте виднелся марс — круглая площадка, обнесённая железными листами, откуда хорошо наблюдать за приближением неприятельских судов».

В Ревеле потянулись напряжённые дни и ночи боевой подготовки. Некоторые недоделки на «Орле», недавно сошедшем со стапелей, исправляла группа рабочих. Один из них как-то осторожно заговорил с баталером о предстоящей войне. Говорил он намёками, но Новиков прекрасно его понимал и впол-

не с ним соглашался: «В каком же дурацком положении оказались мы, моряки, отправляющиеся на Дальний Восток! Если мы восторжествуем над японцами, то нанесём вред назревающей революции, необходимой для задыхающейся России, как свежий воздух. С другой стороны, мы не можем спокойно подставлять свои лбы под неприятельские снаряды. Наш проигрыш и наша гибель будут считаться позором, и над теми, какие вернутся с войны, будут смеяться:

— Вот они, моряки с разбитого корабля!»

Но размышлять даже над такими важными вещами было некогда: на «Орле» вовсю шла подготовка к царскому смотру. Всё мылось, драилось и начищалось до самого ослепительного блеска: по-другому у моряков не бывало (кстати, не бывает и сейчас).

26 сентября состоялся смотр.

Николай II, с бледным и будничным лицом, не соответствующим ни солнечному дню, ни нарядным, расцвеченным флагами кораблям, выступил перед выстроенной во фронт командой с краткой речью. «Он призывал нас отомстить, — пишет Новиков-Прибой, — дерзкому врагу, нарушившему покой России, и возвеличить славу русского флота». Говорил он без всякого подъёма, вяло, ибо ему приходилось повторять одно и то же на каждом корабле.

Рядом с государем стоял Зиновий Петрович Рожественский, «облачённый в полную свитскую форму, тот, который поведёт наши корабли на смертный бой. Массивные плечи его горели серебром контр-адмиральских эполет с вензелями и чёрными орлами. Широкая грудь сверкала медалями и звёздами. Брюки украшали серебряные лампасы. От левого плеча наискось к поясу перекинулась через грудь широкая анненская лента, переливая алым цветом шёлка, а с правого плеча свисали витые серебряные аксельбанты. Своей могучей фигурой он подавлял не только царя, но и всех членов свиты. В чертах его сурового лица, обрамлённого короткой тёмно-серой бородой, в твёрдом взгляде чёрных пронизывающих глаз запечатлелось выражение несокрушимой воли. Против своего обычая упрямо склонять голову, сейчас он сосредоточенно смотрел на царя, прямой, монолитный, как изваяние, и такой самоуверенный, что, казалось, никакие преграды не остановят его замыслов».

Был на «Орле» пёс, дворняга по кличке Вторник. «У него была большая любовь к морю. Он мог часами сидеть на юте или на заднем мостике и, словно поэт или художник, любоваться красотами водной стихии». Тянуло его, как всякого моряка, и на берег, но он очень боялся отстать от корабля и прекрасно знал все его шлюпки, а также всю команду.

На время посещения царя Вторника загнали в машинное отделение. Он с этим вполне смирился. Но в какой-то момент до его чутких ушей донеслась любимая им команда вахтенного начальника: «Катер к правому трапу!»

«Вторник, — читаем в «Цусиме», — сорвался с места и с привычной ловкостью понёсся по трапам наверх. Двери в машинное отделение были кем-то открыты, и он выскочил на верхнюю палубу. Первым делом, как это всегда бывает у собак, сорвавшихся с цепи или вырвавшихся на волю из конуры, Вторник сладко потянулся и встряхнулся всем телом. Потом он высоко поднял голову с торчащими ушами и огляделся. Видимо, ему хотелось разобраться: что здесь происходит, кто уезжает и за кем надо поспевать. Уже одно его появление здесь смутило судовое начальство. Но Вторник ещё больше накуролесил. Он увидел группу людей, направляющихся к знакомому трапу, и, обгоняя её, с радостным лаем пустился галопом по палубе. В этой напряжённой обстановке, когда в присутствии коронованного гостя и высших чинов флота люди как будто оцепенели и даже сдерживали дыхание, вольность движений собаки привела судовых офицеров в такой ужас, словно им угрожал немедленный провал в морскую пучину. Что-то страшное надвинулось на корабль — ведь Вторник в своём неудержимом порыве попасть на катер может столкнуть царя с трапа в воду. Что тогда будет? Командир, сгибая дрожащие колени, стал ниже ростом и приоткрыл рот, как будто хотел крикнуть и не мог. Старший офицер даже крякнул и для чего-то поднял к треугольной парадной шляпе и левую руку. Лейтенант Вредный втянул голову в плечи, словно на него замахнулись кувалдой. Растерялись и остальные офицеры: одни побледнели, у других задёргались губы. Можно безошибочно сказать, что перед каждым из них стоял один и тот же жуткий вопрос: из-за чего придётся пострадать? Из-за собаки, паршивой дворняжки. Вероятно, в это мгновение она возбуждала у судового начальства такую ненависть к себе, что участь её была решена: после смотра она с балластом на шее полетит за борт.

Великий князь Алексей Александрович, оглянувшись, укоризненно качнул головой Рожественскому, а тот, стиснув челюсти, посмотрел на офицеров таким уничтожающим взглядом, который как бы говорил:

— Ну, всем вам конец: разжалуют в матросы.

Царь в этот момент находился на нижней площадке трапа. Он только что хотел шагнуть на катер, как к его ногам кубарем скатился Вторник. Царь дёрнулся и, ухватившись за поручни, неловко изогнулся. Один из мичманов, стоявших на площад-

ке трапа в качестве фалрепных[1], оторопел, но другой не растерялся и, схватив Вторника за шею, крепко прижал его к себе. Всё это произошло в несколько секунд, и все ждали, что сейчас последуют страшные взрывы молнии и грома. Но царь, опомнившись, вдруг заулыбался и, погладив пса по спине, ласково промолвил:

— Ах, собачка. Какая милая собачка.

И шагнул на катер. Напряжённая атмосфера сразу разрядилась. Вся раззолоченная императорская свита, словно по команде, заулыбалась. Каждый из высших чинов, начиная с великого князя и кончая адмиралами, считал своим долгом, спустившись по трапу, погладить Вторника, и каждый приговаривал на свой лад:

— Удивительный пёс.

— Славная собака.

— У него исключительно умные глаза.

— Красавец, какого редко можно встретить.

И даже всегда мрачный Рожественский изобразил на своём суровом лице улыбку и, потрепав по спине Вторника, пробасил:

— Четвероногий моряк. Видать — патриот.

Оживилось и наше судовое начальство. Командир выпрямился, улыбнулся и стал выше ростом. Старший офицер опустил левую руку и браво выпятил грудь. Просияли и остальные офицеры, точно им предстояло получить высочайшую награду. Теперь каждый из них смотрел на собаку с таким восторгом, как будто она совершила выдающийся военный подвиг».

Только Вторник не радовался, а с недоумением смотрел на катер, не понимая, почему его туда на этот раз не пускают. Не понимал пёс и того, что он «удостоился такой великой монаршей милости, которая осчастливила бы любого человека» из команды броненосца.

Из Ревеля эскадра двинулась в Либаву. Здесь в большой суматохе прошли три дня: догружались углём, провизией.

Накануне отхода из Либавы Новиков выехал из порта в город. Захотелось побродить по улицам, заглянуть в магазины. Конечно, не прошёл мимо книжного: надеялся подкупить ещё что-нибудь с собой в плавание, хотя уже в Питере запасся основательно. Неожиданно встретил инженера с «Орла». Знал, что фамилия его Костенко, что по его проекту строился их броненосец и что Костенко этот, как говорили, сам напросился в поход, от которого многие бы с удовольствием отказались.

Костенко дружелюбно поздоровался с Новиковым, поин-

---

[1] Фалрепный — матрос, посылаемый с вахты подать фалреп — трос, заменяющий поручни у входного трапа.

тересовался, какие книги тот читает, и пригласил заходить к нему: библиотека у него с собой на корабле собрана большая.

Этот короткий разговор в книжной лавке положил начало совместной революционной работе и большой дружбе баталера Новикова и инженера Костенко, которому в своей «Цусиме» Новиков-Прибой даст другую фамилию — Васильев.

2-я Тихоокеанская эскадра покинула последний русский порт на Балтике, Либаву, 2 октября 1904 года.

Основную силу эскадры составляли два броненосных отряда. В первый (командир контр-адмирал З. П. Рожественский) вошли четыре новейших однотипных броненосца «Князь Суворов» (флагман), «Император Александр III», «Бородино» и «Орёл». Второй отряд (контр-адмирал Д. Г. Фелькерзам) составили недавно построенный, но довольно слабый, а главное, недостаточно защищённый по сравнению с другими русскими эскадренными броненосцами броненосец «Ослябя» (флагман) и два устаревших корабля — «Сисой Великий» и «Наварин», а также старый броненосный крейсер «Адмирал Нахимов».

Крейсерские силы эскадры (контр-адмирал О. А. Энквист) включали старый броненосный крейсер «Дмитрий Донской», бронепалубные крейсеры 1-го ранга «Олег», «Аврора» и «Светлана» и 2-го ранга «Жемчуг» и «Изумруд», небронированный крейсер-яхту «Алмаз» и вспомогательный крейсер «Урал»; позже к ним присоединились ещё несколько вспомогательных крейсеров.

В первоначальный состав эскадры входили также миноносцы «Буйный», «Бедовый», «Бравый», «Быстрый», «Блестящий», «Безупречный», «Бодрый», «Грозный», «Громкий», «Прозорливый», «Пронзительный» и «Резвый», плавучая мастерская «Камчатка», буксирный пароход «Русь» (бывший «Роланд»), несколько транспортов и госпитальное судно «Орёл».

По Балтике эскадру сопровождал ледокол «Ермак».

Из-за неготовности часть кораблей эскадры осталась на Балтике и образовала «отряд догоняющих судов» под командованием командира крейсера «Олег» капитана 1-го ранга Л. Ф. Добротворского.

К моменту выхода эскадры было уже очевидно, что дни 1-й Тихоокеанской эскадры сочтены: с 18 сентября японцы начали обстрел Порт-Артура и его гавани из 280-миллиметровых осадных орудий. Столь же очевидно было, что её сил для самостоятельного разгрома японского флота, насчитывавшего четыре достаточно современных для того времени броненосца и восемь броненосных крейсеров, не считая большого числа менее мощных кораблей, недостаточно.

С каким настроением отправлялись на Дальний Восток моряки 2-й эскадры? Если и были среди них такие патриоты, как Вторник, то их было совсем немного. Может, кто-то из молодых офицеров, мечтающих о дальних походах и красивой смерти «за царя и отечество»? Конечно, были и такие романтики. Но истинное состояние морального духа офицерского состава передают воспоминания одного из судовых священников: «Я был убеждён, что мы в силе не уступаем японцам. У нас нет только беззаветного желания отдать себя в жертву отечеству. Все мы идём не с пламенным желанием во что бы то ни стало победить, а потому что не идти нельзя, что нас "посылают"...»

Собственно, речь идёт о мотивации. Не было необходимости стоять «за царя и отечество», не было необходимости защищать родную землю, как, например, в 1812 году, когда поднялся весь народ от мала до велика. Тогда на войну не «посылали» — русские рвались драться с французами. Примеров тому множество, и все, кто читал «Войну и мир», их прекрасно помнят.

Как напишет А. С. Новиков-Прибой в «Цусиме», у подавляющего большинства рядового состава 2-й Тихоокеанской эскадры не было никакого желания воевать: «Хоть было бы за что воевать, а то за дрова. В разговорах, вопреки официальным сообщениям, всё чаще и чаще указывали как на причину войны борьбу за лесные концессии в Корее на реке Ялу, где были замешаны адмирал Абаза, Безобразов и высочайшие особы. Слух об этом давно уже начал проникать и на корабли. Даже среди отсталых матросов заколебался престиж власти, а война всё больше теряла свою популярность».

«Многие матросы, — пишет автор «Цусимы», — были призваны из запаса. Эти пожилые люди, явно отвыкнув от военно-морской службы, жили воспоминаниями о родине, болели разлукой с домом, с детьми, с женой. Война свалилась на них неожиданно, как страшное бедствие, и они, готовясь в небывалый поход, выполняли работу с мрачным видом удавленников. В число команды входило немало новобранцев. Забитые и жалкие, они на всё смотрели с застывшей жутью в глазах. Их пугало море, на которое они попали впервые, а ещё больше — неизвестное будущее».

7 октября 2-я эскадра подошла к мысу Скаген и стала на якорь для погрузки угля. Сопровождавший эскадру ледокол «Ермак» был отпущен обратно в Либаву, с ним из-за неисправностей ушёл и миноносец «Прозорливый» (после ремонта он также был включён в «догоняющий отряд»). После Скагена эскадра для прохода зоны балтийских проливов разделилась, однако ночью отряды перемешались.

В ночь на 9 октября произошло событие, которое впоследствии станут называть «гулльским инцидентом».

«В общих чертах, — пишет современный писатель-маринист В. Шигин, — события развивались так. Личный состав эскадры был постоянно ориентирован потоком информации на происки японцев. В ночь на 9 октября 1904 года в условиях плохой видимости и дождя в районе Доггербанки в Северном море, где всегда полно рыбачьих судов, промышляющих треску, подверглась минной атаке плавмастерская "Камчатка". Затем атакующих миноносцев заметили ещё с нескольких российских кораблей и открыли огонь. При стрельбе потопили несколько рыбачьих судов, среди которых прятались таинственные миноносцы, и поразили свою "Аврору". Англичане подняли вокруг случившегося страшный шум, грозя международным скандалом.

Эта господствующая до сих пор версия "гулльского инцидента" нашла широкое распространение и толкование в трудах большинства известных западноевропейских, американских и отечественных историков. Однако ряд специалистов придерживается другой версии, считая, что инцидент в Северном море мог быть специально спровоцирован Англией, которая у Доггербанки под прикрытием рыбачьей флотилии попыталась произвести несколькими своими миноносцами, проданными Японии, провокационный налёт на проходившую русскую эскадру. Цель этой провокации могла быть одна: задержать русскую эскадру в испанском порту Виго, а затем вернуть её обратно в Кронштадт».

Баталеру Новикову происшедшее увиделось и запомнилось следующим образом:

«В начале девятого часа плавучая мастерская "Камчатка" сообщила, что её атаковали японцы. Она входила в отряд контр-адмирала Энквиста и должна была находиться впереди нас по крайней мере миль на пятьдесят. Но у неё произошло какое-то повреждение в одной из двух машин, поэтому она отстала от своего эшелона и шла в одиночестве позади наших броненосцев.

Как после узнали, между "Камчаткой" и "Суворовым" произошёл по телеграфу такой диалог:

— Преследуют миноносцы, — сообщила "Камчатка".

— За вами погоня. Сколько миноносцев и от какого румба? — спросил "Суворов".

— Атака со всех сторон.

— Сколько миноносцев? Сообщите подробнее.

— Миноносцев около восьми.

— Близко ли к вам?

— Были ближе кабельтова и более. <...>

Боязнь перед возможностью нападения на нас японцев всё возрастала и так затуманила разум, что все потеряли способность здраво мыслить. <...>

Около полуночи наш отряд проходил Доггер-Банку — отмель в Немецком море, знаменитую обилием рыбы. На этой отмели всегда можно видеть рыболовные суда. Впереди нашего отряда взвились трёхцветные ракеты. "Суворов", приняв их за неприятельские сигналы, открыл боевое освещение, а вслед за этим с него грянули первые выстрелы. Его примеру последовали и другие броненосцы. Так началось наше "боевое крещение".

На "Орле" всё пришло в движение, как будто внутрь броненосца ворвался ураган. Поднялась невообразимая суматоха. Заголосили горнисты, загремели барабанщики, выбивая "дробь-атаку". По рельсам, подвозя снаряды к пушкам, застучали тележки. Оба борта, сотрясая ночь, вспыхнули мгновенными молниями орудийных выстрелов. <...>

Бой продолжался минут двенадцать. За такой короткий промежуток времени только с одного "Орла" успели, не считая пулемётных выстрелов, выпустить семнадцать шестидюймовых снарядов и пятьсот снарядов мелкой артиллерии.

Как после узнали, то же самое происходило и на других броненосцах. Не представлял собою исключения и флагманский "Суворов", где царил такой хаос, что сам адмирал принимал непосредственное участие в наведении порядка.

У нас оторвало дуло у 75-миллиметровой пушки.

Вскоре выяснилось, что с нашего отряда попало пять снарядов в "Аврору", пробив надводный борт и трубы. Двое были там ранены — легко комендор Шатило и тяжело священник Афанасий, которому оторвало руку (вскоре он умер). Но могло быть и хуже. Если бы мы стреляли умело и если бы наши снаряды разрывались хорошо, то в этой суматохе мы потопили бы сами часть своих судов.

Встретившись вскоре с инженером Васильевым, я сказал:

— Не совсем приятная история получилась, ваше благородие.

Он взглянул на меня карими глазами и, махнув рукой, недовольно буркнул:

— Вышли на потеху всему свету».

А вот что пишет по поводу «гулльского инцидента» в своей книге «Расплата» участник похода, член штаба Рожественского, капитан 2-го ранга В. И. Семёнов[1]:

---

[1] Трилогия В. Семёнова «Расплата» стала первым художественным произведением о Русско-японской войне в целом и о походе 2-й эскадры и Цусимском сражении в частности; с 1906 по 1913 год книги трилогии выдержали шесть изданий в России и были переведены на несколько иностранных языков.

«...лёжа на койке японского госпиталя в Сасебо, я узнал от товарищей, тоже раненых, но уже поправляющихся и свободно гулявших по госпиталю, что в соседнем бараке лечится от острого ревматизма японский лейтенант, бывший командир миноносца. В это время в Портсмуте (в Америке) уже начались переговоры, конечным результатом которых должно было явиться заключение мира на тех или иных условиях. Это всем было ясно, а потому наш сосед, вероятно, не находил нужным особенно секретничать относительно прошлого. Он открыто заявлял, что нажил свою болезнь за время тяжёлого похода из Европы в Японию.

— Ваша европейская осень — это хуже нашей зимы! — говорил он.

— Осень? — спрашивал его. — Какой же месяц?

— Октябрь. Мы, наш отряд, тронулись в поход в конце этого месяца.

— В октябре? Одновременно со второй эскадрой? Как же мы ничего о вас не знали? Под каким флагом вы были? Когда прошли Суэцкий канал?

— Слишком много вопросов!.. — смеялся японец. — Под каким флагом? Конечно, не под японским. Почему вы не знали? Об этом надо спросить вас... Когда прошли Суэцкий канал? Следом за отрядом адмирала Фелькерзама!

— Но тогда... не вы ли фигурировали в знаменитом "гулльском инциденте"?..

— Ха-ха-ха! Это — уж совсем нескромный вопрос!..

Больше от него не могли добиться никаких объяснений, но мне кажется, что и этого было достаточно. Тем более что в европейских газетах около того времени (октябрь — ноябрь 1904 г.) прорывались временами какие-то смутные сообщения о каких-то миноносцах, которые (в числе четырёх, построенных в Европе) идут на восток для усиления азиатской эскадры Северо-американских Соединённых Штатов...»

По мнению В. Шигина и других исследователей, тайна событий у Доггербанки не раскрыта и по сей день.

Следствием «гулльского инцидента» стала задержка первого броненосного отряда, с которым шёл транспорт «Анадырь», в испанском порту Виго, куда корабли прибыли 13 октября.

Сложившаяся ситуация в любую минуту могла разразиться войной с Англией. Как пишет В. Шигин, газеты неистовствовали, называя идущие на Восток русские корабли не иначе как «эскадрой бешеной собаки».

Россия предложила уладить инцидент цивилизованно и создать международную следственную комиссию. После того

как Англия приняла предложение[1], первый броненосный отряд 19 октября отбыл из Виго, а 21 октября прибыл в Танжер (Марокко), где уже находились другие корабли эскадры.

В тот же вечер броненосцы «Наварин» и «Сисой Великий» с крейсерами «Светлана», «Жемчуг» и «Алмаз» под общим командованием контр-адмирала Д. Г. Фелькерзама вышли из Танжера и отправились через Средиземное море и Суэцкий канал на Мадагаскар. Миноносцы ушли этим маршрутом раньше; отряд Д. Г. Фелькерзама соединился с ними 28 октября в бухте Суда на острове Крит. В период с 25 октября по 1 ноября туда пришли с Чёрного моря транспорты «Ярославль», «Воронеж», «Владимир», «Тамбов», «Киев», «Юпитер» и «Меркурий». 8 ноября отряд покинул Суду и, совершив по пути заходы в Порт-Саид и Джибути, 15 декабря пришёл в Носси-Бэ на Мадагаскаре.

Остальные корабли эскадры под командованием З. П. Рожественского вышли из Танжера 23 октября и пошли на Мадагаскар вокруг Африки, по пути посетив Дакар и несколько бухт на атлантическом побережье Африки.

Быстро проходили дни. Работы хватало всем, было её немало и у баталера Новикова, в основном бумажной: ведомости, отчёты. Но его интересовала жизнь корабля, и он старался во всё вникать.

Командовал броненосцем «Орёл» капитан 1-го ранга Николай Викторович Юнг. В самом начале своей службы он принадлежал к народовольческому морскому кружку в Кронштадте, за что был арестован и привлечён к дознанию, но вскоре его освободили и дали возможность искупить вину примерной службой. Будучи холостяком, он полностью посвятил свою жизнь флоту. Перед назначением на «Орёл» он командовал лучшим парусным крейсером «Генерал-адмирал Апраксин», имел огромный опыт больших океанских походов.

Новиков-Прибой так описывает своего командира:

«Этот среднего роста, ладно сложённый пожилой холостяк, как всегда, был аккуратно одет в новенькую тужурку, с золотыми двухпросветными погонами на плечах, в накрахмаленном воротничке безукоризненной белизны. Несмотря на порядочный возраст, он сохранил удивительную свежесть лица. Что-то располагающее было в его румяных щеках, в русой бороде, в приветливом взгляде синих глаз. Он запретил на судне мордобойство».

---

[1] Инцидент был окончательно исчерпан только в конце февраля 1905 года. Большую роль в этом сыграл член следственной комиссии от России адмирал Дубасов, о котором император потом говорил: «Дубасов предотвратил возможное столкновение с Англией и спас честь России!»

Опытный морской волк, порядочный человек и храбрый офицер, однако, не очень хорошо разбирался в новой флотской технике. В своих воспоминаниях «На “Орле” в Цусиме» инженер Костенко по этому поводу напишет:

«Юнг имеет большой опыт океанских плаваний на старых фрегатах с парусным вооружением, хорошо знает море, чувствует корабль, но всё, что находится ниже броневой палубы, его мало интересует и для него непонятно. <...> В его руках после плаваний на фрегатах с парусным вооружением оказался броненосец самого нового типа, к тому же ещё недостаточно испытанный и требующий от руководителя больших технических знаний. Между тем командир по старой привычке прирос к ходовому мостику. <...> Влияние командира на организацию жизни корабля постепенно сошло на нет. Вопросы обучения команды и боевой подготовки корабля целиком перешли в ведение старших специалистов, которые негласно принимают все ответственные решения, лишь формально санкционируемые командиром, без проверки и обсуждения их».

Во время похода командир Юнг, часто получавший выговоры от командующего эскадрой, проявлял большую нервность и горячность. «Многие думали, — пишет Новиков-Прибой в «Цусиме», — что при встрече с японцами он растеряется. Вопреки ожиданиям, он держался спокойно и не покидал своего поста...»

Но об этом разговор впереди...

Внимательный и, несмотря ни на что, романтически настроенный баталер Новиков при возможности с удовольствием обозревал океан, и зрительно-эмоциональная память его запечатлевала картины, которые потом появятся и в его морских рассказах, и в «Цусиме»:

«Под голубым веером неба дул ровный попутный пассат. Воды Атлантического океана загустели синевой, и по ним вслед за эскадрой катились волны, увенчанные белыми, как черёмуховый цвет, гребнями. Между ними, вспыхивая, жарко змеились солнечные блики. Кругом было безбрежно и пустынно. Наша эскадра, построенная в две кильватерные колонны, одиноко спускалась к южным широтам».

А вот другая зарисовка:

«По вечерам солнце скрывалось рано — часов в шесть. На смену ему, заливая простор пунцовым заревом, широко раскидывался крылатый закат. Но он, как всегда в тропиках, быстро уменьшался в размерах, тускнея, словно улетая в сторону Америки. И тогда в неизмеримых глубинах неба загорались крупные и яркие звёзды. Океан не отражал их, соперничая с небом собственными сокровищами — зыбучая поверхность,

развороченная ветром и нашими кораблями, сверкала россыпью сине-зелёных искр. Можно было целыми часами, не уставая, любоваться и грандиозными мирами, что мерцали в вышине, и бесконечно малыми существами, что фосфорически светились в воде».

Алексей Новиков начал вести дневник, продолжал много читать. Чтением его руководил теперь инженер Костенко, ставший для него не только наставником, но и настоящим другом.

Хорошие отношения сложились у Новикова и с лейтенантом Гирсом, и со старшим сигнальщиком Зефировым, и с боцманом Воеводиным, и с вестовым командира Назаровым (какие письма помогал сочинять ему Алексей для нежно любимой жены Насти!), и с гальванёром Голубевым... Пожалуй, только один человек вызывал у него отвращение — унтер-офицер Синельников. Оказалось, не зря. Именно Синельникову было поручено следить за неблагонадёжным баталером Новиковым.

В Индийском океане эскадра попала в страшный шторм. Ураган бушевал трое суток. Любопытный Новиков, не столь подверженный морской болезни, как многие на корабле, при первой возможности поднимался на верхнюю палубу посмотреть, что делается наверху. Там он неоднократно встречался с таким же беспокойным Костенко.

Только интерес у них был разный. Новикова гнали на палубу любопытство и всеядность художника, а Костенко — любознательность и педантичность учёного.

Из «Цусимы»:

«К вечеру я поднялся на задний мостик. Там встретился с инженером Васильевым. Он был весь мокрый и всё-таки не уходил вниз, под прикрытие. Этот человек всегда меня удивлял своей неуёмной жаждой всё познать. И теперь, прячась от брызг и ветра за рубку, он стоял с секундомером в руке, наблюдая за размахами бури.

Напор ветра настолько был силён, что затруднял дыхание. Руки инстинктивно за что-нибудь хватались. Казалось, что бушующий воздух подхватит нас и, крутя, понесёт в пространство, как пушинки. Даже высота мостика не спасала людей от брызг и клочьев пены.

Васильев окинул глазами взъерошенный океан и заговорил, выкрикивая слова:

— Какая сила растрачивается напрасно! Если бы человек сумел использовать всю энергию бури, что можно было бы с нею натворить!

По его расчётам, длина волны иногда доходила до пятисот

футов, а высота её равнялась сорока футам. "Орёл", содрогаясь, дыбился и лез на водяную гору, как фантастически огромный бегемот, а потом, перевалив через неё, бессильно нырял носом в разверзшуюся падь, задирая к небу корму. В одну минуту он переваливался с борта на борт восемь раз. Мало того, в течение той же минуты броненосец в миллион пудов весом поднимался шесть раз на высоту четырёхэтажного дома — и всё это с такой лёгкостью, как будто он не превышал тяжести детской люльки. Несмотря ни на что, он шёл вперед десятиузловым ходом. Вместе с ним и мы испытывали четырёхмерное движение. В это время чем бы человек ни занимался — думал ли он о жизни или смерти, мечтал о счастье или отчаивался, работал или спал, творил молитвы или ругался, — буря не переставала мотать его в разные стороны и шесть раз в минуту поднимать, как на лифте, вверх на сорок футов.

Васильев восторгался своим броненосцем:

— "Орёл" больше подвержен килевой качке, чем бортовой. Это объясняется тем, что он имеет форму заваленных бортов. Помогают тут ещё лучше и бортовые срезы. Волна, попадая на один срез, предотвращает размах судна в противоположную сторону. Все четыре однотипных броненосца — "Суворов", "Александр III", "Бородино" и наш — сконструированы в отношении бортовой качки довольно удачно. А вот "Ослябя" сделан по-другому, а потому и крен у него больше, чем у нас».

На четвёртые сутки море успокоилось. Эскадра два дня шла при благоприятной погоде. «На броненосце были открыты все иллюминаторы, люки, пушечные порты. Над ними тихо бродили редкие облака, радостно сияло солнце, лёгким дуновением ветра умерялась жара».

Во время похода много было разговоров о будущей стоянке у Мадагаскара. Ведь там отряд должен соединиться с отрядом адмирала Фелькерзама, который направился туда через Суэцкий канал. Туда же должны прийти крейсеры из России: «Олег», «Изумруд» и другие суда. А как обстоит дело с покупкой аргентинских и чилийских крейсеров? Держится ли осаждённый Порт-Артур и цела ли заблокированная в нём японцами 1-я эскадра?

Эскадра шла вдоль восточного берега Мадагаскара, постепенно приближаясь к нему. «Справа, — пишет Новиков-Прибой, — широким веером раскинулась заря, безмерно щедрая на цветистые краски, на затейливую игру тонов. Океан ещё не проснулся, но уже румяно заулыбался. В такие моменты, обласканный чудесной свежестью утра, ждёшь чего-то необыкновенного и смотришь на всё широко раскрытыми глазами. Вот радостно заструились, пронизывая душистый солёный

воздух, первые лучи солнца. Через минуту сразу всё изменилось: весь простор налился васильковой синью, зеркальная равнина расплавилась в косом блеске, вся в страстном и жарком трепете ослепительных бликов».

К Мадагаскару отряд подошёл до полудня 16 декабря. Корабли Фелькерзама были где-то рядом (но отряд Рожественского соединится с ними только через 11 дней в бухте Носси-Бэ), а вот госпитальное судно «Орёл» прибыло со своими неутешительными известиями в этот же день, в четыре часа пополудни.

Из почты, доставленной госпитальным судном «Орёл», З. П. Рожественский узнал о падении Порт-Артура и гибели 1-й Тихоокеанской эскадры. 20 декабря командующий был извещён о начавшейся на Балтике подготовке 3-й Тихоокеанской эскадры, которая должна была увеличить его силы, а 25 декабря пришла телеграмма с приказом ожидать на Мадагаскаре «догоняющий отряд». Последний под командованием капитана 1-го ранга Л. Ф. Добротворского вышел из Либавы 3 ноября. В его состав вошли бронепалубные крейсеры «Олег» и «Изумруд», вспомогательные крейсеры «Днепр» и «Рион», миноносцы «Грозный», «Громкий», «Пронзительный», «Прозорливый» и «Резвый», а также учебное судно «Океан». К эскадре этот отряд присоединится 1 февраля, однако три миноносца — «Пронзительный», «Прозорливый» и «Резвый» пришлось из-за постоянных поломок оставить в Средиземном море (последний дошёл до Джибути, но также был вынужден возвратиться).

Помимо «догоняющего отряда» по пути и во время стоянки на Мадагаскаре к эскадре присоединились вспомогательные крейсеры «Урал», «Терек» и «Кубань», а также несколько вспомогательных судов; в то же время 22 ноября из-за постоянных поломок в Россию был отослан транспорт «Малайя», на котором отправили серьёзно заболевших моряков.

Первый отряд 3-й Тихоокеанской эскадры под командованием контр-адмирала Н. И. Небогатова вышел из Либавы 3 февраля. В его состав входили старый броненосец «Император Николай I» (флагман), броненосцы береговой обороны «Адмирал Ушаков», «Адмирал Сенявин» и «Генерал-адмирал Апраксин», старый броненосный крейсер «Владимир Мономах», а также несколько вспомогательных судов.

Личный состав эскадры, до которого так или иначе доходили все новости, пребывал в угнетённом состоянии. Не поднимали боевой дух моряков и попавшие к ним старые (ноябрьские) газеты со статьями капитана 2-го ранга Н. Л. Кладо (кстати, он печатал эти статьи под псевдонимом Прибой).

В статьях был дан подробный анализ тактико-технических данных русских и японских кораблей, сравнение уровня под-

готовки экипажей и военно-морского командования. Вывод гласил: у русской эскадры нет шансов против японского флота. Жесточайшей критике были подвергнуты руководство флота и лично великий князь Алексей Александрович. Как видно из этого, перевес на стороне противника в предстоящем сражении будет большой. Кладо, прибегая к сравнению боевых коэффициентов того и другого флота, приходит к выводу, что на море японцы сильнее русских в 1,8 раза. В «Цусиме» устами баталера Новикова об этом рассказывается так:

«Когда я вслух прочитал такие строки, то один из слушателей произнёс:

— Пропадать нам!

Я продолжал читать статьи Кладо. Ему нельзя было не поверить. Его доказательства казались нам чрезвычайно логичными и неопровержимыми. В этих статьях, как выяснилось теперь, он ещё в ноябре предсказывал, что едва ли к нашему приходу на Дальний Восток удержится Порт-Артур. Мало того, он предупреждал и относительно того, что на помощь 1-й эскадры мы не должны рассчитывать. А теперь всё это сбылось: нет у нас больше ни Порт-Артура, ни 1-й эскадры. С безнадёжностью он говорит о владивостокском отряде крейсеров — "Громобое" и "России". По мнению Кладо, им трудно будет с нами соединиться и оказать нам во время схватки помощь. Значит, он и здесь окажется прав».

Голос Кладо, докатившийся до Носси-Бэ, за 12 тысяч морских миль, прозвучал для русских моряков набатом, предупреждая о наступающем бедствии. Вот что писал по поводу статей Кладо[1] в письмах своему отцу младший минный офицер броненосца «Суворов» лейтенант Вырубов: «Каков наш Кладо? Давно бы пора так пробрать наше министерство: подумайте, ведь в статьях Кладо нет и сотой доли тех мерзостей и того непроходимого идиотства, которые делало и продолжает делать это милое учреждение, так основательно погубившее несчастный флот. Если, даст Бог, мне удастся ещё с вами увидеться, я вам порасскажу много такого, чего вы, вероятно, даже при самой пылкой фантазии себе представить не можете...»

На что могли надеяться моряки 2-й эскадры? Отряд контр-адмирала Небогатова, который вышел к ним на подкрепление, нельзя было рассматривать как серьёзную силу.

Во время стоянки на Мадагаскаре (3 января эскадра была задержана на острове до особого распоряжения) занимались

---

[1] Капитан 2-го ранга Н. Л. Кладо был лишён всех званий и уволен со службы за две недели до цусимского боя.

боевой подготовкой. При этом стрельбы всей эскадрой были проведены единственный раз по неподвижным щитам: не было зарегистрировано ни одного попадания. После этого установилось общее мнение: на эскадре нет ни одного человека, начиная с самого адмирала и кончая последним сознательным матросом, который верил бы в успех безрассудной авантюры.

Во все времена подчинённые обсуждали своих командиров. И если было за что уважать, прощали слабости, преувеличивали достоинства — и возникал созданный общими усилиями положительный образ, вполне определённый, с редкими отступлениями в полутона: народ не любит неясности и расплывчатости. И, соответственно, наоборот: если уж кого-то не любили, то не любили до конца, не оправдывая ни в чём.

Командира эскадры Зиновия Петровича Рожественского прозвали «бешеным адмиралом», и было за что. Его выразительный и отталкивающий образ создаст в «Цусиме» Новиков-Прибой, опираясь далеко не только на впечатления баталера Новикова.

Один из общеизвестных фактов: к началу похода на «Суворове» имелся большой запас биноклей и подзорных труб, но при каждой вспышке гнева адмирал разбивал их то о матросские головы, то о палубу, а иногда просто выбрасывал за борт. А так как это происходило ежедневно, то ко времени стоянки у Мадагаскара на корабле почти не осталось никакой оптики. Рожественский послал на имя управляющего морским министерством телеграмму: «Прошу разрешения Вашего превосходительства о высылке Главным Гидрографическим управлением для надобностей эскадры: труб зрительных 50, биноклей — 100».

Чрезвычайную гневливость и безудержную вспыльчивость Рожественского испытывали на себе ежедневно и матросы, и офицеры. О том, как он обращался со своими вестовыми, подробно рассказывается в «Цусиме», в главе «Адмиральский вестовой».

В частных письмах офицеров встречались такие характеристики Зиновия Петровича:

«Озлобление Рожественского было неописуемо. Когда это с ним бывает, он выскакивает на палубу, и сперва из груди его, как у зверя, вырываются дикие звуки: "у-у-у-у..." или "о-о-о-о". Присутствующим кажется, что этот рёв должен быть слышен на всей эскадре. А затем начинается отборная ругань» (инженер-механик Михайлов с броненосца «Наварин»);

«...невидимое для нас бешенство Рожественского делается ощутительным, ибо и день и ночь работают телеграф и семафоры беспрерывно. Редко мачты "Суворова", хотя на не-

сколько минут, остаются без сигналов флагами — и почти исключительно выговоры и угрозы, выговоры и угрозы» (лейтенант барон Косинский, старший флаг-офицер штаба контр-адмирала Фелькерзама на броненосце «Ослябя»).

Подобных примеров можно привести достаточно много. Но чаще всего цитируют известный фрагмент из письма лейтенанта Вырубова:

«На других кораблях адмирал не бывал с ухода из России... Командиров и офицеров считает поголовно прохвостами и мошенниками. Адмирал продолжает самодурствовать и делать грубые ошибки... Это продукт современного режима, да ещё сильно раздутый рекламой. Карьера его чисто случайного характера. Может быть, он хороший придворный, но как флотоводец — грош ему цена».

Забегая далеко вперёд следует сказать о том, что в последнее время появилось множество публикаций и книг, оправдывающих Рожественского и, соответственно, обвиняющих всех, кто посмел очернить адмирала, то есть прежде всего — А. С. Новикова-Прибоя. Например, в книге И. Л. Бунича «Мученик Цусимы» многочисленные нелестные отзывы о Рожественском офицеров 2-й эскадры Бунич объясняет тем, что командующий предъявлял к ним разумные требования по повышению боеготовности кораблей, а они в ответ обижались на него. И называет прежде всего лейтенанта Вырубова.

В сражении при Цусиме лейтенант Вырубов погибнет. Он откажется покинуть флагманский броненосец, который японцы расстреливали почти безнаказанно. Ибо Рожественский практически не руководил боем. Покидая «Князя Суворова», раненый адмирал передаст командование остатками разгромленного русского флота Н. И. Небогатову. Контр-адмирал Небогатов, получив этот второй (!) за всё время совместного плавания приказ Рожественского и убедившись в безвыходности ситуации, ночь спустя сдаст уцелевшие корабли в плен.

Итак, о Рожественском. Вполне закономерно, что к созданному в романе Новикова-Прибоя образу адмирала относились по-разному в те годы, когда появился роман, и позднее, когда в России наступила грандиозная переоценка ценностей.

В 1932 году, сразу после выхода первой редакции «Цусимы», критик В. Бойчевский в журнале «Земля советская» (№ 10) писал:

«Полнокровным дан образ адмирала Рожественского. “Бешеный адмирал”, самодур, подавлявший инициативу всего командного состава, изображён как лицо, типичное для правящей верхушки царской России. Грозная, боевая внешность,

монолитная, несокрушимая твёрдость всей фигуры, прикрывающая полную ограниченность ума и бездарность как полководца, — эти черты заставляют вспомнить определение царской России как “колосса на глиняных ногах”».

Практически все послеперестроечные публикации, посвящённые «Цусиме», обвиняют Новикова-Прибоя и в искажении личности Рожественского, и, мягко говоря, в необъективности по отношению к другим офицерам эскадры. Упрёки эти, прямо скажем, порой оправданны. Новиков-Прибой иногда, увлекаясь, сгущает сатирические краски. Но в защиту писателя хотелось бы сказать следующее: изображая личные пороки (гипертрофируя их — это да) Рожественского, а также показывая его ошибки как флотоводца, Новиков-Прибой отнюдь не брал это с потолка. И свидетельств тому, каков был Рожественский в гневе (прозвище «бешеный адмирал» ему придумал не Новиков-Прибой, оно было в ходу и среди офицеров, и среди матросов), и тому, что громадная доля вины в поражении русского флота при Цусиме лежит именно на Рожественском, более чем достаточно.

Затянувшаяся стоянка на Мадагаскаре пагубно сказалась на моральном климате всей эскадры. В. Семёнов пишет по этому поводу: «После 8 февраля, т. е. по присоединении к нам “Олега”, “Изумруда”, “Днепра”, “Риона”, “Громкого” и “Грозного”, общее недовольство бесцельной, а по мнению многих — и прямо вредной, стоянкой начало проявляться настолько резко, что адмирал оказался вынужденным нарушить своё молчание и в собрании флагманов и капитанов (не всех, но лишь старших) прочесть телеграмму № 244, полученную им ещё в половине января, и свой ответ на неё...

Телеграмма № 244 указывала, что после падения Порт-Артура и гибели 1-й эскадры на 2-ю возлагается задача огромной важности: овладеть морем и тем самым отрезать армию противника от сообщения с метрополией; если эскадра (по мнению её начальника) в настоящем составе не в силах осуществить этой задачи, то ей без малейшей задержки, как только обстоятельства позволят, будут высланы в подкрепление все боевые суда, оставшиеся в Балтийском море. В заключение адмирал запрашивался о его планах и соображениях.

З. П. Рожественский ответил: 1) что с теми силами, которые находятся в его распоряжении, *он не имеет надежды овладеть морем*; 2) что отряд старых, неисправных и частью по самой постройке неудачных судов, который намереваются послать ему в виде подкрепления, *послужит не к усилению эскадры, а к её обременению*; 3) что единственный план, представляющийся ему возможным: *попытаться с лучшими силами*

прорваться во Владивосток и оттуда действовать на пути сообщения неприятеля (курсив В. Семёнова. — *Л. А.*).

Сколько помнится, было добавлено ещё несколько слов о пагубном влиянии продолжительной стоянки на Мадагаскаре как в смысле истощения физических сил, так и в отношении духа личного состава».

Итак, адмирал считал в данных условиях поставленную задачу практически невыполнимой. Уже после войны он писал: «Будь у меня хоть искра гражданского мужества, я должен был бы кричать на весь мир: берегите эти последние ресурсы флота! Не отсылайте их на истребление! Но у меня не оказалось нужной искры».

Командир броненосца «Орёл» капитан 1-го ранга Юнг был одним из тех старших офицеров, кто заранее предвидел печальный конец 2-й эскадры. Но, будучи человеком замкнутым, переживал грядущую трагедию в одиночестве.

28 декабря 1904 года Николай Викторович Юнг писал своей сестре с Мадагаскара:

«Что с нами будет дальше — пока ничего не известно. Моё личное мнение, что как было безумно отправлять нашу сравнительно слабую силу из Кронштадта, так и теперь безумно посылать дальше, когда весь наш флот на Востоке уничтожен и мы ничего сделать не можем с нашими старыми судами, которые взяты для счёта, за исключением пяти новых броненосцев. Это слишком мало, чтобы иметь перевес над японцами и их отрезать. Вот к чему привела наша гнилая система — флота нет, а армия тоже ничего не может сделать...»

Из письма от 2 января 1905 года:

«Вот действительно будет истинное счастье для бедной России, когда закончится война, так бессмысленно начатая благодаря слабоумию и недальновидной политике. Как было больно и жалко смотреть и слушать нашего принципала, провожавшего нас в Ревель и говорившего, что мы идём сломить упорство врага и отомстить за “Варяга” и “Корейца”. Сколько в этих словах и детского, и наивного, и какое глубокое непонимание серьёзности положения России...»

Из письма от 2 марта:

«Надо признать, что кампания проиграна и бесполезно продолжать её. Это не простая победа японцев, а победа грамоты над безграмотностью: в Японии нет ни одного человека неграмотного, тогда как Россия одна из самых неграмотных стран...»

Команды кораблей на глазах разлагались. Например, на Масленицу в машинном отделении на «Орле» устроили пир, где главной закуской к рому была жареная свинина.

На следующий день матрос-скотник доложил капитану 2-го ранга Сидорову, что с корабля исчезла свинья. Сейчас же были вызваны на верхнюю палубу оба младших боцмана — Павликов и Воеводин.

«Они стояли, — читаем в «Цусиме», — перед старшим офицером, вытянувшись и беззастенчиво пожирая его глазами, а тот допрашивал:

— Как вы думаете, куда она могла пропасть?

— Не могу знать, ваше высокоблагородие, — ответил Павликов, плохо соображая от выпитого ночью рома.

— Ну а ты что, Воеводин, скажешь?

Воеводин, меньше страдая с похмелья, моментально что-то смекнул и ответил таким серьёзным тоном, какой не вызывает никаких сомнений:

— Не иначе как за борт прыгнула, ваше высокоблагородие.

— До сих пор она не прыгала, а теперь прыгнула? И что ей за бортом делать?

Воеводин и на это ответил:

— Должно быть, спросонья, ваше высокоблагородие. Иногда случается, что и матрос так сваливается в море. Вы сами знаете, как это бывает. А может быть, захотела удрать с корабля, пока её не съели. Свинья — это самое хитрое животное.

Старший офицер даже взглянул за борт и смерил глазами расстояние от корабля до берега.

— Это правильно, ваше высокоблагородие, — спохватившись, подтвердил и Павликов. — Я их сотни имел у себя на родине, свиней-то. Ну до чего пакостная тварь, просто беда! Какую угодно крепкую городьбу шлюшкой своей разворочает. Любая река ей нипочём — переплывёт».

Одним из самых напряжённых и неприятных событий на «Орле» стало неповиновение команды, которая на Пасху отказалась от обеда, приготовленного из непригодной для еды говядины. Назревал самый настоящий бунт. И Рожественский лично прибыл на корабль для усмирения «изменников» и «мерзавцев». Как всегда, в гневе он был страшен, грозился расстрелять «Орёл» всей эскадрой, потрясал кулаками, выкрикивал самые непристойные ругательства и был похож на буйнопомешанного. Восемь матросов были арестованы и отконвоированы на транспорт «Ярославль», который заменял плавучую тюрьму.

Случались на «Орле» и другие события — порой очень трогательные.

Однажды ранним утром старший сигнальщик Зефиров полез в ящик с запасными флагами и обнаружил там малюсенького цыплёнка, который, очевидно, не так давно вылупился:

рядом лежала яичная скорлупа. Дело в том, что Зефиров припрятал для себя три десятка яиц, купленных у туземцев. Периодически подкрепляясь, он, очевидно, не заметил, как одно яйцо завалилось за флаги.

Это было совершенно удивительно:

«Новорождённый успел высохнуть и жёлтым пушистым шариком неуверенно стоял на розовых, почти прозрачных ножках. Ослеплённый дневным светом, он жалобно пищал, быть может, призывая свою мать. Зефиров нагнулся над ним и заулыбался от умиления. Потом он осторожно положил цыплёнка на ладонь и понёс его к вахтенному начальнику.

— Вот, ваше благородие, чудо какое.

Лейтенант Павлинов, сдвинув чёрные брови, строго спросил:

— Это что значит?

Но, когда узнал от старшего сигнальщика, в чём дело, сам не мог удержаться от улыбки. Зефирова обступили рулевые и младшие сигнальщики, с удивлением рассматривая его находку. Лейтенант Павлинов сообщил по телефону новость в кают-компанию. Офицеры гурьбой повалили на передний мостик. Сюда же пришли старший офицер Сидоров и сам командир броненосца Юнг. Зефиров, чувствуя себя героем дня, с увлечением рассказывал, каким образом цыплёнок мог вылупиться из яйца. Офицеры удивлялись, по-разному выражали свой восторг:

— Чудесное явление!

— Восхитительно!

— Какое умилительное существо!

Командир Юнг ласково сказал:

— Семья наша на одну душу увеличилась.

Старший офицер Сидоров, расправив седые усы, добродушно добавил:

— Это, Николай Викторович, к счастью.

Даже лейтенант Вредный и мичман Воробейчик, глядя на цыплёнка, растрогались и подобрели.

На мостик началось паломничество команды: поднимались не только строевые матросы, но и машинисты, и кочегары. На небольшой площадке они не могли все поместиться. Вахтенный начальник гнал их обратно, а они умоляли:

— Ваше благородие, цыплёнок, говорят, народился без наседки.

— Нам только разок взглянуть на него».

«Начальство с трудом разогнало команду на работы, — вспоминая об этом эпизоде, пишет Новиков-Прибой. — Но в этот день во всех отделениях корабля разговор шёл только о цыплёнке. Мы не могли забыть о нём. Может быть, он потому

так взволновал нас, что был слишком мал и беззащитен среди этого огромного царства железа и мощных механизмов, самодвижущихся мин, башенных и бортовых орудий, тысяч взрывчатых снарядов. Правительство хотело, чтобы мы поддержали на поле брани опозоренную честь Российской империи. Но теперь никто уже об этом не думал, как и о своём безотрадном существовании. Цыплёнок, словно родное и самое любимое детище, заполнил всё наше сознание».

У Зефирова не было времени возиться со своей находкой, и он подарил цыплёнка рулевому Воловскому, которого тот сразу окрестил Сынком и стал о нём неустанно и нежно заботиться: смастерил клетку, кормил кашей, размоченным белым хлебом, крошёным желтком. Каждый матрос, бывая на берегу, считал своим долгом принести Сынку каких-нибудь личинок-червячков. Цыплёнок рос, осваивался на корабле: его часто выпускали погулять по палубе. Команда была горда: у них был не только свой пёс Вторник, но и свой будущий красавец петух. Но однажды случилось несчастье. Сынок, сидя на ручке штурвала, вдруг перелетел на открытый кипящий чайник и свалился в него.

Горевали все. Новиков-Прибой пишет: «Мы стояли долго, мрачные и подавленные, словно потеряли не цыплёнка, а целый корабль с его населением».

И дальше:

«Кто разгадает изломы человеческой души? Нас гнали убивать людей, и сами мы вместе с эскадрой были обречены на неминуемую гибель. Но всё это как будто ожидало не нас, а каких-то иных, незнакомых нам людей. А сейчас мы не могли без мучительной скорби смотреть, как рулевой Воловский стал зашивать мёртвого цыплёнка в парусину, а потом привязывать к его ногам кусок железа, чтобы погрузить за борт нашу недавнюю радость».

3 марта 1905 года эскадра вышла из Носси-Бэ и через Индийский океан направилась к берегам Французского Индокитая. В это время моряки уже знали и о революционных событиях, захлестнувших Россию после Кровавого воскресенья, и о сокрушительном поражении русской армии под Мукденом...

В книге «Цусима — знамение конца русской истории» её автор Борис Галенин утверждает: «Можно смело сказать, что после Мукденского сражения с Японией воевала уже не Российская империя, а только брошенная на произвол судьбы 2-я Тихоокеанская эскадра».

В бухту Камрань (на побережье современного Вьетнама),

контролируемую французами, корабли З. П. Рожественского прибыли 31 марта.

В дальнейшем эскадра то стояла в бухте, то выходила за пределы французских территориальных вод, создавая видимость соблюдения международного права; впрочем, французы смотрели на постоянные нарушения сквозь пальцы, и только давление японских дипломатов заставляло их время от времени напоминать о них русскому адмиралу. Так, с 9 по 13 апреля в ответ на просьбу французских властей покинуть их воды боевые корабли эскадры держались в море, а транспорты стояли в бухте. 13 апреля эскадра перешла в бухту Ван-Фонг, где пробыла до 19 апреля. По получении 20 апреля очередного требования французов освободить бухту русские корабли покинули французские территориальные воды, но через сутки, 21 апреля, вновь вернулись туда же.

26 апреля к эскадре З. П. Рожественского, находящейся неподалёку от побережья, присоединился отряд Н. И. Небогатова. По этому поводу читаем у Семёнова: «Присоединение к эскадре отряда небогатовских “самотопов” (как их называли люди, на них служившие) уже не подняло новой волны энтузиазма, не дало нового импульса к победе духа над физической усталостью... В моём дневнике подробно описана эта встреча. Торжественно. Почти до слёз. Все радовались, ликовали. Но в чём была основа радости, ликования? “Мы стали сильнее; пойдём, уничтожим дерзкого врага!” Так, что ли? Нет! Не это! Так, может быть, думали герои, восседавшие на мягких креслах под шпицем адмиралтейства и совершавшие боевые походы между Петербургом и Кронштадтом...

Не то было на эскадре. Нет!.. В 3 ч. дня 26 апреля, когда отряд Небогатова присоединился к нам, все радовались, все поздравляли друг друга, но... не с прибавкой сил, не с укреплением надежды одолеть неприятеля, а с предвидением скорого разрешения томительного ожидания... “Наконец-то!”

Если бы вместо отряда Небогатова появилась в виду нас японская эскадра — возможно, что её встретили бы с не меньшей, если не с большей радостью.

Таково было настроение».

1 мая эскадра покинула берега Индокитая и направилась во Владивосток. По всей вероятности, никакого определённого плана почти неизбежного боя у З. П. Рожественского не было; во всяком случае, ни командиры кораблей, ни даже младший флагман контр-адмирал Н. И. Небогатов ознакомлены с замыслом командующего не были. Практически единственное распоряжение непосредственно по поводу боя касалось действий эскадры при выходе из строя флагманского

броненосца: в этом случае адмирала и его штаб должны были снять миноносцы «Бедовый» и «Быстрый» и доставить на другой корабль, а пока командующий не мог управлять эскадрой, её должен был вести первый из уцелевших броненосцев.

У эскадры Рожественского было три варианта пути к Владивостоку: через Корейский, Сангарский или через Лаперузов проливы. Каждый из них был по-своему опасен. Но Корейский, а именно его Восточный проход (который во многих источниках, в том числе в романе Новикова-Прибоя, называется Цусимским проливом) таил в себе наибольшую опасность. Это очень убедительно докажет впоследствии в своих письменных показаниях следствию бывший контр-адмирал Небогатов, подробно объясняя, какие огромные тактические преимущества имел японский флот в Восточном проходе Корейского пролива, вблизи своей главной базы, где незамеченными русские корабли пройти никак не могли. Адмирал Рожественский выбрал именно этот путь.

«...СВОЮ ДОБЫЧУ СМЕРТЬ СЧИТАЛА»

О Цусимском сражении не только русскими, но и зарубежными историками и военными специалистами написано так много, что не утонуть в этом море фактов, размышлений, дискуссий (острота которых, как это ни удивительно, не ослабевает по сей день) представляется совершенно невозможным. Фанаты исторической справедливости и знатоки флота легко оперируют названиями кораблей; они не только фотографически точно держат в памяти диспозиции русского и японского флотов в определённые часы, но и готовы поминутно расписать положение кораблей той и другой стороны.

Когда создаются подробные хроники войн и отдельных баталий, на первое место в них выступают цифры и факты. Живые люди, даже если и звучат их фамилии, остаются за кадром. Они остаются за кадром со своими безрассудством, храбростью, ошалелостью, трусостью, болью, оторванными руками и ногами. Историкам это неинтересно. Им важны расстановка сил, ход боевых действий, результат. Ну и ещё причины, о которых они могут спорить веками.

Увидеть человека среди неразберихи, огня и дыма, понять, что он чувствует и чувствует ли вообще, может только другой человек, который волею судьбы попал сюда же, в этот ад кромешный, и судьбой опять же ему были дарованы как сама жизнь, так и способность рассказать о виденном. И значит, мы, потомки, сможем не только узнать из учебников истории о происходящем когда-то событии, но и *увидеть*, как это было, и *ощутить* кожей своей и нервами эйфорию схватки и тупую обречённость в ней, радость спасения и ужас смерти — всё, что испытали те, кто был *таким же*, как мы, со своими достоинствами и недостатками, надеждами и любовью, но оказался *там и тогда*.

Вот один из фрагментов второй книги — «Бой» — романа А. С. Новикова-Прибоя «Цусима»:

«В бортах "Орла", не защищённых бронёй, число пробоин

всё увеличивалось. Хотя все они были надводные, в них захлёстывали волны. Вода разливалась по батарейной палубе, попадая иногда через разбитые комингсы в нижние помещения. Пробоины с разорванными и кудрявыми железными краями, загнутыми внутрь и наружу судна, немыслимо было заделать на скорую руку. А японские снаряды не переставали разрушать корабль. При каждом ударе разлетались по судну, как брызги, тысячи раскалённых осколков, пронзая людей и предметы.

На нижнем носовом мостике с грохотом вспыхнуло такое ослепительное пламя, как будто вблизи разразилась молнией грозовая туча. В боевой рубке никто не мог устоять на ногах. Полетел кувырком и старший сигнальщик Зефиров. После он и сам не мог определить, сколько времени ему пришлось пробыть без памяти. Очнувшись, он поднял крутолобую голову, и в онемевшем мозгу первым проблеском мысли был вопрос: жив он или нет. Со лба и подбородка стекала кровь, чувствовалась боль в ноге. Зефиров осмотрелся и, увидев, что лежит на двух матросах, быстро вскочил. Поднимались на ноги и другие, наполняя боевую рубку стонами и бестолковыми выкриками. У некоторых было такое изумление на лицах, будто они ещё не верили в свое спасение. Стали на свои места писарь Солнышков, раненный в губы, и сигнальщик Сайков с ободранной кожей на лбу. Дальномерщик Воловский медленно покачивал расшибленной головой, глядя себе под ноги. Строевой квартирмейстер Колосов с раздувшейся скулой опёрся одной рукой на машинный телеграф и тяжело вздыхал. Старший офицер Сидоров, получивший удар по лбу, почему-то отступил в проход рубки и, силясь что-то сообразить, упорно смотрел внутрь её. Лейтенант Шамшев хватался за живот, где у него застрял кусок металла. Боцманмат Копылов и рулевой Кудряшов заняли место у штурвала и, хотя лица обоих были в крови, старались удержать судно на курсе.

Не все поднялись на ноги. Лейтенант Саткевич был в бессознательном состоянии. Посреди рубки лежал командир Юнг с раздробленной плечевой костью и, не открывая глаз, командовал в бреду:

— Минная атака... Стрелять сегментными снарядами... Куда исчезли люди?..

Рядом с ним ворочался его вестовой Назаров: у него из раздробленного затылка вывалились кусочки мозга. Раненый что-то мычал и, сжимая и разжимая пальцы, вытягивал то одну руку, то другую, словно лез по вантам. Железный карниз, обведённый ниже прорези вокруг рубки для задерживания осколков, завернуло внутрь её. Этим карнизом перебило до по-

звоночника шею одному матросу. Он судорожно обхватил ноги Назарова и, хрипя, держался за них, как за спасательный круг. <...>

Первым был доставлен в операционный пункт капитан 1-го ранга Юнг. Когда его несли, он был ранен в третий раз. Осколок величиной в грецкий орех пробил ему, как определил старший врач, печень, лёгкие, желудок и застрял в спине под кожей. Быстро извлечённый осколок оказался настолько горячим, что его нельзя было удержать в руках. Командир, пока ему перевязывали раны, продолжал выкрикивать в бреду:

— Право руля... Почему ход убавили?.. Передайте в машины — девяносто оборотов...»

Книга «Бой» последовательно и точно (и это уже не только заслуга автора, но и серьёзный вклад в Цусимскую эпопею сотен оставшихся в живых и опрошенных им участников битвы) восстанавливает картину сражения, начавшегося 14 мая 1905 года и закончившегося к вечеру следующего дня полным разгромом русской эскадры.

Не вдаваясь в тактические подробности и детали боя (много раз описанного специалистами, которые по сей день спорят, например, об ошибочном манёвре Того в самом начале сражения и о растерянности и безволии Рожественского, имевшего четверть часа для того, чтобы воспользоваться ситуацией, и не сделавшего этого), проследим за тем, что непосредственно видел и пережил на своём корабле баталер Алексей Новиков в течение двух роковых дней.

Утро 14 мая началось почти как обычно: на «Орле» отбили две склянки, затем на верхней палубе горнист заиграл побудку. Сразу же на палубах залились дудки капралов и старшин, раздались привычные команды: «Вставай! Койки вязать!»

Только в эту тревожную ночь (все знали, что столкновение с японцами неизбежно) немногие из матросов пользовались подвесными койками: прикорнули где попало. Никто не раздевался. Поэтому после побудки быстрее, чем обычно, оказались у умывальников, наскоро освежались холодной забортной водой. Потом, как обычно: завтрак, уборка палубы и других помещений.

Всё как обычно? Но баталер Новиков не мог не заметить и «подстерегающую» серую мглу, висящую над волнующимся морем, и то, как «медленно поднималось багровое солнце, словно распухшее от напряжения». Баталер Новиков это увидел и сохранил в памяти, а писатель Новиков-Прибой через много лет нарисовал нужную картину одной скупой фразой.

Эскадра, разделённая на две колонны, шла девятиузловым ходом по курсу норд-ост 50°, направляясь в Цусимский про-

лив. Правую колонну возглавлял броненосец «Суворов» под флагом вице-адмирала Рожественского, левую — броненосец «Николай I» под флагом контр-адмирала Небогатова. Впереди строем клина двигались разведочные крейсеры «Светлана», «Алмаз» и «Урал».

«В начале шестого, — вспоминает Новиков-Прибой, — наши сигнальщики и мичман Щербачёв, вооружённые биноклями и подзорными трубами, заметили справа пароход, быстро сближавшийся с нами. Подойдя кабельтовых на сорок, он лёг на параллельный нам курс. Но так шёл он лишь несколько минут и, повернув вправо, скрылся в утренней мгле. Ход он имел не менее шестнадцати узлов. Флага его не могли опознать, но своим поведением он сразу наводил на подозрение — несомненно, это был японский разведчик. Надо было бы немедленно послать ему вдогонку два быстроходных крейсера. Потопили бы они его или нет, но, по крайней мере, выяснили бы чрезвычайно важный вопрос: открыты мы противником или всё ещё находимся в неизвестности? А в соответствии с этим должна была бы определиться и линия поведения эскадры. Но адмирал Рожественский не предпринял никаких мер против загадочного судна».

Это был, как выяснилось после боя, японский вспомогательный крейсер «Синано-Мару», находившийся в ночной разведке. Перед рассветом он натолкнулся на госпитальное судно, привлечённый его яркими огнями. Спустя некоторое время была открыта японцами и вся русская эскадра. Командир названного разведочного крейсера капитан 2-го ранга Нарикава сейчас же телеграфировал адмиралу Того: «Враг в квадрате № 203 и по-видимому идёт в Восточный пролив».

Около семи часов с правой стороны, дымя двумя трубами, показался ещё один корабль, шедший сближающимся курсом. Когда расстояние до него уменьшилось до 50 кабельтовых, то в нём опознали лёгкий неприятельский крейсер «Идзуми». Целый час он шёл с русскими одним курсом, как бы дразня их.

Адмирал Рожественский сигналом приказал судам правой колонны навести орудия правого борта и кормовых башен на «Идзуми». Но тем только и ограничились, что взяли его на прицел. А русские быстроходные крейсеры и на этот раз ничего не предприняли.

На баке «Орла» слышались недовольные разговоры: «Что же это адмирал не приказывает открыть огонь по японцу?»

На верхней палубе Новиков встретил инженера Костенко, передвигающегося при помощи костылей (он незадолго до этого порвал связки, но, получив необходимую помощь на

госпитальном судне, пожелал вернуться на «Орёл»). В книге этот эпизод в пересказе баталера Новикова выглядит так:

«Мы остановились около борта, против офицерского люка. Вокруг нас никого не было. Он заговорил со мною:

— Как и надо было ожидать, нам не удалось проскочить мимо японцев незамеченными. Значит, скоро предстоит сражение. А раз так, то зачем же мы продолжаем вести с собой транспорты? Пока не поздно, их можно отослать в какой-нибудь нейтральный порт. Сделать это легко. Прежде всего, нужно отогнать японский крейсер. А тем временем транспорты воспользуются мглистой погодой и скроются в морской дали, ничем не рискуя. От такого манёвра будет тройная польза: во-первых, уцелеют транспорты, во-вторых, наши крейсеры, освобождённые от несения охраны ненужного в бою обоза, могут принять более активное участие в предстоящем сражении, в-третьих, эскадренный ход наших боевых судов увеличится с девяти до двенадцати узлов».

Одним словом, инженер Васильев был крайне недоволен действиями Рожественского. Новиков не понимал. Как же так? Васильев не раз внушал ему мысль: чем хуже будут дела России на войне, тем больше выигрывает от этого революция. Не так ли?

«Васильев сурово сдвинул чёрные брови:

— Совершенно верно. И я не думаю отказываться от своих слов. Если японцы разгромят вторую эскадру, последнюю надежду нашей империи, то это будет поважнее, чем разорвать бомбой какого-нибудь министра или даже великого князя. Поражение войск — это крах всей государственной системы. Уже теперь сами защитники власти перестают верить в эту власть. А с другой стороны, надвигается страшная сила разгневанных народных масс. Конечно, несмотря ни на что, правители никогда сами не уходят от власти. Они всегда ждут, пока их не зарежут их же верноподданные, — ждут революции. Всё это для меня ясно. Но в то же время я не могу без боли в сердце думать о гибели наших кораблей, населённых живыми людьми. Такая двойственность...»

В десятом часу слева, на расстоянии около шести кабельтовых, показалось уже четыре неприятельских корабля. С переднего мостика «Орла» долго всматривались в них, прежде чем определили их названия: «Хасидате», «Мацусима», «Ицукусима» и «Чин-Иен». Это были броненосцы второго класса, старые, с малым ходом, водоизмещением от четырёх до семи тысяч тонн. На русских кораблях пробили боевую тревогу. Орудия левого борта и двенадцатидюймовых носовых башен были направлены на отряд противника. Многие предполага-

ли, что быстроходные броненосцы первого отряда и «Ослябя» из второго отряда, а также наиболее сильные крейсеры «Олег» и «Аврора» немедленно атакуют японцев. Пока подоспели бы их главные силы, эти четыре корабля были бы разбиты. Но адмирал Рожественский опять воздержался от решительных действий. И неприятельские броненосцы удалились от русской эскадры настолько, что едва стали видны.

Сейчас же на смену им появились с той же левой стороны ещё четыре лёгких и быстроходных крейсера. В них опознали «Читосе», «Кассаги», «Нийтака» и «Отава». «Теперь не было никакого сомнения, — пишет Новиков-Прибой, — что роковой час приближается. К нам подтягивались неприятельские силы. Четыре крейсера, как и предыдущие суда, пошли с нами одним курсом, понемногу сближаясь с эскадрой. На них также лежала обязанность извещать своего командующего о движении нашего флота. А наше командование, как и раньше, не думало помешать этому.

На вспомогательном крейсере "Урал" был усовершенствованный аппарат беспроволочного телеграфа, способный принимать и отправлять телеграммы на расстояние до семисот миль. С помощью такого аппарата можно было перебить донесения японских крейсеров. Почему бы нам не воспользоваться этим? С "Урала" по семафору просили на это разрешения у Рожественского. Но он ответил:

— Не мешайте японцам телеграфировать.

На "Урале" вынуждены были отказаться от своего весьма разумного намерения.

Чтобы так пренебрегать противником, нужно было иметь очень большую уверенность в превосходстве своих сил. А этой уверенности ни у кого из нас не было. Чем же объяснить целый ряд нелепых поступков Рожественского? Изменой? Нет. По своему внутреннему патриотическому чувству он был неподкупным начальником. Но чрезмерная заносчивость, доводящая его до ослепления, мешала ему мыслить и правильно руководить подчинёнными. Так было и в данном случае. Как мог, например, осмелиться командир всего лишь вспомогательного крейсера, какой-то капитан 2-го ранга, напоминать ему, командующему эскадрой, вице-адмиралу Рожественскому, что нужно в том или другом случае делать? Это было равносильно оскорблению».

С броненосца «Орёл» раздался выстрел, сделанный наводчиком случайно. Полагая, что это начало сражения, с других кораблей открыли огонь. Противник начал отстреливаться, затем четыре японских крейсера отступили. Бой длился десять минут, без единого попадания с той и с другой стороны. Но матросы на «Орле» развеселились, чуть ли не празднуя победу.

В судовой колокол пробили восемь склянок: полдень. С новой сменой вахты на «Орле» управление кораблём перешло в боевую рубку. Эскадра в это время находилась против южной оконечности острова Цусима. По сигналу командующего её корабли легли на новый курс: норд-ост 23°, взяв направление прямо на Владивосток.

Читаем «Цусиму»:

«Инженер Васильев стоял на кормовом мостике, куда забрался при помощи матросов, и в последний раз мрачно обозревал эскадру. Наша армада растянулась так, что концевые корабли терялись в серой мгле. Трудно было представить, глядя на неё, что такую силу можно уничтожить. <...>

В 1 час 20 минут пополудни на "Орле", где с разрешения начальства многие матросы спали, прогремела команда:

— Вставай! Чай пить!

Для команды чай заваривался прямо в самоварах. Их было на броненосце несколько штук, огромных, блестящих красной медью. С чайниками в руках подбегали матросы. Однако на этот раз не всем пришлось попить чаю.

Через пять минут справа по носу смутно начали вырисовываться на горизонте главные силы неприятельского флота. Число их кораблей всё увеличивалось. И все они шли кильватерным строем наперерез нашему курсу. <...>

Из-за облаков на несколько минут выглянуло солнце, осветив морской простор. Неприятельские корабли приближались».

Головным шёл «Микаса» под флагом адмирала Того. За ним следовали броненосцы «Сикисима», «Фудзи», «Асахи» и броненосные крейсеры «Кассуга» и «Ниссин». Вслед за этими кораблями выступили еще шесть броненосных крейсеров: «Идзумо» под флагом адмирала Камимура, «Якумо», «Асама», «Адзума», «Токива» и «Ивате».

И снова обращаемся к фрагментам текста «Цусимы», ибо это, бесспорно, главные или, как сейчас любят говорить, судьбоносные страницы в истории жизни Алексея Силыча Новикова-Прибоя, которые нельзя ни опустить, ни тем более исказить. Поэтому читаем в «подлиннике»:

«На баке, тревожно всматриваясь в неприятельские корабли, скопились группы матросов. Некоторые из них, соблюдая старые морские традиции, побывали перед смертью в бане и переоделись в чистое бельё. <...>

Пробили ещё раз боевую тревогу. Все заняли свои места. Наступила тишина. Жизнь на корабле как будто замерла. Работали лишь помпы, чтобы предохранить судно от пожаров; из шлангов с треском били сверкающие струи, обильно поливая палубу. А шлюпки с утра были наполнены водою.

По боевому расписанию я должен находиться в операционно-перевязочном пункте, расположенном с правого борта, на нижней палубе, у главного сходного трапа со спардека. Когда я спустился туда, там уже находились оба врача, Макаров и Авроров, два фельдшера, санитары, а также прикомандированные обер-аудитор и инженер Васильев, считавшийся инвалидом. Следом за мной прибыл и священник Паисий, успевший уже снять с себя ризу. Я был назначен в распоряжение врачей. <...>

Мне ещё раз хотелось посмотреть, что делается снаружи. Я незаметно выскользнул из операционного пункта и поднялся на верхнюю палубу.

Неприятельская эскадра пересекла наш курс справа налево и стала склоняться навстречу нам, как бы намереваясь вступить с нами в бой на контргалсах. За линейными кораблями показались ещё те лёгкие крейсеры, с которыми мы уже имели перестрелку утром. Казалось, неприятельская эскадра двигалась при помощи одного общего механизма. Она делала не более пятнадцати-шестнадцати узлов, но так как мы шли навстречу ей, то быстро сокращалось расстояние и создавалось впечатление, что вся масса боевых судов, дымя многочисленными трубами, несётся по морю со страшной быстротой.

Бросалось в глаза, что все неприятельские корабли, как и раньше появлявшиеся разведочные суда, были выкрашены в серо-оливковый цвет и потому великолепно сливались с поверхностью моря, тогда как наши корабли были чёрные с жёлтыми трубами. Словно нарочно сделали их такими, чтобы они как можно отчётливее выделялись на серой морской глади. Даже и в этом мы оказались непредусмотрительными».

Новиков спустился в операционно-перевязочный пункт. А наверху уже грохотали тяжёлые башенные орудия, резко и отрывисто рвали воздух 75-миллиметровые пушки. От выстрелов содрогался весь корпус броненосца, выбрасывавший левым бортом снаряды в неприятеля.

Внизу, в самом операционном пункте, было тихо. Ярко горели электрические лампочки. «Нарядившиеся в белые халаты, торжественно, словно на смотру, стояли врачи, фельдшера, санитары, ожидая жертв войны».

Но скоро начали появляться раненые, сразу по несколько человек. Одних доставляли на носилках, другие приходили или приползали сами. В большинстве своём это были строевые офицеры, квартирмейстеры, комендоры, орудийная прислуга, дальномерщики, сигнальщики, барабанщики — все те, кто находился на верхних частях корабля. Перед Новиковым прошёл ряд знакомых лиц: «Вот прибежал матрос Суворов с

мелкими осколками в спине и правой ноге, с кровавой раной в предплечье и ступне. Из офицеров первым принесли на носилках мичмана Туманова, который командовал левой 75-миллиметровой батареей. Его ранило осколком в спину. Он торопливо сообщил:

— Орудие номер шесть вышло из строя. Двое при нём убиты. Командование батареей я передал мичману Сакеллари. Он тоже ранен, но остался в строю.

— А как вообще наши дела? — спросил старший врач.

Мичман Туманов махнул рукой и застонал.

Сигнальщик Куценко, явившись, сморщил лицо, как будто собирался чихнуть, — у него была прошиблена переносица. Матрос Карнизов, показывая врачу разорванный пах, оскалил зубы и странно задёргал головой, на которой виднелась борозда, словно проведённая медвежьим когтем. У барабанщика, квартирмейстера Волкова, одно плечо с раздробленной ключицей опустилось ниже другого и беспомощно повисла рука. Дальномерщик Захваткин, согнувшись, закрыл руками лицо, — у него один глаз был повреждён, а другой вытек. Нетерпеливо шаркал ногой комендор Толбенников. Ему ожгло голову, плечи и руки. Носильщики то и дело доставляли раненых с распоротыми животами, с переломанными костями, с пробитыми черепами. Некоторые настолько обгорели, что нельзя было их узнать, и все они, облизанные огненными языками, теперь жаловались, дрожа, как в лихорадке:

— Холодно... зябко...

Раненых, получивших временную медицинскую помощь, укладывали тут же, на палубе, на разложенные матрацы».

Один из раненых принёс первую страшную весть: броненосец «Ослябя» перевернулся! Трудно было поверить в его рассказ, но он твердил: «Я сам видел. Сначала горел, потом накренился, потом сразу повалился». Прибежавшие сверху носильщики подтвердили это. И добавили:

— Броненосец уже затонул.

Не отдавая себе отчёта в своих действиях, Новиков торопливо полез наверх. Картина, открывшаяся его глазам, потрясала нереальностью происходящего:

«Над морем, прилипая к встрёпанным волнам, тянулись полосы дыма и мглы. Под напором ветра эти полосы разрывались в клочья, и тогда на сером фоне неба смутно обозначались неприятельские корабли. Держась кильватерного строя, они шли друг за другом и, как разъярённые фантастические чудовища, выдыхали в нашу сторону молнии. Тем же отвечали им и наши броненосцы. Это сражались главные силы, решая тяжбу двух столкнувшихся империй. А позади, справа от кур-

са, шёл бой между крейсерами. От орудийных выстрелов, то далёких, то совсем близких, стоял такой грохот, как будто небо превратилось в железный свод, по которому били стопудовые молоты. Сотни снарядов, которых не видишь, но полёты которых ощущаешь всем своим существом, с вибрирующим гулом пронизывали воздух, описывая траектории встречными курсами. Вокруг наших судов, в особенности передних, падал тяжеловесный град металла. Японские снаряды разрывались даже от удара о воду. Металось, вскипая, море, и над его поверхностью на мгновение с рёвом вырастали грандиозные фонтаны, смешанные с чёрно-бурым дымом и красным пламенем. Некогда было опомниться в этом сплошном сотрясении воздуха, корабля, человеческих нервов...»

Читаешь это сейчас, и звучит в ушах Высоцкий, беспощадно звучит, на разрыв аорты: «Спасите наши души! ... И ужас режет души напополам!»

Японцы применяли против русских фугасные снаряды, начинённые чрезвычайно сильным взрывчатым веществом — «шимозой». Это были как бы летающие мины. Для них увеличение расстояния имело лишь то значение, что терялась меткость стрельбы. Но от этого нисколько не уменьшалось их разрушительное действие. Правда, попадая в корабль, они не пробивали броневого пояса, но зато уничтожали все верхние надстройки, ломали приборы, производили пожары, выводили из строя орудия и личный состав.

«А мы, — пишет Новиков-Прибой, — стреляли по неприятелю бронебойными снарядами с затяжными воспламенительными трубками. Такие снаряды были приспособлены специально для разрушения брони. Но, прежде чем разорваться, они должны были впиться в броню и пробить её на какую-то глубину. Значит, мы могли бы поражать противника с более близких дистанций». И получалось, что русская эскадра, страдая от ударов противника, сама причиняла ему мало вреда.

Бой ещё не кончился, но ни у кого уже не было сомнения, что участь эскадры предрешена.

После гибели «Осляби» вышел из строя «Князь Суворов». Рожественский был ранен в голову и ноги. Командующего перенесли на миноносец «Буйный». Вслед за ним на миноносец перебрались офицеры его штаба.

Имея серьёзные повреждения, весь объятый пламенем, «Суворов» ещё в течение пяти часов отражал непрерывные атаки неприятельских крейсеров и миноносцев, но в 19 часов 30 минут тоже затонул.

После выхода из строя броненосцев «Ослябя» и «Князь Суворов» боевой порядок русской эскадры нарушился и она по-

теряла управление. Японцы воспользовались этим и, выйдя в голову русской эскадры, усилили свой огонь. Во главе русской эскадры оказался броненосец «Александр III», а после его гибели — «Бородино».

Было ясно, что японцы имели превосходство и в скорости хода, и в умении маневрировать, и в качестве снарядов, и в быстроте и меткости стрельбы. «Они, — пишет Новиков-Прибой, — захватили инициативу в бою. Они диктовали нам дистанцию огня, время и место столкновения. Они выбирали параллельные и встречные курсы. Они нажимали на нашу голову и направляли курс нашей эскадры в желательную им сторону. Правда, и у них главные силы убавились на один броненосный крейсер, но всё равно мы были разбиты и физически, и ещё больше — морально. Это произошло за какой-нибудь час от начала сражения. Наша эскадра превратилась в плавучий караван смерти».

За первый период боя броненосец «Орёл» получил значительные повреждения. Два крупных снаряда разорвались один за другим в носовом каземате. Командир батареи мичман Шупинский, которому осколком пробило лоб, взмахнул руками и упал замертво. Рядом с ним были убиты три матроса. Остальные же были ранены.

Оба 75-миллиметровых орудия левого борта были исковерканы. Осколки от снарядов, проникнув через дверь продольной переборки, вывели из строя ещё такое же орудие правого борта. Вслед за тем 12-дюймовый снаряд окончательно разгромил носовой каземат.

«Неожиданно перед амбразурами, — пишет Новиков-Прибой, — ярко вспыхнуло пламя и раздался страшный грохот. Несколько человек в башне упали. Лейтенант Павлинов согнулся и долго поддерживал руками контуженную голову, словно боялся, что она у него отвалится. А когда осторожно повернулся назад, чтобы взглянуть на людей и окружающие предметы, то на его чернобровом лице изобразилось радостное удивление, — он был жив.

— Кроют нас, окаянные, почём зря, ваше благородие! — крикнул кто-то из орудийной прислуги.

Но лейтенант Павлинов ничего не слышал. Из ушей у него показалась кровь — лопнули обе барабанные перепонки. И всё же, оставаясь в строю, он громко спросил:

— В порядке ли механизмы?»

Много раз на «Орле» возникали пожары, но с ними самоотверженно боролся пожарный дивизион под начальством мичмана Карпова.

Были попадания и в боевую рубку. Находившиеся там лю-

ди оставались в целости, пока не разорвался снаряд крупного калибра с левого края броневой крыши. Теперь пострадали почти все. Был ранен лейтенант Вредный, его отправили в перевязочный пункт. Туда же матросы отвели и младшего штурмана, лейтенанта Ларионова, тяжело раненного в лоб и шею. Остальные офицеры, а также сигнальщики, рулевые, ординарцы, телефонисты, задетые в той или иной степени осколками, остались в строю... К трём часам в боевой рубке остался невредимым лишь старший штурман, лейтенант Саткевич.

Бой продолжался.

Броненосец «Орёл» получил в свой корпус уже до сотни снарядов разных калибров. Весь левый борт выше батарейной палубы был у него в дырах. Их на скорую руку забивали койками.

Японские снаряды, разрываясь, развивали такую высокую температуру, что выплавляли на толстых броневых плитах лунки, а в некоторых местах железо расплавлялось и свисало сосульками. На судне возникали всё новые и новые пожары. Трюмно-пожарный дивизион уже не успевал с ними справляться. Тушили их все, кто только мог. Даже старший офицер, капитан 2-го ранга Сидоров, исполнявший после ранения Юнга роль командира, несколько раз выбегал из боевой рубки и вместе с сигнальщиком Зефировым и горнистом Балестом боролся с огнём на мостике.

В конце пятого часа артиллерийская канонада между главными силами прекратилась. За дымом и мглой противник потерял русских. «Наша эскадра, — читаем в «Цусиме», — как и в первый период боя, постепенно сворачивая вправо, сначала склонилась на восток, а потом — на юг. В том же направлении японцы бросились разыскивать нас. А мы тем временем повернули ещё вправо и пошли на запад».

Это была короткая передышка. По палубам броненосца «Орёл» стлался дым, «сваливался за борт и, гонимый ветром, нёсся над морем зыбучими облаками в неизвестность». Изо всех люков поднимались матросы, из башен выходили люди. Вид у всех был обезумевший. Каждый торопливо бросал по сторонам испуганно-пытливые взгляды, спрашивая самого себя и всех: «Что же будет дальше?»

«Орёл» являл собой жалкое зрелище:

«Все верхние надстройки на нём были разрушены, средний переходной мостик сорван и скручен в кольцо. Оба якорных каната оказались перебитыми, а вырванный правый клюз унесло за борт. Грот-мачта, пронизанная снарядом на нижнем мостике, еле держалась, угрожая обрушиться на головы людей. С неё, как и с фок-мачты, раскачиваясь под ветром, жалко свисали обрывки снастей. Были также перебиты кормовые

стрелы, разрушены электрические лебёдки, служившие для подъёма паровых катеров. Деревянный палубный настил, изборождённый и расщеплённый снарядами, был в дырах, а правый срез имел такую большую пробоину, что стал недоступен для прохода. Цистерна, расположенная на носовом мостике, оказалась изрешечённой осколками, трубы, проводящие от неё пресную воду в нижние помещения, были перебиты. Люди, находившиеся в этих помещениях, при жаре в сорок с лишним градусов остались без пресной воды. Пришлось её брать в носовом трюме и разносить анкерками и вёдрами в погреба, в машины, в кочегарки».

Передышка, случайно выпавшая на долю русских, подходила к концу. Справа, позади, заметили первый отряд адмирала Того: «Все его шесть кораблей, не имевшие никаких признаков повреждения, шли параллельным с нами курсом, постепенно догоняя нас. На “Орле” пробили боевую тревогу. Но она прозвучала для нас как погребальный звон колоколов. Люди неохотно, с тоскою в глазах занимали места по боевому расписанию, чтобы испытать последний час своей судьбы. А ровно в шесть часов с той и другой стороны загрохотали орудия. Сражались правым бортом, этим же бортом и принимали удары противника. Спустя полчаса догнал нас и адмирал Камимура со своими шестью броненосными крейсерами.

Опять на нашей эскадре началось избиение людей, которые в громадном большинстве своём виноваты были только тем, что родились на свет».

«Бородино», будучи головным, больше всех страдал от сосредоточенного огня противника. Но немало было попаданий и в «Орёл». Разрушался главным образом его правый борт.

Ещё приближаясь к Цусимскому проливу, с корабля выкинули много дерева за борт. И всё же во время боя не могли избежать пожаров. А теперь они возникали ещё чаще, чем раньше. Пожарный дивизион не успевал с ними справляться. Горели чехлы, спасательные круги, переговорные резиновые шланги, изоляция паровых труб, пожарные шланги... Горели офицерские каюты с их занавесками, коврами, мебелью, шкафами. Горела верхняя палуба, в особенности в тех местах, где деревянный настил был разворочен и расщеплён снарядами. Горело всё, кроме металла: «Пожары причиняли очень много бедствий, разобщая части судна, мешая комендорам стрелять, постоянно угрожая пробраться в бомбовые погреба. Иногда дым заволакивал башни, выкуривал из них прислугу, как выкуривают пчёл из улья. Оптические прицелы орудий настолько закоптились, что стали бесполезны — в стёклах их ничего нельзя было видеть».

А тем временем «Бородино», ведя за собой эскадру, имел уже крен на правый борт и тоже пылал. На нём горели мостики, адмиральский салон, вырывалось пламя из орудийных полупортов, играя багровым отсветом на воде. Затем то, что увидел баталер Новиков, «отозвалось в груди раздирающей болью»: «Бородино», не выходя из строя, быстро повалился на правый борт, сделав последний залп из кормовой двенадцатидюймовой башни. Это случилось в 19 часов 10 минут.

Во главе оказался полуразбитый «Орёл», почти потерявший боевое значение. И весь свой огонь противник перенёс на него.

«Угасал день. На западе, приплюснутый облаками, длинной кровавой раной догорал закат». Это из «Цусимы».

«Мерцал закат, как блеск клинка, свою добычу смерть считала...». А это из Высоцкого...

С наступлением темноты адмирал Того прекратил артиллерийский бой и направился с главными силами к острову Дажелет, а миноносцам приказал атаковать русскую эскадру торпедами.

«Бешеные атаки минных судов, — читаем дальше у Новикова-Прибоя, — прекратились только после полуночи. В продолжение почти шести часов люди должны были выдерживать предельное для человеческой психики напряжение. Наконец измученные моряки могли вздохнуть спокойнее — японцы, по-видимому, потеряли нас окончательно.

Около боевой рубки неожиданно появился кочегар Бакланов. Я пробрался с ним на кормовой мостик, где мы решили провести остаток ночи. Здесь находилось несколько человек из команды, и каждый имел в запасе либо койку, либо спасательный круг. Мы тоже разыскали две койки, а потом, усевшись рядом, привалились к грот-мачте. Над горизонтом всплывал узкий обрезок луны. Кругом стало светлее».

К утру 15 мая русская эскадра как организованная сила перестала существовать. В результате частых уклонений от атак японских миноносцев русские корабли рассредоточились по всему Корейскому проливу. Только отдельные корабли пытались самостоятельно прорваться во Владивосток. Встречая на своём пути превосходящие силы японцев, они смело вступали с ними в решительный бой и вели его до последнего снаряда. Геройски сражались с противником экипажи броненосца береговой обороны «Адмирал Ушаков» под командованием капитана 1-го ранга Миклухо-Маклая и крейсера «Дмитрий Донской», которым командовал капитан 2-го ранга Лебедев. Эти корабли погибли в неравном бою, но не спустили своих флагов перед врагом.

Утром 15 мая отряд контр-адмирала Небогатова был окружён японскими кораблями и, не вступая в бой, сдался противнику. Только крейсер «Изумруд» прорвался, но, не дойдя до Владивостока, сел на мель и был взорван командой. У острова Дажелет японцам сдался также миноносец «Бедовый», на котором находились раненый Рожественский и несколько офицеров его штаба, снятых ранее с миноносца «Буйный».

О том, как Небогатов сдал японцам остатки разбитой эскадры, Новиков-Прибой рассказывает в «Тягостной главе». Она действительно очень тяжёлая — эта глава. Читать её не менее больно, чем главы, в которых рассказывается о гибели кораблей.

Бывший контр-адмирал Небогатов в письменных показаниях следствию объяснял свой поступок так:

«...будь у меня в распоряжении настоящие океанские броненосцы, а не перегруженные углём береговые суда, я ушёл бы во Владивосток. Имей я более лучшее вооружение, хотя бы равное с японским, я вступил бы в бой и мои офицеры и моя команда сумели бы умереть в бою вместе со мною. К несчастью, обстоятельства сложились иначе. На нас лежало проклятие за чужую вину. С точки зрения моих судей, приговоривших меня к позорному наказанию, я должен был взорвать суда в открытом море и обратить две тысячи людей в окровавленные клочья. Я должен был открыть кингстоны и утопить две тысячи людей в течение нескольких минут. Во имя чего? Во имя чести Андреевского флага... Но этот флаг является символом той России, которая в проникновенном сознании обязанностей великой страны бережёт достоинство и жизнь своих сыновей, а не посылает людей на смерть, на старых кораблях для того, чтобы скрыть и утопить в море своё нравственное банкротство и хищение, своё бездарное служение, ошибки, умственную слепоту и мрак неведения элементарнейших начал морского дела. Для представителей такой России я не имел права топить людей».

И если внимательно читать «Цусиму» Новикова-Прибоя, можно увидеть, что он ни в коем случае не берётся судить Небогатова: он не обвиняет и не оправдывает адмирала — он ему глубоко сочувствует. И это человеческое, искреннее, горестное сочувствие передаётся читателю, заставляя его страдать вместе с несчастным адмиралом, на долю которого выпала необходимость тяжелейшего выбора и ответственности за него.

Но вот как узнали о сдаче в плен на «Орле»:

«По распоряжению Сидорова пробили боевую тревогу.

В это время старший сигнальщик Зефиров доложил:

— Ваше высокоблагородие, на “Николае” поднят сигнал по международному своду.

— Какой? — спросил Сидоров.

Справились по книге свода сигналов и ответили:

— “Сдался”.

Сидоров раскрыл рот и на несколько минут как будто онемел. По-видимому, то, что он услышал, с трудом усваивалось его помутившимся сознанием. Он с таким напряжённым вниманием рассматривал то Зефирова, то офицеров, словно впервые решил изучить лица этих людей. Потом тряхнул забинтованной головой и промолвил:

— Не может этого быть!

Ещё раз проверили сигналы — сомнений не было.

Сидоров согнулся, схватился за голову и спросил самого себя:

— Ну, Константин Леопольдович, что ты теперь будешь делать?

И, никого не стесняясь, громко зарыдал, беспомощный, как покинутый ребёнок».

А в это время в изоляторе бредил Николай Викторович Юнг.

Вскоре на броненосец поднялись японцы, с чем никак не мог смириться Вторник, который пропутешествовал на «Орле» от Ревеля до Цусимы и стал свидетелем страшной морской битвы. «Подняв бурую шерсть и оскалив зубы», он лаял на победителей с невообразимой яростью. И никто не мог заставить его замолчать.

Юнгу оставалось жить недолго, все это понимали и пытались, как могли, скрыть от него то, что теперь над броненосцем «Орёл» поднят флаг врага.

Описание последних минут жизни настоящего морского офицера, всю жизнь свято преданного России и флоту, — станет одним из самых сильных моментов «Цусимы» Новикова-Прибоя. Сколько там таких моментов...

На следующий день, 16 мая, Николая Викторовича Юнга, с разрешения японцев, похоронят по морскому обычаю.

Из «Цусимы»:

«...мёртвое тело, зашитое в парусину, покрытое андреевским флагом, с привязанным к ногам грузом, было приготовлено к погребению. Оно лежало на доске, у самого борта юта. На сломанном гафеле развевался приспущенный флаг Восходящего солнца. После отпевания два матроса приподняли один конец доски. Японцы взяли на караул. Под звуки барабана, игравшего поход, под выстрелы ружей мёртвое тело командира скользнуло за борт.

Спустя полчаса японский офицер вручил Ларионову, как единственному штурману, оставшемуся на броненосце, не-

большой квадратный кусочек картона. На нём была выписка из вахтенного журнала. Выписка указывала место похорон командира:

"Широта 35°56'13 северная. Долгота 135° 10' восточная"».

Русский флот потерпел самое масштабное и самое унизительное поражение за всю свою историю. Из огромной эскадры лишь трём русским боевым кораблям удалось достичь Владивостока, ещё четыре были интернированы в иностранных портах, остальные либо погибли, либо сдались в плен; из восьми вспомогательных судов было потеряно три.

Из огромного количества публикаций о Цусиме (принадлежащих и строгому перу специалистов, и лихому, эмоциональному — дилетантов) хочется выделить профессиональный и серьёзный труд «Российские мемуаристы и историки о роли человеческого фактора в Цусимском сражении 14—15 мая 1905 г.» (*Лихарев Д. В., Тамура А.* Российские мемуаристы и историки о роли человеческого фактора в Цусимском сражении 14—15 мая 1905 г. // История и современность. 2008. № 2). Позже возникнет необходимость обратиться ещё к одной работе доктора исторических наук Д. В. Лихарева — «Как создавалась "Цусима" А. С. Новикова-Прибоя» — тоже как к весьма авторитетному источнику.

В научной статье «Российские мемуаристы...» её авторы, пытаясь суммировать всё, «что было написано в России и СССР за прошедшие сто лет по поводу Цусимского сражения», выделяют в качестве главных причин поражения русского флота следующие:

«1. Подавляющее превосходство технических и боевых элементов японских кораблей над кораблями 2-й Тихоокеанской эскадры.

2. Некомпетентность и бездарность русского морского командования и прежде всего лично З. П. Рожественского, персональные просчёты которого и явились главной причиной поражения.

3. Недостатки в моральной и боевой подготовке плавсостава русского военного флота, как офицеров, так и матросов».

Говорить об итогах Цусимского сражения невыносимо больно любому мыслящему и чувствующему россиянину, даже столетие спустя. В истории любого народа есть заветные, вызывающие чувство гордости и благоговения названия. Ку-

ликово поле, Бородино — символы русской гордости и славы. Цусима — символ национального позора и великой скорби. Российский флот понёс невиданные и невосполнимые потери. Число погибших моряков — более пяти тысяч.

Б. Галенин в уже упоминаемой книге «Цусима — знамение конца русской истории» выявляет между первым (у Чемульпо) и последним (у Цусимы) морскими боями Русско-японской войны черты «генетического» сродства.

Он сравнивает с «Варягом» и «Корейцем» те «цусимские» корабли, которые тоже не сдались врагу. Считая подвиг «Варяга» «святым в своей безупречной чистоте для любого русского сердца», Галенин называет броненосцы «Князь Суворов», «Александр III», «Бородино» лучшими эскадренными броненосцами всех времён и народов. Они вместе с «Варягом» были лучшими «по боевому духу и готовности идти до конца», как положено морякам.

А про «Суворова», пишет Галенин, есть свидетельства даже с «той стороны», от английского наблюдателя на эскадре Того известного капитана 1-го ранга — кэптена — Пэкинхема, который в официальном донесении в Британское адмиралтейство написал: «Никогда ещё человеческие мужество и сила духа не доходили до столь невероятных пределов. И слава, которую навеки стяжал себе “Суворов”, увенчивает не только его доблестный экипаж, но и весь русский флот, всю Россию и даже всё человечество!.. Это герои не только сегодняшнего сражения, но всех времён». Минута молчания...

ЯПОНСКИЙ ГОРОД КУМАМОТО

На пароходе «Асахи» русских моряков сначала перевезли в один из японских портов, где они несколько дней прожили в огромном бараке, а потом переправили в город Кумамото, на остров Кюсю. Там японцы организовали несколько лагерей отдельно для нижних чинов и для офицеров.

Лагерь, в который попал Новиков, был расположен на окраине города. Порядки победители установили не строгие. Не только офицеры, но и матросы-солдаты выходили в город, заводили дружбу с местными жителями, которые отличались сочувственной предупредительностью и улыбчивой доброжелательностью.

Через много лет яркая картина жизни небольшого японского города будет нарисована в рассказе «Две души», созданном Новиковым-Прибоем суровой сибирской зимой 1918 года. Автор опишет «прозрачно-синие дали», и «взметнувшиеся горы, точно громадные волны, застывшие с первых дней творенья», и город, «серыми черепицами крыш спускающийся по скату к бухте», и острова, «драгоценными опалами вкрапленные в безмятежно раскинувшееся море». И вспомнится писателю один из дней японского лета в ставшем милом сердцу суетливом Кумамото:

«...Сверху, из-за дремлющих облачков, разбросанных кое-где по синеве неба, обильно льются животворные лучи солнца, радостью зажигая жизнь, трепетным огнём играя на игрушечных домиках и громадных буддийских храмах, на затейливых пагодах, на свежей зелени садов. В городе — чистота, блеск, веселье. В открытых магазинах груды разнообразных товаров разложены так заманчиво, что нельзя пройти мимо, не задержав на них взора. Кукольные жилища, чайные домики, беседки сплошь в фиолетовых красках распустившихся глициний. В палисадниках, раскрыв свои уста, благодарно улыбаются солнцу цветы — красные и белые, жёлтые и синие, яркие и скромные, всех оттенков, а над ними, раскинув громадные

ветви, величественно поднимаются камфарные деревья, пинии, гиганты-криптомерии. Всё японское население на улице — бойкое, любознательное, с неизменными улыбками на жёлтых лицах».

И ведь не случайно стал дорог сердцу русского матроса Новикова японский городок. Приключились у него там одна за другой две любви. По возвращении из плена, привезя с собой две заветные фотографии и решившись повесить их на стену, рассказал Алексей старшему брату, что поначалу влюбился он в девушку из зажиточной семьи. И она якобы ответила ему взаимностью. Но, видно, родители девушки воспрепятствовали этим отношениям. А вот другая любовь была настолько крепкой, что подумывал Алексей Новиков вернуться домой не один, а с женой-японкой. Но обстоятельства складывались так, что к моменту возвращения русских пленных на родину было Новикову не до создания семьи...

Имея влюбчивое и податливое сердце, Алексей, как уже показала к этому времени вся его жизнь, был человеком серьёзным и целеустремлённым. Понимая всю важность трагических событий, произошедших в Корейском проливе, он с первых же дней пребывания в лагере стал описывать сначала всё, что происходило на «Орле», а потом начал собирать материалы обо всей эскадре. О том, как это происходило, читаем в предисловии к «Цусиме»:

«Я организовал вокруг себя человек пятнадцать наиболее развитых матросов, близких своих товарищей. Они с увлечением начали помогать мне. Большим удобством для нас являлось то, что в этом лагере были сосредоточены команды почти всех судов, принимавших участие в Цусимском бою. Приступая к описанию какого-нибудь корабля, мы прежде всего интересовались, как была организована служба на нём, какие взаимоотношения сложились между офицерами и нижними чинами, а потом уже собирали сведения о роли этого корабля в бою. Уже тогда многие боевые суда настолько были сложны и громадны, что люди одного отделения не всегда могли знать, что творится в другом. Поэтому нам пришлось, задавая участникам боя вопросы, расследовать каждую часть корабля отдельно. Что, например, происходило, начиная с утра 14 мая и до окончательной развязки, в боевой рубке, в башне такой-то, в каземате таком-то, в батарейной палубе, в минном отделении, в машине, кочегарке, в операционном пункте? Кто и что при этом говорил? Какие распоряжения исходили от начальства и как они исполнялись? Какова наружность отдельных личностей, их привычки и характер? Как некоторым представлялся бой, наблюдаемый с

описываемого нами корабля? И так далее, вплоть до незначительных мелочей».

Матросы охотно и откровенно рассказывали Новикову и его товарищам обо всём. Причём если кто-то что-то забывал или путал, то другие сразу же вносили поправки. Поэтому складывалась довольно объективная картина событий. Некоторые матросы начали сами записывать отдельные эпизоды боя и приносить их Новикову. Через несколько месяцев у Новикова набрался целый чемодан рукописей о Цусиме. «Этот материал, — напишет впоследствии Новиков-Прибой, — представлял собою чрезвычайную ценность. Можно смело утверждать, что ни об одном морском сражении не было собрано столько сведений, как у нас о Цусиме. Изучая подобный материал, я имел такое ясное представление о каждом корабле, как будто лично присутствовал на нём во время схватки с японцами. Нужно ли добавлять, что наши записи не были похожи на официальные описания этого знаменитого сражения».

Одним из первых записанных рассказов, который Новиков сразу переработал в очерк, стал рассказ о гибели броненосца «Бородино».

Дело было так. Новиков услышал, что в соседнем лагере находится некто Семён Ющин, личность легендарная уже потому, что из всей команды броненосца (более девятисот человек) в живых остался только он один. Новиков сразу же разыскал Ющина. Познакомившись (оказалось: земляки!), договорились о встрече.

Позднее, вспоминая тот день, когда они встретились, Новиков писал: «Тихий майский вечер был на диво прекрасен. К западу, далеко-далеко, смутно вырисовывались гребни гор, окутанных мглистою дымкой. В бухте, хорошо защищённой от ветров высокими холмами, неподвижно стояли военные корабли; их пушки, потрясавшие недавно своим чудовищным рёвом море и небо, теперь были безмолвны и лишь мрачно зияли страшными жерлами. Местами, собравшись в кучки, матросы горячо спорили, разбирая сражение при Цусиме и стараясь разыскать причины нашей неудачи».

Расположившись на берегу ручья, среди лимонных деревьев, вблизи небольших бамбуковых рощиц, Новиков, два его друга и Ющин повели долгий и печальный разговор. Семён подробно рассказал о том, как виделся весь бой с борта его корабля, что творилось на самом броненосце, как гибли его товарищи, как ранило командира. Море крови, лавина огня... Подробности — не для слабонервных...

К ночи растерзанный броненосец погрузился в глубину, море пожирало раненых, у которых не было сил держаться на

воде. Чудом спасся только один — марсовой Семён Ющин. Ухватившегося за рангоут, его долго швыряло в чёрных волнах, пока не осветило прожектором японского миноносца. Японцы и спасли... Разговор с Ющиным затянулся, между тем приближалось время вечерней поверки — пора было возвращаться в лагерь.

Четверо матросов, утомлённых и расстроенных тяжёлыми воспоминаниями, прошли мимо другой группы русских пленных моряков, один из них, белокурый, аккомпанируя себе на гитаре, пел:

Напрасно старушка ждёт сына домой...
Ей скажут... Она зарыдает...
А волны бегут от винта за кормой,
Бегут и вдали исчезают...

Рассказ земляка Новиков сразу же записал и, подредактировав, назвал свой очерк «Гибель эскадренного броненосца "Бородино" 14 мая 1905 года». Переписал всё в отдельную тетрадку и отдал Семёну Ющину, по его просьбе, «на память».

Когда был собран совершенно уникальный и невероятно огромный материал о цусимской трагедии, произошло непоправимое — то, о чём Алексей Силыч не мог без содрогания вспоминать даже через десятки лет. Всё погибло... Погибло самым нелепым образом.

У этого события есть предыстория.

В Японию, когда там скопилось много русских военнопленных, прибыл давнишний русский политический эмигрант, президент Гавайских островов доктор Руссель[1]. Он начал издавать журнал для пленных «Россия и Япония», в котором со временем стали появляться и небольшие заметки Алексея Новикова. Так, в декабре 1905 года в этом журнале была опубликована под псевдонимом «Матрос А. Затёртый» статья «Наши обскуранты».

Автор, напомнив читателям о том, что в октябре текущего года в России царским манифестом была объявлена свобода слова, размышляет: есть ли свобода слова для русских здесь, в Кумамото?

Матрос Затёртый рассказывает о том, что вся литература, которую он выписывает на свои деньги, часто попадает в руки офицеров в том лагере, где содержатся «высшие чины», якобы для «просмотра». Но по назначению газеты и журналы доходят далеко не всегда. Называя фамилии офицеров, возмущаясь их произволом, автор восклицает: «Когда же подобные

[1] Настоящие имя и фамилия — Николай Константинович Судзиловский, учёный, революционер-народник.

авантюристы, хвалящиеся перед другими своею напускною добродетельностью и фальсифицированной этикой, перестанут попирать ногами все императорские манифесты и указы, топтать в грязи все человеческие права? Скоро ли сгинут с арены русской жизни все грязные представители тёмной силы, доведшие нашу страну до полного разорения и поставившие русский народ в такое положение, что он до самого последнего времени не жил, а скорее прозябал?»

Как видим, Алексей Новиков, начавший борьбу против прозябания народа ещё в 1902 году в воскресной школе, после цусимской катастрофы не пересмотрел своих взглядов на жизнь, не отрёкся от своих убеждений, а, напротив, ещё больше укрепился в них.

Журнал «Россия и Япония» поначалу носил познавательно-культурный характер, но со временем (и статья «Наши обскуранты» это явно демонстрирует) в его материалы стала проникать и политика. Кроме того, Руссель начал распространять и нелегальную литературу. Присылал он её на имя Новикова, а уже от него брошюры и газеты расходились по баракам. Таким образом, революционная деятельность Алексея Новикова продолжалась и в плену, и в скором времени он очень серьёзно поплатился за это.

Завершался 1905 год. Россия и Япония уже заключили мир, а пленные русские всё ещё оставались в лагере.

В «Цусиме» Новиков-Прибой вспоминает, как явившиеся однажды из другого кумамотского лагеря, где содержались офицеры, армейский штабс-капитан и казачий есаул подробно объяснили пленным солдатам и матросам, почему их не отправляют в Россию. «Среди вас, пленных, — сказал есаул, — завелись политиканы. Несомненно, они подкуплены японцами. Эти политиканы распространяют разные вредные книжки, которые издаются на средства наших врагов и внушают вам пакостные мысли, что не надо царя, правительства, религии. Для чего это делается? Чтобы посеять среди православного народа смуту, всеобщую резню, анархию. А в России, как вам уже известно, и без вас творится бог знает что — всюду идут беспорядки, бунты. Кто из вас поумнее, тот сразу сообразит, что из этого должно получиться. Разве царю неизвестно, что политиканы, эти продажные твари, развратили вас совсем? А раз так, то неужели он, по вашему мнению, настолько глуп, чтобы заплатить японцам деньги и вывезти вас на свою голову? Ведь никто не стал бы выручать своих врагов из бедственного положения, зная заранее, что, кроме вреда, от них ничего не получишь. Нет, не бывать вам на родине! Вы пропадёте здесь».

Объяснение есаула звучало более чем убедительно. И задача была ясна: пленные сами должны расправиться с «политиканами», чтобы не пропасть из-за них на чужбине, а вернуться домой.

На следующий день к бараку № 2, где жили Новиков и несколько его единомышленников, в частности минёр с «Осляби» Константин Болтышев, подтянулось несколько десятков человек. В бараке находилось полторы сотни матросов, они поначалу все встали на защиту Новикова и Болтышева, которых требовали на расправу явившиеся, и легко отбили наступающих на них солдат. Но толпа «сухопутных», которых в этом лагере было больше, чем моряков, всё увеличивалась. Матросы, не желая бессмысленной гибели, начали покидать барак. Осталось 12 человек, обречённых на смерть. Усмирить разъярённую толпу уговорами было невозможно, «как бесполезно кричать в бурю на морские волны, лезущие на борт судна».

«Здесь была та же стихия, — пишет Новиков-Прибой. — У дверей и у всех окон сгрудился народ, горланя на все лады. И чем дальше, тем сильнее бесновались эти люди, хмелея от своей собственной ярости. Мысли стыли от ужаса, когда я смотрел на их напряжённо вздувшиеся лица, съехавшие набок рты, вывернутые глаза. Никаких сомнений не оставалось, что меня и моих товарищей не только убьют, но будут ещё и издеваться над нашими трупами. Случайно выйти живым из цусимского ада и через несколько месяцев на далёкой чужбине погибнуть от рук своих соотечественников — что ещё может быть несуразнее этого? Я понял тогда, быть может в первый раз, что такое толпа. Совсем ещё недавно я был для неё до некоторой степени вождём, она всячески приветствовала меня, а теперь она готовилась с неумолимой жестокостью меня растерзать, в надежде, что этим она облегчит свою судьбу».

Некоторое время Новикова и его товарищей спасало то, что среди «сухопутных» распространились слухи, будто у матросов-«политиканов» имеются револьверы и бомбы. На самом деле у моряков были только японские ножи, похожие на кинжалы.

Толпа готовилась поджечь барак. Ужас от мысли о средневековой казни придал сил морякам, и они решили напасть на огромную толпу первыми:

«Болтышев двинулся к выходу. Мы последовали за ним. Пока мы шли к двери, мне казалось, что во всей вселенной ничего больше не осталось, кроме этой оравы людей, жаждавшей превратить нас в кровавое мясо. Что-то зоологическое

проснулось и во мне, как будто я никогда не читал прекраснейших книг, гениальных творений, призывавших к человеколюбию. Каждый мускул мой напрягся. Единственная мысль, холодная и ясная, как луч в морозное утро, пронизывала мозг — не промахнуться бы и ловчее нанести удар врагам. Как только Болтышев показался на крыльце, ещё сильнее заколотились стадные выкрики и сотни рук протянулись к нему словно за драгоценной добычей. И в этот решительный миг я отчётливо услышал, как чей-то голос необыкновенно высокой ноты, выделяясь из общего клокочущего рёва толпы, взвился над человеческими головами и будто повис в воздухе.

— Зарезали! За-ре-за-ли!..

Передние ряды солдат дрогнули, на секунду смолкли. Я увидел искажённое лицо раненого, широко раскрытый рот, мелкие зубы и выпученные большие глаза, повисшие над щеками, как две мутные электрические лампочки. А затем запечатлелся Болтышев. Исступлённый, с лицом безумца, он высоко поднимал нож, обагрённый кровью. Мы тоже, сбросив с плеч шинели, подняли ножи. И тут случилось то, чего мы не ожидали: трехтысячная толпа метнулась от нас в разные стороны. Охваченные паникой солдаты бежали вдаль по широкой улице, сшибая друг друга, кувыркаясь, бежали так, как будто они никогда не бывали на фронте... Некоторые, гонимые слепым страхом, полезли под крыльцо. Мы преследовали их недолго, а потом, опомнившись, увидели, что вокруг нас никого нет».

И тогда 12 матросов бросились из лагеря в город и бежали, путаясь в улицах, до тех пор, пока не были схвачены полицией. Так русские пленные оказались теперь ещё и в японской тюрьме.

Через два дня от переводчика Новиков узнал, что озлобленные солдаты сожгли все его вещи и бумаги. Погиб весь материал о Цусиме. «Я был настолько потрясён, — напишет Новиков-Прибой, — что не спал целую неделю. Со мной начались припадки. Я с благодарностью вспоминаю доктора, который избавил меня от сумасшедшего дома».

Некоторое время русских «политиканов» держали при госпитале. К ним приходили матросы из лагеря, сообщали новости. Ситуация начала меняться. События первой русской революции накладывали отпечаток на настроение многих пленных офицеров.

Тем же солдатам и матросам, перед которыми совсем недавно выступал казачий есаул, флотские офицеры (преимущественно с «Орла», как пишет Новиков-Прибой) нарисовали совсем другую картину:

«— Вся Сибирская железная дорога находится в руках революционеров! — смело выкрикивал флотский офицер, окружённый слушателями в две тысячи человек. — Если только они узнают, что вы восстаёте против свободы, то как они отнесутся к вам? Неужели вы думаете, что таких мракобесов, какими вы проявили себя, они повезут в Россию? Вам придётся шагать через всю Сибирь пешком. Скажу больше, что ещё до того, как вы тронетесь из Японии и будете переезжать во Владивосток на пароходах через море, революционные матросы выкинут вас за борт».

Теперь пленные уже не сомневались, что в России объявлена свобода, что те самые «политиканы», с которыми «нужно было разобраться», ни в чём не виноваты. В канцелярию японского лагеря стали поступать прошения вернуть Новикова и его друзей в лагерь, где им гарантировали неприкосновенность.

Пленные встретили Новикова с товарищами торжественно, с красным флагом. Даже на руках качали.

Ещё находясь в тюрьме, а потом живя при госпитале, Алексей Новиков, оправившись от шока, начал по памяти восстанавливать материалы о Цусиме. В лагере всё пошло по новому кругу: расспросы, уточнения и т. д. Но полностью восстановить сожжённые записи уже не удалось. Пленным было наконец объявлено о том, что они возвращаются в Россию.

На поезде русских перевезли в Нагасаки, где разместили на пароходе «Владимир». Через некоторое время их должны были морем отправить во Владивосток, а уже оттуда опять железной дорогой — домой.

Каждый участник похода получил и береговое жалованье, и морское довольствие за девять месяцев (время, проведённое в плену, сочли за плавание). Одним словом, в Нагасаки недавние пленные чувствовали себя свободно во всех отношениях. В этом городе всегда было много иностранных моряков и к их услугам существовала масса развлечений, которые теперь были доступны опьянённым волей русским: и офицерам, и матросам. Город был наполнен их громкими разговорами, возгласами, песнями. Они словно пытались на всю оставшуюся жизнь вкусить радости здесь, на чужой земле, ведь на свою предстояло вернуться, понурив головы и посыпав их пеплом. Хотя знали: сердобольная Русь не бросит в них, убогих, камнем, пожалеет, да только хуже горькой редьки будет им та жалость.

Напротив города, на северо-западной стороне Нагасакской бухты, располагалась симпатичная деревня Иноса. За

много лет до войны правительство России арендовало её для отдыха русских моряков: здесь находились и мастерские, и госпиталь, и даже здание морского собрания с бильярдной и богатой библиотекой для господ офицеров. На холме возвышалась двухэтажная гостиница «Нева».

В «русской деревне» можно было бесшабашно кутить, играть в карты и рулетку и даже жениться на молоденькой японке. Браки заключались по договору, на то время, пока корабль стоял в Нагасаки. Так что многие из русских офицеров оставили тут своё потомство, и неудивительно, что к началу войны у японцев вполне хватало переводчиков с русского.

Шумная жизнь Нагасаки ничуть не увлекала Алексея Новикова: он грустил о девушке, с которой недавно расстался в Кумамото. О своей любви Новиков-Прибой расскажет в эпилоге «Цусимы».

В плену Алексей Новиков подружился с японским переводчиком, который прекрасно говорил по-русски и очень любил русскую литературу. Им было о чём поговорить. У переводчика была сестра Иосие. Это была, пишет Новиков-Прибой, «девушка двадцати лет, маленькая, статная, с матово-нежным лицом и загадочным взглядом чёрных лучистых глаз. Любовь не считается ни с расовым различием, ни с войной; она развивается по своим собственным законам. Иосие, встречаясь со мной, сначала настораживалась, как птица при виде приближающегося охотника, но после нескольких свиданий у нас началось взаимное тяготение друг к другу. Я разговаривал с нею при помощи её брата. А когда выяснилось, что она немного говорит по-английски, взялся и я за изучение этого языка. Первые слова и фразы, усвоенные мною, были, конечно, приветственные и, конечно, о любви».

«Я подбирал для неё, — пишет автор «Цусимы», — самые поэтические слова, какие только знал. Она, конечно, не понимала их смысла. Она только улыбалась маленьким ртом с пухлыми губами, блестя белизной мелких и немного кривых зубов. И призывно мерцали её чёрные глаза, наискось подтянутые к вискам. Не понимал и я её, когда она, откинув назад черноволосую голову с пышной причёской, что-то быстро начинала говорить. Японцы не имеют в своём языке буквы "л" и заменяют её буквой "р". Поэтому и Иосие, произнося моё имя "Алёша", говорила "Арёша". Но это почему-то особенно мило звучало в её устах».

Брат Иосие не препятствовал влюблённым и был согласен на их брак (девушка была сиротой). Поначалу Новиков не планировал возвращение в Россию, поскольку догадывался,

что его, как «политикана», там всё-таки не ждут. Собирался вместе с любимой ехать в Америку, мечтал выучить английский, поступить матросом на коммерческий корабль и приезжать на родину в качестве иностранного подданного, а там, смотришь, и мировая революция не за горами, тогда можно будет с Иосие и домой вернуться.

Но из Петербурга пришло известие об амнистии для политических преступников. Это меняло дело. Теперь путь Алексея Новикова лежал только в Россию. Однако везти Иосие с собой сейчас, когда в стране кипят такие события и он, бывший матрос Новиков, надеется быть в их гуще, Алексей всё-таки не решился. Они расстались...

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Поезд, целиком заполненный бывшими пленными матросами, оставив Владивосток, неторопливо катил по одноколейке, постоянно застревая на станциях, забитых другими составами. Путешествие было и долгим, и трудным, и мучительным. Ехали через всю Сибирь, где свирепствовали карательные отряды генералов Ренненкампфа и Меллер-Закомельского, истребляя на корню ростки дошедшей до этих краёв революции.

Надо сказать, что для суровой зимы бывших пленных приодели: на них были дублёные полушубки, лохматые папахи, пимы — на моряков они теперь уже никак не были похожи, скорее на эскимосов, тем более что за шесть недель жизни в поезде помыться им ни разу не пришлось. Кормили отвратительной бурдой. Можно представить, с каким настроением возвращались домой побитые японцами русские моряки, завшивевшие и изголодавшиеся (плен и особенно несколько дней, проведённых в Нагасаки, казались им теперь раем небесным).

Алексея Новикова больше, чем голод и грязь, беспокоила сохранность его бумаг. Слава богу, их вагон в пути ни разу не обыскивали...

Казалось, пути этому никогда не будет конца. Но сматывались в клубок километры, и оставалось их всё меньше. И замирало сердце. А то вдруг так начинало колотиться, что надо было его, ретивое, чуть ли не руками удерживать, а то, не ровен час, вырвется из груди и покатится-помчится само по себе, лишь бы быстрее оказаться у родимого порога...

Встретила Алексея большая и дружная семья Сильвестра со слезами радости непомерной и горя неизбывного: две недели назад схоронили мать, не дождалась, родимая...

Пять лет, пять долгих лет, наполненных множеством событий, лиц, стран, морских миль и штормов, потерь, раздумий и

прозрений, отделяли его от того дня, когда приезжал он на побывку в Матвеевское. Бравый матрос, он и тогда вызывал если не восхищение (испокон веку русские крестьяне скептически относились к тем, кто не сеет и не пашет), то живой интерес. А теперь, повидавший лиха, уже не Алёшка Силкин, а Лексей Силыч притягивал всех, кто более или менее соображал, что не жить русскому мужику по-старому, что ждут его большие перемены. Только вот какие? И как им быть-то теперь, крестьянам? Верить кому?

Каждый день в избу Новиковых приходили односельчане, осаждая Алексея многочисленными вопросами. Он рассказывал что знал. И удивлялся: «Когда это наши тамбовские волки успели сделаться такими сознательными?»

Постоянное общение помогало справиться с глубокой тоской по матери: уберегла она его своими молитвами от гибели и в бою, и в плену; а вот не дождалась... Самую малость не дождалась. Самую малость... Это и не давало Алексею покоя. Теоретически он мог бы добраться домой двумя неделями раньше. Мог бы. А вот не добрался...

И туманили глаза слёзы, и душа томилась невысказанным раскаянием, и наплывали воспоминания — всё те же: как идут они с матерью с богомолья, как мечтает она сладостно о будущем сына и ласково растолковывает ему, неразумному, как хорошо и покойно живётся в монастыре.

Бессонными ночами Алексей просиживал за столом. Писал. Бывало, до самого рассвета горела в горнице керосиновая лампа (не каждый в их селе мог себе такое позволить, обходились коптилками, но Сильвестр — мужик основательный, одним из первых лампой обзавёлся). В первую очередь Алексей Силыч доработал свои записки о жизни в плену. Очерк назвал «Между жизнью и смертью». Бог даст, напечатают когда-нибудь. Не век же ему в Матвеевском сидеть. Пожалуй, надо в Питер перебираться, там как-то обустраиваться.

О том, как возвратился в село, тоже написал. Но всё это он писал как репортёр, по правде, для газеты какой-нибудь. А хотелось сочинить рассказ настоящий. Или сразу — повесть.

За повесть Алексей Силыч и взялся. История подходящая в голове была. И название придумал — «Материнская любовь».

Неоконченная рукопись датирована 1906 годом. Написанные фрагменты дают неполное представление о сюжете, тем не менее понятно, что это драматическая история любви бедного, но умного и благородного крестьянского парня Гриши и красавицы Гани, которую пьяница отец отдаёт против её воли замуж за сына церковного старосты.

Читая наброски повести, понимаешь, что душу автора,

вернувшегося домой после тяжёлых испытаний, светло и пронзительно волнует родной крестьянский быт, его плавное течение — с немудрёными, но важными заботами, с покосами, вечерними хороводами молодёжи. Его волнует всё типично русское: праздничные наряды девушек, песни, обычаи и обряды. Автор, например, не просто любуется красотой своей героини — он старательно выписывает поистине некрасовский портрет молодой русской крестьянки: «Но вот наступил семнадцатый год, и она внезапно расцвела. Откуда только что взялось? Стройная, чернобровая, с правильными чертами лица, слегка покрытого свежим румянцем, она во всём селе стала считаться первой красавицей. Это была настоящая дочь полей и лесов, пышущая здоровьем и весельем. Жизнь в ней кипела. Что-то задорное и вместе с тем обстоятельное замечалось в ней. А когда вечерком, выйдя на улицу и присоединившись к хороводу, она начинала петь старинные песни, то её славный голос трепетал страстной нотой, поражая всех своей прелестью».

Под стать Гане её возлюбленный — олицетворение сказочного богатыря, одного из тех, кто призван хранить Святую Русь, «широкоплечий, сильный, с русыми, подстриженными в кружок волосами». Да ещё к тому же — «трудолюбивый, честный, трезвый и скромный». И как потом выяснится, гордый, бесстрашный, мужественный — уж он не будет заискивать ни перед кем: ни перед властью, ни перед богачами.

Но видится, что главное в авторских набросках — это всё же не сюжет как таковой и не идея, а атмосфера деревенского быта, детали которого Новиков стремится и увидеть, и зафиксировать — сразу, здесь, на месте, пока есть такая возможность. Он пишет, очевидно, по свежим следам, например о крестьянской свадьбе с её неписаными законами:

«Стукнуло парню восемнадцать лет. Пора женить. Семейство в сборе. Тут же крёстный и крёстная. Спрашивают жениха, чью девку хочет взять за себя.

По указанию жениха крёстный, крёстная, соседи идут к родным намеченной невесты. Поздоровавшись, спрашивают:

— Нет ли ярочки продажной?

— Есть, как не быть. А только для кого?

— За такого-то.

Родители спрашивают невесту о её согласии. Уговорились. Тогда сватья заявляют:

— Позовём родителей на ладу.

Родители невесты и жениха попарно садятся за стол. Невеста отсутствует.

Начинают ладится. Родители невесты назначают за девку:

7 вёдер водки, 10 рублей деньгами, $1^1/_2$ пуда говядины, невесте шубу, поддёвку суконную, зипун будничный, две пары полусапожек: тёплые и холодные, суконки.

Долго торгуются.

Свадьба становится 200 рублей, плохая 100 рублей».

Фрагменты недописанной повести пронизаны любовью автора к родине — близкой, дорогой, понятной. Деревенские обычаи, переплетаясь с красотой природы и самою этой красотой рождённые, радуют простотой и искренностью. Вот как описывает Алексей Новиков Ильин день:

«Наступил праздник Святого Ильи. После обеда почти все жители деревни, согласно старому обычаю, отправились в поле, чтобы осмотреть яровые — результаты своих тяжёлых трудов. Старые шли в одиночку или по два, по три человека. Молодёжь, нарядившись по-праздничному, собиралась в хороводы, к одному из которых присоединились Ганя и Гриша.

День выпал на диво прекрасным. В безоблачном небе ярко сияло солнце, заливая всё своими светлыми лучами. Поле пестрело разными полосами — то зелёными, то золотистыми, смотря по тому, что где было засеяно. Знойный воздух казался неподвижным. Весело пели жаворонки, отчаянно стрекотали кузнечики.

После пяти лет неурожая, а следовательно, и страшного голода, год обещался быть плодородным. Поселян это радовало. Там и сям слышались звонко распеваемые ими песни.

Тот хоровод, где находились герои, ушёл почти к самому лесу и остановился у небольшой реки. Здесь, на лугу, молодёжь дала полную свободу своему веселью.

Гриша начал наигрывать на гармошке, которую захватил с собой.

Нарядные парни и девицы ударились в плясовую.

Ганя украсила свою голову венком, сплетённым из ромашек и васильков. Сама она была наряжена в рубаху малинового цвета и голубой фартук. Сбоку висели широкие кисти от пунцового, с жёлтыми полосками, кушака, опоясанного вокруг её талии. Всё это очень шло к её лицу».

Занятия творчеством не вытесняли из души Алексея Новикова мечту о лучшей доле для простого народа; революционные устремления человека, уже много повидавшего и немало просвещённого, не позволяли ему бездействовать, поэтому не прекращал он свою агитацию среди односельчан. В скором времени связался с революционерами: учителем П. Я. Володиным и студентом Молчановым.

В Матвеевском, несмотря на его отдалённость от всех, даже уездных, городов, Новиков довольно регулярно получал

почту. Писали цусимцы, писал Костенко. И однажды прислали Алексею номер газеты «Новое время» от 1 апреля 1906 года, где был напечатан его очерк «Гибель броненосца "Бородино"». Это был тот самый очерк, который Новиков написал в плену со слов матроса Семёна Ющина. Как попал этот материал в газету (редакцией он был идеологически приглажен), Алексей узнает позже, когда уже переберётся в Питер. А пока он испытывал двоякое чувство: радость, что напечатана одна из его первых цусимских заметок, и обиду оттого, что он, революционно настроенный матрос, пропечатался в таком консервативном органе, каким было «Новое время».

Осенью 1906 года в гости к бывшему цусимцу приехал Владимир Полиевктович Костенко, который прожил в доме Новиковых несколько дней. Новиков читал ему свои наброски о цусимском бое, внимательно выслушивал замечания, которые делал его друг. Именно Костенко снабдил Алексея адресом в Петербурге, по которому можно обратиться с просьбой напечатать будущие очерки.

По воспоминаниям Я. Агапова, односельчанина А. Новикова (эти воспоминания были записаны в начале 1950-х годов), один из братьев Поповых, озабоченный приездом к Новиковым гостя из самого Петербурга и подозревающий, что в селе могут случиться «всякие беспорядки», вызвал в село жандармов. Приехали 20 полицейских, впереди — становой пристав. Стали искать зачинщиков «беспорядков». Грозил арест и Новикову. Жандармы оцепили дом. Но, заранее предупреждённый, Алексей уже скрылся в лесу. Потом сосед Ивашкин отвёз его на подводе в город Спасск к родственникам. «Хорошо помню, как это было, — вспоминает Агапов. — Запряг Ивашкин лошадь, прикрыл Алексея Силыча соломой, а сам впереди сел. Под самым носом у жандармов они и ускользнули из Матвеевского. В селе потом долго все смеялись, как ловко удалось провести полицию. А нас, крестьян, за непочтение к властям во всей округе прозвали "матвеевскими забастовщиками"».

Итак, в сентябре 1906 года бывший русский матрос, на долю которого и после цусимской трагедии выпало немало испытаний, покидает родное село и добирается до Петербурга, устраивается на работу: теперь он письмоводитель у помощника присяжного поверенного. Но мятежная душа не позволяет вести спокойную, размеренную жизнь, и Новиков снова втягивается в революционную работу, налаживая старые связи и устанавливая новые. Общается он и с Костенко. Правда,

совсем недолго, поскольку Владимир Полиевктович уезжает в Англию, назначенный членом комиссии по приёмке строящегося в городе Глазго крейсера «Рюрик».

Активная революционная работа не лишает Новикова желания писать. Уже не мысля своей жизни без того, чтобы, по его словам, не «грешить пером», Новиков по-крестьянски упорно продолжает свои литературные занятия. Он видит себя в будущем только писателем, держа в голове и сердце примеры «самоучек» Кольцова, Решетникова и «самого Горького». Видит себя писателем, истово уверовав, что не университетская учёба делает из обыкновенных людей *людей пишущих*, а упорный, настойчивый труд и, главное, судьба — судьба, подарившая человеку стремление искать слова, плести из них правдивое и занимательное повествование и пославшая ему для этого испытания и опыт. Что ж, привычка к тяжёлому труду у него имелась с детства. Море и война дали такие впечатления, что ни один писатель не отказался бы. Ну и верилось, что искра Божья мимо него не пролетела. Значит — писать!

В Петербурге почти сразу выяснилось, как очерк «Гибель эскадренного броненосца “Бородино” 14 мая 1905 года» без ведома автора попал в «Новое время». Оказывается, Семён Ющин отнёс заветную тетрадку с сочинением Новикова вдове своего командира — Серебренниковой. Очерк, в котором описывалась гибель её любимого мужа, достойного и храброго офицера, не один раз поливался её слезами. Но, справившись с эмоциями, вдова, перепечатав статью, отправила её в газету.

В Петербурге Новиков изредка встречался со своими бывшими сослуживцами. Об одной из таких встреч он напишет в рассказе «Первый гонорар», а позднее включит этот рассказ в предисловие к «Цусиме». Надо сказать, что впоследствии на встречах с читателями Новиков-Прибой очень часто обращался именно к этому фрагменту своей главной книги и всегда имел громкий успех у публики.

«Дело было так, — начинал он обычно. — Как-то собрались мы на квартире одного товарища. Вспоминали о Цусиме, а потом захотелось гульнуть, но денег ни у кого не было. Один из товарищей обратился ко мне:

— Ты с “Нового времени” за своё сочинение ничего не получил?

— Нет.

— Так что же ты смотришь, голова?

Я тоже слышал, что редакции платят за статьи какой-то гонорар, но было стыдно идти, и я отнекивался:

— А вдруг откажут? Да ещё дураком назовут...

— Не имеют права, раз твоё сочинение напечатали. А смотришь — трёшница или вся пятёрка перепадёт тебе. Вспрыснем тогда твою первую литературную работу.

Идея была дана, её подхватили другие и начали уговаривать меня:

— Разве можно упускать такие деньги? Мы тоже с тобой пойдём.

В конце концов я согласился с ними, и мы, восемь человек, отправились получать гонорар.

У подъезда "Нового времени" пятеро остались на улице, а я и ещё двое матросов пошли в редакцию. Ноги мои плохо слушались, лицо горело, как будто я собирался совершить какое-то преступление, но меня подбадривали мои товарищи:

— Страшнее Цусимы не будет. Чудак!

В редакции, показывая свои документы, я заплетающимся языком объяснил о цели своего прихода».

Гонорар Новикову готовы были выдать, но на это требовалось письменное согласие госпожи Серебренниковой, ибо именно через неё материал попал в редакцию. Адрес в редакции имелся.

Гурьбой отправились искать нужный дом. Оставив товарищей у ворот, Новиков отправился в квартиру с ещё бóльшим страхом, чем в редакцию. Серебренникова встретила Новикова очень хорошо. Конечно, поплакала. Поблагодарила. Написала несколько строчек в редакцию.

«Через полчаса, с письмом в кармане, мы уже мчались в редакцию. Опять двое сопровождали меня наверх. После каких-то формальностей мы втроём двинулись к кассе. Мне сказали:

— Распишитесь и получите пятьдесят два рубля.

Я остолбенел от названной суммы. Она мне казалась невероятной.

Я робко переспросил:

— А вы не ошиблись?

В этот момент с одной стороны товарищ дёрнул меня за полу пиджака, а с другой — я получил в бок толчок, означавший, что я круглый дурак. Кассир тоже обиделся на меня и строго заговорил:

— Какая же здесь может быть ошибка? Пятьсот двадцать строчек. По десять копеек за строчку. Итого пятьдесят два рубля.

Мучительно долго я расписывался, выводя дрожащим пером буквы, но вниз мы сбежали с такой быстротой, как будто спускались на крыльях.

Я с гордостью заявил остальным товарищам, потрясая деньгами:

— Вот они — пятьдесят два целковых!

— Пятьдесят два? — словно вздох вырвалось у них.

— Да.

Возвращались мы домой бодрым шагом. У каждого из нас был какой-нибудь кулёк. Мы несли водку, вина и массу разных закусок. Почти на все деньги закупили.

В полуподвальном помещении на большом столе разложили закуски, поставили выпивку.

— Ну, друг Алёша, за твой литературный успех!

Чокались, выпивали, закусывали. В комнате становилось всё шумнее. Товарищи возбуждённо говорили мне:

— Ведь матросом был! Любой начальник мог тебе всю физию расквасить. А теперь стал литератором. Каково, а? Вон куда махнул!»

Обращаясь к Алексею Новикову, друзья говорили: «Друг наш Алёша! Больше пиши! Опиши всю нашу жизнь, все наши страдания. Пусть все знают, как моряки умирали при Цусиме».

Работа у помощника присяжного поверенного Топорова, человека с добрым сердцем и либеральными взглядами («Это был прекрасный человек. Он разрешил мне пользоваться своей библиотекой», — напишет много позже Новиков-Прибой всё в том же предисловии к «Цусиме»), давала возможность как много читать, так и предаваться делу, которому Алексей собирался посвятить свою жизнь.

В архиве Алексея Силыча Новикова-Прибоя долгое время хранился «Рассказ сторожа», опубликованный только в 2007 году в уже упоминавшемся сборнике «Победитель бурь». Сборник этот был издан к 130-летию со дня рождения писателя стараниями его дочери Ирины Алексеевны (женщины удивительной, для которой непременно найдётся место в данном повествовании) и Сасовской центральной библиотеки им. А. С. Новикова-Прибоя (а небольшой город Сасово — центр района, к которому относится вот уже более семидесяти лет некогда тамбовское село Матвеевское, родина знаменитого советского мариниста).

Так вот. Рукопись «Рассказа сторожа» не была датирована, но, по авторитетному мнению В. А. Красильникова, она относится к концу 1906-го — началу 1907 года, то есть к тому самому времени, когда будущий писатель служил у Топорова. Красильников пишет: «Очевидно, что “Рассказ сторожа” писался Новиковым-Прибоем именно в этот период его петербургской жизни, когда наблюдения и впечатления от бесед с многочисленными жалобщиками, обращавшимися за помощью к

Топорову, и от судебных беззаконий были свежи и горячи. В этом убеждает непосредственность и неподдельная искренность рассказа. При чтении его создаётся впечатление, что трагическую историю кормильца семьи, ставшего инвалидом вследствие производственной травмы, рассказывает сам пострадавший».

«Рассказ сторожа» представляет собой вполне законченное произведение, и не совсем понятно, почему писатель не включил его позднее ни в свои сборники, ни в собрание сочинений. Более того, по своей художественной силе оно могло бы стать в один ряд, например, с чеховскими рассказами «Ванька» или «Тоска», потрясающими своей пронзительной, невыносимой правдой о страданиях человеческих, своей безысходностью, выливающейся в риторический вопрос: «Кому повем печаль мою?..» «Рассказ сторожа» выявляет в начинающем литераторе главное свойство таланта настоящего русского писателя: чувствовать, как свою, чужую боль и уметь передать её так, чтобы защемило сердце, чтобы захотелось встать на защиту всех «униженных и оскорблённых». Кстати, именно в это время Алексей Новиков по-настоящему открывает для себя Достоевского.

Считается, что во время службы у Топорова Новиков написал ещё один рассказ, не менее яркий по своей обличительной силе и явно более революционный. Когда Новиков в 1914 году готовил к печати свою первую книжку — «Морские рассказы», он включил в неё это произведение. Называлось оно «Бойня». И в 1914 году, конечно, никак не могло быть опубликовано. Но странным образом сборник дошёл до типографского набора, который в последний момент было приказано уничтожить. И рассказ «Бойня» вместе с другими морскими рассказами Новикова-Прибоя был впервые опубликован в Москве только в 1917 году.

В 1906 году в Кронштадте были казнены 19 матросов-революционеров. Подробности этой казни Новиков, очевидно, слышал не только от Топорова, но и явно от кого-то из очевидцев. Услышанное — увиделось. Сразу — всё, от закатного солнца, погружающего «лучи свои в воды Финского залива», до расступившихся холодных волн, мрачно принявших в свои глубины тела казнённых. И те, кто расстреливал и добивал мятежников штыками, свои же, матросы, братки, тоже увиделись — с болью и скорбью. И безумие некоторых из них передалось остро, слепяще, невыносимо. Не написать о бойне было нельзя, душа рвалась «глаголом жечь сердца людей», и собственное сердце истекало кровью — ею и написан рассказ. И говорить о его художественных достоинствах и недостат-

ках — не получается. Зато можно смело утверждать, что в одном из самых ранних рассказов матроса Алексея Новикова — вся суть и боль русского критического реализма.

Начиная с 1906 года одно за другим появляются в печати статьи и брошюры Алексея Новикова о Цусимском сражении. Через год с лишним после публикации в «Новом времени» «Гибели эскадренного броненосца “Бородино”...» газета «Мысль» напечатает «рассказ матроса» (так сам автор, подписавшийся «Матрос Н-ов», определит жанр своего произведения) «О гибели эскадренного броненосца “Ослябя” и его экипажа 14 мая 1905 г.». Затем появятся брошюры «За чужие грехи» (эта маленькая книжка включала в себя два очерка: «Гибель крейсера 1-го ранга “Адмирал Нахимов”» и «Гибель эскадренного броненосца “Ослябя”») и «Безумцы и бесплодные жертвы», очерки «Возвращение из плена» и «Встреча пасхи на корабле» (газета «За народ». 1909. № 15, 20; подпись — «Матрос Кожуколка»). Позднее, в годы эмиграции, А. Новиков напишет рассказ «Живая история», в основе которого — очерк «Гибель крейсера 1-го ранга “Адмирал Нахимов”». Тогда же появится рассказ «Побеждённые», повествующий о гибели броненосца «Наварин».

Сергеев-Ценский сравнил однажды Новикова-Прибоя с Александром Ивановым. Как у знаменитого русского художника многие сотни этюдов были приготовлением к главному полотну его жизни «Явление Христа народу», так же все «цусимские» очерки Алексея Новикова были набросками к роману-эпопее «Цусима», о чём он, конечно же, ещё не подозревал в то время, когда по свежим следам старался воссоздать подробности гибели 2-й Тихоокеанской эскадры, а по существу, всего русского флота. Кстати, это один из главнейших аргументов в защиту того, что Алексей Силыч Новиков-Прибой — истинный и единственный автор «Цусимы» (разговор о спорах по этому поводу — впереди).

Две брошюры «Безумцы и бесплодные жертвы» и «За чужие грехи» были изданы нелегально в Москве и Петербурге, наделав много шума. Обе они были опубликованы под псевдонимом «А. Затёртый (бывший матрос)», который автор придумал себе ещё в плену. Псевдоним, как нетрудно догадаться, взялся из воспоминаний об отцовских сетованиях по поводу нерадивости сына в учёбе («Затрёт тебя, Алексей, жизнь...»), а сами названия очерков рождали глубокие сомнения в том, что их антиправительственный пафос позволит им свободно распространяться.

В очерке «Безумцы и бесплодные жертвы» автор с негодованием рассказывает о бездарном и продажном командовании

российского флота, о забитых и обманутых русских матросах, расценивая катастрофу под Цусимой как «страшное, ещё небывалое в нашей истории поражение...».

Книга открывалась стихотворением известного поэта-народовольца П. Якубовича, строки которого звучали гневно и обличительно:

Мы — жертвы!.. Мы гневным отмечены роком...
Но бьёт искупления час —
И рушатся своды отжившего мира,
Опорой избравшего нас.
О день лучезарный свободы родимой,
Не мы твой увидим восход!
Но если так нужно — возьми наши жизни...
Вперёд, на погибель! Вперёд!

Заканчивалась книга словами этого же стихотворения:

Довольно! Довольно! Герои Цусимы,
Вы жертвой последней легли:
Рассвет уже близок... Она у порога —
Свобода родимой земли!

И эпиграф, и концовка уже сами по себе говорили о том, какой заряд несёт в себе очерк матроса Затёртого.

За внешне парадной жизнью флота автор книги сумел рассмотреть и показать её обратную сторону: «Стоило посмотреть на изнанку военно-морских дел, чтобы ужаснуться перед позорной картиной страшных злоупотреблений и возмутительных хищений народного богатства». Он рассказывает о воровстве, карьеризме, невежестве, подхалимстве командного состава флота: «Все были заняты исключительно своими личными, чисто эгоистическими интересами, стараясь как можно скорее устроить себе карьеру, пробраться в следующий чин, да приобрести себе побольше орденов и крестов...» Автор утверждает, что «о бедственном положении истерзанной родины, кроме нижних чинов, почти никто и думать не хотел». Поэтому хорошие слова он находит только для «нижних чинов», для тех, кого «за какое-нибудь правдивое слово отдавали под суд, упекали в арестантские роты или даже на каторжные работы...».

«Всеми силами души ненавидя войну», гальванёр Голубев перед боем задаётся вопросом: во имя чего? И сам же на него отвечает: «Другое дело, если бы этим ещё можно было искупить народное страдание, облегчить его горькую участь. А то ведь ничего подобного. Наоборот даже... Для шайки грабителей она, конечно, имеет смысл, давая им возможность держать народ в обмане и рабстве...»

Продолжая мысль Голубева, матрос Штарев рассказывает:

«Я недавно в одной книге вычитал относительно войны прямо-таки золотые слова. Автор, характеризуя людей, воюющих не по своей воле, говорит, между прочим, так: “Положите несколько щенков в мешок и начните его трясти: щенки эти станут грызть один другого, но им и в голову не придёт укусить ту руку, которая трясёт их”».

Говоря о Рожественском, матрос Затёртый писал, что командование эскадрой было похоже «на бред человека, сошедшего с ума, на прислуживание и лакейскую заботливость царедворца», что «дойти до такой постыдной игры человеческими жизнями и судьбами родины» можно было только «ради желания сделать сюрприз своему патрону».

Как только книга вышла в свет и была прочитана несколькими сотнями человек, срочно было начато дело по её изъятию и розыску автора.

5 июля 1907 года Главное управление по делам печати предложило Санкт-Петербургскому цензурному комитету дать своё заключение о книге и переслать копию этого заключения прокурору Санкт-Петербургской судебной палаты.

13 декабря 1907 года комитет по делам печати, приводя подробные выдержки из книги, сообщал прокурору:

«Помимо общей тенденции брошюры вызвать в читателях враждебное настроение в отношении всего военно-морского ведомства и корпуса морских офицеров как виновников Цусимской катастрофы, стихотворение, взятое автором в качестве эпиграфа и в качестве заключительных строк книги, а также указанное на стр. 31 брошюры осуждение адмирала Рожественского за его желание “сделать сюрприз своему патрону”, нельзя не усмотреть признаков преступления, преследуемого ст. 128 Угол. уложения».

Автор книги обвиняется цензурным комитетом в «дерзостном неуважении к Верховной власти». Постановление цензурного комитета звучало следующим образом:

«1) Привлечь к законной ответственности по силе ст. 128 и п. 1 ст. 129 Угол. уложения виновных в напечатании вышеназванной брошюры и 2) наложить на неё арест на основании ст. 3 от IV Врем. прав. для неповременной печати 26 апреля 1906 г. Сообщая о сём, в дополнение к отношению своему от 29 минувшего ноября за № 3071, комитет имеет честь покорнейше просить Ваше Превосходительство возбудить судебное преследование против автора брошюры бывшего матроса А. Затёртого (имя, отечество и место жительства его комитету неизвестны, равно как не имеется сведений о том, не является ли фамилия “Затёртый” вымышленным псевдонимом), а также и против других лиц, могущих оказаться виновными по тому же делу».

Издателю книги и автору неизбежно грозила каторга.

7 января 1908 года Судебная палата это постановление утвердила и 12 мая 1908 года вынесла окончательный приговор: «...и имея в виду, что... обнаружить личность автора, заказчика или издателя вышеупомянутой брошюры не представилось возможным, Судебная палата определяет означенную брошюру уничтожить, вместе с стереотипами и другими принадлежностями тиснения, заготовленными для её напечатания...»

Одновременно с этим Главное управление по делам печати отправило циркулярное напоминание «Губернаторам и начальникам областей на случай появления брошюры в продаже или библиотеках, на предмет её изъятия».

Такие же постановления были приняты и по поводу второй книги А. Затёртого «За чужие грехи», близкой по содержанию и обличительной силе брошюре «Безумцы и бесплодные жертвы».

«И МНОГО БУДЕТ СТРАНСТВИЙ И СКИТАНИЙ...»

Итак, разыскивался автор крамолы — матрос Затёртый, он же Алексей Новиков. И снова — необходимость скрываться, на этот раз — в Финляндии, где Алексей находит приют у товарища по службе на крейсере «Минин» — Максима Косырева, тоже опального и разыскиваемого за участие в восстании на крейсере «Память Азова» в 1906 году.

Они были почти земляками: Косырев — из рязанских, а Новиков — из соседних, тогда ещё тамбовских краёв, часть которых, включая Матвеевское, со временем отойдёт, как уже было сказано, к Рязанской области.

Косырев жил по чужому паспорту, скрываясь от жандармов в местечке Куоккала на берегу Финского залива, где работал дворником на даче брата революционерки Веры Фигнер. Дачу в это время снимала жена другого революционера — Л. Б. Красина.

После двухмесячного проживания у друга в дворницкой Новиков засобирался в Англию. Дело в том, что он получил весточку от Костенко из Лондона, где, по словам Владимира Полиевктовича, его ждала интересная работа. Конечно, имелась в виду работа революционная.

Новиков отправляется в Гельсингфорс, где жил один из его знакомых по революционному кружку в Кронштадте, в надежде одолжить необходимые для этой поездки деньги (пока в карманах было пусто). Но когда он нашёл по имеющемуся адресу нужный дом, то его хозяйка сказала, что никаких квартирантов у неё не проживает. Недоброжелательный и подозрительный взгляд её наводил на мысль, что товарищ, возможно, арестован и задерживаться здесь не стоит.

Новиков решил поехать в Выборг, откуда можно было морем отправиться в Туманный Альбион, манящий свободой и возможностью заняться делом. На выборгском вокзале Алексея остановили жандармы. Поскольку документов у задержанного не оказалось, его препроводили в Выборгскую кре-

пость, где находилась жандармская канцелярия. Так получилось, что на некоторое время его оставили одного. Воспользовавшись этим, он вышел во двор крепости, перелез через стену и пустился бежать по улице, никем не преследуемый.

До темноты он опасливо бродил по городу. Чувствуя себя выброшенным из жизни, не зная, что предпринять, Алексей забрёл в трактир недалеко от пристани. Здесь и произошла встреча, которая всё решила.

Придав воспоминаниям художественности, припомнив и сочинив детали, Новиков напишет впоследствии о двух посетителях трактира, привлёкших его внимание (впрочем, не о нём самом уже будет идти речь, а о Митриче, герое рассказа «По-тёмному»).

Ученически старательно выпишутся портреты тех, кто поможет круто изменить жизнь русского матроса, «потерявшего руль и компасы».

«Один — здоровенный мужчина лет двадцати восьми. Роста выше среднего. Кряжистый, мускулистый. Голова большая, круглая, крепко сидящая на короткой шее. Русые щетинистые волосы всклокочены. На широком, типично русском лице с небрежно спутанными усами запечатлён тяжёлый труд. Но серые глаза смотрят весело и самоуверенно. Голос твёрдый и сочный, точно пропитанный морской влагой». Вот такими морскими волками будут в дальнейшем многие любимые герои Новикова-Прибоя — безусловного романтика, певца бескрайней суровой стихии и дерзких мореходов, её рыцарей и пленников одновременно.

Но не столько колоритная внешность привлекла Новикова-Митрича, сколько разговор усевшихся за соседний столик друзей. Оказывается, они служили кочегарами на коммерческом судне, которое на следующее утро уходило в Лондон. Это был шанс, который нельзя было упустить.

Моряк моряка видит издалека, да и общительному, умеющему быстро расположить к себе практически любого человека Алексею не составило труда завязать знакомство и почти сразу получить от кочегаров обещание вывезти его в трюме «по-тёмному», как это принято было у них называть.

В рассказе появится сочинённый начинающим писателем попутчик Васёк, оказавшийся на самом деле девушкой-революционеркой, которой так же, как и Митричу, необходимо было скрыться от царской охранки. Каково было им там, в трюме, когда судно попало в шторм? Обратимся к тексту рассказа «По-тёмному»:

«Качка ужасная. Наверху ревёт буря страстно и напряжённо. Чудовищными голосами воют вентиляторы. Волны, вски-

пая, с яростным гневом бьются о железо бортов. Пароход бросает как щепку. Временами, взобравшись на высоту, он опрометью бросается вниз, точно в пропасть. Но тут же снова взбирается вверх. Трещит, как будто беснующаяся стихия ломает его остов. Над головой, гремя о плиты, перекатываются с одного места на другое куски угля и другие неприкреплённые предметы.

Мы сидим с Васьком рядом, подавленные и ошеломлённые происходящим. Нет ничего хуже, как переносить бурю, сидя на дне судна да ещё взаперти. Наверху она просто грозна, здесь ужасна даже для привычного моряка. Там в случае крушения корабля всё-таки можно остаться живым. Здесь чувствуешь близость разверзающейся могилы.

Вода упорно наполняет наше логовище.

Теперь она доходит до груди.

Мы мокнем в ней, как селёдки, брошенные в бочку с солёным раствором. Тела наши сморщились. От стужи дрожим, как в лихорадке, неистово щёлкая зубами.

Лечь на спину — значит захлебнуться в воде; сесть прямо — мешает настилка. Приходится устраиваться, изогнувшись и постоянно опираясь рукой о дно. Это становится через некоторое время невыносимым. <...>

А волны ещё сильнее, ещё яростнее начинают обрушиваться на корабль. Сражаясь с ними, он падает, поднимается, мечется в разные стороны, как обезумевшее от ран животное. Мне, как моряку, понятны эти убийственные взмывы волн, этот лязг железной громады, дрожащей и стонущей в буйных объятиях стихии. Вот слышится вопль ржавого железа — корабль гнётся. Я чувствую этот момент положения корабля на вершинах двух гребней, когда под серединой его рычит разверстая бездна. Ветхие корабли с тяжёлым грузом в таких случаях не выдерживают собственной тяжести, разваливаются, сразу проваливаясь в тёмную клокочущую пропасть. Но наш пока ещё выносит. А то вдруг раздастся громкая и неровная трескотня: тра-та-та-та... Это силою моря подброшена вверх корма. Винты оголились, вертятся в воздухе, и машина, работая впустую, кричит о своей беспомощности. Иногда корабль содрогается всем своим корпусом. Кажется, он всецело попал во власть всемогущей бури и его схватывают судороги. И тогда над нами усиливается грохот, шипенье, вой. По плитам что-то ёрзает, стучит, скачет, словно тысячи бесов, собравшись вместе, совершают свою безумную пляску...»

Сказать, что реальное путешествие Алексея Новикова по маршруту Гельсингфорс — Лондон в угольном трюме было тяжёлым, значит, не сказать ничего. Оно чудом не стало для не-

го смертельным в отличие от героини рассказа. Но судьбой будущему писателю было отмерено полной мерой ещё множество новых испытаний и лишений, любви и радости, книг и славы. Так что погибнуть ему было никак нельзя.

Прибыв в город, где всё было непонятным, далёким и чуждым, Новиков отправляется в матросский дом, который находился в одном из доков лондонского порта. Надо было прийти в себя, осмотреться, прежде чем искать явочную квартиру, где его ждали. Правда, уверенности в этом не было, как не было и ни пенса в кармане. И вдруг... Бывает же такая удача! На стене — объявление. И буквы — русские! «Человек, попавший в беду и нуждающийся в материальной помощи, всегда найдёт поддержку у Л. Ф. Нагеля». А дальше — тот самый адрес, куда нужно было явиться.

Удивившись и обрадовавшись, бывший русский матрос и будущий большой писатель, а ещё будущий муж и отец, конечно, не мог предположить, что по этому адресу он не только найдёт понимание, поддержку и расположение неизвестного ему пока Нагеля, но и встретит свою судьбу. Счастливую судьбу в лице юной дочери хозяина явочной квартиры.

Будучи студентом физико-математического факультета Московского университета, Людвиг Фёдорович Нагель в 1886 году за участие в студенческих беспорядках угодил в Бутырскую тюрьму. Его невеста, Вера Петровна Соколова, слушательница Высших женских курсов, подала прошение на разрешение о венчании. Разрешение было получено, и молодые обвенчались в тюремной церкви.

Пробыв более года в тюрьме, Л. Ф. Нагель был выслан за границу без права возвращения в Россию. Он обосновался вместе с женой в Лондоне, стал работать инженером на шоколадной фабрике.

Людвиг Фёдорович постоянно поддерживал связь с революционерами из России, активно помогал политическим эмигрантам, возглавляя Бюро труда при Герценовском кружке (так назывался культурно-бытовой центр русской эмиграции).

Каким увидела шестнадцатилетняя Мария, старшая дочь Нагеля, Алексея Новикова, моряка и революционера, человека, прошедшего войну и плен, моложе которого она была почти вдвое? Вот как напишет об этом Мария Людвиговна Новикова по прошествии многих лет: «Внешность его была незаурядной: среднего роста, широкий в плечах. Взгляд его серых глаз был крайне вдумчив, и в них виднелась глубокая грусть. Чувствовалось, что этот человек много пережил в своей жизни и привык над многим задумываться. Крайнюю застенчивость его можно было объяснить тем, что он мало

встречался с людьми интеллигентного круга и чувствовал некоторую неловкость, разговаривая с ними. Одет он был бедно».

Надо сказать, что к своим шестнадцати годам Мария была вполне взрослым, сложившимся человеком. После смерти матери ей пришлось вести хозяйство, заботиться об отце и двух младших сёстрах. А когда в результате несчастного случая Людвиг Фёдорович временно потерял трудоспособность, его старшая дочь должна была думать и о том, как прокормить семью. Она поступила на службу в технический отдел фирмы «Ронсо», которая занималась производством пишущих, ротаторных и копировальных машин. Кроме того, Мария продолжала прилежно учиться — теперь уже в вечерней школе.

Была ли это любовь с первого взгляда? Вполне определённо на эту тему никто из супругов Новиковых в течение жизни не высказался, но то, что эти двое друг другу сразу понравились, — факт. И потребовалось совсем немного времени, чтобы симпатия переросла в большую и крепкую, на всю жизнь, любовь. Но впереди будет ещё так много «странствий и скитаний»... Вот вспоминается Высоцкий, и всё тут. Хотя никакого, казалось бы, отношения... А может, «я не выношу дряблости человеческой души»? Эти слова Новиков-Прибой в своё время вложит в уста одного из своих героев, а вся его жизнь подтвердит, что под этим девизом он прошагает своей твёрдой морской походкой «до самого до края». Не под этим ли девизом жил всю жизнь и Высоцкий? Но это так, к слову.

Итак, «волшебная невидимая нить» довольно скоро протянулась между простым русским матросом без знания английского и утончённой барышней, рождённой в Париже, выросшей в Лондоне и очень плохо говорившей по-русски. Однако ни эти обстоятельства, ни разница в возрасте (14 лет) не стали для них препятствием...

Кстати, у Перегудова в его «Повести о писателе и друге» очень мило и романтично повествуется о том, как Алексей Новиков случайно увидел на одной из лондонских улиц удивительную девушку «с пушистыми волосами, лукаво-застенчивым взглядом красивых глаз», как этот образ «неотступно стоял перед его глазами» и как только после этого произошло знакомство у Нагеля. Почему бы и нет? Очень симпатично. К тому же Перегудов писал *художественное* произведение...

Однако зеленовато-серые глаза Марии действительно заворожили Алексея, и он стал всё чаще появляться в квартире Людвига Фёдоровича. А Марию завораживали рассказы Новикова о России. «Он часто рассказывал мне о родине, — будет вспоминать об этом Мария Людвиговна, — о любимом русском народе, я слушала с большим интересом и внимани-

ем. Он говорил с такой любовью, с такой верой в великое и светлое будущее России, что я стала ещё больше любить эту страну, в которой я, русская, никогда не была».

В результате общения плохой русский Марии Нагель заметно улучшался и крепла мечта когда-нибудь попасть в загадочную и притягательную Россию.

Не забудем, что в Англию Алексей Новиков прибыл для продолжения революционной работы под руководством В. П. Костенко, который в 1908 году был командирован в Англию в качестве наблюдающего за постройкой для России броненосного крейсера «Рюрик». Костенко входил в Центральное военно-организационное бюро партии социалистов-революционеров, отвечал за революционную пропаганду в армии и на флоте. На «Рюрике» ему удалось создать довольно серьёзную подпольную организацию, во главе которой стоял комитет из тридцати человек, а около него группировалось до двухсот матросов. В 1908 году Костенко свёл приехавших в Лондон Савинкова, Азефа и Карповича с матросами крейсера Авдеевым, Поваренковым и Котовым для переговоров о покушении на царя при ожидавшемся посещении им крейсера.

Установив связь с Костенко, Алексей Новиков отправляется через некоторое время в Глазго, где достраивался «Рюрик», и активно включается в революционную работу. Агитационная пропаганда велась на двух снятых квартирах: одна из них служила библиотекой, куда матросы приходили в свободное время читать книги и газеты, в другую допускались только те, кому доверяли и с кем можно было открыто говорить на тему грядущей революции в России, им читались лекции, наиболее надёжных снабжали нелегальной литературой. Созданная на крейсере подпольная организация набирала силу.

Параллельно с революционным просвещением матросов Алексей Новиков упорно продолжает заниматься самообразованием. Неоценимую помощь в этом ему оказывает пособие Н. А. Рубакина «Среди книг», изданное в 1906 году в России.

На рубеже XIX—XX веков имя Николая Александровича Рубакина (1862—1946) было хорошо известно читающей России. Публицист, библиограф, автор множества научно-популярных книг, которые издавались миллионными тиражами, он всю свою жизнь отдал делу просвещения народа. Получив прекрасное образование в университете сразу на трёх факультетах: физико-математическом (естественное отделение), юридическом, историко-филологическом, — все свои силы и время он отдавал книгам, причём не только их чтению и написанию, но и изучению влияния книги на человека, заложив таким образом основы новой науки — библиопсихологии. Его

книги по всем отраслям знаний (литература, история, право, естествознание и др.) стали доступными учебниками для самообразования простых людей, не имеющих возможности учиться в университетах.

По словам Л. Разгона, одного из биографов Рубакина, «им владела абсолютная и непоколебимая вера в могущество самообразования». И этой вере соответствовал выдвинутый Рубакиным ещё в пору романтической юности лозунг «Да здравствует книга, могущественнейшее орудие борьбы за истинность и справедливость!». Рубакинская борьба за справедливость не раз пресекалась властями: начиная с 1895 года его на время высылали из Петербурга то в Рязань, то в Крым, то в Новгород. В 1904 году он был выслан по приказу министра внутренних дел Плеве за границу «навсегда». Затем, после смерти министра, Рубакин вернулся в Россию, правда, всего на два года.

Самое известное пособие Рубакина «Среди книг» переиздавалось и в дореволюционной, и в советской России десятки раз. Истинный просветитель, настоящий подвижник, Рубакин создал две уникальные библиотеки. Первую, в 130 тысяч томов, он безвозмездно передал «Лиге образования» в Петербурге в 1907 году, а вторую, в 100 тысяч томов, собранную им за 40 лет жизни в Швейцарии (с 1907 года до конца жизни), завещал советской России (в Российской государственной библиотеке она и по сей день составляет особый фонд — фонд Рубакина).

Николай Александрович Рубакин вёл переписку с сотнями людей, знаменитых (Р. Роллан, А. В. Луначарский, Г. В. Плеханов, Н. К. Крупская) и никому не известных, составлял для нуждающихся в этом индивидуальные программы самообразования. Сейчас обыватели назвали бы его трудоголиком. Николай Александрович этого пошловатого слова в свои времена ни в каких книжках не встречал. Он просто работал не покладая рук, глубоко презирая ограниченность ума и души, праздность, мещанское благополучие и самодовольную сытость.

Н. А. Рубакин скончался в Лозанне 23 ноября 1946 года, а в 1948 году урна с его прахом была перевезена в Москву и захоронена благодарными потомками на Новодевичьем кладбище.

И книги, и сама личность Рубакина сыграли огромную роль в жизни будущего советского писателя Новикова-Прибоя. Пожалуй, самую главную роль. Едва ли без того компаса, который обрёл матрос Новиков в виде рубакинского пособия «Среди книг», ему, простому деревенскому парню с церковно-приходской школой за плечами, удалось бы правильно сориентироваться, сначала просто как читателю, в огромном мире литературы, а позже — осознать себя писателем.

Именно Рубакин стал тем человеком, кто сказал первые напутственные слова матросу, взявшемуся за перо. Это произошло в июле 1909 года в Швейцарии, куда Новиков специально поехал во время своего нелегального пребывания во Франции.

А. Н. Рубакин, сын знаменитого просветителя, так написал об этом в книге о своём отце: «...он пришёл к отцу, будучи ещё простым матросом, и принёс ему свою рукопись о морском бое при Цусиме. <...> Новикову просто хотелось передать письменно то, что он пережил. Отец вложил ему в сердце страсть к писательству, убедил его в том, что он станет писателем. И так и вышло».

Воодушевлённый тёплым приёмом и добрыми наставлениями, Новиков подарил Рубакину свою книжку «За чужие грехи» (А. Н. Рубакин ошибочно называет её рукописью. — *Л. А.*) с дарственной надписью: «Дорогому товарищу Николаю Рубакину на добрую память от автора».

В дальнейшем Алексей Новиков ведёт активную переписку с Рубакиным. Переписка длилась в годы эмиграции Новикова до 1912 года, а затем возобновилась в 1923 году, когда Новиков-Прибой стал уже довольно известным писателем.

Заинтересовавшись личностью Новикова, Рубакин ещё в 1908 году попросил его написать свою биографию. Новиков быстро откликается на просьбу: впервые ему предложили рассказать о себе. И он делает это основательно, с чувством собственного достоинства, очевидно, рассматривая первую в жизни автобиографию как пропуск в серьёзное писательское будущее:

«Дорогой Николай Александрович!

Я долго думал, прежде чем приступить к сообщению автобиографических сведений, просимых Вами. Ничем я себя ещё не прославил, чтобы моей жизнью интересовались другие. Если я всё ж делаю это, то руководствуюсь единственным соображением — это показать тем самоучкам, которые теперь всё в большем и большем числе выделяются из трудящейся народной массы, что при большом желании, терпении и упорной работе над собой можно кое-что достигнуть.

Родился я в селе Матвеевском Тамбовской губернии, т. е. в той глуши, где, как говорят, люди живут в лесу, а молятся колесу. Отец мой был из николаевских солдат, пробывший на военной службе целых двадцать пять лет. За это время, как он рассказывал, об него изломали два воза палок. Но, несмотря на это, он был человеком сильным физически и духом, гордым, ни перед кем рабски не унижался. Будучи ещё на службе, он женился на польке (моей матери), перешедшей благодаря ему в православие.

Мне было одиннадцать лет, когда я закончил своё образование, ограничив его лишь сельско-народной школой, где я, выражаясь словами А. Чехова, выучился лишь вывески на кабаках читать. О дальнейшем образовании при всём своём желании я не мог и мечтать, т. к. на это у моих родителей не хватало средств. Вместо этого я, чтобы продолжать своё существование, вынужден был с юных лет взяться за земледелие, работая часов по восемнадцати в сутки, и заниматься грошовой торговлей. Иногда зарабатывал немного денег тем, что охотничал за дичью. Одно время дошёл было до звания деревенского целовальника, что в наших палестинах редко кому удавалось, но скоро опять опустился до простого дроворуба.

Время от времени я почитывал книжки; но это всё были душеспасительные и назидательные произведения, написанные святыми и преподобными отцами. Из священного писания мне больше всего нравилась библия, в особенности книга Иова, пророчество Исайя и то место из неё, где говорится, как братья продали Иосифа. Я её прочитал несколько раз и многое из неё помнил очень хорошо. В этот период жизни хорошая книжка попадалась мне очень редко. Само собой разумеется, что от подобной литературы мой умственный кругозор развивался плохо.

Наступило, наконец, и двадцать второе лето с тех пор, как я появился на Божий свет. Распорядители судьбами народа, следившие за моими годами, не замедлили пригласить меня в известное всем здание, где меня, обнажив догола, тщательно кругом осмотрели, как только осматривают барышники лошадей, когда их покупают, и авторитетно заявили: “Годен”. После этого меня отправили в Кронштадт, определив в один из флотских экипажей. С этих пор у меня началась военная жизнь, полная невзгод, лишений и всевозможных оскорблений. Потянулись мучительные годы. Согласно устава, надо мной начинают распоряжаться чужие люди, тупые, холодные, с каменными сердцами...

Тем не менее морская жизнь мне очень нравилась. Я всей душой любил море. А главное здесь было хорошо в том отношении, что я имел возможность добывать хорошие книги. Я начинаю работать над самообразованием. Сначала набрасываюсь на учебники, зубрю их с бешенством, а затем постепенно перехожу к книгам для чтения, уделяя на это всё свободное от служебных занятий время. Конечно, частенько приходилось читать тайком от начальства, воровски, если можно так выразиться, но, как бы то ни было, я быстро продвигался вперёд. Большую пользу оказала мне Кронштадтская воскресная школа, которую я посещал два года.

В это-то время я познакомился и с крамольной литературой, вкусив, так сказать, запретный плод от древа познания добра и зла, за что попал в тюрьму. По выходе из неё я был назначен на войну, куда отправился на 2-й Балтийской эскадре под командой Рожественского. Это трудный был поход. Работы было много, питались плохо, валялись в грязи; помимо приходилось переносить страшную жару. А потом злополучный для нас Цусимский бой! Я его никогда не забуду! Даже теперь, много времени спустя, и то, вспоминая, душа содрогается от того ужаса, какой пережили во время сражения!

Но зато в плену у японцев было очень хорошо. В продолжении восьми месяцев я здесь читал такую литературу, о которой раньше только слышал.

После двух-трех лет пребывания на военной службе я прочитал биографии Сурикова, Кольцова, Решетникова, Савихина, Семёнова, Горького и других самоучек. От них я многому научился. И должен сказать, что на человека, занимающегося самообразованием, ничто так не действует одобряющим образом, ничто так не вселяет в него веру в успех, как описание жизни тех людей, которые своим собственным трудом и упорной настойчивостью пробивали себе дорогу. Помню, как я тогда же решил, что если другие развивались без всякой посторонней помощи, стали впоследствии писателями, поэтами, учёными, то почему же мне не испытать этот путь? И с тех пор я начал грешить пером».

В апреле 1912 года Алексей Новиков получает в подарок от Рубакина экземпляр нового издания пособия «Среди книг», с которым он был хорошо знаком ещё с момента первого выхода книжки. Новая, дополненная книга, да ещё подаренная самим автором! И автограф: «Дорогому собрату и соратнику А. Новикову-Затёртому на добрую память от книжного червя. Н. А. Рубакин».

«Для меня эта книга будет вместо профессора. С её помощью я до всего доскоблюсь», — пишет благодарный Новиков Рубакину. И уже в следующем письме снова возвращается к этой теме: «Шлю Вам своё сердечное спасибо за Ваш драгоценный для меня подарок — “Среди книг”. Не нарадуюсь я, перелистывая Вашу книжку. Сохраню её на всю жизнь. Она будет для меня лучшим советником по части чтения. Мало того, с помощью её я сумею сделать указания по выбору книг и своим товарищам-матросам, солдатам, рабочим и крестьянам, которые больше, чем кто-либо, нуждаются в этом».

Искренняя благодарность Рубакину осталась неизменной в душе Алексея Силыча на протяжении всей его жизни. Так, в 1924 году он напишет своему первому наставнику с тем же пи-

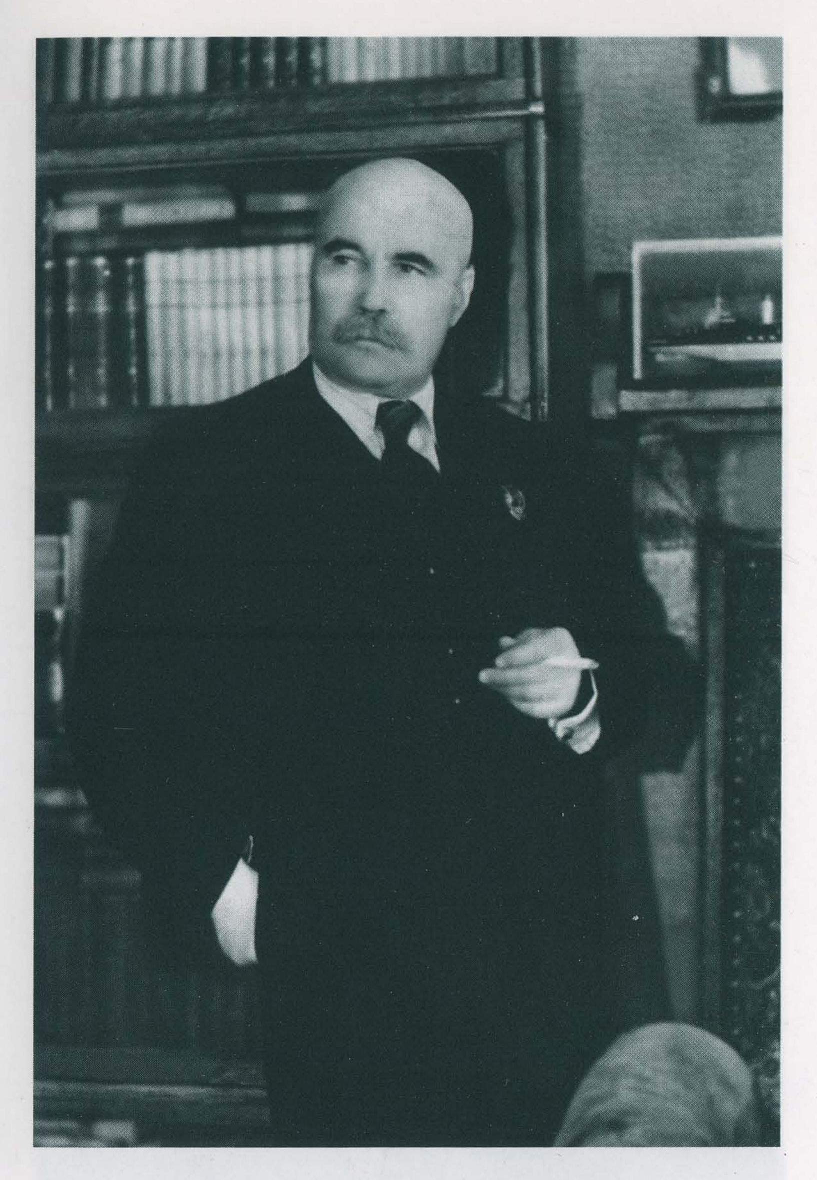
ететом по отношению к нему и с иронией — к самому себе: «А Вас я, дорогой Николай Александрович, вспоминаю с благодарностью. На Ваших научно-популярных книгах я, как самоучка, воспитывался. Они заменяли для меня школу. А потом, продолжая умственно развиваться, я руководствовался Вашими указаниями — что читать и как читать. Они были для меня профессорскою головою. До знакомства с Вами я не видел ни одного живого писателя. Вы были первым. А в то время у меня было представление о писателях как об адмиралах во флоте — боязливое. Помню, как волновался я, впервые отправляясь к Вам на квартиру. Но Вы встретили меня, начинающего в литературе, с доброй улыбкой, по-отечески обласкали, окрылили. Словом, знакомство с Вами — личное и по книгам — дало мне возможность положить под череп капитал знаний, который никто не украдёт и не конфискует. Вот почему я так много обязан Вам».

Когда достроенный «Рюрик» ушел в Россию, Новикова оставили в Англии: он возглавил так называемый «летучий отряд», который следовал за гардемаринской эскадрой Балтийского флота, совершавшей ежегодное летнее плавание вокруг Европы. Задача была та же: устанавливать контакты с матросами и вести среди них политическую пропаганду. Только теперь для этого нужно было переезжать из одного порта в другой, дожидаясь прихода эскадры.

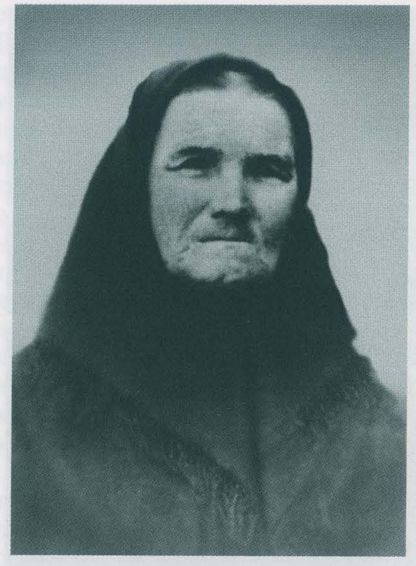
Работа шла успешно, Новиков отдавался ей полностью. Жил он очень скромно, стараясь экономить вверенные ему средства. На судах гардемаринской эскадры были сформированы революционные кружки. Кроме того, Новикову удалось наладить прочную связь с командой крейсера «Макаров», который строился во Франции, в Тулоне.

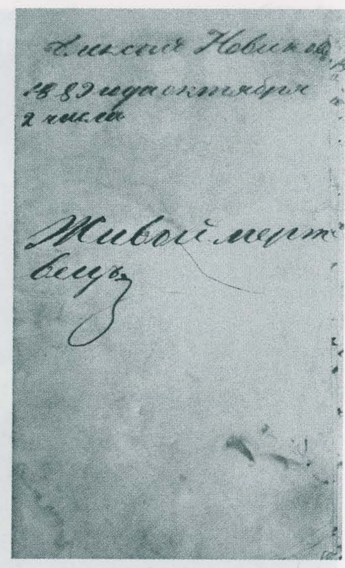
Два лета подряд (1908, 1909) Алексей Новиков посвятил работе в «летучем отряде». За это время он побывал в разных странах Европы (Франция, Испания, Италия) и Северной Африки (Тунис, Египет). Надо признать, что круг его интересов выходил за рамки революционной работы; острый глаз будущего художника жадно схватывал всё необычное и занимательное, прекрасная зрительная и эмоциональная память бережно складывала в общую копилку разума и сердца новые впечатления и ощущения, запасливо подбирала разбросанные по свету детали жизни и быта людей — таких разных и таких одинаковых одновременно.

Письма Новикова-путешественника отличают наблюдательность, желание анализировать любое явление и делать социально значимые выводы, вместе с тем — проникновенный лиризм, «задумчивый» синтаксис. Безусловно, это не просто



А. Новиков-Прибой



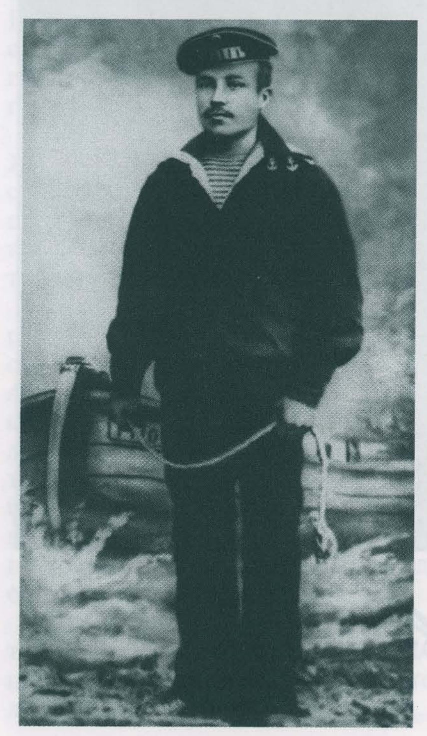


Алексей Новиков
1889 года октября
2 числа

Живой мертвец

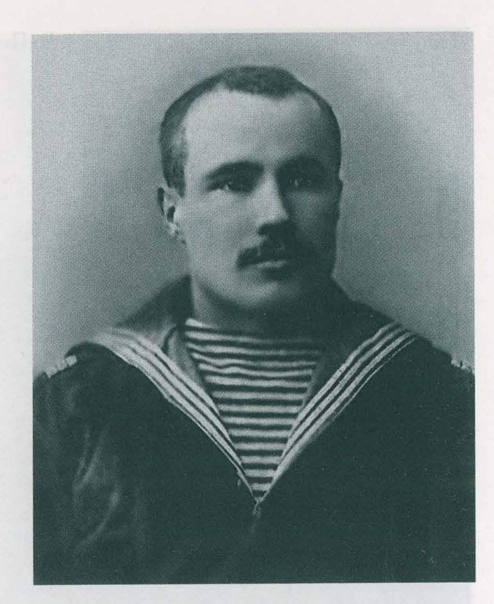
Мария Ивановна Новикова, мать писателя

Обложка самодельной книжки, написанной Алёшей Новиковым в 1889 году



Матрос А. Новиков.
Кронштадт. 1902 г.

Матрос А. Новиков.
Кронштадт. 1904 г.

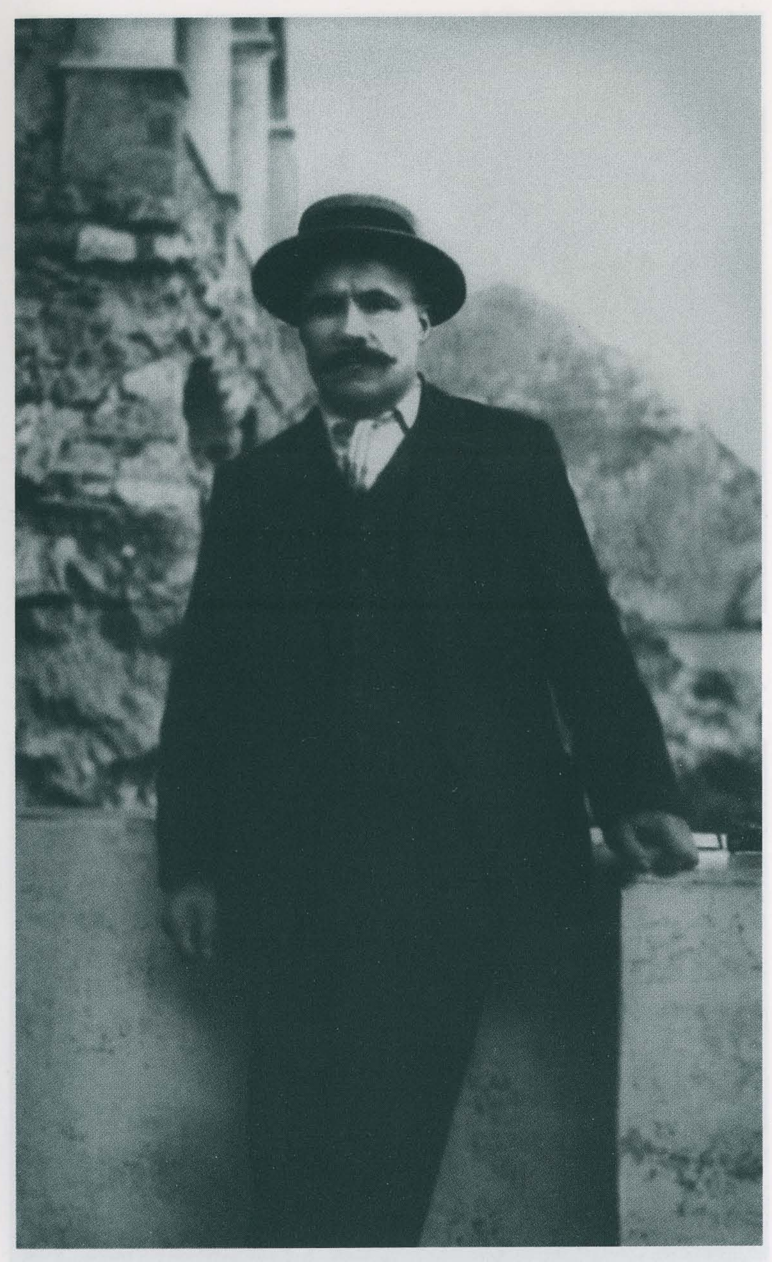


Броненосец «Орёл»



В. П. Костенко

М. Л. Нагель и А. С. Новиков.
Лондон. 1910 г.



А. С. Новиков. *Капри. 1912 г.*

Пехота русской армии в годы Первой мировой войны

А. С. Новиков с женой и сыном (крайние справа) у санитарного поезда. *1915 г.*



Кукрыниксы.
Дружеский шарж
на писателя. *1924 г.*



Москва,
Староконюшенный
переулок, 33.
Здесь в начале
1920-х годов
находилось общежитие
литобъединения
«Кузница»





А. С. Новиков-Прибой (сидит второй слева), В. В. Бонч-Бруевич (сидит третий слева), С. Н. Сергеев-Ценский (стоит второй слева), В. П. Катаев (стоит четвёртый справа) среди сотрудников издательства «Земля и фабрика». *1929 г.*

А. С. Новиков-Прибой с поэтом Г. А. Санниковым. *1926 г.*





А. С. Новиков-Прибой с писателями А. В. Перегудовым, П. А. Ширяевым и П. Г. Низовым у охотничьего домика на озере Имарка (Мордовия). *1929 г.*

А. С. Новиков-Прибой (в центре), П. Г. Низовой, А. В. Перегудов, Н. П. Смирнов и Л. Н. Сейфуллина у домика на озере Имарка. *1931 г.*





А. С. Новиков-Прибой на охоте. *1937 г.*

На охоте в Мордовии. Слева направо: А. В. Перегудов, П. А. Ширяев, П. Г. Низовой, Н. А. Григорьева и А. С. Новиков-Прибой. *1932 г.*





А. С. Новиков-Прибой на даче в Тарасовке. *1936 г.*

А. С. Новиков-Прибой в Днепропетровске. *1931 г.*





Поэт А. А. Жаров и А. С. Новиков-Прибой в Тарасовке. *1934 г.*

А. С. Новиков-Прибой у М. М. Пришвина в Загорске. *1935 г.*

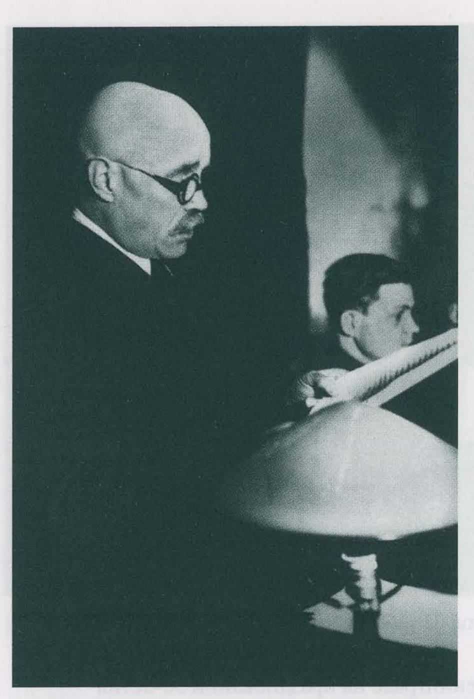




П. Г. Низовой, А. С. Новиков-Прибой, А. П. Чапыгин, Ф. В. Гладков. *1936 г.*

А. С. Новиков-Прибой в Ленинграде на праздновании 30-летия линкора «Октябрьская революция». *1936 г.*





А. С. Новиков-Прибой
читает отрывки
из «Цусимы»
на литературном вечере.
1934 г.



А. С. Новиков-Прибой
и цусимец Л. В. Ларионов
(третий слева
во втором ряду) среди
слушателей Военной
академии в Ленинграде.
1936 г.



П. Г. Низовой, А. С. Новиков-Прибой, А. В. Перегудов. *1937 г.*

А. С. Новиков-Прибой с дочкой Ириной в Севастополе. *1937 г.*



А. В. Перегудов и А. С. Новиков-Прибой среди членов литобъединения в городе Подлипки. *1937 г.*

М. И. Калинин, М. В. Исаковский, А. С. Новиков-Прибой, М. С. Шагинян, В. Н. Билль-Белоцерковский после награждения писателей орденами. *1939 г.*

письма — это путевые заметки будущего писателя. Он словно примеривается к этой роли, и она ему явно нравится.

О Тунисе он пишет не просто как наблюдатель, а как истинный революционер, борец с социальной несправедливостью: «В европейской части — грандиозные каменные здания, крыши которых устроены горизонтально, так что на них можно устраивать прогулки, пить чай. И все это выкрашено белой краской. На главной улице — роскошные магазины, богатые всевозможными товарами. Тут же расположены рестораны с просторными залами, из которых в распахнутые окна несутся звуки музыки... По аллее, которая тянется посредине улицы, а также и по бульварам ходит взад и вперед несметное количество людей, принадлежащих к разным народностям и национальностям, одетых во всевозможные костюмы. Здесь вы можете встретить, не считая европейцев, и сипаев, и негров, и арабов, и местных евреев. Все они наряжены в белые плащи, на головах — либо какие-то белые чалмы, либо красные фески. У многих женщин лица закрыты черными покрывалами, но некоторые бедуинки, а также все еврейки ходят открыто, поражая своей красотой...

Походили по базару, фруктов — уйма, многих названий не знаю. Все лучшие места по Тунису захвачены французами, которые развели чудные виноградники, богатые плантации Туземцы же обижены, разорены, доведены до невероятной нищеты. Европейцы, пришедшие сюда как завоеватели и наглые хищники, смотрят на них как на пастбище, на счет которого можно жить паразитною жизнью. Глядя, например, на арабов, которые теперь кажутся такими забитыми и жалкими, не верится даже, что эти самые люди когда-то были главными двигателями прогресса, отличались в области математики, медицины, дали несколько прекрасных философов, покровительствовали науке и искусству...»

Более лиричен рассказ о Карфагене:

«В Карфаген приехали часов в девять ночи. Приискав себе ночлег, мы отправились бродить по местам бывшего города. Лунная ночь и звездное небо. Ветер дует тихо. Тепло... Ни одного человеческого голоса. Только вода в заливе, плескаясь о берег, нарушает безмолвие. А ведь когда-то здесь, на этом самом месте, стоял знаменитый город, в котором, во время его расцвета, было около миллиона жителей, когда-то здесь были роскошные дворцы, чудные парки, замечательные водопроводы, хорошая гавань с ее могущественным флотом, служившим страшною грозою для приморских государств...

Утром встали в пять часов... Забрались на высокий холм, тот самый, на котором стоял древний храм с известной брон-

зовой Астартой, на её вытянутые руки клали человеческие жертвы, предавая их огню. Теперь здесь устроен католический монастырь, при котором находится семинария, музей с карфагенскими древностями. Занималась заря, горя колоссальным пурпурным пожарищем. Постепенно потухали звёзды, быстро наступал рассвет, разгоняя тьму. Через некоторое время показалось, наконец, солнце, приветливо брызнув ослепительными лучами. Море, ласкаемое еле заметным ветерком, заиграло, отражая отблеск востока. По его поверхности, уходя от берегов, плавно скользило несколько небольших кораблей, белые, как снег, паруса которых отчётливо вырисовывались на синем фоне...»

Далее описание Карфагена сменяется экскурсом в историю Древнего мира:

«Вдали видны смутные очертания диких скал, угрюмо смотрящих на окружающее их водное пространство. Красивое зрелище. Пошли к развалинам. Я не буду их описывать, так как это заняло бы слишком много места. Скажу лишь о местном Колизее. Устройство его было такое же, какое имели все цирки того времени. Сохранились террасы. Кругом валяются мраморные колонны. Арена выложена мраморными плитами. В одном конце её находится, по-видимому, бывшая подземная тюрьма с надписью: “Здесь были замучены 7 марта 203 года св. св. Перепетуя и Фелицата, преданные зубам диких зверей”».

И снова — взрыв негодования человека, неравнодушного ко всякого рода несправедливости и жестокости:

«...внизу же виднеются пещеры — эти зловещие памятники мрачной эпохи. В одной из них находились кровожадные звери, в других — люди, предназначенные на растерзание этим зверям. Душа содрогается от ужаса, когда вы смотрите на эти каменные, холодные плиты, на которых, обливаясь кровавыми слезами и корчась в предсмертных судорогах, умирали люди, умирали под сатанинский хохот развратной плутократии...»

А дальше — откровенно, не совсем, конечно, по-крестьянски, но близко к тому:

«Интересного пришлось увидеть очень много. Когда приеду в Италию (я теперь туда направляюсь), то закажу себе на голову железный обруч, ибо в противном случае она лопнет от излишних впечатлений по всем швам...»

Это были фрагменты из писем, адресованных Новиковым своей знакомой М. А. Тепловой в Лондон.

Летели письма и к Марии Нагель. Увлёкшись изучением русского языка, она могла теперь их прочитать. Алексей делился с Марией сокровенным: он мечтает стать писателем. И она не сомневалась: станет. Этот упрямый и незаурядный че-

ловек непременно добьётся своей цели. Мария искренне верила в это, ещё не догадываясь о том, что сыграет не последнюю роль в осуществлении его мечты.

А пока Алексею приходилось слишком тяжело зарабатывать на чужбине свой хлеб, чтобы думать о литературе. После летних путешествий он возвращался в Лондон, и нужно было в очередной раз искать работу.

В автобиографическом очерке «Мой путь», опубликованном в «Литературной газете» в марте 1937 года, А. С. Новиков-Прибой пишет: «С 1907 по 1913 год скитался за границей как политический эмигрант: жил в Англии, Франции, Испании, Италии и в Северной Африке. В Англии прошёл через “потогонную систему”».

За лаконичным, практически вскользь, замечанием про «потогонную систему» кроется поистине диккенсовская эпопея о каторжном труде, о полуголодном нищенском существовании, о выживании «всем смертям назло».

Англия слыла самой свободной европейской страной, куда могли приехать и найти здесь пристанище эмигранты из любого государства. Это было действительно так, но вовсе не значило, что их ждёт рай земной. Особенно тяжело, разумеется, приходилось беженцам *без языка* и без образования. Таким и был Новиков.

Алексей нашёл комнату в Уайтчепле, самом, мягко говоря, неблагополучном районе Лондона, населённом не столько беднотой, сколько бандитами, ворами, нищими, проститутками. Под стать была и работа — изнурительная, каторжная, за сущие гроши, которых едва хватало на оплату комнаты и далеко не всегда хватало на человеческую еду. Приходилось и дешёвое кошачье (в смысле — для кошек) мясо покупать, и подбирать мясные крошки вокруг деревянных чурбанов, на которых рубили мясные туши. Точнее, Алексей не сам собирал эти самые крошки, а приноровился покупать их у мальчишек, пасущихся возле рубщиков мяса. Мясо без костей всего за пять пенсов! Разве не удача? Алексей Новиков всегда был оптимистом (интересно, было ли это слово тогда в ходу?). Правда, мясные крошки сначала надо было отделить от опилок. Не беда! Получше промыть — и в котёл, и перчика побольше. Прекрасный суп получался! Алексей Силыч потом не раз вспоминал эту лондонскую похлёбку собственного изобретения.

Итак, работа. Всегда — низкооплачиваемая и тяжёлая, чаще всего временная. Например, пришлось побывать молотобойцем в одном кустарном заведении, где по 12 часов в сутки нужно было выколачивать заклёпки из старых автомобильных покрышек. Или «вытаптывателем» жира из собачьих шкур: в

полутёмном сарае стоят штук двадцать бочек с опилками, в каждой — человек, который босыми ногами топчет сырые шкуры. Сухие опилки впитывают сало: вот такой первобытный способ обезжиривания меха существовал в индустриальной Англии в начале XX века. «По четырнадцать часов в сутки топтался Новиков в бочке, — пишет Перегудов, — каждый день ожидая, что он поранит ноги об острые собачьи когти и заразится трупным ядом.

Из высоких бочек торчали только головы работающих: рыжие, чёрные, седые, лохматые, бритые. Эти головы с тупым, усталым взглядом доводили его до кошмара. Они снились ему по ночам, чудились на улицах, каждый круглый предмет казался ему головой.

Однажды вечером, усталый и отупевший после работы, он сидел один в своей каморке и вдруг совершенно отчётливо увидел: в дверь просовывается рука и держит на ладони голову, потом швыряет её на пол. Он слышал, как глухо стукнулась голова, видел, как покатилась она по полу, переворачиваясь то лицом, то затылком. Силыч вскочил со стула, заглянул под стол, куда закатилась голова, но ничего не нашёл там. Он понял, что постоянное недоедание и переутомление довели его до галлюцинаций».

Кстати, в комнате, которую снимал Новиков, ему редко приходилось находиться одному, поскольку вместе с ним проживали ещё двое политэмигрантов. Одного, вспоминая потом об этом времени, Алексей Силыч называл попом-расстригой, а о другом сообщал, что был тот бывшим пехотным офицером, при чувстве собственного достоинства, и оттого, что приходится ему, безработному, кормиться за счёт бывшего матроса, неимоверно страдал — в отличие от попа, которого угрызения совести не мучили (надо сказать, что, ощущая свою глубинную принадлежность к православному миру, Алексей Новиков всю жизнь не жаловал священников). В общем, приходилось будущему писателю думать не только о том, чтобы прокормиться самому, но и о том, чтобы не умерли с голоду его товарищи по несчастью, неспособные по слабости здоровья заниматься тяжёлым физическим трудом, а другой работы для таких, как они, не находилось.

Однажды Новикову здорово повезло: он устроился работать в некую контору, где требовалось подписывать по-русски конверты с письмами для отправки в Россию. Но, увы, Алексей продержался там всего две недели: его уволили за опоздание. Эту работу нашёл для него Людвиг Фёдорович Нагель. Конечно, Новикову было необыкновенно стыдно и перед человеком, которого он безмерно уважал, и ещё больше перед

его дочерью. Поиски новой работы ни к чему не привели, и он был вынужден, подписав кабальный контракт, устроиться на коммерческое судно.

Служба матросом в тех условиях, в которые попал Новиков, навсегда могла бы и отбить любовь к морю, и уничтожить все мечты. Невозможно было не только писать — невозможно было мыслить. В своих воспоминаниях Мария Людвиговна напишет об этом так: «Задолго до окончания контракта он, боясь потерять человеческий образ среди отупевших от каторжного труда матросов, опустившихся на самое "дно" жизни, решил никогда больше не плавать на таких судах. Он долго с содроганием вспоминал чудовищные условия труда, нищенскую оплату за этот каторжный труд, бесконечные скверные ругательства и побои озверевшего хозяина судна, к которому его привязал контракт».

Незавидное, мягко говоря, положение не сломило ни духа Новикова, ни характера. И судьба наградила его по-царски. Дала не просто романтическую любовь — послала такое понимание, такую заботу любимой женщины, которые и представить себе, даже при таком пылком воображении, как у него, было невозможно.

Мария Нагель решается связать свою судьбу с русским матросом-революционером, у которого не было за душой ничего. Но душа-то была! И какая! И талант был. И упорство. Нужно было только верить вместе с ним в то, что он сумеет стать настоящим писателем. И она верила. Может быть, иногда даже больше, чем он сам.

Они поженились в 1910 году. Без всяких формальностей стали жить вместе. Зарплата Марии в конторе пишущих машин позволяла им снимать скромную квартиру. Кроме того, Алексей по её настоянию отказался на какое-то время от поисков места, где можно заработать на хлеб насущный, и полностью отдался литературным заботам.

Именно это время, когда у Новикова появляется возможность писать, память снова и снова возвращает его к самым сильным и самым трагическим впечатлениям — цусимским. При этом он понимает, что его стезя — беллетристика. Он неплохой рассказчик в жизни — таким (не хуже, а лучше!) должен стать и для будущих читателей.

Первое, что делает Новиков, — перерабатывает свой очерк «Гибель эскадренного броненосца "Бородино" 14 мая 1905 года» в рассказ «Между жизнью и смертью». Результатом доволен: рассказ живее и ярче передаёт события, он не просто заставляет получать информацию и оценивать её — он заставляет чувствовать, осязать происходящее, он питает не

столько разум, сколько душу, наполняя её тревогой, печалью, скорбью и светом.

Вслед за рассказом «Между жизнью и смертью» появляется ещё один — «Побеждённые». Тема Цусимы не отступает, а, напротив, проникает всё глубже в творческое подсознание начинающего писателя, чтобы в своё время властно и полностью захватить всё его существо.

Алексей Новиков активно продолжает заниматься и самообразованием. В одном из писем 1910 года он пишет Рубакину: «Очень благодарен Вам за присланную газету с Вашими статьями о самообразовании. Я их прочитал с большим удовольствием. Прочитал по этому же предмету и всё то, что Вами было напечатано в "Новом журнале для всех" за прошлый год. Говоря откровенно, я очень рад, что Вы взялись за такую работу. Лично я придаю этому большое значение. Думаю, что такого же мнения будет и всякий, кто стремится к свету знания. А таких людей много, очень даже много. Но вся беда их в том, что они не знают, что читать, как читать и куда обратиться за советом... Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что, читая книги по Вашему указанию, можно за один год приобрести знаний больше, чем в другом случае за целых десять лет».

10 января 1911 года у Новиковых рождается сын. Желанного первенца назвали красиво и торжественно — Анатолий.

В 1911 году Новиков завершает работу над большим рассказом «По-тёмному», который был задуман им сразу после бегства из России в трюме торгового парохода. Впечатления от этого «путешествия» волновали его уже несколько лет, давно просились на бумагу, и вот только теперь его замыслу суждено было осуществиться.

По мнению В. Красильникова, в рассказе «По-тёмному» встречается немало красивостей и штампов. И он, безусловно, прав. Примеров множество. Это и «чёрная туча отчаянья», и «светлый луч надежды», и «адская улыбка злобного и острого наслаждения»... Рассказ насыщен и другими элементами «псевдолитературной поэтики» (в чём Новикова-Прибоя будут упрекать и тогда, когда он станет известным писателем). Но тем не менее это произведение уже выросло в явление литературного порядка, которое отличали напряжённый драматизм, удачная композиция, индивидуализированная и колоритная речь персонажей.

Автор решается отправить своё творение, сопроводив его письмом, самому Горькому. Во-первых, выше авторитета не существовало. Во-вторых, теплилась надежда, что именно Горький заприметит «своего парня», из народа, такого же самоучку, как он сам.

Новиков много слышал об отзывчивости Алексея Максимовича, о том, как помогает он начинающим писателям. Но всё равно было боязно. Вдруг не разглядит Горький в матросе Затёртом никаких таких способностей? Да и дойдёт ли послание до адресата?

Рассказ и письмо, написанное в простонародно-самоуничижительной манере, с некоторой нарочитой легковесностью, без тени заискивания и подобострастия, были отправлены из Лондона 5 декабря 1911 года. Письмо выглядело следующим образом:

«Дорогой товарищ!

Извините, что я осмеливаюсь обеспокоить Вас, хотя я не знаком с Вами лично. Прочитал я Вашу статью "О писателях самоучках" и решил написать Вам. Думаю себе: раз Вы читали произведения солдат, городовых, проституток и т. д., то, наверное, окажете должное внимание к сочинению матроса. А я-то и есть самый неподдельный матрос, который верой и правдой служил царскосельскому суслику и даже сражался за него при Цусиме (надо сказать правду, что кровь свою не проливал за него потому, что ни один снаряд не попал в меня). Прибавлю к сказанному, что я также самоучка и грешу пером. Для своего сочинительства я избрал морскую жизнь, представляющую из себя уголок, обойдённый русской литературой.

Итак, сделав сие предисловие, я приступаю к делу, которое заключается в следующем. Написал я рассказ "По-тёмному", а куда его двинуть — не знаю. И вот я решил обратиться за помощью к Вам. Если Вы моё сказанное найдёте достойным печати, то, пожалуйста, направьте его в тот или иной орган, для которого он, по Вашему мнению, окажется наиболее подходящим. Буду Вам весьма благодарен. В противном же случае будьте так добры, верните рукопись обратно.

Желаю Вам всего наилучшего.

С товарищеским приветом

А. Затёртый.

Вам, вероятно, известно уже, что г-жа Яворская ставит здесь Вашу пьесу "На дне". Английская пресса отзывается очень хорошо как о содержании пьесы, так равно и об игре».

Удивительно, но рассказ с приложенным к нему письмом оказался на Капри уже 8 декабря. Более того, Горький ответил в тот же день, пообещав автору напечатать его рассказ в журнале «Современник».

Почувствовав заинтересованность Горького, ободрённый его обещанием, Новиков отправляет в Италию ещё одно письмо — с рукописью очерка «Встреча пасхи на корабле». Очерк также вызвал одобрение литературного гуру, и он приглашает

«неподдельного матроса, грешащего пером» на Капри — поучиться.

Радости не было предела! Но... Не так-то это просто: взять да и махнуть на Капри. Решающим стало слово умницы-жены. Конечно, ехать! Как же ещё? Мария Людвиговна верила в будущее своего мужа и благословляла его поездку, несмотря на то, что это, безусловно, требовало немалых средств; кроме того, она оставалась одна с полуторагодовалым сыном на руках. Но все трудности казались ей преодолимыми: разве можно упускать такой шанс — поучиться у самого Горького?

Кроме исключительной возможности попасть в ученики к знаменитому русскому писателю, поездка на Капри вносила некоторую определённость в жизнь Алексея Новикова, которая у него не особенно ладилась в Лондоне. В письме Рубакину он пишет: «...В настоящее время я нахожусь без должности, которую потерял прошлую субботу. Да это, пожалуй, к лучшему. Уж больно опротивела она мне! Изволь всё время печатать всё одни и те же письма, содержание которых знаешь наизусть. Недели через две уеду из Лондона. Сначала поживу немного в Париже, а потом направлюсь куда-нибудь дальше. Ничего, что придётся, быть может, поголодать, зато душе будет отдых. В крайнем случае — сяду на корабль в качестве матроса и укачу на край света».

Семья и маленький ребёнок, видимо, не могли усмирить мятущейся души бывшего матроса и будущего писателя, душа эта рвалась навстречу новым жизненным испытаниям или, напротив, желала прибиться к тихой гавани, где хозяин её и пленник мог бы полностью отдаться любимому делу, то есть обрести самого себя.

Письмо Рубакину Новиков отправил 22 мая, а в последних числах мая он, навестив в Швейцарии своего первого литературного учителя, отправляется на Капри к Горькому, своему новому наставнику.

Рассказ «По-тёмному» был напечатан во втором номере «Современника» за 1912 год под новым псевдонимом — Прибой. Собственно, с этого момента и начался писательский путь Алексея Силыча Новикова (привычный псевдоним Новиков-Прибой появится несколько позже).

В УЧЕНИКАХ У ГОРЬКОГО

В мае 1912 года Алексей Новиков отправляется на пароходе в Италию.

Впоследствии Новиков-Прибой часто любил вспоминать о том, как встретил его Горький:

«Первый же встречный, к которому я обратился на Капри с вопросом, как найти Горького, заулыбался: "О, синьор Горький!" — и показал, куда нужно идти.

Я добрался до виллы, где жил писатель, и робко позвонил. Стоял перед дверью, как перед входом в будущее; взволнованно билось сердце от мысли, что через несколько минут увижу человека, который был для меня кумиром.

Дверь открыл невысокий, плотный человек, черноволосый и смуглый. Это был, как я потом узнал, повар Горького, бывший матрос с одного итальянского крейсера. Узнав, что нужно мне, итальянец кивнул головой и скрылся. Очень скоро в прихожую вошёл высокий, слегка сутулый человек в чесучовой рубашке. Я назвал себя и сказал, что приехал из Лондона. Незнакомец дружески поздоровался со мной, провёл в столовую и распорядился подать завтрак. Завтрак и бутылка белого каприйского вина появились на столе. Я был голоден и по-настоящему воспользовался радушным гостеприимством этого дома: пил вино и уничтожал котлеты с макаронами. Человек, сидящий напротив за столом, расспрашивал о жизни русских эмигрантов в Лондоне. Алексея Максимовича я представлял себе по его ранним фотографиям: с длинными тёмными волосами, в широкой блузе. Передо мной же сидел человек, остриженный под машинку, с рыжими усами. Разговаривая, я всё время думал: "Горький это или кто-то из его родственников?"

В столовую вошла женщина, поставила на стол коробку:

— Вот, Алёша, папиросы.

"Ага, Алёша! — подумал я. — Должно быть, это и есть Горький. Попробую назвать его по имени и отчеству".

— Так вот, Алексей Максимович, по вашему письму я к вам и приехал.

— По моему письму?.. Простите, я плохо расслышал вашу фамилию.

— Новиков... Матрос Затёртый...

— Затёртый!.. — Горький широко улыбнулся и дружески хлопнул меня по плечу. — Вы бы так сразу и сказали!.. Очень хорошо сделали, что приехали. Будем работать...»

И Алексей Новиков начал упорно работать. Всё написанное он отдавал на суд Горькому, строго разбиравшему достоинства и недостатки каждого его произведения. Это была настоящая школа художественного мастерства. Писатель Алексей Алексеевич Золотарёв, живший в тот период в каприйском доме Горького и оставивший записи об этом времени, вспоминал:

«Крепкого телосложения, с обветренным всеми ветрами земли, открытым матросским лицом, зоркоглазый, ловкий и быстрый в движениях, Силыч был удивительно свой — в доску свой, как говорится. Помню хорошо, мы оба очень близко сошлись, так как Алексей Максимович поручил мне совместную работу по проверке рукописей Силыча, с поправками, указанными маэстро на полях рукописей, исчерченных вдоль и поперёк рукою самого Силыча. Живо и благодарно вспоминаю, как час за часом, день за днём, с великорусским упрямством, свойственным только ему, работал Силыч над оформлением своих мыслей, над языком, переписывая без счёта страницу за страницей, и снова нёс свою рукопись на суд к Алексею Максимовичу».

И ещё — по тому же поводу:

«Силыч... много перемарывал и упорно, упрямо, подвижнически работал над формой, над стилем. Писал и переписывал написанное, то и дело исправлял неточности, неясности, неверности и небрежности слога».

Атмосфера жизни на Капри была совершенно особенной, и главной её примечательностью было постоянное и тесное общение поэтов и прозаиков между собой.

В очерке «Иван Вольнов» сам Горький так описывает жизнь на Капри: «Почти ежегодно приезжал Иван Бунин; мелькали Новиков-Прибой, Саша Чёрный, Илья Сургучёв и ещё многие. Собралось человек десять живописцев. Всё это была молодёжь говорливая, не очень стеснявшаяся в формах выражения своих ощущений и настроений, склонная “углублять психологию”, разрешать “трагическую загадку бытия” и “проблему личности”. Все были молоды, жили весело; все были очень бедны; но жизнь тогда была дешёвой, и кисленькое каприйское вино тоже дёшево... Жили интересами искусств и

прежде всего литературы: все пробовали писать, читали друг другу рукописи, критиковали, спорили».

Литературные чтения обычно проходили, по воспоминаниям А. А. Золотарёва, так:

«Написанные, окончательно исправленные и уже вычитанные в своём начальном кругу рассказы переносились в большую аудиторию, на чтение в студии Горького.

Располагались в просторной комнате, кому где нравится, среди книжных полок и вдоль стен на жёсткой дачной мебели. Бывало и так, что садились прямо на пол, к радостному огоньку камина. Читал чаще всего сам автор, но случалось, читал и Горький. После чтения щипали автора за неудачные слова и положения — щекотали авторское самолюбие, но не очень: боялись Горького. Он сдерживал, но, в свою очередь, тоже не очень. Страсти разгорались потому, что на острове были разные течения литературной мысли и практики, да и древнее, сказанное некогда далеко до нас, но в этих самых местах изречение "Искусство — трудно, а критика — легка" не утратило своей силы: критиков на Капри было куда больше, чем писателей, да они и не робели, не стеснялись при своих нападках так, как писатели при самозащите.

Горький сам редко высказывался, предоставляя говорить другим. Зато его пометки на полях рукописей давали возможность вполне узнать его мнение. Бывало, у Вольнова в его уютной квартирке с прелестным видом на Везувий, уставленной стопками книг из библиотеки Горького — Лесков, Помяловский, Левитов, — мы сообща — и Силыч с нами вместе! — прорабатывали эти отметки, пытаясь доискаться и угадать, что же хотел сказать Алексей Максимович таким своим живописующим словом.

И тут для нас при совместном обсуждении обнаруживалась вся широта литературного охвата А. М., тонкость и сила его восприятия, гибкость мысли и постоянная, не оскудевающая воля к творчеству активному, бодрому, смелому, призыв к литературной работе не в одиночку, а сообща всем миром-народом».

Новиков-Прибой не раз вспоминал о том, как часто шумная и весёлая компания писателей совершала прогулки к Голубому гроту, к скалам Фаральона, как шутили, смеялись, разыгрывали друг друга, устраивали импровизированные спектакли, а вечерами, когда приезжал Ф. И. Шаляпин, с особым душевным волнением слушали его пение. Пел Фёдор Иванович подолгу, иногда всю ночь до утра, волновал сердца русскими песнями, тоской по родным краям. Своим виртуозным пением неаполитанских песен он собирал вокруг дома и итальянцев.

Нельзя сказать, что пребывание Алексея Новикова на Капри было абсолютно радостным и безмятежным. Речь идёт не только о ежедневной, упорной работе, но и об отдельных эпизодах, ранивших самолюбие человека, который не мог похвастаться ни аристократическими манерами, ни приличным образованием. Горький, такой же самоучка, сохранивший на всю жизнь просторечное волжское оканье, тем не менее относился к «Силычу» (так стали называть Новикова именно на Капри) с некоторой долей иронии, возможно, подыгрывая изысканному Бунину. Об этом достаточно красноречиво говорит фрагмент из очерка В. Иванова «Встречи с Максимом Горьким». Иванов пишет, что Горький когда-то рассказывал ему: «...Я до всего — пальцем... Подобно Новикову-Прибою, который живал у меня на Капри. Алексей Силыч подойдёт к любому предмету, будь то диван, торт или рояль, — и пальцем. Он хотел пощупать этот мир... Затем вынимает рукопись, и Иван Алексеевич Бунин, умница, талант, поднимает, однако, брови и всё удивляется: как это матрос осмеливается рассказы писать, когда он в торт — пальцем!..»

Алексей Силыч не мог не замечать подобных выпадов, но долго и обстоятельно лелеять обиду ему было некогда — надо было работать.

Год, проведённый на Капри, оказался для Новикова-Прибоя необычайно плодотворным, здесь были написаны такие рассказы, как «Порченый» (который вполне можно было бы считать маленькой повестью), «Лишний», «Попался», «Рассказ боцманмата».

Наиболее полный анализ рассказов «из деревенской жизни» «Порченый» и «Лишний» дал в своей монографии о творчестве Новикова-Прибоя В. А. Красильников, который пишет: «Мысль о том, чтобы изобразить крестьянского сына, развращённого царской армией и участием в преступлениях правящих верхов против революции, против народа, возникла у Новикова-Прибоя в первые же дни после возвращения его в Россию из японского плена. Частичным, эскизным её воплощением был образ солдата из карательного отряда Меллера-Закомельского (очерк “Возвращение из плена”)». Очевидно, что проведённые после плена на родине, в Матвеевском, несколько месяцев обогатили бывшего цусимца новыми наблюдениями и впечатлениями.

9 ноября 1912 года А. М. Горький писал редактору журнала «Современник» Е. А. Ляцкому: «Посылаю рассказ Силыча. Не бог весть что, но — берёт за душу своей суровой правдой».

Речь идёт, как считает Красильников, о рассказе «Порченый». Как видим, Алексей Максимович, отмечая «суровую

правду» этого произведения, относится к нему критически. Конечно, для этого есть основания. Ведь, по существу, это (после рассказа «По-тёмному») второй опыт именно литературного (а не публицистического, каковыми были «цусимские» очерки) законченного произведения. Композиция рассказа свидетельствует о движении автора вперёд: он делает её более сложной, прибегая к экскурсам в прошлое героев и к контрастным параллелям.

Семья Колдобиных с радостью и нетерпением ожидает возвращения из армии сына, брата, мужа и отца в одном лице — Петра, солдата, закончившего военную службу. Отцу и старшему брату Пётр нужен как работник, помощник в хозяйстве. Ждёт не дождётся родимого сыночка мать, «дряхлая, худая, со сморщенным лицом и потускневшими глазами». Однажды старуха, ковыляя, отправилась в лес. Ноги отказывались служить, глаза плохо видели, но всё-таки она принесла молоденьких груздочков, посолила, спрятала в погреб: «Угощу его от своих трудов». Ну а больше всех истосковалась по Петру молодая жена его Матрёна. Она с нежностью вспоминает свои первые встречи с ним, вспоминает свадьбу и то, какой недолгой была их жизнь вместе: забрали Петра в солдаты. А ведь сыну Яшке отец нужен. Ну, ничего, теперь заживут!

«В рассказе так подкупающе правдиво, — пишет Красильников, — нарисовано радостное волнение семьи, ждущей близкого, родного человека, что читатель настраивается в унисон с этими простодушными и славными людьми. Автор безжалостно разрушает иллюзии персонажей и читателя».

Пётр неожиданно оказался совсем не тем человеком, которым его когда-то знали. Он жесток, груб, высокомерен и насмешлив как по отношению к близким, так и по отношению к односельчанам. Это проявляется в первый же вечер, когда он, соря деньгами, закатывает богатую «гулянку»:

«Хмелея, он куражился всё больше и больше, желая удивить публику “благородными” манерами, усвоенными на службе, и становился всё грубее. Всем было смешно, когда он то вдруг надувался, как индюк, то рвал и крутил усы с такой силой, что верхняя губа оттопыривалась в ту или другую сторону, то, нахмурившись, прикладывал указательный палец ко лбу, как будто что-то соображая. По временам голова его закидывалась назад, и глаза сурово и пронзительно останавливались на людях, точно он производил инспекторский смотр.

— Душно у вас! — нюхая воздух и морща нос, заявил он и, достав из кармана носовой платок, начал им обмахиваться.

— Окна открыты, — заметил отец, который хоть и пьян был, но всё время искоса поглядывал на сына.

В публике шептались:

— Для ча это он так?

— Этак-то попадья в жару делает...»

От семьи Пётр почти сразу же отделился, купив себе за полтораста рублей дом с двором и огородом. «Уходя, он ни с кем не простился, и ему никто не сказал ни слова. Когда захлопнулась за ним дверь, все вздохнули облегчённо. Только старушка мать, молча сидевшая на конике, тихо заплакала».

Над безответной Матрёной он изощрённо издевается, постоянно приводя ей в пример девицу из публичного дома — Розку: «Головка завитая, сама перехвачена, как рюмочка, тоненькая, вёрткая...»

Пётр сумел возбудить отвращение к себе во всех односельчанах, исключая лавочника и попа. Да и могло ли быть иначе, когда он в первый же день рассказал: «Объявил это нам ротный: жиды бунтуют, против веры православной идут. Пригнали нас в город. А там такая кутерьма идёт, что просто беда: вольные из жидов месиво делают. А те бегают, визжат, что-то гавкают. Не стерпели и наши молодцы... Эх, тут и рассказать-то нельзя: уж больно уморительно...» И уже тогда, при первой встрече с сыном, отец сказал ему: «Не по-божески это!»

В рассказе — правда, неглубоко — запечатлено расслоение деревни. «Злая сила» её воплощена в образе лавочника Никиты Андреевича, обмеривающего и обвешивающего покупателей, ставшего другом «порченого». В первые дни Петру симпатизировал и поп Игнатий, с удовольствием слушавший рассказ бывшего карателя о расправах со студентами и «жидами». Но, когда тот по неосторожности опрокинул стол с посудой, он изгнал его с возгласом: «Чтобы твоего духа не было, нечистая тварь!» «Здесь, к сожалению, — считает Красильников, — автор впадает в поверхностно-карикатурный, лубочный стиль».

В гости к Петру Колдобину на новоселье приехали волостные власти: старшина, урядник, писарь. Обрисованы они довольно колоритно; в частности, остроумно показано их натужное стремление выражаться «культурно». Но и здесь, по мнению Красильникова, сатира Новикова-Прибоя носит довольно поверхностный, примитивный характер. Это относится и к центральному образу — образу «порченого»: Пётр Колдобин нарисован только чёрными красками, и это снижает достоверность образа. Е. А. Ляцкой по поводу этого рассказа писал А. М. Горькому: «Есть страницы сильные, мастерски сделанные, но в общем он наполовину лубок, наполовину художественное произведение. Очень унтер... размалёван».

К несомненным достоинствам рассказа относится умелое

использование пейзажа. Природа разделяет с людьми их радость, страдания, грусть и гнев. В день приезда Петра «день выпал на диво ясный и тёплый, как будто среди лета». А когда Пётр, уже восстановивший против себя всё село, ведёт полицейских в засаду для поимки «политиков», «чёрные тучи, сплошь покрывшие небо, тихо сеяли мелкий дождь, баюкающий и усыпляющий. Избы, амбары и риги, похожие в темноте на бесформенные холмы, прилегли к самой земле, словно боясь кого-то, стараясь быть незамеченными. Капли дождя всхлипывали, падая на влажную землю».

Когда «порченого» нашли мёртвым, ни одна живая душа не опечалилась.

Конечно, идеологическая «подкладка» рассказа слишком видна: автор хочет показать, как могут изуродовать человека жестокие законы царской армии, какую резкую границу они проводят между теми, кто защищает «порядок», и патриархальным миром крестьянства, живущего по извечно заведённым законам добра и правды.

Рассказ «Порченый» впервые был напечатан в журнале «Современный мир» (1917. № 4—5) с подзаголовком «Из недавнего прошлого».

Отвечая на слова Ляцкого о рассказе «Порченый», Горький пишет: «Силыч? Это мужик крепкий, он скоро даст нам хороший рассказ, вот увидите! А тот мы поправим».

«Хороший» рассказ Новиковым действительно вскоре был создан. Он назывался «Лишний» и, напечатанный в журнале «Современник» (1913. № 12), воспринимался читателями и критиками уже как произведение гораздо более зрелое и значительное.

В архиве Новикова-Прибоя среди записей, сделанных весной 1906 года в Матвеевском, имеется следующая:

«Варвара получила известие, что муж убит под Мукденом. Поплакала она, погоревала с двумя детьми (мальчиками) и вышла замуж за вдовца, у которого тоже был ребёнок (девочка). Тот взял с расчётом её: скоро передел земли, и он на две души прирез получит. Жить будет можно.

Из плена вернулся первый её муж с оторванной ногой.

Как быть? Чья жена?»

Сочувственные пересуды односельчан о «двумужнице» заинтересовали Новикова, и он сразу же принялся за работу над этим сюжетом. В архиве писателя хранится фрагмент — «Среди трупов», который был первым наброском к рассказу «Лишний». На рукописи пометка автора: «Развить тему».

Главная героиня рассказа — Фроська, мать двоих детей, «молодая баба, плотная, краснощёкая, с чёрными вызываю-

щими глазами и задорным вздёрнутым носом». У неё простой, весёлый характер, она любит и попеть, и поплясать, но при этом верно ждёт с японской войны мужа Гаврилу, с которым жили они душа в душу. Перед уходом в солдаты ему выпадала должность лесника, и они уже мечтали о новой избе.

Но вот получено страшное известие о гибели мужа под Мукденом, и разрывается душа у соседей от причитаний Фроськи: «Ой, послушайте меня, соседушки спорядовые, приближенные! Не откиньте меня, вдову бесприютную с малыми детками бессчастными. Как пойдут мои сироты по миру шататься, милости у крещёных выпрашивать, постучат они под ваши окошечки, голодные и холодные, — приютите их в своих тёплых гнёздышках, обогрейте, обласкайте, уму-разуму научите...»

Напрасно соседи унимают Фроську. Она сознаёт лишь одно, что для неё теперь нет радости в жизни, что всё погибло, что никто и ничто не заглушит её горя: «Гаврик, Гаврик!.. На кого ты меня с детками спокинул? С кем я теперь буду крепкую думушку думать, с кем совет держать, с кем рассею злую кручинушку?.. В ком найду я великое желаньице? Без поры, без времени молодость моя прокатится, головушка моя печальная не вовремя состарится... Ой, Гаврик, Гаврик!.. Не придёшь ты больше к нам на своих резвых ноженьках, не улыбнёшься, не скажешь ласкова словечка... Дождички осенние, обмойте косточки моего дружочка, а ты, солнце красное, обсуши их, а ты, мать-земля родная, сохрани их до Божьего суда!..»

Память о Гавриле живёт в сердце вдовы, но приходится думать о будущем. Сколько муки вкладывает она в свою мысленную речь к первому мужу, принимая решение выйти за другого — за вдовца Лариона, не знающего, как после смерти жены выходить ребёнка: «Прости меня, мой желанный Гаврилушка, што рано замуж выхожу. Для деток больше. А то опоры нет — не справиться нам одним... А тебе пошли, господи, хорошую жисть на том свете».

Описание своеобразного сватовства Лариона относится, по мнению Красильникова, к лучшим сценам рассказа: «Весенний пейзаж с нежной листвой берёзок, истовая беседа вдовца с мнимой вдовой, её смущение и тайная мечта о счастье, его искренность и, при всей внешней простоватости, чрезвычайная деликатность и сдержанность — всё это передано скупыми и точными мазками, с большим вкусом и психологически достоверно».

Но Фроське предстоит пройти через новое испытание — встречу с первым мужем. Эта встреча передана так, что, наверное, никогда, ни в какие времена не утратит своего по-

трясающего драматизма, своей эмоциональной силы. Там не много слов — в этом эпизоде, боли много...

Слова пойдут дальше, в разговоре Лариона, венчавшегося с Фроськой честь по чести, и Гаврилы, пришедшего за своей женой и детьми.

И не только Гавриле, а как будто всем инвалидам жестокой войны говорит Ларион, говорит без злобы, «от души», благодаря чему слова его становятся особенно справедливыми и убеждающими: «Погубишь только бабу и ребятишек. Не жизнь им с тобою. Да, не жизнь... Посмотри на себя и подумай — куда ты годен? Бояться тебя будут... И не жилец ты на белом свете. Может, год-другой промотаешься, а там и капут. Што тогда делать? Ты только смекни — сколько несчастных через тебя будет». Ларион советует Гавриле уйти куда-нибудь, скрыться, это единственный выход.

И «лишний» соглашается: «...неуклюже протягивая Лариону руку, говорит упавшим голосом:

— Прощай, брат... Владей... Только не бросай...

Ларион, пожимая руку и не глядя солдату в глаза, сквозь слёзы отвечает:

— Я всё сполна сделаю... Не поминай лихом...

Гаврила подходит к жене.

— Ну, Фроська, больше не увидимся... Люби теперь другого...

У Фроськи дрогнуло сердце, вспыхнула горячая, как пламя, жалость к отцу её детей, так жестоко и несправедливо обиженному жизнью, — она упала перед ним на колени и горько заплакала:

— Гаврилушка!.. Болезный ты мой... Согрешила... Прости...»

И побрёл Гаврила неведомо куда. И сколько было их, таких бездомных скитальцев, на просторах России после каждой войны...

Одним из «каприйских» произведений Новикова-Прибоя является и миниатюра «Две песни», которая хранилась в рукописи в архиве писателя и была впервые опубликована только в 1977 году[1]. Вероятно, сам автор считал миниатюру ученической, поэтому не включал её в свои сборники. Между тем эта прекрасная поэтическая зарисовка (написанная, безусловно, под влиянием ранней «ритмической прозы» Максима Горького) отличается отточенностью формы и стиля. Но обратимся прежде всего к её содержанию.

---

[1] В журнале «Огонёк» (1977. № 13) с сопроводительной заметкой И. Новикова.

Сюжета, как такового, нет — есть грёзы и размышления русского эмигранта, вспоминающего, как довелось ему слышать две колыбельные песни. Одну пела молодая русская женщина, и песня эта была полна не только любви: вместе с любовью и нежностью изливалась она тягучей и щемящей тоской: «трепетала, как ушибленная птица, материнская скорбь в словах старых, издавна печальных, как родина её, сложившая эту песню».

Другую колыбельную пела своему ребёнку итальянка, и песня её звенела «жгучей зрелой радостью, и хвалой жизни, и блаженным восторгом...».

Неслучайно такими разными были две колыбельные: каждая из них была напитана соками своей родины.

«В песне чужого края славилась легко и улыбчиво великая заботливая жизнь, тёплая милая земля, возлюбленная света, славилась материнская участь, родная счастью. Пела женщина о полях, на которых почиет ласка лета, о морях, на которых её братья, загорелые моряки, правят гордые пути. О блаженстве жизни ликовала песня. О чём же было петь матери в стране, которую особенно дарит солнце, где века веков с исключительной любовью изо дня в день дышит солнечное богатство...»

Русская же песня, по мысли рассказчика, несёт в себе всю печаль своей отчизны, в ней трепещет «пленная удаль, охмелённая неоглядными пирами и скованная кандалами». В ней «мятежно растут степные зовы, алеют молодые зори, но горькое бессилие обнимает её, душит».

Рассказчик не может справиться с навеянным колыбельной песней ощущением горя — своего и своей родины.

«“Господи, Господи, бедный я, бедная Россия... Одна скорбь, один стон...” — молились уста. Замер Сергей так до утра...

Укоризненно глядела в окно седая схимница-ночь, и, как её тёмный, суровый взор, было всё вокруг чухло и горестно. Росла тяжким сводом жёсткая тишина. Плакал этой ночью Сергей. Над целым миром плакал, над собой, над родиной, над матерью за стеною...»

Извечная боль загадочной русской души. «Люблю отчизну я, но странною любовью...»

Гоголь, Лермонтов, Некрасов, Достоевский... Блок. Бердяев. Есенин. Нельзя русскому писателю без муки. Никак нельзя. Иначе — не русский. Иначе — не писатель.

В каждой строчке миниатюры «Две песни» — глубокая, неподдельная тоска лирического героя и самого автора по далёкой родине, щемящая любовь к ней — «нищей, серой, согбенной, заплаканной», но всё равно родной, милой, манящей.

Говоря о художественных особенностях этого произведения, стоит отметить богатство языка, обилие красочных сравнений, эпитетов и метафор. «Незаметно тихо, как закатный ветерок, влюбленный в ночную сирень, родилась песня. И, как ветерок цветолюбивый, повеяла сладкой и грустной лаской чего-то небывало-доброго. Задышала сразу тем, что вечно грезится, что неуёмно желанно и — что несбыточно. Далёкая-далёкая и близкая, как тревожный ропот сердца, песня».

В каждом слове — огромная жажда писательства молодого автора, которому (вот оно, счастье!) позволено творить. Позволено самим Горьким! И — что, может быть, пока не совсем ясно осознаётся — позволено свыше.

Как уже было отмечено, влияние Горького просматривается в произведении довольно явно, и автор ничуть этого не скрывает. Очевидно, заворожённый в своё время ранними романтическими рассказами своего литературного кумира, он был уверен, что нельзя скупиться ни на чувства, ни на слова. Иначе какая же это литература? Кстати, в отличие от Горького Алексей Новиков, присовокупивший к своей фамилии именно там, на Капри, звучное и яркое дополнение «Прибой», останется истинным и истовым романтиком навсегда, до самых своих последних дней.

Когда уже Новиков-Прибой был любимым и одним из самых читаемых авторов в Советском Союзе, А. Золотарёв, вспоминая Капри, писал: «И если этому русскому писателю, выпестованному морем-океаном, японские острова подарили главную, увековечившую его литературное имя тему — тему Цусимы, если Британские острова сделали его талант выразительным и могучим, то изящно-скульптурному островочку Средиземноморья Силыч обязан победой над формой, лёгкостью и гибкостью своего стиля».

СНОВА – РОССИЯ. 1913–1917

Вскоре после отъезда Алексея Новикова на Капри Мария Людвиговна начала предпринимать попытки для того, чтобы уехать в Россию. Дело это было трудное. Поскольку её отец был политическим эмигрантом, то рассчитывать на получение российского паспорта она не могла — решила попробовать получить французский на основании документов о её рождении в Париже. В консульстве пошли ей навстречу, но при этом поинтересовались, не пугает ли молодую девушку поездка в такую дикую, мрачную страну.

Мария Людвиговна с сыном приехала в Петербург. Её французский паспорт гарантировал ей неприкосновенность, и ей удалось провезти с собой важные документы, которые она передала революционерке Вере Засулич.

Прежде чем устроиться на работу в контору пишущих машин фирмы «Жорж Блок», Мария Людвиговна решила посетить родственников своего мужа и отправилась с сыном в Матвеевское. Она знала, что сначала нужно добраться из Петербурга до Москвы, потом до станции Пичкиряево, а там, вероятно, взяв извозчика, они с Толей доедут и до самого села. В Пичкиряеве она надеялась на короткий отдых в каком-нибудь... не кафе, конечно (в пути она уже поняла, что Россия несколько отличается от Англии и Франции), ну, трактире, например.

Не было в Пичкиряеве ни кафе, ни трактира, ни извозчика. Одинокая лошадь с телегой стояла. Хозяин, сообразив, что с иностранки можно взять денег побольше, согласился везти в Матвеевское. Правда, долго качал головой: не близкий, мол, путь.

Приезд в Матвеевское «англичанки» стал событием. Всё село (оно хоть и глухое было, но не маленькое: больше трёхсот дворов!) приходило посмотреть на жену-красавицу Алексея Силыча Новикова. Вон какую кралю себе за морями нашёл!

Когда Мария Людвиговна только в дом зашла (ведь не жда-

ли, не гадали!), на стене сразу две фотографии красивых японок приметила, но ничего не спросила. А уж к утру проворная жена Сильвестра Мария (тёзки они все оказались: и обе невестки, и покойная свекровь) карточки-то эти прибрала подальше, чтобы гостью дорогую не расстраивать.

Когда после пребывания на Капри Алексей Новиков нелегально вернулся в Россию, ему пришлось сначала отправиться в родное село, где, как это ни странно, легче было выправить настоящий паспорт. Затем Новиковы обосновались в Москве и жили в семье писателя Тимофеева, товарища Алексея по Капри.

После долгих скитаний начинать жизнь в России было непросто. Прежде всего требовался хотя бы какой-нибудь регулярный заработок. Новиков обратился в Московское книгоиздательство писателей, которым руководил Николай Семёнович Клестов-Ангарский.

Революционер Николай Клестов начал свою издательскую деятельность во время революции 1905 года. Проживая в Москве на нелегальном положении после побега из омской тюрьмы, он опубликовал серию политических брошюр, три тома «Капитала» К. Маркса, первый в России небольшой сборник статей В. И. Ленина.

В начале 1909 года полиция разыскала Клестова, и он снова был отправлен по этапу в Сибирь, на берега Ангары (отсюда и его политический псевдоним).

После трёх лет, проведённых в тюрьме и ссылке, Клестов возвратился в Москву, где вместе с Вересаевым организовал книгоиздательство писателей, в которое вступили на паях Телешов, Бунин, Серафимович, Тренёв.

Книгоиздательство находилось в особняке по Никитскому бульвару, 8. Ныне это Дом журналиста, который в 1920—1938 годах назывался Домом печати.

Клестову, загруженному не только издательской, но и партийной работой, требовался помощник. И кандидатура обратившегося к нему Новикова, молодого писателя, прошедшего школу Горького, вполне его устраивала. Он понравился руководителю издательства сразу: весёлый, общительный, напористый. Незнаком с издательским делом? Ничего, освоит.

Надо сказать, что дела в издательстве были несколько запущены. Привыкший к дисциплине и организованности, Новиков с энтузиазмом взялся за наведение порядка. Прежде всего, он создал картотеку, в которую внёс все сведения о писателях, работающих с их издательством; завёл отдельные

папки для переписки, договоров, корректуры. Алексей Силыч навёл образцовый порядок не только в бумагах — позаботился он и о рабочем помещении: настоял на ремонте. Лучшего помощника трудно было себе представить, и Ангарский очень скоро начал доверять Новикову все дела в издательстве, оставляя его за себя на время своих отлучек из Москвы.

Сохранившаяся переписка Новикова и Ангарского позволяет судить о том, насколько оживлённой и динамичной была работа издательства:

«Май 3-го дня 1914 года.

Дорогой Николай Семёнович!

Сообщу кой что о наших делах: 1) Выдал Сургучёву аванс в 300 рублей. Предложил ему вступить пайщиком, он охотно согласился. Деньги за пай просит вычесть из гонорара за пьесу. Он просил Вам передать, что материал на 3-й том может доставить только к январю следующего года. Кстати, вчера в газетах была заметка, что его пьеса запрещена цензурой. Узнав об этом, перепугались, но здесь, вероятно, какое-нибудь недоразумение, ибо в "Осенних скрипках" совершенно нет ничего такого, за что могли бы её запретить. 2) Бунину за корректуру заплатил. Он спрашивал, когда принесут корректуру "Диониса". Но об этом я ничего не знаю. Жду Ваших распоряжений. 3) Внесла свой пай Вера Николаевна Муромцева, в понедельник принесёт деньги в книгоиздательство. 4) Ремонт производится, я распорядился выставить окно, которое служило дверью к соседям, а все двери запер. Таким образом, за книги можно не беспокоиться. 5) Вересаеву по счету уплатил, а Сергееву-Ценскому пошлю в понедельник. 6) Продажа книг понемногу идёт. 7) Завтра переезжаю на жительство в книгоиздательство. Пока довольно. О всех делах буду сообщать своевременно. А пока до свидания. Привет Лидии Осиповне. Ваш Ал. Новиков».

Одной из удач весны 1914 года стала для Алексея Новикова публикация его рассказа «Попался» в газете «Смелая мысль», которая начала выходить в Петербурге с 14 мая. Рассказ был помещён уже во втором номере газеты. Правда, просуществовало это издание только до 6 июня. Всего вышло девять номеров, причём некоторые из них были конфискованы.

Рассказ «Попался» Новиков написал в январе 1913 года на Капри.

Матрос второй статьи Круглов, невысокий и тщедушный, покупает на камбузе у повара остатки матросского супа, чтобы накормить больную, одинокую старуху, которая когда-то приносила на продажу в экипаж хлеб, а теперь вот слегла и некому ей помочь.

Спрятав под шинель котелок, Круглов спешит к булочнице. Сворачивая с главной улицы в переулок, он сталкивается с капитаном 2-го ранга Шварцем, известным своей строгостью.

Вскинувший правую руку для приветствия и машинально дёрнув левую из кармана, которой он через карман и держал котелок с супом, Круглов вылил суп на брюки. Возмущённый Шварц, обнаружив в карманах матроса ещё и хлеб, свирепеет: «Воровством занимаешься! Казённое добро таскаешь!»

Круглов пытается объяснить, кому он нёс обед. Не поверивший матросу офицер требует отвести его к булочнице.

Они попадают в тёмный, сырой подвал. Это настоящая горьковская ночлежка, где никому нет дела до умирающей булочницы. Нищета, беспомощность одинокой старухи потрясают Шварца. А ещё он искренне удивлён поступком матроса:

«— За доброту твою — хвалю. Молодец!

— Рад стараться, ваше высокобродье!

Офицер сделал серьёзное лицо:

— Подожди стараться! Слушай дальше! А за то, что нарушил закон...

Он затруднялся, какое наказание применить к провинившемуся. Нужно было покарать матроса надлежащим порядком, но ему, точно тяжёлый, несуразный сон, мерещилась уродливая, затхлая жизнь подвала и одинокая, забытая богом и людьми старуха. Совесть офицера смутилась, а вместе с нею поколебалась всегдашняя твёрдость и уверенность.

— Да, вот как... — идя рядом с матросом, удивлялся он сам себе.

Простить матроса совсем он тоже не мог: против этого протестовало всё его существо».

Офицер никак не может выговорить слова о наказании, думая о том, что «быть может, во всём мире нашёлся один лишь человек, этот нескладный матрос, который пожалел старуху, умирающую в чужом доме, среди чужих людей». Наказание, по мнению Круглова, Шварц назначил нестрогое.

Простой сюжет, выстроенный в основном на диалогах, практически не обременённый никакими авторскими рассуждениями и оценками, потрясает своей безыскусной правдой, снова и снова заставляет читателя вспомнить обо всех «униженных и оскорблённых». Рассказ вызывает, с одной стороны, протест, скорбь, сострадание, а с другой — наполняет чувством огромной симпатии одновременно к двум неплохим людям: тщедушному матросу Круглову и благополучному офицеру Шварцу.

С помощью немногих художественных средств (буквально

несколько эпитетов и скупой внутренний монолог) автору удаётся показать строгого и справедливого отца-командира, которые никогда не переводились в российском флоте.

Этот короткий рассказ, несущий огромный заряд гуманизма, написан в лучших традициях мариниста Станюковича и русской классики, одна из ведущих тем которой — тема маленького человека — звучит здесь просто и ясно, доходя в любые времена до самого сердца читателя и отзываясь в нём тем самым важным, без чего нет жизни, — любовью к ближнему своему...

Поскольку семья Ангарского проживала в двух маленьких комнатах на первом этаже того же дома, где находилось издательство, Алексей Силыч после работы часто заходил к своему начальнику и они продолжали вести разговоры о корректурах, гонорарах, продажах издаваемых книг.

Николай Семёнович относился к молодому писателю с искренней симпатией, с радостью приветствовал его появление в своём доме: «А вот и победитель бурь пожаловал!» С восторгом встречала Алексея Силыча и маленькая дочка Ангарского Маша. Она оставляла свои игрушки и, пристроившись где-нибудь в уголке, ловила каждое слово бывалого моряка, всегда оживлённого и бодрого, попыхивающего самокруткой, вставленной в длинный мундштук. Гибель русских моряков в Цусимском сражении (об этом говорили особенно часто) трогала её маленькое сердечко, и она напряжённо вслушивалась в подробности, замирая от ужаса и жалости. Не всё понимая, Маша пыталась рассудить, прав ли её отец, постоянно говоривший гостю: «Напишите же вы книгу. Это так необходимо. Важнейшая веха, которую нужно знать потомкам».

Желание напечатать рассказы Алексея Новикова Ангарский выразил при первой же их встрече. Однако Алексей Силыч решил повременить, поскольку считал, что над ними ещё необходимо работать. Тем не менее, не откладывая дело в долгий ящик, он довольно скоро принёс в издательство рукопись «Морских рассказов».

В рукописи Новикова встречались шероховатости, неудачные фразы. Но в целом его рассказы производили яркое и сильное впечатление. Автор писал о том, что пережил и что хорошо знал. В его рассказах привольно плескалось бескрайнее море, притягивающее человека и красотой, и крутым нравом, и одновременно звучала та «суровая правда», которую отметил Горький в рассказе «Порченый».

На очередном заседании книгоиздательства Ангарский выступил с предложением выпустить сборник Новикова. Предложение было активно поддержано Вересаевым, Сергеевым-

Ценским, Тренёвым, Телешовым. Однако возник вопрос о необходимости выбора псевдонима для начинающего писателя, поскольку в издательстве уже выходили книги другого Новикова — Ивана Алексеевича.

Ещё на Капри Алексей Силыч примеривал к себе звучный псевдоним «Прибой», которым когда-то подписывал свои яркие статьи капитан 2-го ранга Кладо. По совету Вересаева он объединил свою фамилию с этим словом-символом: оно как нельзя лучше подходило для автора, пишущего о море.

Итак, Новиков-Прибой — это имя должно было появиться на обложке первой книги Алексея Силыча, который тщательно готовил её к изданию, а потом с волнением ждал выхода. Но книге этой не суждено было появиться на свет. С началом империалистической войны усилилась царская цензура, и типографский набор сборника рассказов, автором которых был по-прежнему неблагонадёжный Новиков, осенью 1914 года был рассыпан.

Весной 1915 года Екатерина Павловна Пешкова, хорошо помнившая Новикова-Прибоя по Капри, помогла ему устроиться начальником одного из санитарных поездов Земского союза; чуть позже на другом поезде стала работать и Мария Людвиговна Новикова, которая позже вспоминала:

«Годы 1915—1918 мы с Алексеем Силычем проработали на санитарных поездах Земского союза на должностях заведующих хозяйством санитарных поездов. Поезда наши ездили на фронтовые позиции за ранеными и больными и развозили их по разным городам в тылу России. Так, в течение трёх с лишним лет нашей работы на санитарных поездах мы исколесили всю Россию и побывали почти во всех главных городах страны».

В 1916 году в первом номере журнала «Новый колос» был опубликован очерк Новикова-Прибоя «Погрузка раненых», который даёт нам, во-первых, довольно полное представление о том, как протекала во время империалистической войны (подзаголовок очерка: «Империалистическая война 1914—1916 гг.») жизнь Новикова-человека, а во-вторых, показывает, что Новиков-писатель находит время не просто фиксировать текущие события, а художественно их осмысливать.

Вот автор рассказывает о том, как земский санитарный поезд остановился в 15 верстах от места, где «идёт кровопролитный бой, слышен грохот артиллерии, видны вспышки разрывающихся снарядов». И тут же его суть и призвание художника не позволяют не нарисовать соответствующую картину холодной туманной ночи, свидетельницы и участницы жестокого, противоестественного действа под названием «война»: «Небо беспросветно, заволоклось тучами. Мутный

свет фонарей не в силах разогнать тьму, воздух точно наполнен чадом — всё в нём смутно и неопределённо».

Очередная военная ночь не предполагает ни отдыха, ни покоя: «В полумраке, громыхая, тяжело пыхтят паровозы, передвигая составы, разъединяя и сцепляя вагоны. То и дело раздаются короткие свистки, удары буферов, выкрики людей. Между поездами мелькают разноцветные фонари стрелочников. <...> От движения вагонов и людей по холодной земле, то уменьшаясь, то увеличиваясь, ползают уродливые тени. Обозы, опоражнивая вагоны, нагружаются военными припасами и сейчас же отъезжают, скрываясь в глубине ночи. Беспокойно ржут лошади, сердито шумят, понукая их, солдаты, гремят повозки. Здесь нет ночного отдыха, под покровом тьмы идёт напряжённая работа, сводящаяся к одной лишь цели — опрокинуть и раздавить дерзкого врага».

Эвакуационный пункт заполнен ранеными, «здесь пленные перемешаны с русскими, офицеры уравнены с нижними чинами». Под глухие удары пушек, от которых вздрагивает здание, дребезжат стёкла, под крики и стоны раненых санитары и солдаты перетаскивают их в вагоны.

А дальше автор, для которого в дальнейшем, когда он уже станет известным беллетристом, всегда прежде всего будет важен необычный, интересный, занимательный сюжет, рассказывает трогательную историю братания врагов на поле боя.

Пышная и бойкая фельдшерица обращает внимание на русского и австрийца, которые, лёжа рядом, спокойно, по очереди покуривают одну папиросу: «Первый, затянувшись раз-другой, заботливо подносит папиросу к губам недавнего своего врага.

— Кури, Яков, это успокаивает...

Австриец благодарно кивает головой».

Фельдшерица интересуется, откуда наш солдат знает имя раненого противника, тот степенно отвечает: «За целый день, чай, можно было познакомиться». Познакомились они «в поле», то есть во время боя. Любопытная фельдшерица, хоть и много у неё работы, присела рядом, допытываясь, как было дело.

«Солдат охотно рассказывает.

— Как бывает на войне: вышло распоряжение от начальства — жарь в атаку. Мы на рассвете так на немца попёрли, а те, увидамши нас, насупротив нас двинулись. Столкнулись. Они нас лупцуют, а мы их ещё пуще. Разъярились все — беда! Налетаю я на Якова. Я ему штыком в бок, а он — бац из винтовки! Прямо — в бедро. Оба свалились. Спасибо, что в яму попали — снарядом её вырыло, а то бы не быть в живых. Пе-

ревязал я себе бедро. Гляжу на своего австрияка — извивается, южит. Я к нему. Я и ему перевязал рану. Он руки мои целует, а сам слезами заливается. Тут уж меня совсем жалость взяла. Говорю ему: "Вот что, брат, как мы с тобой, значить, больше не вояки, давай заключать мир. Будем друзьями". И троекратно поцеловались. Потом друг другу имена свои обозначили. Объясняю ему, что, мол, меня Андреем звать, а он, понявши, стучит себя в грудь и отвечает: "Якоб, Якоб". По-нашему, значит, Яков. К вечеру наши отогнали неприятеля, а нас подобрали.

Андрей рассказывает всё это, показывает рукой на австрийца, а тот, догадавшись, о чём идёт речь, утвердительно кивает головой.

К Андрею подходят санитары, хотят уложить на носилки, но он просит, чтобы вместе с ним взяли и австрийца.

— Его после возьмём, — объясняют санитары.

— Без него и меня не берите, — заявляет он решительно.

Подходят ещё санитары, и две пары носилок уносят их обоих на поезд».

Но этой доброй истории автор сразу же противопоставляет иную: два других раненых врага, будучи едва живыми, оказавшись в одной телеге, под одной дерюгой, закончили жизнь смертельным поединком. Ко всему, казалось бы, привыкшие врач и санитары с ужасом и болью взирают на жуткую картину: «Руки, вцепившись друг другу в горло, давно уже закоченели, страшная гримаса застыла на их лицах, кажется, что они и мёртвые продолжают душить один другого».

Работа на санитарных поездах на продолжительное время отвлекла Новикова-Прибоя и от революционной, и от литературной деятельности.

Октябрь 1917 года. Обычно в биографиях советских писателей прописывалась стандартная фраза: «принял социалистическую революцию». Бывали оговорки. Например, про Есенина: «но по-своему, с крестьянским уклоном».

Во всех воспоминаниях о Новикове-Прибое октябрь 1917 года удивительным образом замалчивается. Как будто его не было. Чёрная дыра. Сразу — 1918 год, когда Новиков-Прибой попадает на Алтай.

Между тем в самые горячие дни Алексей Силыч находился в Петрограде. Правда, что делал он именно 25 октября 1917 года, — мы не знаем. Однако известно, что в ноябре А. С. Новиков баллотировался в Учредительное собрание от Тамбовской губернии по списку эсеров, но не был избран.

30 ноября 1917 года в газете «Земля и воля» был опубликован очерк Новикова-Прибоя «Озверели». Автор рассказывает о том, как жители деревни Кажлодка Спасского уезда Тамбовской губернии, намучившись от дезертиров-грабителей, поймав их, устраивают самосуд: избивают до смерти и полусмерти, а затем сжигают. Подробно рассказав об этой страшной казни, автор пишет: «Неслыханная война, которую мы ведём четвёртый год, эта ужасная кровавая бойня, очевидно, не могла не отразиться на человеческой психике. Люди окончательно озверели, точно отравленные ядом жестокости и насилия. Страшно становится жить».

В это же время Новиков-Прибой начал писать очерк «О погромах», в котором рассказывает, как в Салтыковской волости Тамбовской губернии крестьяне, разбив винокуренный завод князя Гагарина, растащили оттуда более десяти тысяч вёдер спирта: «Народ, забросив все свои работы по хозяйству, с жадностью набросился на дьявольское зелье». В результате этого погрома погибло около семидесяти человек, «опившихся спиртом».

Очевидно, этот неопубликованный очерк лёг в основу рассказа «Вековая тяжба», который будет написан позже, в 1922 году.

С 26 ноября по 10 декабря 1917 года в Петрограде проходил 2-й Всероссийский крестьянский съезд, на котором А. С. Новиков представлял партию эсеров. И уже 12 декабря газета «Земля и воля» опубликовала начало его записок «На крестьянском съезде», а 17 декабря — их продолжение.

С того момента статья «На крестьянском съезде» нигде никогда не упоминалась. И только в 1990 году кандидат исторических наук В. Лавров опубликовал её в «Правде», сопроводив необходимыми комментариями. Он пишет: «А. С. Новиков-Прибой предстаёт прежде всего российским интеллигентом из крестьян, писателем, следующим гуманистической и реалистической традиции классической русской литературы, человеком, глубоко переживающим за судьбу своей родины и своего народа».

В очерке «На крестьянском съезде» подробнейшим образом рассказывается о происходящих событиях:

«В Городской думе, где собрался крестьянский съезд, полно людей. Съехались сюда представители и от фронта, и со всей необъятной Руси — в серых шинелях, в поддёвках, в зипунах. Колыхаясь, клубятся в зале облака табачного дыма, но кажется, что это с улицы забрался сюда одурманивающий туман, отравив людей ядом ненависти друг к другу, помутив сознание. Весь зал разделился на две враждебные половины:

справа сидят социалисты-революционеры центра и беспартийные, большею частью приехавшие от сёл и деревень; слева — большевики, максималисты, левые эсеры, явившиеся от военных организаций. Между той и другой половиной идёт непримиримая борьба. Когда одна сторона шумно рукоплещет своему оратору, другая — сильно негодует, поднимая свист, грозясь кулаками.

— Да здравствует Учредительное собрание! — кричат одни.

— Да здравствуют Советы! — неистово вопят другие.

Лица у всех возбуждены, глаза горят нескрываемой злобой. Иногда кажется, что вот-вот одни пойдут стеною на других и кончится всё это всеобщей кровавой свалкой».

Этот сумбур продолжается несколько дней, «пока съезд окончательно не раскололся на две половины, из которых каждая стала заседать отдельно».

Писателя больше всего интересуют «кулуары, коридоры, ибо здесь высказываются все, никогда не стесняясь, здесь скорее можно уловить настроение массы». Вот одна из зарисовок:

«— Чёрт знает, что происходит! — собрав вокруг себя несколько человек, возмущается пожилой крестьянин, одетый в простую деревенскую шубу. — Люди столько лет боролись за Учредительное собрание, гибли за него по тюрьмам, в ссылке, гибли на виселицах и на-ка вот... Не надо, говорят, Учредительного собрания. Дай им Советы. В программе у тех же большевиков сказано, что выборы должны быть прямые. А как в Советы выбираются? Скажу про себя: меня сначала выбрали из деревни в волость, из волости в уезд, а уезд уже послал меня сюда. Выходит, вроде как по трём лестницам взбирался я на съезд. В той же программе говорится: должна быть одна палата. А тут что получается? Совет Рабочих, Совет Солдатских, Совет Крестьянских Депутатов. Трёхэтажная палата! Сам Ленин сказал, что Учредительное собрание создано у нас по самому лучшему избирательному закону. И вдруг ставят его ниже Советов, ниже этой трёхэтажной палаты, в которую нужно взобраться по трём избирательным лестницам! Советы — это наскоро сколоченные бараки, а Учредительное собрание — это дворец, одна красота.

— Вы, товарищ, не из кулаков будете? — обращается к крестьянину солдат-большевик».

В столовой на Фонтанке, где кормят депутатов, споры продолжаются:

«Один молодой человек, вихрастый, без передних зубов, в кургузом пиджаке, размахивая руками, рассуждает:

— Буржуазное правительство Керенского восемь месяцев морочило нам голову насчёт войны. А большевики сразу заключили перемирие.

— Для того только, чтобы начать войну на внутреннем фронте, — возражают ему противники».

За другим столом толкуют об ином:

«— Для меня и социалисты-революционеры, и меньшевики — тоже не враги, — повествует один худой прыщеватый солдат. — Они, можно сказать, тоже для народа, но очень медленно, наподобие безумного солдата, на костылях ковыляют. Не угнаться им за большевиками...

— Ещё бы, — отвечают ему. — Большевики на все четыре ноги подкованы. А сам Ленин — скачет выше леса стоячего, чуть пониже облака ходячего».

По возвращении в лазарет, превращенный в общежитие для депутатов, спорят везде: в ожидании кипятка, на лестницах, в коридорах, в уборных:

«Развязался человеческий язык, отверзлись уста, и полились потоки слов, иногда умных и метких, больше глупых и бездарных. И никак не могут обойтись без дурной брани, без того, чтобы не обидеть друг друга.

— Эх, осатанел народ, беда! — жалуется мне крестьянин, мой земляк.

В нашей камере сосед мой по койке, сибиряк, здоровый, рослый молодец возмущается:

— А главное — весь ужас в том, что для людей ничего не осталось святого. Плюют на всё. Благородное и подлое сваливают в один куль. Лучшие борцы за свободу — Плеханов, Брешковская, честные писатели — Горький, Короленко, гордость нашей литературы, объявляются народными врагами, контрреволюционерами. И кто это говорит? Какой-нибудь мартовский социалист-сопляк! Тьфу! Хочет учить гнилой Запад, а сами прогнили насквозь, разложились. Нет, нам, сибирякам, нечего здесь делать. Надо уезжать. Свои порядки будем заводить, свои законы. А вы пока беситесь здесь».

«Я лежу на койке и думаю, — пишет автор, — что будет дальше с Русью? Куда мы идём?

Утомлённый, с горечью в душе, я засыпаю под гомон человеческих голосов...

И представляется мне наша Русь в виде женщины-богатыря. Устало понурив голову, идёт она вперёд, сама не зная куда, — вся оборванная, нищая, вся в глубоких ранах, истекающая кровью, красивая и безобразная, опозоренная и славная, любимая и ненавистная. Она не разбирает дорог, бредёт напролом. Подошла, вплотную придвинулась к мрачной пропасти и, подняв над нею ногу, в раздумье остановилась, дико озираясь незрячими глазами. Ещё одно движение вперёд — и всё кончено... Трагическая развязка...

— Господи, да минует её чаша сия! — в ужасе шепчу я и просыпаюсь».

Очерк «На крестьянском съезде» — яркое свидетельство времени, которое ощутимо передаёт горечь разлома России, атмосферу сумбура и неясности в определении дальнейшего её пути.

Но так уж получилось, что главным событием 1917 года для Алексея Силыча Новикова-Прибоя стал выход в Москве, в издательстве Я. Г. Сазонова, его первой настоящей книги. Это были «Морские рассказы».

В сборник вошли следующие произведения: «По-тёмному», «Подарок», «Между жизнью и смертью», «Побеждённые», «Одобренная крамола», «Злая весть», «Рассказ боцманмата», «Бойня».

«Искренность, правдивость и простота прежде всего характеризуют “Морские рассказы”». Так ясно и точно скажет о первом сборнике произведений Новикова-Прибоя уже десятилетия спустя один из исследователей его творчества В. Щербина[1].

Действительно, читая сборник, понимаешь, что его автор — человек, наделённый пытливым умом, открытой душой и стремлением воспроизвести на бумаге реальную жизнь во всех её проявлениях.

Новиков-Прибой всегда считал своим главным учителем А. М. Горького, не раз подчёркивая это как в своих устных выступлениях, так и в публицистических произведениях. Да, собственно, всё творчество советского писателя-мариниста подтверждает, насколько сильно было влияние на него Горького. Преданность жизненной правде, внимание к простому человеку, безграничная любовь к России и желание бороться за её светлое будущее, обострённое чувство справедливости и глубокая тоска оттого, что её днём с огнём не сыщешь, всё это было в своё время навеяно прежде всего книгами Горького.

Вслед за учителем Новиков-Прибой противопоставляет персонажам пока ещё модного и не отвергаемого декаданса героев из народа — бесхитростных, честных, мужественных. И такими, по его представлениям, являются русские матросы, чью жизнь по велению судьбы ему пришлось изведать сполна.

Безусловно, творчество Новикова-Прибоя неразрывно связано с традициями русской классической морской литературы. Исследуя эту связь, В. Щербина даёт в своей монографии о Новикове-Прибое довольно полную характеристику как русской, так и мировой морской литературы.

---

[1] *Щербина В.* А. С. Новиков-Прибой. М.: Советский писатель, 1951.

В литературе, посвящённой теме морской жизни, традиционно выделяют два направления: первое — реалистическое и второе, которое может быть названо экзотико-романтическим. «Часто в критике, — пишет В. Щербина, — высказывалось мнение, что морская художественная литература якобы не может отражать большие общественные вопросы. Слишком своеобразной и замкнутой казалась жизнь моряков, слишком узким представлялся корабельный мир для того, чтобы в нём вместить многообразие и глубину вопросов, занимавших человечество. Поэтому произведения о море и моряках часто рассматривались как увлекательная, но обособленная область литературы, стоящая в стороне от столбовой дороги развития мирового искусства. <...> Но ещё Белинский, разбирая романы, посвящённые морской жизни, причислял некоторые из них к величайшим созданиям мирового искусства, так как их авторы "на тесном пространстве палубы умеют связать самую многосложную и в то же время самую простую драму, которой корни иногда скрываются в почве материка". Но это характерно для русской маринистики в отличие от западноевропейской, где главное внимание авторы уделяли занимательности сюжета, изображению экзотической жизни далёких стран. У русских писателей изображение жизни мореходов отличается вниманием к простому человеку, оно согрето любовью к нему».

Морская тема, как отмечает В. Щербина, имеет в русской литературе давнюю традицию. Ещё к петровским временам относится «История о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной Королеве Ираклии Флоренской земли». Великий Ломоносов вдохновенно писал о Колумбах российских. Начиная со второй половины XVIII века морские путешествия и приключения занимают значительное место в русской прозе.

Образцом романтической прозы стали повести А. Бестужева-Марлинского. Его «Фрегат "Надежда"» и «Лейтенант Белозор» пользовались необыкновенной популярностью у читателей. «К созданию морских повестей Марлинского, — пишет В. Щербина, — привлекла романтическая сторона морской жизни — бури, опасности, открытия новых земель и т. д.». Надо отметить, что интерес к морю у этого автора появился под влиянием рассказов его брата Николая Бестужева — декабриста, морского офицера, автора книги «Рассказы и повести старого моряка». Но сам Марлинский был плохо знаком с морским бытом, и это значительно снижало художественный уровень его книг. Повести Марлинского «с их выспренно-риторическим романтизмом» были далеки от реалистического воспроизведения жизни.

Гораздо ближе, по мнению В. Щербины, к правдивому воспроизведению морской действительности стоят автобиографическая повесть В. И. Даля «Мичман Поцелуев» и его очерки «Матросские досуги» (111 поучительных эпизодов из истории русского флота).

В дальнейшем именно реалистическое направление становится господствующим в русской морской литературе. Появляются «Корабль "Ретвизан"» Григоровича, «Фрегат "Паллада"» Гончарова, «Путевые очерки» Писемского. И наконец, через десять лет после выхода в свет «Фрегата...» Гончарова в русскую литературу пришёл настоящий моряк, который отдал свой талант служению русскому флоту, — К. М. Станюкович.

Алексей Силыч Новиков-Прибой всегда считал себя учеником и последователем Станюковича. В статье, посвящённой столетию со дня рождения замечательного русского писателя-мариниста (кстати, это была последняя работа Новикова-Прибоя, продиктованная им жене и напечатанная за три недели до его смерти), он пишет:

«Для меня в начале моей писательской деятельности "Морские рассказы" явились настоящим откровением. Я учился у Станюковича и его пониманию жизни моряка, и тому тёплому, любовному отношению к людям, которое так характерно для этого талантливого писателя. Помню, как любили матросы читать Станюковича и как трудно было раньше во флотских библиотеках достать его рассказы... У Станюковича не только я учился, но учатся и сейчас наши молодые писатели-маринисты. А для советских моряков, посвятивших свою жизнь службе в народном флоте, его "Морские рассказы" особенно полезны. Он учит их любить море, свой корабль, славные традиции русского флота, свою великую родину».

Влияние Станюковича на Новикова-Прибоя было, бесспорно, огромным. Но, по мнению В. Щербины, всё же решающим и определяющим в творчестве Новикова-Прибоя являлись «жизненный опыт и мировоззрение писателя, выражавшего интересы, настроения и стремления революционных низов народа». И сколько бы мы ни пересматривали свои взгляды под влиянием обстоятельств, слова эти остаются абсолютно верными и сейчас. Новиков-Прибой — дитя своего времени, во-первых, и выходец из народных низов, во-вторых.

Моряк-писатель Новиков-Прибой совершил множество морских и океанских рейсов, побывал во многих странах мира. И большинство его произведений проникнуты восторженной и трепетной любовью к морю. Но надо признать, что в «Морских рассказах» преобладает не безудержная морская романтика, а суровая жизненная правда. В них в полной мере

находят отражения все общественные противоречия жизни на суше. Это подтверждают прежде всего такие рассказы, как «По-тёмному», «Словесность», «Бойня».

Писатель-реалист, отображая правду жизни, вынужден рассказывать о разных людях: и о плохих, и о хороших. И чувства они у него и, соответственно, у читателя вызывают разные. Новиков-Прибой никогда не бывает бесстрастным, никогда не претендует на объективность. И нетрудно заметить, с какой теплотой и даже нежностью пишет он о тех, кто наделён добротой, человечностью, милосердием.

Боцман Груздев из рассказа «Подарок» (рассказ был впервые опубликован в третьем номере журнала «Северные записки» за 1914 год), внешне грубоватый и малообщительный человек, берёт на воспитание ребёнка, мать которого бессердечно бросил его сослуживец — мичман Петров.

Портрет боцмана написан живо, ярко — и с любовью. Мы видим его просветлённое лицо, сияющие серые глаза, когда он мечтательно говорит младенцу, попавшему на корабль в качестве «подарка»:

«— Подрастёшь, вместе в кругосветное плавание махнём... Эх, жавороночек ты мой, много разных чудес тебе покажу! Погуляем-то как! И морскому делу научу... А не хошь моряком быть — в науку отдам. Есть у меня четыре сотняжки. К тому времени ещё прикоплю... Так-то, брат, учёным будешь...»

Рассказ «Подарок» (который невольно сопоставляешь с рассказами Станюковича «Нянька» и «Максимка») оставляет в душе свет и тепло, дарит чувство уверенности в том, что добро неизменно побеждает зло, что нет предела человеческому милосердию и великодушию.

Это ощущение добра и света усиливают морские пейзажи, на фоне которых разворачивается действие. Вот начало рассказа:

«В косых лучах заходящего солнца ярко белеют каменные здания портового города, золотятся прибрежные пески и, уходя в бесконечную даль, горит тихая равнина моря. Чистое, точно старательно вымытое, небо ласкает синевой, и только к западу низко над землёй тянутся узкие полоски облаков. Горизонт будто раздвинут — так широко вокруг!»

Семеро матросов с крейсера «Молния» возвращаются с берега на корабль. Неожиданно перед ними возникает хрупкая фигурка взволнованной женщины. Расспросив их, знают ли они мичмана Петрова, и представившись его сестрой, барышня просит передать брату корзину, но предупреждает об осторожности: там деликатные вещи.

«Деликатные вещи» поначалу ведут себя тихо, и никто не подозревает, что в корзине — грудной ребёнок.

Матросы, бережно поставив корзину в корму шлюпки, «размещаются по банкам» и отталкиваются от пристани. Летний вечер по-прежнему спокоен и тих: «Солнце, спрятавшись за узкое сизое облачко, золотит края его, морская поверхность омрачается тенью, но через несколько минут оно снова показывается и ярко горит, щедро заливая всё сиянием».

В шлюпке ведутся разговоры о том, что же это за деликатные вещи передала мичману Петрову хорошенькая блондинка. Диалоги, как всегда, прописаны автором очень живо, с юмором.

Ребёнок подал голос, когда шлюпка ударилась бортом о трап. Весть о «подарке» сразу же облетела корабль. И на палубе мгновенно собрался весь экипаж, за исключением вахтенных и командира.

Абсолютно кинематографична следующая картина, нарисованная автором:

«На несколько секунд воцаряется напряжённая тишина. Сотни глаз молча устремляются на мичмана Петрова, который стоит тут же вместе с другими офицерами. Выхоленный, опрятный, в белом, как свежий снег, кителе, гордо держащий голову, с чёрными, завитыми в колечки усиками на беззаботно улыбающемся лице, он в одно мгновение становится таким бледным, точно из него сразу выпустили всю кровь. Потом на лице его появляется страшная гримаса. Пошатнувшись, он быстро, неровным шагом уходит к себе в каюту, бормоча, точно пьяный:

— Это подлость... Надо полиции заявить... Поймать эту сволочь... Я не виноват...

Ребёнок, поморщившись, чихнул раза два и, точно почувствовав всю горечь своего существования, залился вдруг звонким плачем.

— От родного сына отказался! — удивляются матросы и укоризненно качают головами, а другие весело смеются.

— Слава Богу — команды прибыло!»

Автор не забывает о том, что в этот момент происходит за бортом корабля:

«Багровея, всё ниже опускается огромное солнце, загораются узкие полосы облаков. Город, окрестности его с зелёными рощами, берега, необозримое море — всё тонет в пурпуре. Воздух не шелохнётся. Вокруг разлита торжественная тишина, нарушаемая лишь плачем ребёнка».

Всё решается довольно быстро. Бездетный боцман Груздев выпрашивает ребёнка себе и уже через некоторое время в своей маленькой каюте кормит его из бутылочки молоком, добытым у кока. Боцману дали три дня отпуска — и он отвезёт малыша жене: то-то радости будет!

Заканчивается счастливый, изменивший всю жизнь боцмана Груздева день: «Темнея, медленно угасает вечерняя заря. Небо украшено узорами сверкающих звёзд, точно там, в беспредельной выси, готовятся к какому-то торжеству. Море дышит бодрящей свежестью. В тёмной воде, дробясь, отражаются огни кораблей. Обозначая время, на крейсере начинают бить в колокол. Вдали слышатся ответные звуки, точно суда перекликаются между собою. Весёлый, переливающийся гул меди, огласив тишину ночи, тихо замирает в просторе моря».

Одним из важных качеств, особенно ценимых Новиковым-Прибоем в русском матросе, является чувство юмора (которым сам писатель, безусловно, был наделён в полной мере). У его героев всегда, в самой сложной ситуации, найдётся весёлое, острое словцо. Отмечая эту особенность прозы Новикова-Прибоя как один из признаков приверженности традициям русского фольклора, В. Щербина подчёркивает и тяготение писателя к форме сказа, объединяющего в себе особенности крестьянской и матросской речи.

В этом отношении особенно показательна манера повествования «Рассказа боцманмата».

«Да, братцы, вы, можно сказать, только начинаете службу. Много придётся вам казённых пайков проглотить. Ох много... А я последнюю кампанию плаваю. Через три месяца уж не позовут на вахту: буду дома... Довольно — почти семь лет отдал морю. Это вам не баран начихал. Да...»

Таков зачин рассказа. И сразу пошли матросские байки:

«Рассказывают, как солдат поспорил с матросом: кто образованнее. Начал солдат командовать — направо, налево, шаг вперёд, шаг назад и всякую другую пустяковину. Матрос выполнил это в лучшем виде. “Теперь, кашица, я тебе скомандую”, — говорит матрос. Стал армейский, вытянулся, точно кол проглотил, щёки надул. Матрос, недолго думая, залез на третий этаж и бросил на солдата мешок с песком. “Полундра! — крикнул солдату. Тому бы надо бежать, а он ни с места. Мешок ему по башке. Чуть жив остался».

Дальше — рассуждения: «...главное — у нас раздолья много. Правда, трудненько иногда бывает: дисциплина, вахту нужно стоять, докучают авралы, бури попугают и даже очень. Недаром говорится: тот горя не видал, кто на море не бывал. Зато где только не побываешь! И человек другим делается — храбрее и смекалистее. Море переродит хоть кого».

Всё больше увлекаясь, боцманмат (которого, как узнаёт читатель по ходу повествования, зовут Никанор Матвеевич) рассказывает молодым о дальних странствиях: «Ох, ребята,

хорошо в дальнее плавание ходить! Скитайся по синим морям, любуйся на разные диковинки, потешай свою душеньку... Побывал я везде: и в Европе, и в Америке, и в Африке, и в Индии. Сколько людей разных повидал. Немцы и англичане народ неразговорчивый. А вот французы, итальянцы — это да! Живости в них хоть отбавляй. Если языком не могут, то руками, ногами, головой начнут действовать, а обязательно разговорятся. Выпивают с нашими матросами вместе, песни поют, обмениваются фуражками, фланельками.

Как-то мы стояли в Неаполе. Город грязноватый и бедноты в нём много, но, по-моему, он лучше всех немецких городов. Весь солнцем залит. Кругом веселье: тут смех раздаётся, там музыка играет или песня зазвенит. Беззаботные, право, эти итальянцы, что птицы небесные. Любят порадоваться. А главное — простой народ, дружелюбный. Сбоку города вулкан-гора стоит. С версту, говорят, высоты. Днём дымится, а ночью над ним, как на пожарище, зарево стоит. Одно восхищение. Как увидел я этот вулкан, так и ахнул... Сейчас же к доктору:

— Объясните, мол, ваше высокобродье, отчего это дым из земли идёт?

Хороший он у нас был. Доказал он ясно мне, почему внутри земли огненная лава находится и как эта лава иногда наружу выпирает. Даже книжки дал, а из них я и сам всё доподлинно узнал об этом...»

Когда читаешь «Рассказ боцманмата», вспоминаются герои Лескова — смекалистые, пытливые, настойчивые и безудержные в своей тяге к знаниям и желанию разгадать все загадки бытия.

«Как-то узнал я, братцы, из книжки про микробов, — рассказывает боцманмат. — Это маленькие такие животные, может, в сотню раз меньше гниды. Увидать их можно только в микроскоп. Прибор так называется с увеличительным стеклом. И вот захотелось мне в этот самый микроскоп посмотреть собственными глазами. Жив, думаю, не буду, а добьюсь своего».

И добился-таки. Попал в гости к одному, как он посчитал, учёному — Василию Ивановичу, владельцу микроскопа.

«Вижу — человек добрый, обходительный. Я посмелел. Поговорили немного. Потом учёный поставил на стол машинку, микроскоп-то этот самый. А когда он всё приготовил, я посмотрел в него.

Ах, братцы мои, ну до чего это интересно! Маленькая капелька воды стала с яблоко величиною, а в ней штук пятьдесят микробов. Живые, копошатся. Да вы себе и вообразить-то не можете такую вещь. А Василий Иванович всё мне объясняет и другие сорта показывает. Он их сам разводит, микробов-

то. Прямо точно колдун какой-то. Есть в них заразные. Попадёт к тебе внутрь и сразу уложит в могилу.

Больше часу я любовался».

В своё время другой персонаж Новикова-Прибоя — Вася Дрозд из «Цусимы» — будет мечтать: «Останусь жив — в Петербург поеду. Хочется мне на электротехнические курсы поступить. Ночи не буду спать, а своего добьюсь...» Талантливому самоучке позже будет посвящён и роман «Капитан 1-го ранга». Это позволяет сделать вывод, что герой-самородок не случаен в произведениях Новикова-Прибоя. Недюжинные силы русского народа, его стремление к просвещению волновали писателя на протяжении всей его творческой жизни.

А что касается боцманмата Никанора Матвеевича, то его отличают и такие качества, как влюбчивость (историю своей безответной любви он рассказывает с лёгкой грустью и непередаваемым юмором), романтический склад характера. Душа бывалого морского волка податлива и сентиментальна, она не может не откликнуться на красоту Вселенной, не может не замирать от непостижимости её величия и тайны:

«Люблю я, братцы, тёмные тропические ночи. Бывало, лежишь на заднем мостике в чём мать родила и смотришь, как заря догорает. Тихо, тепло. Корабль идёт ровно, без качки. Команда спит. Всё темней становится. Море чёрное, как дёготь. За кормой вода бурлит и светится. Вверху звёзды горят, яркие, крупные. По середине неба Млечный Путь, точно река, усыпанная золотом. От движения корабля тёплый ветерок тебя обдувает, ласкает любовно, как мать ребёнка...

— Господи, как хорошо! — шепчешь, бывало, а по щекам слёзы катятся. От восторга, значит... И всё в эту пору мило: звёзды, земля, море, каждая рыбка, козявка, каждый листик, а больше всего — человек!»

Финал этого монолога явно передаёт увлечение автора ранними романтическими произведениями его учителя и наставника — Максима Горького.

Такие колоритные индивидуумы, как повествователь из «Рассказа боцманмата», были во все времена на каждом корабле, всегда являясь любимцами команды. Выдающийся русский флотоводец адмирал Макаров в серьёзной работе «Рассуждения о морской тактике» не обошёл своим вниманием это явление: «На редком из кораблей не найдётся сказочника, который в течение трёхлетнего дальнего плавания почти ежедневно рассказывает товарищам всё новые и новые сказки. Очевидно, в народе есть какая-то сила, сохраняющая сказания о битвах и богатырях, и никто не будет отрицать, что сказания эти так или иначе влияют на нравственную сторону человека».

Бодрость духа русского человека, его неистощимость на выдумки в самых трудных условиях показаны Новиковым-Прибоем и в рассказе «Одобренная крамола».

Рассказ «Одобренная крамола» был одним из первых произведений, написанных Алексеем Новиковым в эмиграции. Он был опубликован в одной из русских газет, выходивших в Париже, в номере, посвящённом первой годовщине со дня смерти Л. Н. Толстого, то есть в ноябре 1911 года.

Замысел рассказа можно отнести к 1902 году, когда матрос Новиков, пока ещё только робко мечтавший о приобщении к литературе, поделился в письме своему наставнику И. Е. Герасимову намерением написать рассказ «На баке военного корабля», в котором хотел «обрисовать жизнь матросов так, как она есть в действительности, то есть показать как хорошие, так и плохие её стороны, и, кроме того, хотел бы коснуться более важных вопросов, например религиозных и политических».

О том, что баталер Новиков был хорошо знаком с толстовским учением о непротивлении злу насилием, говорит эпизод разговора героя-повествователя с инженером Васильевым в «Цусиме»:

«...мне очень нравится Лев Толстой... Через него я впервые познал всю несправедливость нашей жизни... Но с выводами его учения трудно согласиться, особенно когда находишься на корабле в качестве нижнего чина. Предлагаемое им евангельское смирение, “непротивление злу” я очень много раз видел на практике. Стоит матрос. Подходит начальник и бьёт его по правой щеке. Матрос не сопротивляется... Перерождается ли от этого офицер? Становится ли он лучше, добрее?.. Совсем иные результаты были бы, если бы он получил от пострадавшего утроенную или удесятерённую сдачу».

В 1909 году в Лондоне Новиков-Прибой написал по просьбе Н. А. Рубакина большую статью «Что и как читали матросы?». В ней он рассказал, как матрос Затёртый (то есть он сам) читал на палубе корабля сборник «Миссионерское обозрение» со статьями, направленными против Л. Н. Толстого, причём выпады церковнослужителей против великого писателя опускались, а оглашались лишь цитаты из его сочинений.

Этот эпизод чтения «одобренной крамолы» и стал центральным в рассказе, главным героем которого является квартирмейстер первой статьи Дмитрий Брагин. В глазах начальства это «примерный унтер-офицер, хорошо знающий своё дело, исправный по службе и усердно посещающий церковь». Матросы же считают его «загадочным человеком». И не случайно: «Если кто-нибудь из матросов ругает начальство, он говорит:

— Ты, брат, тише!

— А что? — спрашивает тот.

— Всякая власть от Бога.

— А ты откуда знаешь?

— Так святые отцы говорят, — отвечает Брагин, но смотрит на матроса так насмешливо, точно подзадоривает его.

Иногда вытащит из сундука Библию, как бы стараясь цитатами из неё подтвердить свою мысль, но читает те места, где говорится как раз обратное.

— Нет, не то, — заявит вдруг он, кладя Библию обратно в сундук. — Забыл я, где это за власть-то говорится. После найду...»

В сундуке Брагина множество книг: «Тут “Сила материи” Бюхнера и “Четьи-Минеи”, Библия и сочинения Штрауса, требник и “О происхождении видов” Дарвина».

Хитрый Брагин не навязывает чтения матросам — ждёт, когда попросят. И этот момент наступает:

«Простояв на перекличке и пропев вечерние молитвы, матросы толкутся около Брагина, прося:

— Ну-ка, браток, уважь публику!

— Да уж будете довольны, — отвечает Брагин и достаёт из-под подушки книгу.

Он читает стоя, не торопясь. Голос его, немного вздрагивая, звучит всё громче и внятнее, брови нахмурены, а худощавое лицо серьёзно как у проповедника.

Матросы, собравшиеся почти со всей роты, слушают его с напряжённым вниманием, застыв на месте, чувствуя какую-то смутную тревогу. И не удивительно: в книге резко критикуется царское правительство, беспощадно вышучивается полицейская религия, а попы бичуются такими резкими сарказмами, что, кажется, от них летят только клочья. Раздаются слова новые, страшные, никогда ещё не слыханные, разрушая, как каменные глыбы, установившиеся взгляды на жизнь. Всё озарено пламенем глубокой мысли, слушатели охвачены трепетом и безумным страхом от впервые вспыхнувшей перед ними во всём своём ослепительном блеске правды».

Те слушатели, что поосторожнее, пытаются остановить Брагина: «Брось, слышишь! В остроге сгноят...» Другие нетерпеливо поощряют: «Продолжай читать! Читай дальше!»

Матросы слушают слово Льва Толстого, которое в этот раз приготовил им Брагин.

«По мере того как прочитываются новые страницы, любопытство их всё возрастает. Незримый дух гения, передаваясь через голос чтеца, покоряет слушателей. И всем кажется, что в их уродливую и сумрачную жизнь врывается золотой луч истины, освещая бездну людской лжи и порока.

— Ай да книга! — изредка восклицают из толпы.

— Ровно поленом вышибает дурь из головы!

— Другая книга как будто и складная, но такая мудрёная, точно её аптекарь сочинил, — восторгается чей-то бас. — А тут всё ясно, что и к чему».

К слушателям приближается фельдфебель по прозвищу Кривая Рожа. Он уловил, что звучит форменная смута, которую необходимо пресечь. Кривая Рожа уже бросается к Брагину, но тут появляется дежурный офицер. Он быстро «вникает» в суть. Взяв книгу в руки, он видит, что это сборник статей об отлучении Толстого от церкви и что сборник этот рекомендован властями для народных библиотек.

«Просветительская» деятельность Брагина одобрена, фельдфебель посрамлён. А то, что из книги читались только крамольные фрагменты из статей самого Толстого и пропускались гневные разоблачительные слова в его адрес, — об этом знает только Брагин и догадываются те из матросов, кто посмышлёнее.

Рассказ «Одобренная крамола» отличается яркими, живыми диалогами. Хорош он и по форме — отточенной, лаконичной. Интересно и неоднозначно прорисован характер Брагина: его лукавый прищур и наигранная наивность умного, смекалистого русского мужика, думается, вполне симпатичны и притягательны даже для современного читателя, которого отделяет от времени написания рассказа целое столетие.

НА АЛТАЕ

«Зимой 1918 года Москва была, как глухая деревня, покрыта снежными сугробами. По ней свежим сквозняком пронёсся вихрь Октябрьской революции, разметавший в клочья дряхлый старорусский строй. Люди Октября были заняты другим новым и великим делом — они очищали жизнь от грязи и смрада сгнившего на корню царского режима. А уборкой улиц от снега занялось уже весеннее тепло, ворвавшись в конце марта в красную столицу, оно повело атаки на сугробы. Вдоль тротуаров говорливо зажурчали стремительные ручьи. Казалось, что с вешними водами куда-то в далёкие моря уплыла навсегда старая жизнь. Но красная столица ещё не успела оправиться от Октябрьских боёв и ещё не было речи о её благоустройстве: виднелись руины разрушенных домов, следы от орудийных снарядов, винтовочных пуль, уличных окопов и баррикад. В городе не хватало продовольствия».

Так начинается очерк Новикова-Прибоя «За хлебом».

Весной 1918 года Алексей Силыч и Мария Людвиговна на санитарных поездах отбывают из Москвы в Барнаул. Но в этот раз не для перевозки раненых, а для доставки продовольствия: в Москве царит голод. Три поезда получают правительственное задание вывезти из столицы мануфактуру, обменять её в Сибири на хлеб и доставить его в распоряжение Московского продовольственного комитета. Начальником этой экспедиции был назначен Новиков-Прибой. В поездку с ним отправились писатель Иван Вольнов и сын Горького — Максим, которому в ту пору было немногим больше восемнадцати.

В одном из вагонов санитарного поезда № 204 разместилась вооружённая охрана из красногвардейцев под командованием бывшего штабс-капитана. Кроме этого, в число сопровождающих состав был включён уполномоченный по обмену мануфактуры на хлеб — «кооператор», как называл его Алексей Силыч.

Из очерка Новикова-Прибоя «За хлебом»:

«Мы мчались на север, как бы отступая от напиравшей весны, которую мы оставили в Москве. Наш путь был по Ярославской дороге, а затем мы должны будем свернуть на Вятку. Начинались глубокие снега. Но и здесь было заметно, как зима сдавала свои позиции наступающей весне.

Мы смотрели в окна вагонов. Полустанки, станции, деревни, леса, поля и изредка города в быстрой смене чередовались перед глазами. Чем дальше уносились мы от Москвы, тем больше было на остановках разных съестных продуктов. Когда перевалили за Урал, жители выносили к поезду белый хлеб, сливочное масло, колбасу, варёное мясо, жареных кур. Всё это было в изобилии.

— О, вот это я понимаю! Какая масса вкусных вещей! — восторгался, потирая руки, штабс-капитан.

— Да, здесь, видно, не так глубоко прошла революция, — вставил тихий и ласковый наш кооператор.

Изголодавшиеся санитары, охрана и медицинский персонал поезда с жадностью набрасывались на еду».

Если поезд задерживался где-то, то Новикову-Прибою приходилось объясняться с начальником станции. «Переговоры с ними были для меня мучительны», — вспоминает писатель, отличавшийся, по свидетельствам друзей, добродушием и мягкостью, которые удивительным образом сочетались в нём с целеустремлённостью и требовательностью по отношению к самому себе.

Из очерка «За хлебом»:

«Железнодорожная администрация мало считалась с санитарными поездами. Однажды я взял с собою Макса — получилось хорошо. С этого раза он постоянно сопровождал меня на станциях. Порой он не произносил ни единого слова, но своим присутствием он оказывал решающее влияние на исход моих дипломатических переговоров с администрацией. Чем, собственно, им импонировал? Крутоплечий, выше среднего роста, в жёлтой кожаной куртке, в такой же шляпе, необыкновенно широкополой, похожей издали на раскинутый зонтик, всегда с револьвером Кольта, пристёгнутым к поясному ремню, — он действительно имел внушительный вид. Перед нами сторонилась вся публика. Сам по себе добродушный, настроенный чрезвычайно мирно, Макс в этих своих доспехах действовал на всех устрашающе. Со стороны, вероятно, казалось, что этому человеку ни в чём нельзя возразить, если хочешь ещё пожить на свете. Когда я разговаривал с начальником станции, Макс, немного сутулясь и склонив голову, словно нарочно стараясь представить собой вопрошающую фигуру, только молча смотрел на него большими серыми глазами, смотрел свирепо и

пристально, как гипнотизёр. Я не знаю, за кого его принимали, но тот, от кого зависело двинуть наш поезд дальше, начинал, переминаясь, ёжиться под взглядом юноши, суетился и немедленно удовлетворял наше требование.

— Ну, Макс, ты выглядел страшнее поповского чёрта, — шутил я, возвращаясь на поезд.

На его цветущем лице появлялась ласковая улыбка».

Максим Пешков рано ушёл из жизни (он скончался в 1934 году), и очерк «За хлебом» был написан Новиковым-Прибоем в память о молодом друге. Сын Горького предстаёт в очерке максималистом и романтиком, по-мальчишески целеустремлённым и решительным и вместе с тем трогательно-наивным.

Благополучно прибывшим в Барнаул санитарным поездам пришлось здесь надолго задержаться. Не сразу приняли мануфактуру, хлеб грузили частями. Поезда были поставлены на запасные пути. «И мы все остались без дела», — пишет Новиков-Прибой. Но разве писатель может остаться без дела?

Не пишет — значит, наблюдает. Алексей Силыч наблюдал в Барнауле весну:

«Весна была в разгаре. Вскрылась Обь. Начавшийся при нас ледоход привлёк к реке много местных жителей.

Город раскинулся по высокому берегу, а противоположная сторона низменная, многоозёрная, с порослью кустарника, была залита водой на несколько вёрст. Беспрерывно мимо города двигались груды льдин; сталкиваясь, они кололись под напором воды, как сахар, звенели разбитым хрусталём. Попадая на водоворот, льдины иногда становились на дыбы, и тогда кромки их отсвечивали на солнце сизой, голубой и синей толщей зеркального льда. Мимо по реке плыли отпечатанные на льду унавоженные дороги, застигнутые разливом брёвна и дрова. Попадались оторванные от берега целые деревья, корни которых, выныривая из-подо льда, ворочались, как живые чудовища. Изредка на льдинах, как на плотах, несло лесную избушку или зазевавшегося зайца. На берегу среди зрителей это вызывало большое оживление. Неумолчно шумела ни с чем не сравнимая и неподражаемая музыка беспокойно бурлящих вешних вод. Люди вслушивались в неровное звучание ледяных струй и, как что-то родное, провожали глазами мутные потоки, позолоченные солнцем. Может быть, каждый посвоему думал о том, что эти стремительные, уходящие на север, в Арктику, льды и вода невозвратны, как прожитая жизнь. Звонкими голосами выражали свои восторги дети. Старушка, опираясь на клюку, прищуренным взглядом задумчиво смотрела на ледяное крошево. Не последнюю ли весну она встре-

чает? Навалившиеся друг на друга льдины как бы зычно заспорили между собой, протискиваясь вперёд, и с треском, похожим на взрыв, тяжёлой грудой облаков рухнули в порывистые мутные волны».

25 мая поезд № 204 наконец тронулся в обратный путь. До Новониколаевска добрались без особых приключений. Здесь на узловой станции скопилось много воинских и товарных составов, среди которых находились эшелоны с пленными чехословаками. Стало понятно, что на скорую отправку рассчитывать не приходится.

Начальник охраны поезда куда-то исчез. Потом, появившись, сообщил, что он останется на некоторое время в Новониколаевске по личному делу, обещая позже догнать вверенный ему состав. Алексей Силыч мало верил его торопливой, сбивчивой речи. Но что можно было поделать в этой ситуации? Положение усугублялось тем, что на охранников-красноармейцев, у которых редкий день обходился без выпивки, тоже нельзя было положиться. И только Макс по-прежнему продолжал поддерживать своего начальника и друга.

Уже два дня поезд был в пути, а начальник охраны так и не появился. Позже станет известно, что через три часа после отхода поезда № 204 власть в Новониколаевске захватили чехословаки. «Конечно, — пишет Новиков-Прибой, — это произошло не без помощи русских офицеров и контрреволюционных элементов города. Тогда стало понятным, почему штабс-капитан отстал от поезда. К нашему счастью, охрана запаслась мукой и печёным хлебом для спекуляции в Москве. Наверняка можно было рассчитывать, что из её состава ни один человек не сбежит с поезда».

В Вятке сообщили о новой опасности: крестьяне грабят продовольственные поезда. Губисполком прикомандировал к поезду № 204 взвод вооружённых красноармейцев.

Поезд приближался к станции Буй. По обе стороны железной дороги действительно скопилось около полусотни подвод. Охрана начала стрелять из винтовок в воздух, застрочил пулемёт — крестьяне, столпившиеся на платформе, опрометью бросились к своим телегам и погнали лошадей прочь от станции. Попрятались и станционные служащие. Дежурный по станции, дрожащий и растерянный, был найден за буфетом. Увидев Макса, он окончательно потерял дар речи.

— Наш поезд должен быть срочно в Москве! — свирепо рявкнул Макс.

Не прошло и десяти минут, как поезд № 204 покинул станцию. Через сутки состав с хлебом был в Москве.

Иная участь ждала санитарный поезд № 203, на котором на-

ходилась Мария Людвиговна Новикова с девятилетним сыном Толей. Состав должен был выйти из Барнаула в тот же день, что и санитарный поезд № 204. Но буквально через несколько часов после отхода двести четвёртого был взорван мост через Обь, и два поезда с хлебом не смогли тронуться в путь.

Из Москвы летели тревожные телеграммы, но адресата не находили: связь с Сибирью, где многие города оказались захвачены белыми, была прервана.

Мария Людвиговна, заботясь прежде всего о сыне, была вынуждена приспосабливаться к жизни в незнакомом городе. Вскоре ей удалось устроиться на работу в Алтайский союз композиторов.

Когда Новиков-Прибой получил наконец весточку от жены, он сразу же принял решение ехать в Барнаул. Однако сделать это в те смутные времена было не так просто: для поездки требовались основания и соответствующие документы. На помощь Алексею Силычу приходит нарком просвещения А. В. Луначарский, через которого удалось связаться с Союзом сибирских кооперативных союзов и получить от этой организации следующее удостоверение:

«Московская контора Союза сибирских кооперативных союзов “Закупсбыт” настоящим удостоверяет, что предъявитель сего писатель А. С. Новиков-Прибой с группой писателей и художников едет в Сибирь для художественно-культурной работы в пределах Сибири.

Ввиду этого покорнейше просим правительственные учреждения, должностных лиц и общественные организации оказывать ему в пути и на местах всяческое содействие в беспрепятственном осуществлении поставленных им задач».

В конце июня 1918 года Новиков-Прибой вместе с писателем П. Г. Низовым, художником Яковлевым и скульптором Надольским (именно Степан Романович Надольский станет впоследствии прототипом главного героя неоконченного новиковского романа «Два друга») прибыл в Барнаул.

Но ни о какой «художественно-культурной» работе не могло быть и речи, поскольку вскоре после их приезда город был занят белыми. В короткий период пребывания их у власти Новикову-Прибою пришлось служить у них писарем, о чём писатель позже сообщит в личной карточке члена Союза писателей. В графе «Служил ли в армиях и отрядах, боровшихся против Советской власти (в каких, когда, где и в качестве кого)» Новиков-Прибой отвечает: «В Барнауле был мобилизован Колчаком, служил около двух месяцев в Железнодорожном батальоне (1919 г.) в качестве писаря, а при наступлении Красной Армии на Барнаул весь этот батальон перешёл на сторону красных».

Разыскав в Барнауле жену с сыном, Новиков-Прибой поселяется с семьёй на Алтайской улице, в доме 8.

В Барнауле на Красноармейском проспекте (бывший Конюшенный переулок), 14, стоит памятник городского деревянного зодчества. Этот двухэтажный деревянный дом купеческой усадьбы был построен в начале XX века. Здесь в 1919—1920 годах бывал А. С. Новиков-Прибой для выполнения особого задания революционного комитета, когда город был занят белыми.

В 1919 году барнаульские литераторы и присоединившиеся к ним московские писатели всё-таки начали издавать журнал «литературы, науки и народного просвещения» — «Сибирский рассвет».

Круг авторов журнала был далеко не однородным, что являлось следствием сложившейся в это время на Алтае политической ситуации. Сотрудничество с журналом двух колчаковских офицеров — Ю. Ревердатто и А. Усова — спасало «Сибирский рассвет» от закрытия. А угроза этого была тем более велика, что на журнал оказывала определённое влияние группа большевиков-подпольщиков, один из которых — П. Васильев — выступал как автор под псевдонимом П. Овчинников (позднее он был расстрелян колчаковцами в Семипалатинске).

Единой и твёрдой политической линии в журнале не было, да в тех условиях не могло и быть. Публицистика отличалась крайней противоречивостью и разноголосицей, но в целом противостояла колчаковской прессе. С. Жидиловский в статье «Барабанная литература» (Сибирский рассвет. 1919. № 9) смело утверждал, что газеты и журналы наводняет «серое, бесталанное море всевозможных стихов и прозы», ничего общего не имеющих с гуманистическими традициями русской литературы: «...Какое-то сплошное помрачение рассудка, растление души, озверение».

Поэтический раздел «Сибирского рассвета», за немногими исключениями, был представлен камерной лирикой, лишённой каких бы то ни было гражданских мотивов. Во многих стихах ощущались душевный надлом, мертвящая апатия, паралич воли.

Однако, благодаря издаваемой прозе, журнал воспринимался читающей общественностью как прогрессивное издание. Именно проза стала основным вкладом журнала в борьбу «двух миров» в области культуры, которая не прекращалась на протяжении всей Гражданской войны. Многие произведения, опубликованные в «Сибирском рассвете», были написаны в лучших традициях русского критического реализма. Писатели журнала противопоставляли «барабанной литературе» вер-

ность принципам гуманизма, и в обстановке всеобщего «озверения» сама честность художников уже была подвигом.

Наиболее значительным прозаиком, печатавшимся в «Сибирском рассвете», был А. С. Новиков-Прибой. В первом же номере журнала появился его рассказ «Шалый». Написанный ещё в конце 1917 года, рассказ этот был целиком связан с воспоминаниями о прошлом.

В море попадают разные люди. И далеко не каждого оно может воспитать, отточив такие качества характера, как бесстрашие, благородство, чувство собственного достоинства. Но именно море быстро выявляет скудость души, тупость, трусость, жадность, приспособленчество, жестокость. И наделённые этими качествами персонажи вызывают жалость и презрение у читателей, желание противостоять подобным людям, не давать им побеждать даже в самых простых жизненных ситуациях.

Для матроса Шалого из одноимённого рассказа Новикова-Прибоя стремление отомстить обидевшему его боцману становится всепоглощающей страстью. Но море не прощает вражды и ненависти людей друг к другу, напротив, оно требует сплочённости и товарищества, ведь здесь в любой момент нужно быть готовым, как говорят на флоте, бороться за живучесть. Но Шалый именно во время шторма бросается на своего обидчика:

«Шалый, взвизгнув, с яростью зверя набросился на боцмана, схватил его поперёк, приподнял и бегом, точно с малым ребёнком, помчался почему-то к более отдалённому борту. Произошла отчаянная схватка: один, почувствовав весь ужас смерти, вырывался, колотился, словно в истерике, кусаясь, размахивая руками и ногами; другой, оскалив зубы, крепко держал его в объятиях, сдавливая как железными тисками, заглушая его предсмертный вопль злорадным сатанинским хохотом».

Это продолжалось несколько мгновений. Все, кто был на палубе, буквально оцепенели и только тогда опомнились, когда два сцепившихся тела рухнули за борт.

«На палубе поднялась суматоха, беготня, а там, за бортом в бушующих волнах, быстро отставая от корабля, то утопая, то выныривая, два человека, продолжая ещё некоторое время борьбу, скрылись навсегда в тёмных пучинах моря...»

В «Сибирском рассвете» был напечатан и рассказ «Две души», законченный в декабре 1918 года. Хотя события в рассказе относились ко времени Русско-японской войны, именно жестокая действительность Гражданской войны заставила писателя говорить о том, как под влиянием кризиса общественных отношений заглушается исконная доброта русского человека.

Место действия — японский лагерь, в котором содержатся три тысячи русских солдат.

Однообразное течение жизни нарушается страшным происшествием: толпа пленных зверски избивает солдата Куликова, которого обвинили в краже портсигара. Это делается по приговору «суда», который в срочном порядке создали сами пленные.

Картина самосуда — дикая, страшная, жестокая, непереносимая. Куликова отбивает у озверелой толпы японский переводчик. Вникнув в суть дела, он качает головой: «Эх, вы, русские, русские. Вот какая ваша славянская доброта!..»

Переводчик уходит. Куликова уносят японские солдаты. А русские пленные всё никак не могут успокоиться: возбуждённо делятся впечатлениями.

Всеобщее отрезвление наступает только тогда, когда Куликов через несколько часов умирает:

«Начинают все разом галдеть, возмущаясь убийством. А некоторые, жалея покойника, находят даже, что, может быть, он совсем не виноват, — портсигар у него не нашли, а признаться он мог с испугу или от того, что память отшибли. Отъявленной бранью ругают зачинщиков и всех главарей».

Чувство раскаяния охватывает тех, кто несколько часов назад был увлечён судилищем над, возможно, невиновным человеком:

«Кавалерист, высокий и худой, с сумрачным лицом, изгибаясь, крутя головой, выкрикивает надтреснутым голосом:

— Братцы! Мы православные христиане или аспиды? Я спрашиваю вас — кто мы? Пошто погубили христианскую душу? Человек остался жив от вражеских пуль, а мы, свои люди, взяли да и укокошили его... Да где совесть наша? Мы...

Задохнувшись, он болезненно кашляет, а в это время чей-то высокий тенор советует:

— Надо зачинщикам рёбра помять... Через них всё это вышло...

— Я не про то говорю, зверьё проклятое! — оправившись, снова шумит кавалерист. — Я предлагаю сбор устроить, чтоб похоронить покойника как следует, да памятник поставить, да его детишкам деньжонок послать, как полагается по-христиански...

Все, казалось, только и ждали такого предложения — с радостью хватаются за него».

Через два дня жители японского города, где царят «чистота, блеск, веселье», становятся свидетелями необычной для них похоронной процессии: «Это хоронят Куликова. За чёрным гробом, который попеременно несут четверо солдат,

стройно идёт, шагая в ногу, ритмично покачиваясь, бесконечная вереница пленных, — без священника, возглавляемая лишь большим хором. Здесь и палачи, и судьи, и все те, кто принимал участие в кровавой сцене. Расплываясь в утреннем воздухе, носятся над городом звуковые волны погребального пения, печальные и заунывные, грустью пронизывают сердце людей, напоминая им о смерти, о разлуке человеческой души с прекрасной землёй. У них обнажённые и поникшие головы, у всех на лицах неподдельная скорбь».

Сцена похорон контрастирует с окружающим миром, в котором много ярких красок, света и восторга: «Благоухая ароматами, ликует земля, оплодотворённая живоносным огнём неба, вся в роскошном наряде из зелени и цветов. Далёкие горы, поднимаясь в прозрачную высь, будто дрожат от радости в лиловом мареве. Ветерок, пошелестев листьями, летит дальше, играет уже с морем, весело рассыпаясь по его лазури серебряной рябью».

На похоронах присутствует и переводчик, который отбил Куликова от толпы. Он вдумчиво слушает проникновенное пение, зорко следит за тем, как засыпают могилу, как ставят на ней мраморный памятник, как красиво убирают её белыми лилиями и лотосами, «делая всё это серьёзно, с молитвенным благоговением, точно похоронен здесь близкий и дорогой всем родственник». Переводчику известно, что оставшиеся от похорон деньги решено послать родственникам Куликова. «Удивлённый, он обращается к своему соседу, пожилому унтеру, говоря:

— Непонятный вы народ, русские...

— А что? — спрашивает унтер.

— Совесть у вас какая-то двойственная.

— Известное дело... Какой же ей быть?

— То вы очень скверные, то очень добрые.

— Знамо так. Иначе — как же?»

Заканчивается рассказ словами: «Перекрестившись, надев на головы фуражки, пленные возвращаются в свои бараки уже более бодрой походкой, точно вместе с покойником свалили в яму тяжесть своего страшного греха».

Созданная в рассказе «Две души» картина самосуда — прямое продолжение темы очерка «Озверели». И не связанный на первый взгляд с событиями Гражданской войны рассказ «Две души» — результат тяжёлых размышлений автора над тем, как коверкает любая война человеческую душу, в которой всегда есть и светлое, и тёмное начало, и как страшно, когда побеждает зло, которое побеждать не должно.

В другом рассказе Новикова-Прибоя «На медведя» нет не-

посредственного отклика на современность, но тема смерти главного героя, растерзанного медведем, накладывает на повествование отпечаток трагедийности, столь характерной для того времени.

В «Сибирском рассвете» (1919. № 9) Новиков-Прибой опубликовал и свою повесть «Море зовёт».

Повесть «Море зовёт» — это лирическая история любви русского моряка Антона к англичанке Амелии, которая, не дождавшись любимого, выходит замуж за другого. Незамысловатый сюжет — не главное в этом произведении. Ведущая тема — море, его притягательность, его необъяснимая загадка, его власть над душами людей, вставших на путь служения прекрасной и грозной стихии — служения, которое в любую минуту может превратиться в непримиримую схватку не на жизнь, а на смерть.

«Чайки — любимые птицы моряков. Они постоянные наши спутники в морских скитаниях». Легенду о переселившихся в птиц душах погибших моряков Антон рассказывает Амелии, когда они покачиваются в ялике, любуясь спокойным морем. Ласковое, умиротворённо играющее солнечными бликами, оно не может обмануть героев. И бывалый матрос, и выросшая в портовом городе девушка знают, какие опасности таят в себе бескрайние морские просторы, чем может обернуться обманчивый штиль. О приближающейся буре и предупреждают мореплавателей тревожные крики чаек, летящих за кораблём.

Мечтательная Амелия не может остаться равнодушной, слушая печально-красивую легенду. «Ах, если бы я могла переродиться в чайку, — говорит она. — Я бы летала за тем кораблём, на котором плавает самый милый для меня моряк. Каждое утро, с восходом солнца, я каким-нибудь особенным криком посылала бы ему приветствие...» Это и есть объяснение в любви, не требующее никаких других слов.

Герои повести знакомятся в море, в море проходят их свидания, но и разлучает их именно оно.

Знакомство состоялось, как пишет автор, «при необычайной обстановке»:

«Помню: жаркий день и спокойное, дремлющее море, словно утомлённое зноем полуденного солнца. Я купаюсь, отплыв далеко от берега, ощущая прилив бодрости и свежих сил в мускулах. Ко мне, плывя навстречу, приближается пунцовая повязка на голове женщины. Видны узкие круглые плечи, точёная шея, слегка побледневшее от усталости лицо с изумрудными глазами. На фоне прозрачно-зелёной воды, в озарении буйного света, позолотившего её свежее тело, в сверкающих брызгах, падающих, как бриллианты, от взмахов её рук, жен-

щина мне кажется прекрасной морской феей, какой-то солнечной сказкой. Я чувствую, что мой покой нарушен надолго».

Море подарило герою повести любовь. Любовь, которая согревает и успокаивает тоскующую душу в далёком плавании. Любовь, которая светит путеводной звездой в любую непогоду и даёт силы перемочь все трудности.

Все моряки — романтики. И необходимая суровость, приобретённая в походах, сочетается в них с нежностью и даже сентиментальностью, которые они конечно же пытаются скрыть всё той же суровостью, но уже во много раз преувеличенной, чтобы, упаси бог, никто не догадался, как отзывчивы они на красоту и ласку.

Амелия не приходит в назначенный час на свидание, и расстроенный Антон нанимается на первый попавшийся корабль, чтобы как можно быстрее покинуть город, «отравивший его сердце».

Трёхмачтовый парусник «Нептун», набитый товаром, держит путь на Александрию.

Повествование, ведущееся от первого лица, рисует трудную, полную лишений жизнь на корабле: «При капризной погоде, при ветрах, постоянно меняющих своё направление, то затихающих, то доходящих до степени шторма, мы ни днём ни ночью не знаем покоя. Часто, сменяясь с вахты, не успеешь отдохнуть, как снова гонят наверх — крепить паруса, брать рифы, обрасоплять реи, менять галсы. Хуже всего достаётся в ненастные ночи, когда кругом царит такая тьма, что того и гляди свернёшь себе голову, когда, надрывно завывая, свирепствует холодный, пронизывающий ветер, а с чёрного, как сажа, неба беспощадно хлещет дождь, промачивая всё платье до последней нитки. В такие моменты кажется, что уже больше никогда не взойдёт солнце, не рассеет этой сырой, хлябающей тьмы, тяжело навалившейся на ревущую поверхность Атлантического океана».

Но вот изменилась погода, и измученные матросы, чьи уста извергали накануне самые злые и самые затейливые ругательства, проклинавшие эту «дьявольскую жизнь» и это «подлое судно», на котором им приходится плавать, «радостно встречают хорошее утро и невольно, быть может, в тысячный раз, засматриваются в ту сторону, где так красиво алеет заря, разливаясь по волнистой, ещё пенящейся шири океана рдеющими красками, где, сбрасывая с себя блестящие наряды, постепенно переходящие из ярко-малиновых в золотисто-шафранные цвета, торжественно поднимается огневое солнце».

Данное автором противопоставление позволяет ему в очередной раз показать главное качество настоящего моряка —

истово-сокровенную любовь к морю, любовь, которая никак не может быть благостной, ровной, прекраснодушной, потому что она вся — борьба и преодоление. Замечательны пылкие слова героя: «Будь я королём-самодержцем, я бы издал суровый закон: все, без различия пола, должны проплавать моряками года по два. И не было бы людей чахлых, слабых, с синенькими поджилками, надоедливых нытиков. Я не выношу дряблости человеческой души. Схватки с бурей в открытом море могут исправить кого угодно лучше всяких санаторий...»

За свой крутой нрав море платит тем, кто ему служит, не только красотой — оно дарит встречи с людьми, которых на суше не встретишь, — людьми особенными, чья просолённая судьба трудна, и прекрасна, и непостижима.

Джим Гаррисон, «старый, изломанный, с морщинистым лицом», отдавший морю без малого 50 лет, вызывает поначалу жалость. Ему не по силам работа матроса, но на берегу он оставаться не может: «Тянет в море, нет больше сил терпеть». Он рад тому, что его взяли в плавание, и изо всех сил старается показать, что он ещё способен на что-то. Однако ему это плохо удаётся, он «не только не может лазить по мачтам, но и внизу работает вяло, ходит медленно, сутулясь под тяжестью сурово прожитых лет». Между тем эти сурово прожитые годы Джим вспоминает с радостью и благодарностью. Отдыхая ночью на палубе, глядя в звёздное небо и перебирая всю свою жизнь, он рассказывает, например, Антону, что имеет по всему свету не одну, а много семей: «Был и я когда-то молод и силён. И везло же мне, чёрт возьми, насчёт женщин! Липли они ко мне, как ракушки к судну. Ну и рассеивал своё племя по земному шару. Если собрать вместе всех жён и детей — ого! Изрядная цифра получится...»

Если в повествовании Джима вдруг пробиваются грустные ноты («приходится кончать свой век одиноким»), он, устыдившись, тут же «разражается отъявленной руганью».

Описание гибели Джима, которую он выбрал сам, выбрал сознательно и бесповоротно, — безусловно, самые сильные страницы повести. Автор рассказывает о приготовлении к смерти старого матроса как о будничном, заурядном событии. И именно это оттеняет потрясающий до глубины души пафос его прощальных слов: «Я хорошо пожил, чёрт возьми! Если бы мне снова родиться и меня спросили бы, кем я хочу быть, я выбрал бы только долю моряка, не задумываясь нисколько».

Робкая попытка Антона остановить старика («Не подождать ли вам, Джим?») выглядит и ненужной, и неуместной. Храбрый моряк Шелло (оказавшийся братом Амелии), «злобно сверкнув глазами», дёргает его за блузу, а сам Джим упрямо

бросает: «Кажется, я достаточно взрослый человек, чтобы поступить так, как мне хочется».

В самый последний момент сдержанные друзья Джима Гаррисона становятся вдруг по-детски сентиментальными. «Прощай, Джим, прилетай к нам чайкой!» — восклицают они все вместе. И когда Джим бросается в воду с привязанным за спиной тяжёлым камнем, моряки, вероятно, не могут скрыть слёз. Только мы, читатели, этого не видим. Автор пишет: « — О, решительно! — замотав кудрявой головой, говорит Блекман и убегает вниз, а за ним удаляются и все остальные».

Конечно, о Джиме и его славной гибели на «Нептуне» вспоминают долго: «Это был моряк с дьявольским присутствием духа». Так, наверное, можно сказать обо всех мореплавателях. Ведь море не принимает слабых: оно или выбрасывает их на берег, или обтачивает характеры, как камни, добиваясь нужного ему совершенства, которое включает в себя и отвагу, и выносливость, и самоотверженность, и честность.

Море делает людей романтиками и философами. Таковы почти все герои Новикова-Прибоя. Чаще всего не получившие никакого образования, они всё время пытаются постичь и объяснить жизнь, уловить её закономерности. В ответ на слова скромного шведа о том, что каждый человек несёт свой крест, Шелло рассуждает: «А вдруг окажется, что не крест тащит человек на своих изнурённых плечах, а гнилое, никому не нужное бревно, и не к Голгофе приближается, а к помойной яме — что тогда делать?»

Море объединяет людей, уничтожая любую рознь: национальную, религиозную. Здесь все космополиты, граждане одной планеты, «мировые бродяги», которым дано больше чувствовать и понимать, поскольку они свободны от многих условностей, опутывающих людей на суше.

Кульминацией повести является описание шторма, в результате которого пострадал главный герой. Несколько сменяемых друг друга картин, подобно полотнам Айвазовского, дают яркое представление о жестокости и непредсказуемости коварной и грозной стихии: «...ползут отяжелевшие глыбы чёрных туч, затмевая лазурь неба», «...ветер дует порывами, крепчая и постоянно меняя своё направление; вздрагивает судно, качаясь на волнах; с гулом и рёвом приближается, кружась, пламенно-бурая мгла»; «Примчавшись с угрюмого севера, из холодной ночи, в бешенстве мечутся вихри, буйно гуляют по водному простору. Ревёт, шипя и ухая, возмущённое море... Содрогаясь, беспомощно качается наш “Нептун”, ложится на тот или иной борт, ныряет носом в образовавшиеся крутизны, вздымается, как испуганный конь, на дыбы перед

вскипающими буграми вод. Он плывёт, управляясь только одним рулём, отдавшись на волю урагана, жалкий, с разорванными парусами, трепыхающимися на нижней рее фок-мачты».

Многоцветна палитра, которую использует автор при описании шторма, — от кроваво-красного и пламенно-бурого до безнадёжно засасывающего чёрного. Высок эмоциональный накал, созданный напряжённым синтаксисом, обилием глаголов действия и ярких метафор: «С меркнущего неба, колыхаясь, опускаются грязные завесы: вспыхивая, дрожащими извивами сверкает молния; летят вверх, как раскинутые плащи, сорванные гребни волн; вся поверхность моря, насколько проникает глаз сквозь кровавую мглу, вздувается горами, точно с таинственного дна поднимаются вулканы и извергают лаву»; «Ветер кружится, толкает, рыдает и орёт на все голоса, играя с моим телом, снося вместе с парусом в сторону от мачты и потрясая над развёрстыми безднами рычащего моря. Хочется кричать, заглушая бурю, кричать на весь мир, чтобы подавить жуть перед близостью смерти».

Во время шторма Антон получает серьёзные травмы, и его отправляют на берег. Заново возвращаясь к жизни, он принимает решение никогда больше не выходить в море. Он начинает по-новому смотреть на окружающий мир, радуясь тому, что находится «на твёрдой земле, любуясь деревьями, цветами, домами — всем, что раньше привлекало меньше всего, поскольку в сердце безраздельно царило море».

Но проходит совсем немного времени — и Антон понимает, что суша начинает ему надоедать. Он чувствует себя одиноким, никому не нужным. Любовь, когда-то согревающая душу, — теперь в прошлом. И заменить её, оказывается, может только море: «В этот день, гуляя по берегу, я понял, что мне трудно жить на земле. Море зовёт меня, зовёт властно своим простором, своей свободной стихией, своими ароматами, криками чаек, торжественными гудками отходящих пароходов. И хотя я знаю, что там, за хрустальным горизонтом, за раскинувшейся ширью, за гранью голубого купола, опрокинувшегося над такою же голубою равниной вод, встречусь с такими же берегами, застроенными всевозможными зданиями, заселёнными заботливыми людьми, но всё равно меня неодолимо тянет туда».

Вышедшая замуж Амелия, как выясняется, по-прежнему любит Антона. Но это уже ничего не изменит в жизни главного героя повести. Её заключительные строки звучат столь же романтически-приподнято, как и всё произведение: «Вернувшись к берегу, я брожу по извилистой кайме ракушек, брожу без мыслей и дум, внимая лишь тихой музыке волн. Гаснут по-

следние звёзды, бледнеет, словно умирая, луна, а восток разгорается всё сильнее, отбрасывая лучи из пурпура и золота. Море, освобождаясь от покрова ночи, пламенеет; по зеркальной глади, сплетаясь в причудливые тона, разливаются цветистые краски; небо, голубея, поднимается выше; раздвигается, огнисто сверкая, горизонт. Ширится и моя душа, просветлённая и бодрая, словно орошённая золотым дождём, становится всеобъемлющей, сливаясь с вольным простором, пронизанным ярким светом показавшегося солнца.

Море... зовёт.

Быстро, словно боясь опоздать, я иду в матросский дом наниматься на корабль».

Вероятно, именно в повести «Море зовёт» А. М. Горькому не хватало той «суровой правды жизни», которую он отмечал в рассказах своего ученика, написанных на Капри. Вероятно, его раздражали и романтический колорит повествования, и сюжет, будто взятый из женского романа. Во всяком случае, Горький отрицательно отозвался о выпущенном в 1925 году очередном сборнике Новикова-Прибоя, куда вошла и повесть «Море зовёт». В одном из писем жене Горький писал: «Силыча, конечно, читать не следует, вредно».

В те времена классику советской литературы, основоположнику метода «социалистического реализма», никто из критиков возразить бы, пожалуй, не посмел. Возразила сама жизнь, возразила читательская любовь: именно повесть «Море зовёт», вместе с созданной позже «Женщиной в море», входила во все многократно переиздаваемые сборники Новикова-Прибоя.

В архиве Новикова-Прибоя в РГАЛИ хранятся пожелтевшие листки с машинописным текстом рассказа «Картинка с натуры» и автографом автора. Отмечено, что рассказ написан в Барнауле.

«Картинка с натуры» — очень «чеховская» вещь, что, пожалуй, нехарактерно ни для раннего, ни для позднего Новикова-Прибоя.

Начинается рассказ так: «Днём было мглисто и сыро, а вечером, когда сельский священник вместе со своей женой возвращался из гостей домой, прояснело небо и стало подмораживать». Ничто не предвещает беды. Но её, собственно, и не случится. Просто четверо подвыпивших солдат (очевидно, «красных») не откажут себе в удовольствии поглумиться над священником и его женой: совершат обряд «венчания» (трижды обведут попа с попадьёй вокруг саней под пение «Исаия,

ликуй!») и возьмут с них за это 30 рублей. И останется непонятным, на чьей стороне автор. Вроде и священник, берущий за совершение обрядов немалые деньги, ему, как атеисту, несимпатичен. Но и солдаты отнюдь не вызывают у него добрых чувств: пьяны, грубы. Однако если вчитаться повнимательнее, можно услышать нотки сочувствия именно к священнику («Священник, богатырь по телосложению и первый силач, в другое время мог бы раскидать этих солдат во все стороны, но теперь, вечернею порою, при виде вооружённых людей, он вздрагивает точно от холода, растерянно моргая большими, чёрными, как слива, глазами»).

Очевидно, задуманная как антирелигиозная зарисовка (на злобу, так сказать, дня), «Картинка с натуры» вызывает сочувствие к пострадавшим, и её комическое начало оборачивается той же чеховской грустью: «Смеркается. На небе выступают звёзды. Впереди, близко уже, — родное село».

Вынужденное пребывание в Сибири (кроме Барнаула писатель некоторое время жил также в Бийске) оказалось для Новикова-Прибоя очень плодотворным. За два года было написано и опубликовано немало рассказов, в том числе самый популярный и издаваемый в дальнейшем — «Судьба», повесть «Море зовёт». Именно пребывание на Алтае дало материалы для написания ярких и сильных рассказов «За городом» и «Зуб за зуб» о гражданской войне в Сибири. Издательством «Сибирский рассвет» был выпущен сборник «Две души», в который вошли рассказы: «Порченый, «Лишний», «В запас», «Шалый», «Певцы», «Две души», «На медведя» (первый «охотничий» рассказ Новикова-Прибоя; вторым станет «Среди топи», написанный в 1925 году).

«КУЗНИЦА»

Оторванный от литературной жизни Москвы, Новиков-Прибой узнавал о ней из газет и писем. Конечно, ему хотелось как можно быстрее вернуться в столицу, но сделать это удалось только после того, как летом 1920 года Новиковыми была получена телеграмма из Москвы с вызовом Марии Людвиговны на работу в Комиссариат иностранных дел, где в то время служила её сестра Анжель Людвиговна. В Москве ждал дочь и Людвиг Фёдорович Нагель, который 1 января 1918 года, прожив более тридцати лет на чужбине, возвратился из эмиграции. Он стал личным секретарём наркома иностранных дел Чичерина, а позже, переехав в Ленинград, перешёл в Комитет по делам изобретений, где проработал до конца своей жизни (1933).

Людвиг Фёдорович приехал в Москву с двумя дочерьми, кроме младшей Анжель, он привёз и среднюю дочь — душевнобольную Софию. Мария Людвиговна, вернувшись из Барнаула, забрала её к себе и никогда уже от себя не отпускала. София, не говорившая по-русски, практически не выходила из дома. Она прожила в семье Новиковых до самой своей смерти (1952).

Алексей Силыч со всеми своими домочадцами снова поселился у писателя Топорова.

Осваивая потихоньку московскую писательскую жизнь, Новиков прибился к литературной группе «Кузница» и вскоре получил комнату в её общежитии.

Что это была за организация — «Кузница»?

Сразу же после Февральской революции, опьянённые воздухом свободы, писатели «из низов» с энтузиазмом объединились в организацию Пролеткульт, и в октябре 1917 года состоялась её первая конференция. Спустя всего три года, несмотря на Гражданскую войну, Пролеткульт издавал около двадцати журналов, открыл по всей России студии и кружки, объединившие почти 400 тысяч человек, стремившихся к новой

культуре. Лидеры Пролеткульта выступали за классовость искусства, отстаивая свои убеждения жёстко и непримиримо, то есть — никаких буржуйских происков!

В начале 1920 года несколько поэтов и критиков Пролеткульта вышли из этой организации и создали секцию пролетарских писателей при литературном отделе Народного комиссариата просвещения, назвав свою группу «Кузница». Это решение поддержал Луначарский, который заботился о сохранении культуры в целом, а не только той, что гордо именовала себя пролетарской.

Основателями «Кузницы» стали давно забытые, но довольно популярные в те времена поэты: В. Кириллов, М. Герасимов, В. Александровский, С. Обрадович, Н. Полетаев, Г. Санников, В. Казин, С. Родов, ставший позднее ответственным секретарём Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей (1924—1926), редактором журнала «На посту» (1923—1925).

В марте 1920 года новое объединение стало выпускать при содействии А. В. Луначарского литературно-художественный журнал «Кузница». Вышло девять номеров, на страницах которых печаталась острая полемика с Пролеткультом и проводилась кампания за организацию Всероссийского союза пролетарских писателей.

Вскоре после поэтов в «Кузницу» вступили прозаики: А. Серафимович, Ф. Гладков, А. Новиков-Прибой, А. Неверов.

Все вступавшие в «Кузницу» проходили через испытания кандидатским стажем и только потом становились полноправными членами объединения. Иногородние писатели и поэты жили в 1920-е в семейном общежитии «Кузницы».

Летом 1923 года Александр Неверов читал писателям Новикову-Прибою и Гладкову свою новую повесть «Ташкент — город хлебный» — она им очень понравилась, прочили большой успех. А потом было заседание «Кузницы», на котором повесть Неверова разгромили, посчитали деревенскую жизнь и главного героя Мишку Додонова недостойными внимания пролетарского прозаика. Это один из примеров того, что «Кузница», хотя и пыталась отмежеваться от Пролеткульта, во главу угла в искусстве всё равно ставила классовость.

Дискуссии в литературном мире становились с каждым днём острее и непримиримее. Особенно беспощадно критиковал тех, кто старался остаться в стороне от классовой борьбы, и изощрялся в навешивании ярлыков журнал «На посту». В мае 1924 года отдел печати ЦК РКП(б) провёл у себя расширенное совещание с участием писателей, журналистов и критиков с обсуждением вопросов руководства литературным

движением, организации пролетарской литературы и отношения к писателям-«попутчикам».

Определение «попутчик» ввёл в 1923 году Лев Троцкий в одной из своих статей цикла «Литература и революция»: «Попутчиком мы называем в литературе, как и в политике, того, кто, ковыляя и шатаясь, идёт до известного пункта по тому же пути, по которому мы идём с вами гораздо дальше». «Попутчиками» считали А. Толстого, Б. Лавренёва, Л. Леонова, В. Шишкова и других писателей, не входивших в «правильные» содружества литераторов или, хуже того, объединившихся в группы: «Серапионовы братья», ЛЕФ, «Имажинисты», «Перевал», «Литературный центр конструктивистов».

Критики в журнале «На посту» относились к «попутчикам» враждебно, считая их бесполезными для воплощения идей революции. Этот агрессивно-радикальный журнал считался защитником пролетарской литературы и рупором партии. Издавался он до 1926 года под редакцией С. Родова, одного из организаторов «Кузницы», Л. Лелевича и Б. Волина. С 1926 года журнал стал называться «На литературном посту», но изменение названия не сказалось на его сути: он сохранил непримиримую направленность к инакомыслию, непролетарским писателям, классическому наследству. В «мелкобуржуазности» «напостовцы» периодически обвиняли и членов «Кузницы».

Ещё одними путами для любого художника в те времена были сначала ВАПП (Всероссийская ассоциация пролетарских писателей), потом МАПП (Московская АПП), потом РАПП (Российская, соответственно, ассоциация ПП), а ещё было ВОАПП (Всероссийское объединение ассоциаций...). В общем, не соскучишься. И им скучать было некогда: надо было бороться с «чуждыми элементами»...

Общежитие литературного объединения «Кузница» находилось на Арбате, в доме 33 по Староконюшенному переулку и занимало третий этаж старинного особняка, где было 12 комнат с высокими лепными потолками и громадными окнами.

Подробные и интересные воспоминания о жизни в общежитии «Кузницы» оставил сын Александра Неверова — Борис Неверов-Скобелев. Он пишет: «Комната, в которой располагалась семья Алексея Силыча Новикова-Прибоя, находилась в левой стороне квартиры, за комнатой Н. Н. Ляшко, и соединялась только с чёрным ходом, выходившим во двор дома. По этой причине и взрослые, и дети пробирались к ним из нашей части квартиры через проходную комнату Николая Николаевича, и он никогда против этого не возражал».

Жизнь в общежитии была дружной. Питались семьи лите-

раторов в основном за счёт пайков, которые умудрялись получать в ЦЕКУБУ (так сокращённо называлась Центральная комиссия улучшения быта учёных). Времена были трудные, писатели — начинающие, поэтому жили скромно. Но как только кто-то получал гонорар, то обязательно устраивались вечеринки.

Непременно отмечали новые революционные праздники — 1 Мая и 7 Ноября.

Алексей Силыч любил подшучивать над Борисом, называя его «Борис Ходи-Ноги-Вниз», а про Павла Низового говорил: «Павел Низовой Ходи-Вверх-Головой».

«Такими словами, — пишет Б. Неверов-Скобелев, — Алексей Силыч встречал меня всегда, когда я приходил к ним и заставал у них Павла Георгиевича, который каждый раз при этом ворчливо возмущался:

— Опять ты, Силыч, глупости говоришь... И совсем не остроумно, как ты это думаешь...

— Какие же это глупости?.. — смеясь глазами, возражал Алексей Силыч. — А разве ты не вверх головой ходишь?.. — и продолжал шутливо Павлу Георгиевичу: — Шуток ты не понимаешь... Как будто ты не знаешь, что дорог ты мне как друг мой закадычный, а Борька Неверов — мой молодой друг... Над кем же ещё мне посмеяться, как не над вами?..

И опять, смеясь только глазами, Алексей Силыч добавлял:

— Определённо тебе жениться надо, и поскорее, а то живёшь, как красная девица, и потому, наверное, шуток не понимаешь...

После этих слов Павел Георгиевич сердился уже по-настоящему, но ненадолго. Он был удивительно добрым, скромным и мягким человеком».

По вечерам все обитатели общежития — и большие, и малые — собирались вместе для читки и обсуждения очередного произведения кого-нибудь из «кузнецов». Обсуждение конкретного произведения практически всегда перетекало в громкие споры о литературе.

Излюбленной темой всех дискуссий был язык. Многие были уверены в том, что в новое время нельзя писать по-старому, например, «по-толстовски». В своих воспоминаниях об этих спорах жена Новикова-Прибоя Мария Людвиговна пишет: «Модернизм вскружил голову многим тогдашним писателям и поэтам. Образцом того, как надо писать, был рассказ одного писателя, начинавшийся так: "Вечер вышел на улицу, сел на завалинку и задымил трубкой".

Алексей Силыч Новиков-Прибой не поддавался модным течениям. Он оставался самим собою, настойчиво проклады-

вая свой литературный путь. Помнится, как-то раз на собрании “Кузницы”, на разборе повести “Подводники”, Алексей Силыч вызвал у многих сожаление своим “старомодным стилем”. Некоторые, подсмеиваясь, советовали:

— Силыч! Нельзя же теперь так писать. Тебя лет через пять читать никто не будет. Надо пообразнее...

Но Алексей Силыч стоял на своём, продолжая писать просто, ясно, делая упор на содержание, увлекательность повествования».

В гости к Новиковым по вечерам часто заходил Степан Гаврилович Скиталец, личность оригинальная и колоритная. Высокого роста, худой и сумрачный, он производил впечатление сухого и замкнутого человека, а между тем был прекрасным актёром и замечательным певцом. Когда он брал в руки гусли и запевал какую-нибудь из любимых волжских песен, все присутствующие слушали его, как заворожённые.

Нежная дружба связывала семью Алексея Силыча с Егором Ефимовичем Нечаевым. Жилось Нечаеву несладко, семья была большая, в его талант не верила и не приветствовала его занятия поэзией. Тихий и очень добрый, он обычно уходил из дома поработать к кому-нибудь из друзей. Часто бывал у Новиковых. Осторожно, чтобы никому не помешать, входил в комнату, тихо здоровался и просил разрешения посидеть со своими бумагами. Он садился у окна, раскладывал на широком подоконнике свои тетради и углублялся в работу.

Но роднее и ближе всех как для самого Алексея Силыча, так и для его семьи, был Александр Сергеевич Неверов — простой, весёлый, сердечный человек. Он был по-настоящему предан литературе: занимался с начинающими писателями и поэтами, много писал сам. У него была любопытная особенность — одновременно работать над двумя-тремя произведениями.

Очень интересную характеристику дал писателям «Кузницы» один из самых заметных и авторитетных критиков того времени А. Воронский:

«Это — пролетарские писатели, так сказать, первого призыва. На их творчестве ярко сказалось и то, что они являются подлинными выходцами из пролетарской среды, и вся серьёзность и тяжесть предреволюционной обстановки.

У этих писателей есть скромность и серьёзность тона. Они не афишируют себя, не показывают на каждом шагу мандатов, не повторяют на каждом шагу: коммунизм, социальная революция, ленинизм, рабочие и т. д., не увлекаются плакатом и лозунгом, но в их вещах навсегда запечатлелось их действительное рабочее происхождение. От них по-настоящему пахнет заводом, фабрикой, кораблём, труд для них привычен и

обычен. Им не надобно прикомандировываться к ткацкому станку, доменной печи и искать здесь "отрадных явлений". Всё это — ихнее, своё, родное. Каждый из них по-своему рассказывает об этом родном».

Таков, по мнению А. Воронского, и Новиков-Прибой. «Не всё на одинаковом уровне в творчестве Новикова-Прибоя, — пишет Воронский. — Он лучше изображает море, штормы, труд и злоключения на море, он слабее в береговых темах, рассказах о любви, о женщинах и т. д. Думается, что писателю следует избегать таких выражений: "мне призывно улыбаются сочные губы", "жар поцелуев", "долго бушевал шквал душевного надрыва", "слова загорелись яркими цветами", "безумная оргия" и т. д. Это высокопарно, истёрто и не нужно такому простому писателю, как Новиков-Прибой».

В июле 1921 года комиссар по народному образованию А. В. Луначарский послал бригаду писателей в Дальневосточную республику, в Читу, для организации издательского дела. Поехали прозаики Новиков-Прибой, Сивачёв, Гусев-Оренбургский и поэт Скиталец. И очень скоро на Дальнем Востоке начали печатать произведения этих и других московских авторов. Новиков-Прибой, никогда не упускающий случая познакомиться с новыми городами, новыми людьми, отправился в Благовещенск, где за короткое время был написан рассказ «Под южным небом».

«Под южным небом» — это короткая история любви русского матроса Петрована Силкина к знойной итальянке Терезе. История, рассказанная с необыкновенным юмором и вместе с тем полная сочувствия к наивному влюблённому, у которого «душа с якоря сорвалась». И, действительно, «сорвалась», ведь чтобы увидеть свою «сеньору», с которой свела его пьянящая южная ночь, он, лишённый за опоздание на корабль берега на целый месяц, отсидевший сутки в карцере, сбегает в «самоволку», пустившись вплавь к женщине, чей образ неотступно стоит перед его глазами. И с каждой минутой, проведённой без неё, видится она Петровану всё краше и желаннее.

Сочинённый для караульного рассказ о богатой вдове самому Силкину уже кажется правдой. И он готов зажить новой беззаботной жизнью в прекрасной и весёлой стране Италии с милой Терезой. Правда, перед тем, как прыгнуть за борт, на мгновение в его памяти всплывают «родная деревня, заброшенная среди суровой природы, покривившаяся изба, близкие лица родных». Но, отринув прошлое, Петрован Силкин устремляется вперёд, к светлому будущему, полному любви и счастья.

Берег оказался гораздо дальше, чем представлялось Петровану тогда, когда он добирался до него на шлюпке.

Верный себе, автор рассказа не упускает случая нарисовать неповторимую картину моря:

«Проходит час, другой, а Петрован всё плывёт к заветному берегу, плывёт, не останавливаясь, не обращая внимания на усталость. Тихо. Море не шелохнётся, влюблённое в звёздное небо. При каждом взмахе рук вода, густая, как ликёр, легко удерживая рулевого, переливается и ласково звенит. Тёмная вдали, она горит вокруг него, рассыпаясь миллионами искромётных ночесветок, а круги, расплываясь, вспыхивают зарницами, узорятся лучезарными очертаниями, вздрагивают огневыми струйками. Он опрокидывается на спину и, отдыхая, лежит несколько минут без движения. Весь тёмно-бархатный купол, от горизонта до зенита, будто обрызган разноцветными кристаллами. Звёзды, красиво излучаясь, опускаются ниже, и дрожат их золотые ресницы, как у милой Терезы. И почему-то кажется, что сейчас польются сверху струнные звуки и заполнят весь простор моря неслыханной мелодией. Грезится о том, что всё прошлое безвозвратно ушло, начинается новая жизнь, необыкновенно чудесная, как сама Италия».

Изнемогшего Петрована, с трудом очнувшегося утром на берегу, мало заботит мысль о том, что он мог бы не доплыть. Воодушевлённого предстоящей встречей матроса радует всё вокруг: «Под лёгкими налётами ветра, морщась, светло играет море, кружатся, резвясь, чайки, а вдали, надувшись, золотятся паруса уходящих лодок».

Крушение всех надежд в виде вернувшегося из плавания мужа своей возлюбленной Петрован Силкин переносит стойко. На то он и русский матрос!

Новикова-Прибоя чрезвычайно интересовала жизнь нового рабоче-крестьянского флота. Особенно хотелось ему написать о подводниках, тема эта была увлекательная, новая, неизведанная. В конце 1921 года Алексей Силыч получает командировку для изучения жизни и быта подводников на Балтийском флоте и направляется в Кронштадт на крейсер «Адмирал Макаров» с аттестатом военного моряка. Здесь состоялось первое знакомство с жизнью советских моряков крейсера, а попутно — с плавбазой подводных лодок.

Вице-адмирал Щедрин вспоминает:

«Базировались мы тогда на одной из плавбаз. В дивизион входила и одна лодка старого типа, знаменитая “Пантера”, первой открывшая боевой счёт советского подводного флота, потопив в Финском заливе корабль интервентов. Там я узнал,

что экипаж "Пантеры", особенно её командир Александр Николаевич Бахтин, офицер Фёдор Викентьевич Сакун и старшина команды электриков Сергей Николаевич Дукин, оказал писателю большую помощь, когда он собирал материал для повести о подводниках».

Ф. В. Сакун рассказал писателю случай с «Агешкой» — подводной лодкой «АГ-15», происшедший в 1917 году. Перед погружением в Аландских шхерах один матрос грубо нарушил дисциплину. Самовольно, ни у кого не спрашивая разрешения, после изготовления отсека к погружению, он открыл верхнюю крышку кормового люка, чтобы выпустить чад от плиты. А командир, находясь на мостике, не зная этого, отдал приказание о начале погружения. Лодка ушла на глубину буквально у него из-под ног с открытыми двумя люками.

Подводники в кормовом отсеке моментально погибли — их затопило. А матросы, оставшиеся в центральном посту во главе с помощником командира лейтенантом К. Л. Мациевичем, героическими усилиями закрыли крышку рубочного люка и задраили кормовую переборку. Когда лодка упала на грунт, все перешли в носовой отсек и сообщили о себе, как изображается в повести, запиской в выстреленной торпеде. Только четверо смогли позже выбраться на поверхность из «братской могилы» через носовой люк.

Эпизод этот и стал основой «Подводников». Заглавие повести подсказал писателю Ф. В. Сакун, он же дал материал о большевике-подпольщике Михаиле Дьякове, который плавал с ним на подлодке «Единорог» и послужил прототипом Зобова с новиковской «Мурены». Сам Сакун выведен в повести под фамилией Власов. В Центральном военно-морском музее хранится экземпляр книги «Море зовёт» с автографом автора. Он подарил её командиру «Пантеры» А. Н. Бахтину.

В результате общения с балтийскими подводниками сначала был написан рассказ «В царстве Нептуна». Переработав его, Новиков-Прибой написал повесть «Подводники». По единодушному признанию критиков, это одно из наиболее заметных и значительных произведений послеоктябрьского периода творчества А. С. Новикова-Прибоя.

Автор воссоздаёт картину боевых будней экипажа подводной лодки «Мурена», действующей против немцев в годы Первой мировой войны.

Люди, отрезанные от мира... Что чувствуют они там, глубоко под водой? Это больше всего занимает писателя. Но особенности мироощущения крестьян и рабочих, одетых в матросские форменки, диктуются прежде всего тем, что происходит на суше. Под водой не скроешься от земных проблем...

На повесть «Подводники», напечатанную в номере первом альманаха «Вехи Октября» в 1923 году, сразу же откликнулся А. Воронский, который отметил, что повесть читается с повышенным интересом. «Тема сама по себе выигрышная, экзотическая, — пишет он. — Приключения, рассказанные автором, куда драматичней иных, описанных Жюль Верном и Майн Ридом. И всё это — истинная правда, без тени фантастики, таинственности, уголовщины и разных надуманных трюков. Повесть усиленно можно также рекомендовать нашему юному поколению: помимо всего прочего она очень сюжетна».

По мнению Воронского, сюжет повести более чем авантюрен: «плавание на подводной лодке с боевыми заданиями во время войны 1916 года к турецким берегам. В заключение лодка "Мурена" садится безнадёжно на дно. Оставшиеся в живых спасаются через люк с помощью сжатого воздуха: вещь совершенно фантастическая».

Таких необычайностей, пишет А. Воронский, в рассказах и повестях Новикова-Прибоя сколько угодно. Но читатель им верит от начала до конца. «Они не возбуждают сомнения, всё кажется естественным и правдоподобным. Происходит это от одной основной черты в писательской манере Новикова-Прибоя: он описывает и изображает только то, что видел и слышал. Конечно, у него есть и вымысел, и художественная обработка материала, и композиция, но прежде всего он прочно стоит на почве реально воспринимаемого им мира. Он — серьёзен, положителен, он хорошо знает, о чём пишет. Он — не турист, не собиратель интересных фактов, его записная книжка — его жизнь. Кровавыми и прочными рубцами запечатлены её записи. Он не переспрашивает, не проверяет, не роется в энциклопедических словарях. Занятие, полезное для художника, но Новикову-Прибою не нужное в его рассказах, ибо он пишет только о том, что пережил, что приобретено в скитаниях, в опасностях, в бою.

"— Я стою у правого минного аппарата. Одной рукой держусь за ручку боевого клапана, а нога поставлена на рычаг стопора... Около нас, у рупора переговорной трубы, в качестве передатчика и наблюдателя, стоит минный офицер... Я рванул за ручку боевого клапана и в то же время нажал ногой на рычаг стопора. Точно жирная туша, шмыгнула из аппарата отполированная мина, потрясла весь корпус лодки" ("Подводники").

Да, это было так, автор сам стоял у минного аппарата. Управлял стопором и пускал мину. Правдиво от первой до по-

следней строки. Нет, он не перепутает, не назовёт одно другим, не затемнит, не обойдёт осторожно молчанием чего не знает. Его мир твёрдый, знаемый, изученный, солидный. <...> Он выбирает объектом для своих рассказов и повестей виденное и слышанное. Здесь он находит себя и оформляется как писатель. Это его удел, его угол преломления. Оттого необычайные рассказы не воспринимаются как искусственное нагромождение ужасов, как нарочитый подбор исключительных случаев и фактов. Они убеждают».

Конечно, критик, как положено, и поругивает автора (за высокопарные и истёртые фразы, стремление идти по линии наименьшего сопротивления в использовании некоторых литературных приёмов), но дальше пишет: «По-настоящему у Новикова-Прибоя получается другое. Подводная лодка "Мурена" миной потопила немецкий транспорт со скотом. Корабль, объятый пожаром, идёт ко дну; часть скота бросается в воду, через борт: "За нами увязываются быки... Один из них, самый большой, чёрный, белоголовый, впереди всех. У него вырваны рога, а может быть, отшиблены снарядом. Он поднимает окровавленную морду и мычит в смертельной тоске... 'Мурена' увеличивает ход. Быки начинают отставать. Только один белоголовый, самый сильный, всё ещё держится недалеко от нас... Его трубный рёв начинается низкой октавой и кончается высокой, немного завывающей нотой. Матросы смотрят назад, за корму, молча"...

Это — настоящее. Без сильных и лишних слов, а сильно, ибо дана подлинная художественная картина...»

Вывод, к которому приходит Воронский, звучит основательно и весомо. «Прочный, домовитый, серьёзный, крепко сколоченный писатель», — говорит он о Новикове-Прибое, и это действительно очень вяжется как с творческой манерой писателя, так и с его внешним обликом. Он яркий представитель русской прозы 1920-х годов, которая являла собой субстанцию многомерную, многослойную, будучи продуктом «разворочённого бурей быта». А. Н. Толстой писал в 1922 году: «Ураган времени — революция, корабль бытия пляшет на волнах, летит в грозовой мрак. Трещат и падают устои, рвутся в клочья паруса сознания».

В русскую литературу с её классическими основами приходят в качестве новых авторов представители народа — со своей психологией, своим взглядом на жизнь, своим языком. И процесс этот — отнюдь не социальный заказ, а естественное и органичное явление текущего бытия со всеми его катаклизмами. В статье «Из размышлений о русской революции» С. Л. Франк, известный философ, высланный из России в 1922 году, писал:

«Проникновение “мужика” — сначала в лице его авангарда, а потом во всё более широких массах — во все области русской общественной, государственной, культурной жизни, бытовая “демократизация” России в этом смысле есть, быть может, самый значительный и совершенно роковой стихийный процесс». Этот одновременно роковой (что будет особенно заметно позднее) и значительный процесс позволил гораздо большему числу «мужиков», самоучек, влиться в ряды пишущих, чем это было возможно в дореволюционной России. И как бы ни «поднимал брови» многоуважаемый Бунин, литература того времени прирастала всё новыми и новыми кадрами из народа.

Когда ещё Алексей Силыч активно работал над своими «Подводниками», в мае 1922 года, семья Новиковых решила провести лето на родине, недалеко от села Матвеевское, на берегу живописной лесной речки в деревне Крутец. Алексей Силыч планировал прокормиться охотой, но весеннюю охоту запретили, поэтому пришлось настраиваться на рыбалку. В связи с этим Силыч отправляет в Москву письмо Низовому, в котором просит купить и прислать сети. Зная о рассеянности и непрактичности друга, он, заклиная того не забыть о просьбе и ничего не перепутать, огромными буквами выводит на верхнем поле листа: «Сети! Сети и ещё раз сети!!!» А также просит накупить на рынке на Трубной площади побольше бус для деревенских красавиц. Объясняет: эти бусы можно будет менять на провизию.

В деревне семья Новиковых прожила недолго. Получив известие, что в Москве вышла из печати повесть «Море зовёт», Алексей Силыч тут же решил вернуться в Москву.

В это время он напряжённо трудится над повестью «Подводники». По мнению В. Красильникова, ни над одним своим произведением (исключая, конечно, «Цусиму») Новиков-Прибой не работал так долго и придирчиво, как над этим; ни для одной своей вещи (опять же исключая «Цусиму») он не собирал материал столь тщательно и широко. Записи, относящиеся к «Подводникам», по объёму во много раз превосходят записи к «Солёной купели», хотя «Солёная купель» — большой роман, а «Подводники» — относительно небольшая повесть.

Летом 1923 года Новиковы (теперь уже вчетвером: 8 июня у них родился сын Игорь) снова отправились в родные края Алексея Силыча. Только теперь они остановились в мордовском селе Алдалово, на берегу реки Вад, вблизи от полустанка с этим же названием. Охота была разрешена, и Алексей Силыч отправлялся в лес дня на два-три. Возвращался домой усталый, осунувшийся, но очень довольный и всегда с дичью.

Но и в этот раз вернуться в Москву пришлось раньше, чем было запланировано. Алексею Силычу предложили совершить поездку за границу на одном из коммерческих пароходов. Алексей Силыч давно мечтал о такой поездке, надеясь собрать интересный материал для своих будущих книг.

Осенью 1923 года Новиков-Прибой отправился в плавание на пароходе «Коммунист», который шёл в Роттердам с большим грузом, а оттуда должен был пойти в Англию.

У бывалого моряка изначально было предчувствие, что «плавание будет с приключениями». Его опасения, к сожалению, подтвердились. Только то, что произошло, едва ли можно было считать просто «приключением», ибо шансов спасти судно в такой шторм, который настиг пароход «Коммунист» в Северном море, было очень мало.

В письме жене Алексей Силыч пишет: «Что ты и Толя чувствовали в ночь с 15 на 16 ноября? А мы в эту ночь переживали ад кромешный».

Подробно описывая бурю и то, как она трепала судно, Алексей Силыч признаётся: «Милая Марийка! Ты не можешь себе представить, какую тоску переживал я, болтаясь над зыбучей и кипящей бездной среди разверзающихся могил, окутанный бушующим мраком. О, как хотелось мне быть в это время в своей семье, видеть милые и дорогие лица! Безмолвным стоном стонала душа, раздавленная сатанической злобой урагана. Я мысленно прощался с тобою и детьми, прощался навсегда».

И дальше — новые подробности: «Сотни вёдер воды вливались через световые люки в машинное отделение, окутывая паром и людей и машины. На трюмах ломались задраечные бимсы. Рвались брезенты и раскрывались люки. Трюмы — это наша последняя надежда. Если в них начнёт захлестывать море, то конец неизбежен. И я видел, как матросы вместе с третьим штурманом натягивали на люки новые брезенты, отчаянно боролись за спасение корабля. Горы воды обрушивались на людей, сбивая их с ног, разбрасывая в разные стороны, как мусор. <...>

Всего, дорогая Мария, не передать. Скажу только, что мы повернули судно обратно, против ветра и направились опять в Англию. Но волны сносили нас назад. Так мы проболтались ещё более суток, пока буря не стала стихать. Наконец, старый наш "Коммунист", потрёпанный в отчаянной схватке с бурей, весь изуродованный, налившийся водою, кое-как дотянулся до тихой пристани, войдя в Кильский канал».

Уже на берегу советские моряки узнали, что во время этого циклона в Северном море погибли три парохода и два парус-

ника. Спаслось только несколько человек с парусника. Привязанных к мачтам, их подобрали в море только через двое суток.

Ремонт парохода затянулся почти на три месяца. За это время Новиков-Прибой написал рассказ «“Коммунист” в походе» (первоначальное название — «Буря») и приступил к работе над повестью «Женщина в море».

Вспоминая о том, как судьба в очередной раз отвела от него погибель, Алексей Силыч напишет в письме Рубакину: «Теперь я сижу в Москве — изображаю свои переживания на бумаге. И делаю это с удовольствием, ибо палуба под моими ногами не качается и сумасшедшие волны не обливают с ног до головы холодной водой. В квартире тихо. Только восьмимесячный карапузик мой что-то лопочет на своём языке: очевидно, хочет выразить свои философские взгляды на жизнь».

А повесть «Женщина в море» родилась из следующего наброска в записной книжке Алексея Силыча:

«Любовь на корабле. Рассказ.

На пароходе вместо прежней буфетчицы появилась новая скромная молодая девица.

Уже с первого раза команда обратила на неё внимание. А когда вышли в море, то все были влюблены в неё. Всех она дарила улыбками. Не было на судне человека, который хоть чем-нибудь не хотел бы услужить ей. И каждый думал про себя, что она относится к нему лучше, чем к другим. И каждый питал надежду на её любовь.

Но она могла полюбить только одного и действительно полюбила.

Сразу все отвернулись от неё.

Каждый считал себя обманутым.

Этого ей не могли простить, как и тому, на ком остановился ею выбор.

На пароходе устроили радиотелеграфную рубку. А вскоре заявился и сам радиотелеграфист.

Он был красив, ловок, одевался чисто.

Вся команда обрадовалась, увидав его: выручит.

Все начали следить за развёртыванием нового романа».

На повести «Женщина в море» «лежит ясный отпечаток, — писал критик И. Кубиков в 1928 году, — влияния поэмы М. Горького “Двадцать шесть и одна”». Оба эти произведения, с одной стороны, о том, как может женщина в корне изменить атмосферу в мужском коллективе, как может она преобразить его, разбудив в мужчинах самые лучшие чувства: порядочность, благородство, великодушие. С другой стороны, о том, как могут эти же мужчины резко измениться по отношению к женщине, когда она выбирает кого-то из них, особенно если этот «кто-то», по общему мнению, её не достоин.

Гордая самостоятельность, присущая горьковской Тане, переросла в героине Новикова-Прибоя с таким же именем в сознание полного равенства с мужчиной (это, безусловно, влияние времени, ведь действие повести Горького относится к концу XIX века, а герои «Женщины в море» живут в новом социалистическом государстве).

Женщина в море — это очаровательная молодая девушка, буфетчица большого торгового парохода. Её облик неповторимо романтичен и притягателен: «Таня обладала одной особенностью: золотистые глаза её всегда были игриво-лучистые, зовущие к жизни. Когда она смотрела на кого-нибудь, то, помимо своей воли, обещала близкое счастье». Она, по существу, является составной частью лучезарного морского пейзажа: «Таня, щурясь, смотрела на море, а море, забывая свою суровость, смотрело на Таню, покрываясь сетью сияющих морщин. И улыбались друг другу».

И как море в часы своего покоя даёт радость труженикам-морякам, так и образ этой девушки, привлекая, «заставлял матросов выглядеть опрятнее, воздерживаться от ругани, и они наперебой старались быть интересными».

Любопытны те страницы повести, где Новиков-Прибой изображает резкую перемену отношения к Тане команды, когда, в результате грязных сплетен старой Василисы, все заподозрили её в связи с «простодушным рыжеватым парнем» — матросом Максимом Бородкиным. То обстоятельство, что он ничем не интересен, кроме страстной влюблённости в буфетчицу, гасит романтический ореол вокруг Тани, которая казалась матросам идеалом. Но вот появляется новый радист, человек со стороны, и команда, «прощая» Таню, начинает следить за развитием их отношений. Команда искренне хочет, чтобы такая исключительная женщина, как Таня, выбрала себе достойного мужчину.

В 1925 году выходит в свет новая повесть Новикова-Прибоя «Ералашный рейс», которую хорошо принимают не только читатели, но и критики. И. Кубиков, например, пишет: «Повесть "Ералашный рейс" — прекрасное художественное достижение писателя. Она носит приключенческий характер, который в самом конце принимает, пожалуй, даже слишком сгущённый вид. Но эти мелочи, по отношению к данной повести, существенного значения не имеют. Задача писателя, как художника, заключается здесь в том, чтобы с помощью показа всех этих необычайных приключений вскрыть основные, индивидуальные черты, присущие различным персонажам повести».

В начале повествования мы встречаемся с капитаном небольшого торгового судна — человеком, призванным играть трагикомическую роль в «ералашном рейсе»: «На мостике прохаживался капитан Огрызкин, хилый и забитый жизнью старичок. Как всегда, он и на этот раз ковырял в своих пожелтелых зубах спичкой, потом нюхал эту спичку, морща маленький, как у ребёнка, нос. Временами узколобая голова его откидывалась назад, осматривая небо с редкими облаками, морской горизонт». Мы уже подготовлены к следующим словам о капитане: «Он не любил моря, а свежая погода вызывала в нём чувство отвращения».

Когда маленький пароходик «Дельфин» сел на подводные рифы, то трусливый капитан, увлекая за собой жену, первый спасается бегством, перебираясь на баржу. За ним следуют и его матросы. На покинутом «Дельфине» остаётся один машинист Самохин, человек бывалый, исполненный чувства собственного достоинства, который видит насквозь и капитана, и его взбалмошную жену. Он может быть груб: не терпит легкомыслия и бестолковости.

Но в роли если не главного, то самого привлекательного героя выступает шкипер баржи, спасшей команду «Дельфина». И вот этот самый шкипер, похожий на героев Джека Лондона, уверенный в себе, мрачный, немногословный, привлекает внимание жены капитана «Дельфина»: она хоть и капризна, но мечтательна и романтична. К тому же к концу произведения, проведя её через ряд испытаний, автор делает её более вдумчивой и глубокой.

«Соединение причудливой романтики и реализма», по словам Кубикова, — отличительная черта «Ералашного рейса», которая, впрочем, присуща большинству произведений Новикова-Прибоя.

И в «Женщине в море», и в «Ералашном рейсе» так же, как в большинстве произведений Новикова-Прибоя, ярко звучит тема женщины, которая, по словам А. Воронского, не менее значительна в творчестве писателя-мариниста, чем тема моря. Быть может, это объясняется тем, что эти две стихии во многом схожи? Непредсказуемы, капризны, бездонны, притягательны в своей красоте и непостижимости.

Кстати, необыкновенную популярность Новикова-Прибоя в 1920—1930-е годы можно объяснить и тем, что у него много книжек «про любовь». Поэтому его читательская аудитория была столь широкой, охватывая не только любителей приключений, но и любительниц того, что сейчас назвали бы «женской прозой».

С середины 1920-х годов Новиков-Прибой, как уже до-

вольно известный писатель, стал часто выступать перед читателями в самых разных аудиториях: на заводах и фабриках, в библиотеках и школах, в военных частях. Эти выступления часто сопровождались лекциями о его произведениях. Их читал литератор Виктор Александрович Красильников, который впоследствии стал одним из самых серьёзных и авторитетных исследователей творчества Новикова-Прибоя.

По воспоминаниям М. Л. Новиковой, Красильников был человеком обязательным, пунктуальным и чрезвычайно преданным Алексею Силычу, к которому относился с исключительным уважением и любовью. «Немного старомодный в манерах, — пишет Мария Людвиговна, — медлительный в разговоре, он взвешивал каждое слово, как бы опасаясь, не обидит ли собеседника. С людьми говорил тихо, а на выступлениях немного повышал голос, и его было слышно в самых отдалённых концах зала. Разбор произведений писателя делал очень обстоятельно, никогда не забывая ни одной мелочи».

О своём житье-бытье в середине 1920-х годов Новиков-Прибой так рассказывает в письме Н. А. Рубакину: «Вы спрашиваете — служу ли я. Теперь нет. А раньше, как за границей, так и в России, всё время служил или занимался той или иной работой, чтобы существовать. Для литературы оставалось мало времени — только часы отдыха. А во время империалистической войны и в первый период революции совсем забросил писательство: не до того было. И только за последнее время начал увлекаться своим любимым делом. Житейский опыт, необходимый для писателя, имею большой и чувствую себя более подготовленным для литературы. Правда, порою всё ещё трудновато приходится жить, но жду лучшего. Я ведь обзавёлся семьёй. Имею двух сыновей, причём старший из них уже читает Ваши книги. В особенности круто приходилось год тому назад. Я имел только одну комнату. В ней нас жило пять человек. Жена работала в учреждении, а я бегал на рынок, стряпал с проворством лучшей кухарки и писал своих "Подводников". Случалось, что увлечёшься какой-нибудь мыслью, забудешь о кухне, а там, смотришь, уже каша горит. Спасёшь кашу и сядешь за стол — суп начинает бунтовать, плескаясь через край кастрюли. Пока всё уладишь с кухней — в голове станет пусто. Опять настраивай себя на писательский лад. Потом кто-нибудь придёт — остановишься на полуфразе, поговоришь и снова водишь пером».

«Я ведь обзавёлся семьёй», — пишет Алексей Силыч. Любопытная, между прочим, история.

Семьёй Новиков, как мы помним, обзавёлся уже давно, за границей. «В 1910 году мы с Алексеем поженились», — пишет

Мария Людвиговна в своих воспоминаниях. Но поскольку «ни в Бога, ни в чёрта», по словам самого Новикова-Прибоя, они тогда не верили, то никакого венчания не было. Да и как оно могло состояться? Неверующий к этому времени Алексей был тем не менее крещён в младенчестве, как и положено, в православном храме. А рождённую в семье революционеров Марию, скорее всего, ни в какую веру не обращали. Кроме того, Новиков находился в Лондоне на нелегальном положении и, соответственно, не имел гражданства, поэтому не могли они скрепить свой брак и никакой бумагой. «Мы просто об этом не думали, — вспоминал позднее Алексей Силыч, — просто любили друг друга и были мужем и женой». А вот много позже, в 1926 году, Новиковы расписались, и поскольку до этого момента их дети считались незаконнорождёнными, отцу пришлось пройти процедуру усыновления собственных детей.

«КНИГИ ИДУТ БОЙКО...»

Потихоньку улучшается быт Новиковых. «Теперь начинаю лучше жить, — пишет Алексей Силыч Рубакину. — У меня две комнаты. Книги идут бойко: каждое издание расходится в 2-3 месяца».

«Книги идут бойко...» Нет ничего удивительного в том, что произведения Новикова-Прибоя раскупались весьма охотно. И раскупались они конечно же не литературными снобами, а простыми людьми, для которых и темы, и язык автора были понятными, близкими, родными. Он был свой, хлебнувший лиха, понимающий жизнь как надо, по-мужицки, и пишущий об этом доходчиво и внятно, без всяких непонятных намерений творить новую литературу, выявлять «самовитость» слова и т. п.

Траурные дни января 1924 года...

В Колонный зал Дома союзов Алексей Силыч взял с собой старшего сына Анатолия и Бориса Неверова, который впоследствии вспоминал: «Стояли сильные морозы, и на улице трудно было вздохнуть полной грудью; ни на минуту не прерывался, казалось, бесконечный людской поток, стекавшийся к Дому союзов. Народ шёл молча, только иногда кто-нибудь из рядов выбегал на минутку погреться у костров, разложенных на мостовой через каждые 100—150 метров на пути от Манежа.

Милиция была, но народ сам следил за порядком. Вне очереди пропускались делегации рабочих московских фабрик и заводов. Они шли прямо из цехов, чтобы спустя некоторое время вновь вернуться на свои рабочие места. В домотканых дерюжных зипунах, в лаптях, с котомками за спинами проходили посланцы близких и далёких деревень.

В траурном шествии Алексей Силыч шёл молча, только иногда посылал нас с Анатолием погреться у костра. А когда

проходили мимо тела Владимира Ильича и скорбно стоящей около него Надежды Константиновны Крупской, я увидел на глазах Алексея Силыча слёзы».

Как уже было отмечено, Новиков-Прибой не только до революции, но и в первые её годы принадлежал к партии эсеров. Затем, уйдя в литературу, остался беспартийным. Однако отсутствие партийного билета не мешало его сыновней — искренней и горячей — любви к отечеству, и всё, что происходило в нём и с ним, он переживал не как сторонний наблюдатель, а как истинный гражданин. Очень верил Ленину. Потом — не менее истово — Сталину.

В течение 1924—1925 годов Новиков-Прибой помимо повести «Ералашный рейс» пишет рассказ «В бухте “Отрада”».

Рассказ «В бухте “Отрада”», посвящённый событиям Гражданской войны, имел такой большой успех, что на его основе была сделана одна из первых советских кинокартин.

После вполне заслуженного успеха «Морских рассказов», повестей «Море зовёт», «Подводники», «Женщина в море» Новиков-Прибой мечтает о романе. Ему хочется поведать о своих многочисленных мытарствах в бытность службы матросом на английских коммерческих судах. Хочется рассказать о разных людях — хороших и не очень. Хочется снова и снова возвращаться памятью к морю — суровому, непредсказуемому и прекрасному одновременно.

13 июля 1924 года Алексей Силыч пишет в письме Рубакину: «Хочется мне написать роман из морской жизни. Тема в голове давно уже разработана. В этом романе исчерпаю всю жизнь моряков международного флота, все интересные положения, какие бывают на море...»

Николай Александрович в своей далёкой Швейцарии поддерживает Новикова-Прибоя во всех его начинаниях. И активно пропагандирует его творчество за границей. Так, в письме от 6 июня 1925 года читаем:

«Дорогой Алексей Силыч. Посылаю Вам при сём вырезку из нью-йоркской газеты Нов. Рус. Слово. В ней идёт речь о журнале “Зарница”, который стали теперь издавать русские внепартийные рабочие, по-хорошему относящиеся к современной России. В № 1 помещена моя статья (начало) о писателях, выдвинутых из недр пролетариата и крестьян, в том числе о Вас и о Демидове. Сказал и о “Кузнице” вообще. Демидова я считаю *таким же* талантливым, как и Вас, но Вы — представитель главным образом пролетариата, а он — крестьянства. Его роман “Жизнь Ивана” действительно заме-

чателен. В следующих №№ пойдёт моя специальная статья о Демидове, о Вас, о Степном, о Бахметьеве, о Дорохове и о всех, кто прислал мне свои книги и автобиографии, которые я внимательно изучил. О Вас будет же специальная статья, с Вашей биографией. Могу ли я воспользоваться для неё тем, что Вы мне дали в 1908 г., Вашими воспоминаниями о жизни матросов в эпоху 1903—1908 годов?..»

В 1926 году главному редактору журнала «Огонёк» пришла в голову любопытная идея: напечатать в журнале коллективный роман, написанный двадцатью пятью лучшими прозаиками того времени. По словам современного писателя Д. Быкова, М. Кольцов был человеком «лёгким, летучим, и дело он придумал весёлое». Плюсов было несколько: во-первых, воплощение в этой задумке актуальной идеи коллективизма; во-вторых, привлечение к работе в журнале знаменитостей (пиар, говоря сегодняшним языком) и, как следствие, огромные раскупаемые тиражи.

Нужно было придумать лихой, авантюрный сюжет. За этим Кольцов обратился к А. Грину. И начал составлять список авторов. В него попали, наряду с писателями, чьи имена нам сегодня хорошо знакомы (А. Грин, А. Толстой, Л. Леонов, И. Бабель, М. Зощенко, К. Федин, А. Новиков-Прибой), и те, кто был забыт уже к середине XX века (например, Н. Ляшко, А. Яковлев, Ф. Березовский).

Идея писателями, которых выбрал Кольцов, была поддержана. «Огонёк» начал печатать «Большие пожары», которые сочинялись, как нынешние сериалы, — на ходу. Каждый автор получал то, что уже придумали до него. И с этим надо было что-то делать. Делали, причём — срочно.

По мнению Д. Быкова, прочитавшего роман в журналах от начала до конца («Большие пожары» больше нигде и никогда не печатались), забавный опыт коллективного труда оказался неудачным и подтвердил, что «настоящая интеллектуальная работа делается в одиночку».

Тем не менее глава Новикова-Прибоя «Страшная ночь», впервые опубликованная в сборнике «Победитель бурь», показывает, что писатель трудился над ней с удовольствием и азартом. В его главе появились и море, и порт, и корабли. Д. Быков пишет об этом так: «...город был крупный, губернский, да ещё с портом, который ни с того ни с сего присобачил к нему Новиков-Прибой». А Силыч просто весело и легко играл в предложенную игру. Конечно, его самолюбию льстило, что он входит в число самых популярных писателей стра-

ны, поэтому он, как и все остальные, не отказался от этой авантюры.

Популярность Новикова-Прибоя действительно росла день ото дня. Во второй половине 1920-х годов издаётся и переиздаётся множество его произведений: «Морские рассказы», сборники «Две души» и «Море зовёт», повести «Подводники», «Женщина в море», «Ералашный рейс».

В июне 1926 года писатель снова отправляется в Кронштадт. Оттуда вместе с поэтом Г. Санниковым на пароходе «Камо» он уходит в плавание вокруг Европы.

Первая стоянка судна планировалась в Гамбурге, где нужно было разгрузить привезённый из СССР груз. Из Гамбурга должны были отправиться в Роттердам, а оттуда взять курс на Одессу.

В письме от 20 июля 1926 года П. Г. Низовому Алексей Силыч делился своими впечатлениями:

«Плаванием я очень доволен: насыщаюсь морскими впечатлениями. В Роттердаме обегал все кабаки, все вертепы, посещаемые моряками, и каждый раз открываю новое для себя в жизни своей братвы. Роттердам представляет собой огромный порт, наполненный судами всех наций. Побывал в местном техническом музее, видел новые усовершенствования для кораблей.

Голландия сильно удивила меня. Своё производство у неё небольшое, а живёт богато. Есть ещё в Европе два таких государства — Бельгия и Дания. Это три лавочки, засевшие на больших дорогах — без кистеней и кинжалов. Они не воюют, они только занимаются торговлей. А дела их идут хорошо».

Вернувшись из плавания, Новиков-Прибой заканчивает начатую ещё в начале года повесть «Ухабы» и приносит её в журнал «Новый мир».

Отдавая рукопись Николаю Смирнову, одному из работников редакции, писатель чувствовал себя несколько смущённым, говоря: «Думаю, не пойдёт: толстые журналы меня не жалуют». Однако редактор журнала В. П. Полонский высоко оценил повесть как «подлинно революционное художественное произведение». Смирнов позвонил Алексею Силычу и сообщил, что повесть будет опубликована в очередном номере журнала. Позже Смирнов вспоминал, что, когда Новиков-Прибой пришёл получать авторский экземпляр журнала, радость его сквозила во всём: и в том, как он листал страницы, и в блеске глаз, и в улыбке, «придающей его лицу выражение юношеской весёлости».

Писатель в тот день задержался в редакции надолго, много рассказывал о своих скитаниях по белу свету, делился литера-

турными планами, а узнав, что Смирнов — заядлый охотник, необыкновенно обрадовался. С тех пор они стали встречаться довольно часто — и в журнальных редакциях, и в издательстве, и в гостеприимном доме Новиковых, а главное — на охоте.

Николай Павлович Смирнов (писатель, критик, один из организаторов журнала «Охотничьи просторы») оставил интересные воспоминания «Новиков-Прибой среди друзей». Силыч, по его словам, всегда был окружён преданными ему людьми, которых и сам он нежно и искренне любил. Наиболее близок он был в те годы с П. Г. Низовым, П. А. Ширяевым и А. В. Перегудовым.

Павел Георгиевич Низовой (Тупиков), по словам Н. Смирнова, и по внешности, и по душевной мягкости напоминал интеллигентного столичного рабочего, каким он и был в прошлом, с юности работая в типографии. Повести и рассказы Низового отличались лирической мягкостью и своеобразной романтической окраской. Но им не хватало внутренней «крепости», кроме того, они далеко не всегда откликались на запросы современности, из-за чего произведения Низового были довольно скоро забыты.

Пётр Алексеевич Ширяев — профессиональный политик, долголетний эмигрант, многие годы принадлежал к партии эсеров, но в 1918 году, порвав с социалистами-революционерами, признал правоту большевизма в революции. Писать он, как и Новиков-Прибой, начал ещё в эмиграции. В послеоктябрьские годы известность Ширяеву принесла повесть «Цикута» о революционном подполье, затем в печати стали появляться его бытовые и охотничьи рассказы, а в начале 1930-х годов большую популярность снискала его книга «Внук Тальони». В романе живописно и с большим знанием дела описывался быт «лошадников» — наездников, жокеев, любителей бегов.

Алексей Силыч шумно радовался, как он это умел, успеху друга, не уставая повторять: «Ух и здорово! После “Холстомера” и “Изумруда” — ещё одна живая лошадь в литературе...»

Александр Владимирович Перегудов, землемер по образованию, ещё в юности махнул рукой на свою профессию и полностью отдался литературе. Собратья по перу признавали его настоящим художником, трогательно влюблённым в красоту родной природы и умеющим эту красоту передать. Неистощимый балагур и шутник, чуточку похожий, как пишет Смирнов, на старинного «гудошника» из классической оперы, Перегудов, человек сердечной доброты, с первой встречи оставлял впечатление старого друга: так было с ним легко и весело.

Об Александре Владимировиче Перегудове очень тепло вспоминает сын Новикова-Прибоя — Игорь Алексеевич. Он пишет: «После смерти моего отца Александр Владимирович всю любовь к ушедшему другу перенёс на нашу семью. Продолжал часто бывать у нас в московской квартире, которую из-за гостей, посещавших или живущих в ней, его жена Мария Петровна остроумно назвала “турбазой”. По её инициативе мы завели альбом для посетителей нашего дома, желающих оставить в нём в прозаической или стихотворной форме свои записи». Больше всего в этой тетрадке было экспромтов Перегудова.

И. А. Новиков вспоминает: когда он был ещё ребёнком, Александр Владимирович завёл у себя в Дулёве двух козочек и козлика, назвав их Шерри, Бренди и Мускат. Козлика он решил подарить Игорьку. И привёз его к ним в Москву. Мускату у Новиковых понравилось: он с удовольствием прыгал на стол, диван, стулья и даже на шкаф. Мария Людвиговна не оценила шутки и отправила Александра Владимировича вместе с его Мускатом восвояси.

Алексей Силыч часто бывал у Перегудова в Дулёве. Там ему всегда хорошо писалось. Любил он поработать и физически. В своей «Повести о писателе и друге» Перегудов рассказывает: «Ежедневно перед обедом он колол дрова, и заметно было, какое наслаждение получал он от этой работы. Однажды он рассмешил и умилил меня: вошёл в дом и встревоженно сказал:

— Беда, Саша!

— Какая беда?

— Все дрова у тебя переколол, без работы остался. Может, у соседей есть неколотые? — Помолчав, добавил полушутя-полусерьёзно: — Я бы им заплатил».

Александр Владимирович Перегудов прожил долгую жизнь. Он умер в 1989 году в возрасте девяноста пяти лет. И до самых последних дней сохранял нежную привязанность к детям своего друга: Игорю Алексеевичу и Ирине Алексеевне, а также к их семьям. (Старший сын Алексея Силыча Анатолий умер в достаточно молодом возрасте в 1969 году, а Мария Людвиговна ушла из жизни в 1979 году.)

В доме Силыча бывали не только его близкие друзья — здесь всегда было много самых разных людей. Правда, попав сюда впервые, они всё равно очень скоро становились своими.

«Кого только не приходилось встречать, — вспоминает Николай Павлович Смирнов, — в доме Новикова-Прибоя! Как сейчас, видится неторопливо появляющийся в столовой Демьян Бедный. Он казался тяжеловатым и грузным, но у него бы-

ла лёгкая, свободная, почти юношеская походка и широкое, с добродушной улыбкой, лицо. Острыми и колючими были лишь его глаза».

Демьян Бедный был не только одарённым стихотворцем, но и разносторонне образованным человеком. Он отлично читал — в подлиннике — сонеты Шекспира и стансы Гёте, цитировал отрывки из «Декамерона», приводил по памяти замечательные выдержки из русских былин и народных сказок, помнил наизусть целые строфы из Пушкина и Лермонтова.

«Тёплую струю дружелюбия и какого-то радостного света» вносила в «сборища» у Новикова-Прибоя Лидия Николаевна Сейфуллина.

Она относилась к Силычу, как и к некоторым другим писателям — Никифорову, Бабелю, Ларисе Рейснер, Зазубрину, Пермитину, — с подлинно дружеским чувством, которое не могло изменить или остудить ничто: ни литературная «опала», ни критические разносы, ни суесловие и злословие тех или иных «приятелей», не щадивших ради красного и острого словца ближнего своего.

Она всегда с недоверием относилась к слишком скороспелым и раздутым той или иной группой «знаменитостям». Её доводы и возражения бывали часто неотразимы и непреоборимы: эта маленькая женщина обладала острым и здравым логическим умом. Горячность суждений вытекала из её убеждённости.

Особенно яростно спорила с Пильняком, тоже нередко посещавшим Силыча и даже посвятившим ему один из своих рассказов («Алексею Силычу, учителю»). Лидия Николаевна находилась в довольно хороших отношениях с Пильняком, но недолюбливала его постоянное бравирование своим литературным «новаторством»: она органически отрицала все формалистические «изыскания» в духе Алексея Ремизова или Андрея Белого, считая их простым трюкачеством. Страстная и пламенная поборница реалистической литературы как могущественной общественной силы, — она пошла бы за эти свои убеждения на костёр или на плаху.

Бывал у Алексея Силыча и ещё один интересный писатель — Артём Весёлый (Николай Иванович Кочкуров). Широко известные в своё время его романы — «Страна родная» и «Россия, кровью умытая» — читались с горячим интересом: они с большой изобразительной силой и страстью показывали Гражданскую войну. Правда, в обрисовке героических красных воинов сквозила иногда стилизация — они напоминали старинных бунтарей из вольницы буйного Степана, — но и

это имело своё оправдание, поскольку во всём творчестве А. Весёлого царил приподнято-романтический дух вольнолюбия и бесшабашности. Исторический роман «Гуляй, Волга!» оттого так и удался автору, что он тонко и глубоко чувствовал бунтарскую душу русской национальной старины.

«Артёму, — пишет Смирнов, — были свойственны и горестные раздумья, и бесшабашная удаль; помню, с какой страстностью пел он песню пленных антоновцев, полную безнадёжного разгула:

Штой-то солнышко не светит,
над головушкой туман...
вот уж пуля в сердце метит,
вот уж близок трибунал.

Он был волжанином — родился и рос в Самаре, — и воспоминание о родной и великой реке, видимо, постоянно тревожило его поэзией странствий. Каждое лето с семьёй он отправлялся в путешествие на лодке — то по Оби, то по Вятке, то по Оке, то по Волге».

Из поэтов, с которыми приходилось сталкиваться в доме Алексея Силыча, Смирнов выделяет Павла Васильева:

«Поистине пламенный, клокочущий молодой силой — и физической и поэтической, — Павел Васильев “ликом” несколько походил на Есенина: белокурые кудри, голубые глаза, тонкий овал лица, приветливо-милая улыбка; только в вырезе ноздрей и в сжатых губах чувствовалась большая воля и жёсткость.

Он читал свои произведения с неподражаемым артистизмом: чётко, звучно, нисколько не манерничая и, самое главное, делая упор не на узорность рифмы или “ассонанса”, а выявляя душу стиха. Недаром детски-непосредственный Силыч, слушая, бывало, Васильева, чуть ли не растерянно оглядывался по сторонам, брался за ус, а потом за лысину и с восхищённым удивлением шептал соседу:

— Ух ты. Что делает!..»

Вокруг Силыча было людно и дома, и на охоте, и в милой сердцу Малеевке.

Малеевку они совершенно случайно открыли для себя (и не только для себя!) с писателем Иваном Рахилло.

Однажды ранней весной 1927 года они выехали на охоту по старой Московской дороге в сторону Рузы. Охота была неудачной. Погода — дождливой. Усталые, озябшие, без добычи, с неважным настроением, охотники ещё и заблудились. Сгущались сумерки, лес становился всё непроходимее, друзья шутили сами над собой, однако было уже не до шуток. Вдруг

сквозь заросли кустов обозначился далёкий огонёк — на него и пошли.

Одинокое окно светилось в большом деревянном доме с верандой и мезонином. По склону к речке спускалась аллея старых лип. По всему было видно, что Силыч с Иваном забрели в бывшую барскую усадьбу. Постучали в окошко, где горел свет.

Встретили уставших путников две гостеприимные сестры-старушки, единственные обитатели усадьбы. Одна из них оказалась вдовой некогда известного редактора Лаврова, издававшего свой журнал, близко знавшего Чехова и Бунина. Старушки, всеми забытые, умудрялись как-то выживать в этой глухомани, выменивая остатки имущества на продукты у крестьян из соседних деревень. В этот вечер и возникла идея о приобретении этого дома для писателей.

Алексей Силыч, возвратившись домой, сразу принялся воплощать идею в жизнь. Он, собственно, никогда ничего не откладывал в долгий ящик. При содействии Литфонда старушкам была выхлопотана пожизненная пенсия. Особняк подремонтировали, подкрасили и открыли в нём дом отдыха для писателей.

Но, откровенно говоря, никто не спешил туда ехать: болотная глушь, комары, отсутствие электричества. Комнаты пустовали, и правление Литфонда от дома отказалось.

Но Силыч с друзьями, образовав коммуну из тринадцати человек, взяли дом на собственное содержание, завели там сторожа и кухарку, и жизнь в некогда заброшенной усадьбе пошла на лад. Так родился первый писательский дом творчества «Малеевка», где писали свои книги и Новиков-Прибой, и Ширяев, и Низовой. Бывали здесь А. Толстой, Серафимович, Сергеев-Ценский, Вересаев.

Из воспоминаний Н. Смирнова:

«...мне несколько раз приходилось жить вместе с Алексеем Силычем и его друзьями в Малеевке...

Мы ездили туда глубокой зимой, в январе-феврале; в памяти сохранился просторный усадебный дом на горе, среди сосновых и еловых лесов и крепких сахарных снегов, по которым с таким пронзительным скрипом мчались шведские лыжи. Утром в доме потрескивали печи, днём в запуске пощёлкивали пишущие машинки, по вечерам в столовой шли оживлённые разговоры.

Алексей Силыч чувствовал себя здесь совсем по-домашнему, легко и просто.

Он просыпался очень рано: ещё не успевало как следует ободняться, а в коридоре уже раздавался его весёлый голос:

Нам не надо гороху много,
нам одну горошину...
Нам не надо девок много,
нам одну, да хорошую...

Алексей Силыч работал и до завтрака, и после сразу же садился за машинку, дружески понуждая к этому и других. Ширяев, например, любил подолгу засиживаться в коридоре, у горящей печки, смотря на переливы пламени, — и Силыч с шутливой строгостью говорил ему:

— Пора в кубрик, Ширяев, машинка сама не застучит.

Письменный стол Силыча стоял у окна.

Чаще всего он писал от руки, то и дело перемарывая написанное, и только наиболее "лёгкие" места (переработанные документы и т. п.) сразу же выстукивал на машинке. Более или менее отделанные главы он любил читать друзьям, с исключительным вниманием прислушиваясь к замечаниям, особенно если они касались языка.

За работой Силыч непрерывно курил — в его "кубрике" было почти непроглядно от густого фиолетового дыма.

Случалось, что Силыч очень и очень уставал: я не раз видел его с мутно-покрасневшими глазами и побледневшим лицом. Тогда он уходил, хотя бы на полчаса, на прогулку, бродил по двору, слушая по-зимнему уютное воркование голубей. Возвращался он бодрый и посвежевший, и опять за дверью комнаты раздавался неспешный стрекот машинки...

Больше всего забот доставлял Силычу Перегудов, тоже живший иногда в Малеевке: он то и дело отлынивал от работы под любым предлогом, и Силыч с той же шутливой строгостью грозил:

— Смотри, Саша, запирать буду...

Жили мы в Малеевке узким дружеским кругом, к которому примыкал ещё Александр Степанович Яковлев.

Интересный писатель и человек, А. С. Яковлев отличался замкнутостью и в какой-то мере нелюдимостью, и только обжившись, привыкнув к людям, становился самим собой — простым, милым, добродушным.

В малеевском уединении много приходилось говорить с Алексеем Силычем и о литературе, и о его литературных симпатиях и антипатиях.

Что любил и что отрицал Алексей Силыч в литературе?

Как строгий и последовательный реалист, он благоговел перед Пушкиным и Толстым, Тургеневым и Чеховым, а из более близких по времени писателей восторгался Горьким и высоко ценил Бунина. Из современников выделял Шолохова, поистине нежной любовью любил стихи Есенина. Многое нравилось ему в стихах Багрицкого и Уткина.

Он ценил в стихах и тепло лирики, и пафос гражданственности — Некрасов вполне справедливо стоял для него рядом с Пушкиным — и требовал от поэта кристальной душевной честности.

Из иностранных писателей чаще всего упоминал Диккенса и Бальзака, Золя и Мопассана.

Как мореплаватель, Алексей Силыч многое любил у Киплинга, Конрада и особенно у Джека Лондона, который импонировал ему своим демократизмом. Но, отмечая этих писателей, Силыч всегда советовал не забывать и нашего Станюковича как автора "Морских рассказов" (впервые переизданных после революции именно по его рекомендации).

Отвергал Алексей Силыч тоже многое. Воспитанный на пламенных статьях Белинского и Чернышевского, Добролюбова и Михайловского, он органически чуждался всего, что шло вразрез с воспитательно-гуманистическим, прогрессивным искусством».

Чаще всего в Малеевке вместе с Новиковым-Прибоем бывал Иван Рахилло. Все любили его за живой ум, душевную щедрость, энергичность. Он был наделён многими талантами: писатель, художник, музыкант, танцор.

Во время учёбы во ВХУТЕМАСе (Высшие ходожественно-технические мастерские) его близкими друзьями стали будущие знаменитые художники М. Куприянов, П. Крылов и Н. Соколов (Кукрыниксы).

Получив художественное образование, Иван Рахилло возглавил литературный отдел газеты «Юношеская правда». Кстати, рождение знаменитой троицы Кукрыниксов связано именно с деятельностью Рахилло. По его совету редактор журнала «Комсомолия» А. Жаров предложил художникам сделать дружеские шаржи на комсомольских поэтов и писателей. Кукрыниксы не раз изображали и Новикова-Прибоя.

В 1930 году по путёвке литературного объединения Красной армии и флота, при поддержке Новикова-Прибоя, Рахилло уехал под Новочеркасск, где был зачислен помощником штурмана в авиационный отряд (он мечтал написать книгу о лётчиках). После окончания литературной командировки Рахилло ушёл в работу над романом «Лётчики». Книга появилась в 1936 году и была посвящена А. С. Новикову-Прибою.

Несмотря на большую разницу в возрасте (27 лет), Новикова-Прибоя и Рахилло связывала крепкая дружба, Иван называл своего старшего товарища «батькой Силычем».

И. А. Новиков вспоминает, что Рахилло был и прекрасным рассказчиком, и великолепным актёром: всегда всё изображал в лицах, меняя голос, потешно жестикулируя. Друзья и знакомые хорошо помнят одну из его баек:

«Однажды мы с Алексеем Силычем вышли из клуба писателей и у края тротуара увидели артистку Рину Зелёную. Она сидела в легковом автомобиле и жестом руки приглашала нас сесть в машину. Мы сели, радостно поздоровались с ней и услышали, что она недавно купила этот автомобиль и теперь тренируется в езде. Зная, что Рина Зелёная близорука, но очков принципиально не носит, мы всё же отважились просить её отвезти нас к дому Алексея Силыча.

Она долго заводила мотор, что-то бормотала себе под нос, иногда чертыхалась, и наконец автомобиль рывком тронулся с места. В наступающих сумерках, медленно и неуверенно машина катилась по московским переулкам, где не было милиционеров. Рина Зелёная заметно нервничала за рулём и поминутно испуганно спрашивала меня: "А что там белеет поперёк?" — "Это забор", — отвечал я. "А что такое серое впереди?" — через некоторое время снова спрашивала она. "Это дом, в который мы через минуту врежемся", — спокойно объяснял я.

Так продолжалось всю дорогу. В конце концов мы, рискуя жизнью, через час добрались до дома Алексея Силыча, хотя от улицы Воровского до Большого Кисловского переулка рукой подать. Когда автомобиль остановился, я достал свою книгу и надписал её: "Отважному водителю Рине Зелёной от не менее отважных пассажиров — И. С. Рахилло и А. С. Новикова-Прибоя — на добрую память". Оба подписались, вручили ей книгу и вышли из машины. Рина Зелёная, приоткрыв дверцу, растерянно спросила нас: "А что мне дальше делать?"».

В начале 1927 года журнал «Красная новь» опубликовал статью А. Лежнёва «Новиков-Прибой». Критикуя последние произведения писателя («Женщина в море», «Ералашный рейс»), автор статьи пишет: «Новиков-Прибой не большой мастер характеристики: его герои элементарны и однообразны. Нельзя его назвать и ярким стилистом: его язык беден и сероват».

Подобные отклики не могли не огорчать Алексея Силыча. Но он старался прислушиваться к разумной критике и делал всегда один вывод: «Писатель складывается годами. Будем работать!»

Высокая оценка (видимо, в противовес Лежнёву) была дана творчеству Новикова-Прибоя в статье В. Красильникова «Алексей Новиков-Прибой» (Новый мир. 1927. № 5).

О произведениях в целом Красильников пишет: «Новиков-Прибой — один из редких современных прозаиков, реализм которых не скатывается в нудный бытовизм».

О языке: «Из изобразительных средств Новикова-Прибоя выделяется профессионально-производственный язык героев и автора. Диалог его матросов драматичен, остр, как солёный морской ветер, и хмелен, как весна; в нём с новой силой зазвучали нотки великого русского языка. Только наследники дядей Митяев и Миняев (“Мёртвые души”), приклеивших к Плюшкину прозвище “заплатанный”, могут обозначить человека “Порченым”, “Шалым”, “Босым черепом”, “Камбузным тюленем”»...

О форме и композиции: «Двадцатилетний с лишком писательский стаж научил его быть интересным колоритным рассказчиком (сказом написаны “Рассказ боцманмата”, “В бухте ‘Отрада’” и др.), приучил к ускоренному темпу и действенности повествования, помог овладеть мемуарной формой (повесть “Ухабы” представляет дневник старого морского капитана). Особенно характерна последняя глава из “Ухабов” — описание суда над капитаном; капитан пишет сам о себе, он в одном лице и рассказчик и герой, пригвождённый к палубе тысячами глаз команды — своих судей. До конца суда он не двигается с места, а какая вакханалия страстей толпы бушует вокруг него! Какая неожиданная смена событий, жуткое лавирование между жизнью и смертью! Современным русским прозаикам есть чему поучиться у Новикова-Прибоя; его умение дать кривую динамики событий — ценный приём, который может разгрузить многие большие повести и романы от обильных скучных сюжетных “отступлений”».

В конце 1927 года Алексей Силыч через сотрудника советского посольства во Франции получает интересное предложение о переводе его произведений на французский язык. Предложение поступило от Н. В. Трухановой.

Наталья Владимировна Труханова — известная балерина, подруга Анны Павловой. Значительную часть своей жизни прожила в Париже, где в 1914 году вышла замуж за русского военного атташе, генерала, графа Алексея Игнатьева.

Труханова была хорошо знакома с С. Дягилевым, Ф. Шаляпиным, А. Дункан... Ею были написаны воспоминания «На сцене и за кулисами» (изданные только в 2003 году). Прочитав рукопись, знаменитый историк Тарле отозвался о ней так: «Прелестные мемуары, полные мужского ума и обаятельной женственности».

С 1930 года супруги Игнатьевы были зачислены в штат торгпредства СССР во Франции. К этому времени Наталья Владимировна зарекомендовала себя как человек, живо инте-

ресующийся культурой советской России. Она стала переводить и издавать в Европе новых русских авторов. Как один из самых издаваемых беллетристов, привлёк её внимание и Новиков-Прибой. Между ними завязывается активная переписка. Алексей Силыч, благодарный за интерес к своим произведениям, рекомендует Наталье Владимировне и других авторов: Ширяева, Низового, Ляшко.

В 1929 году в альманахе «Cahiers de la Russie nouvelle» была опубликована повесть Новикова-Прибоя «Ухабы» в переводе Трухановой.

Интерес Натальи Трухановой ко всему русскому был более чем понятен Алексею Силычу. Вспоминая годы эмиграции, он пишет: «Я понимаю Вас, когда Вы говорите, что так любите Россию и всё русское. Это чувство хорошо мне знакомо, т. к. я более шести лет во время царского режима пробыл за границей — в Италии, Испании, Франции, а больше всего в Англии. Когда после такого периода я вернулся на родную землю, то даже народная ругань, отвратительная ругань, приятно взволновала меня...»

Взяв на себя миссию одного из проводников и распространителей молодой советской литературы на Западе, Новиков-Прибой делает такие обобщения и прогнозы по поводу её будущего: «Бесконечно рад, что голоса наших писателей дошли до Вашего сердца. Нет никакого сомнения, что наша молодая литература в молодой Республике растёт и крепнет. Я думаю, что в следующие десять лет, если только не будет войны, русский многомиллионный народ, встав на путь свободного творчества, выдвинет из своей среды изумительные таланты. И сейчас уже некоторые из новых писателей запели во весь свой голос».

Пафос этого письма, конечно, диктуется самой ситуацией: ведь Силыч не с друзьями за столом разговаривает, а за границу пишет. И он, Новиков-Прибой, в данный момент не только писатель, но и прежде всего гражданин советской России. Кстати, это его не удерживает от критических замечаний по поводу современной литературы, и мы слышим в его письме отголоски развернувшейся в это время борьбы с рапповцами: «К сожалению, многие ещё не избавились от излишней тенденциозности, пичкают свои произведения явной идеологией, вместо того, чтобы протащить её контрабандным путём. Когда читаешь их, идеология бьёт в нос, и чувствуешь, точно свежий хрен жрёшь, — слёзы идут, а никого не жалко. Такие писатели только вредят делу, отбивая у читателя охоту брать книгу».

Летом 1928 года Новиков-Прибой отдыхает с семьёй в Алуште. Там, в двухэтажном флигеле на берегу моря, собралась дружная компания писателей (Перегудов, Никандров, Ширяев, Низовой) вместе с жёнами и детьми.

Оказалось, что недалеко от Алушты живёт знаменитый прозаик Сергей Николаевич Сергеев-Ценский, которого каждый из друзей Новикова-Прибоя и он сам причисляли к литературным классикам. Всем хотелось познакомиться с известным писателем. Пригласить его в гости откомандировали Николая Никандрова: он, как оказалось, был знаком с Сергеевым-Ценским ещё с дореволюционных времён.

«На следующий день, — пишет в своей книге «Отец, друзья, время» Игорь Новиков, — Сергеев-Ценский был у нас в гостях. Все были покорены его обаянием и за непринуждённой беседой не замечали времени».

Первая же встреча Новикова-Прибоя с Сергеевым-Ценским положила начало их крепкой дружбе, которая длилась, ничем не омрачаясь, до самой смерти Алексея Силыча.

Личность Сергеева-Ценского настолько интересна и масштабна, а роль его в жизни и творчестве Новикова-Прибоя настолько велика, что невозможно, хотя бы коротко, не рассказать об этом человеке.

Начнём с того, что Сергей Николаевич Сергеев был земляком Алексея Силыча Новикова: они оба уроженцы Тамбовской земли. И, вероятно, этот факт сыграл свою роль в том, что уже первая их встреча стала началом большой и искренней дружбы.

Выросший в интеллигентной небогатой семье, Сергей Николаевич Сергеев был преподавателем истории. Но истинным его призванием стала литература. Свои первые рассказы он написал в 1899—1900 годах, когда работал в уездном городе Спасске Рязанской губернии.

Путь в литературу С. Н. Сергеева, присоединившего к своей фамилии псевдоним Ценский (от названия реки Цна, на берегах которой прошло его детство), не был долгим: уже через пять-шесть лет от начала XX века его имя знала вся читающая Россия. Его рассказы, обличающие уродливость и несправедливость существующего социального устройства, вместе с тем проникнутые любовью и нежностью к красоте родной природы, были сразу же замечены и высоко оценены Горьким (именно он первым и назвал Сергеева-Ценского живым классиком). Позднее Сергеев-Ценский станет известен как автор многотомной эпопеи «Преображение России», исторических романов «Севастопольская страда» и «Брусиловский прорыв».

Интересны воспоминания и о Сергееве-Ценском, и о Новикове-Прибое писателя-литературоведа Георгия Степанова, который неоднократно встречался с обоими писателями.

«Сергеев-Ценский, — пишет Г. Степанов, — кое в чём мне очень напоминал старика Болконского из “Войны и мира”. И прежде всего тем, что, несмотря на уединённую жизнь в горах Крыма, вдали от литературы, был в курсе всех событий и политических, и литературных, и живо, остро, страстно переживал их, откликался на всё. Судил обо всём смело, ново, без какого-либо стариковского консерватизма. Да и в семьдесят лет он был молод в самом высоком понятии этого слова. Ничто ему не было чуждо и безразлично. В нём бурно жил страстный, искренний патриот нашей русской советской литературы. Он горячо радовался её успехам и глубоко огорчался неудачами. <...> Подобно орлу, живущему у горных вершин, он из своего алуштинского гнезда зорко глядел в настоящее и, как великий художник, полный сил, пытливой страстной мысли, сохраняя молодость души и вечную свежесть чувств, шагал в ногу со своим веком».

Сергеев-Ценский всегда оставался не только творцом, но и гражданином отечества, которого «никогда не покидал, не терял и без которого не мыслил себя». Соединяя в себе прямоту ума с горячностью сердца, он мог быть суров и категоричен, никому никогда не льстил, был скуп на похвалы, не терпел фальши и лицемерия, негодовал, по словам Степанова, «против кретинообразных догматиков от искусства, которое ему было дорого, как жизнь».

Однажды Новиков-Прибой сказал, что Сергееву-Ценскому незачем спускаться со своей горы в Алуште, где он постоянно проживал, за новыми жизненными впечатлениями. Сергей Николаевич может годами жить в уединении и не испытывать нужды в недостатке тем или сюжетов — настолько велика сила его творческого воображения. На что Сергеев-Ценский ответил: его секрет не в воображении, а в умении «вовремя накопить нужный запас жизненных впечатлений и до поры до времени сохранить в кладовой писателя, то есть в памяти». Он был уверен, что таким умением вполне владеет и Новиков-Прибой.

Авторитет Сергеева-Ценского был для Новикова-Прибоя непререкаем. Но и Сергеев-Ценский, большой, взыскательный художник, искренне любил и саму колоритную личность Алексея Силыча, и его произведения.

Непримиримый, по словам Степанова, к худосочным, блёклым, мертворождённым книгам, ненавидя всё мелкое, лживое, трусливое, лицемерное, Сергеев-Ценский ценил в

литературе ярких, сильных, искренних героев, которые воплощают в себе черты живого человека. Именно таких героев он видел у Новикова-Прибоя, поэтому считал его, несмотря на отдельные недостатки его прозы, интересным и самобытным писателем.

Советуя Георгию Степанову написать о Новикове-Прибое, с которым Степанов был хорошо знаком и с которым немало ездил по стране, Сергей Николаевич говорил: «В Новикове-Прибое довольно живо сочетался бывалый человек с художником слова. К тому же есть что писать о молодости матроса Новикова. <...> ...Новиков-Прибой был не просто матросом, а баталером и общался не только с матросами, но и офицерами. Близость к одним и другим обогащала его. Через офицеров тамбовский парень приобщался к книжной мудрости, а от матросов узнавал яркие жизненные случаи. Баталер Новиков духовно рос не по дням, а по часам. Проследить за его довольно стремительным развитием — любопытно. Ведь к моменту Цусимской трагедии он настолько уже вырос, что сам пришёл к идее написания обстоятельной художественной эпопеи. Немало образованных морских офицеров были свидетелями-участниками разгрома русского флота под Цусимой, однако не они, а он, баталер, оказался создателем огромного исторического полотна. Он стал лучшим историографом, хотя многие офицеры брались за описание настоящего события».

Сергеева-Ценского и Новикова-Прибоя многое объединяло. Кроме того, что они были земляками, они оба участвовали в Русско-японской войне. Взгляды того и другого на причины поражения России в этой войне абсолютно совпадали. Несмотря на колоссальную разницу в воспитании и образовании, они одинаково чувствовали и понимали жизнь, её закономерности и противоречия. Они были истинно народными писателями, и в 1941 году их романы-эпопеи «Севастопольская страда» и «Цусима» были удостоены Сталинской премии.

Сергеев-Ценский высоко ценил роман «Цусима» и неслучайно свои воспоминания о друге уже после того, как его не стало, построил именно на том, как Алексей Силыч работал над этим произведением. Но, обращаясь памятью к знакомству с Новиковым-Прибоем в Алуште в 1928 году, Сергей Николаевич не только выписывает отдельные детали, характеризующие самобытную внешность крестьянина и бывалого моряка, но и рисует яркими, крупными мазками личность в целом. Он вспоминает, что это был человек лет пятидесяти, «низенький, но широкий, с голым лоснящимся черепом, с загорелой, клетчато-морщинистой сельскохозяйственной шеей, с весьма наблюдательными серыми глазами, глядевшими на собеседника в упор

из-под густых получёрных-полуседых бровей. Усы его, тоже густые и тоже полуседые, были опущены вниз концами, и это, в связи с голым черепом, делало его похожим на Тараса Шевченко, хотя был он не украинец, а тамбовец». «Он назвался, — пишет Сергеев-Ценский, — Алексеем Силычем Новиковым-Прибоем, друзья же его звали просто Силыч».

Уже при первой встрече с Силычем Сергеев-Ценский был поражён его талантом рассказчика. Писатели ведь народ себе на уме: они — «ловцы человеков, весь интерес их в том, чтобы не они говорили, а им говорили...». А Силыч производил впечатление человека «настолько переполненного наблюдённым им лично материалом, что он уже не помещался в нём, не мог в нём держаться, выходил, как пар из кипящего самовара». Это был импровизатор, творящий «не столько наедине, в своём кабинете, сколько на людях: говорит, а сам наблюдает, какое действие производит на слушателей его рассказ, и на основании этих-то именно наблюдений соображает про себя, что ему надо добавить, чтобы получилось убедительней, а что и убавить, чтобы не вышло длинным и скучным». Удивительно, что при этом он говорил неторопливо, с паузами, во время которых делал затяжки, куря папиросу за папиросой, — но оторваться или отвлечься от его рассказа хотя бы на минуту было совершенно невозможно.

Какое именно произведение творил Алексей Силыч «на людях» в тот день, который вспоминает Сергеев-Ценский, доподлинно неизвестно. Но не исключено, что это были фрагменты романа «Солёная купель», над которым Новиков-Прибой работал к тому времени почти два года. История создания этого произведения довольно любопытна.

У Алексея Силыча с далёких времён морских скитаний на коммерческих судах был припасён любопытный сюжетец: католический священник в состоянии сильного опьянения (собственно, в бессознательном состоянии) был завербован матросом на торговое судно. И в результате оказался в качестве бесправного раба в море, где ни законов, ни защиты не сыщешь, где остаётся только одно право — выжить, если повезёт.

Из этого сюжета Новиков-Прибой поначалу делает рассказ «Матрос в неволе». Но уже в процессе работы над ним понимает, что сам по себе сюжет, хотя бы и занимательно, с юмором, переданный, — это слишком узко и мало. Уж больно много накопилось впечатлений в те трудные годы. И много нужно было сказать о том, как море (и доктор, и воспитатель, в чём моряк и писатель Новиков-Прибой всегда был уверен) не только заставляет по-иному смотреть на жизнь, но и в корне меняет самого человека.

Таким образом, рассказ сначала вырастает в повесть (автор называет её «В неволе»), но и она преобразуется: роман «Солёная купель» — вот что получается в результате. Очевидно, это был тот самый «роман из морской жизни», о котором Новиков-Прибой писал в 1924 году Рубакину.

Итак, главный герой романа — Себастьян Лутатини, молодой священник из Буэнос-Айреса. Жизнь этого человека из обеспеченной и образованной семьи полна определённости и благообразия. Автор выписывает её любовно-подробно: это часть развёрнутой грандиозной антитезы, которая является несущей конструкцией произведения.

«Вчера утром, после завтрака он по обыкновению был в своём кабинете. Было тихо и уютно. В зеркальные стекла окна заглядывало мартовское солнце. Старинные и новейшие книги в громадных шкафах возбуждали мысль и располагали к работе. Усаживаясь за письменный стол, в кожаное кресло, он мельком взглянул в передний угол, задрапированный малиновым бархатом: на треугольном столике чётко выделялась мраморная фигура любимого святого — Франциска Ассизского. Выше, сияя золотой оправой, висела икона: молящийся Христос в Гефсиманском саду. С киота спускался сиреневый шёлк с вышитыми изречениями из Священного Писания. Пахло ладаном. Горничная Алиса принесла пачку свежих газет на итальянском и испанском языках».

Но, прежде чем читатель увидит Себастьяна Лутатини в собственном благополучном доме, он обнаружит его совсем в другой обстановке: на койке матросского кубрика, о чём несчастный Лутатини не догадывается, да и не может догадаться, ведь он никогда не видел раньше такой «несуразной комнаты», которая «быстро приподнималась, вся вздрагивая, и падала в пропасть», не видел таких круглых окон в стенах, наливающихся «мутно-зелёной влагой».

Борясь с приступами мерзкой тошноты, Лутатини с трудом вспоминает, что с ним произошло накануне. А произошло следующее: после работы в своём кабинете (с работой у него в этот день, правда, не заладилось: проповедь никак не писалась) священник решил прогуляться и по пути заглянул в один из кабаков на окраине города — «Радость моряка». Ему, целеустремлённому мечтателю, движимому благородным порывом спасения заблудших душ, давно хотелось пообщаться с обитателями портовых вертепов, «чтобы развернуть перед ними весь ужас их жизни и показать им другой путь — путь, ведущий к небу».

Когда читаешь дальнейшее повествование, так и видишь хитроватую улыбку Алексея Силыча Новикова-Прибоя. Его

юмор — особенный, ненавязчивый, с лукавинкой — находит себе место в любом, даже самом серьёзном произведении.

Матросы, «дошибая последние деньги», встретили проповедника «хорошо, весело», чего он никак не ожидал. «Они не прочь были послушать беседу о религии, но предварительно начали угощать его с таким радушием, что трудно было отказаться от выпивки. Это сразу расположило его к ним. Лутатини не мог не выпить с ними рюмку-другую ликёра. В этом не было никакого греха. Сам Христос пил в Кане Галилейской».

Что дальше? Дальше — провал памяти. И во время этого провала — о Пресвятая Дева Мария! — Лутатини вместе с этими матросами, да ещё в первых рядах, подписывает кабальный контракт и доставляется в качестве матроса на судно «Орион» с контрабандным грузом. Вот здесь-то и начинается для него ад на земле, точнее, ад на воде.

Физические и моральные испытания, которые были уготованы для Лутатини судьбой, действительно можно сравнить только с муками, которые святая церковь обещала на том свете самым отъявленным грешникам. Неслучайно, подготовив для публикации в первом номере журнала «Октябрь» за 1928 год отрывок из будущего романа, Новиков-Прибой озаглавил его «В преисподней».

Изнеженный Себастьян первым делом попадает в угольщики, потом «дорастает» до кочегара. Каторжный труд по 12 часов — изнурительный, отупляющий, лишающий не только каких-либо человеческих мыслей, но порой и рассудка — сопровождается постоянными издевательствами и насмешками грубой, невежественной команды. Временами Себастьяну кажется, что он не выживет, но Господь поначалу даёт ему силы. А потом, когда он от жары и изнуряющей работы постоянно теряет сознание, посылает ему избавление в лице заклятого врага Карнера, который больше всех издевался над ним — и вдруг уступил ему своё место на верхней палубе, отправившись за него в раскалённую кочегарку.

Надо сказать, что Карнер, хоть и потешался постоянно над священником и его верой, изначально притягивал Лутатини своим жёстким и трезвым взглядом на жизнь.

Здесь необходимо отметить антирелигиозную и антикапиталистическую направленность романа Новикова-Прибоя, который всегда считал литературу действенным и верным средством пропаганды «правильных» идей.

Действие романа происходит в 1917 году, после Февральской революции в России, отголоски которой слышны по всему миру. Доносятся они и до Аргентины, откуда отплыл «Орион». Об этом автор сообщает читателю в тот момент,

когда рассказывает о Лутатини, уютно расположившемся в своём кресле и обозревающем свежие газеты: «...его чрезвычайно взволновала сенсационная новость: в России произошла революция, царское правительство арестовано». В связи с этой новостью священника волнует лишь один вопрос, как это отразится на развёрнутой ещё в 1914 году мировой войне, конца которой пока не было видно. Нет, он не станет к концу романа революционером, но взгляды его на жизнь здорово поменяются. А пока автор обозначает для этого отправную точку.

Позже про Россию и революцию будет говорить Карнер (он родом из Гельсингфорса), мечтающий попасть на родину и всё увидеть своими глазами. И он же станет пропагандистом главной идеи романа: мир капитала не может быть справедливым. «Кто действительно дьяволы?» — спрашивает Карнер Лутатини и сам же отвечает: «Это содержатели кабаков и домов терпимости, хозяева фабрик и заводов, духовенство всех религий. Это они, сами обогащаясь, заставляют людей умирать с голоду, это они устроили мировую бойню».

По отношению к духовенству Карнер, страдающий неизлечимой чахоткой и знающий, что жить ему осталось немного, особенно непримирим, потому что представитель этого самого духовенства оказался рядом, являясь постоянным раздражителем, заставляя высказать всё, что накопилось в душе за многие годы странствий и тяжёлого беспросветного труда.

Звучит в «Солёной купели» и в полной мере выстраданная автором тема протеста против войны — несправедливого и бесчеловечного кровавого действа, вызывающего беспредельную скорбь, негодование, непонимание и неприятие. Об этом особенно ясно говорит нарисованная автором жуткая картина: на поверхности моря качается множество трупов в пробковых спасательных жилетах. Это жертвы немецкой подводной лодки, уничтожившей французский пароход. С ужасом взирают на них моряки с «Ориона», который был уже до этого взорван вместе с контрабандным грузом, видимо, этой же субмариной, а сами они остались в шлюпках посреди океана без надежды на спасение:

«Лутатини смотрел за корму, раскрыв рот, не мигая, безжизненно посеревший, сам похожий на восставшего из гроба. Мертвецы, покачиваясь, отодвигались в дрожащую синь марева. Что это — дьявольское наваждение? Может быть, он бредит? Нет, нет, это страшная действительность, порождённая войной, это только одно из явлений того взаимного истребления, каким уже в продолжение трёх лет занимается обезумевшее человечество».

Не отступает Новиков-Прибой в «Солёной купели» и от своей главной идеи: «море переродит хоть кого».

Приключения на море превращают образцово-показательного священника-католика, далёкого от жизни простых людей, совсем в иного человека. Проводя Себастьяна Лутатини через множество испытаний, автор пристально наблюдает, как меняется его герой и внешне, и внутренне. Проблема перерождения личности, безусловно, является главной в романе «Солёная купель».

Прозрение Лутатини начинается во время шторма, когда стало ясно, что ненавистный ранее «Орион» — по существу, родной дом, который нужно спасать всей командой:

«Лутатини видел, с каким рвением, рискуя свалиться за борт, матросы выполняли работы, точно бились за своё собственное счастье. И сам он делал то же, несмотря на пронизывающий страх перед грозной стихией. Корабль, раньше постылый и ненавистный, теперь вдруг стал милым и дорогим, как самый близкий друг. Лутатини начинал понимать, что вся надежда возлагалась на судно. Только не поломалась бы машина, не оторвало руль, не лопнул бы штуртрос».

Удивительно, что и в этих условиях матросы умудрялись шутить:

«— Какие могут быть грехи за нашим братом?

— Да, всё смоем в солёной купели.

Лутатини нисколько не сердился на них. Ведь они были славные ребята. Сейчас, перед лицом ревущей смерти, им нельзя было не стоять друг за друга. Каждая пара рук, вовремя пущенная в дело, могла спасти от гибели всё судно».

Сцены борьбы за живучесть корабля снова и снова подтверждают: такое мог написать только человек, сам не раз участвовавший в жесточайших схватках со стихией. Силы воображения и книжных знаний явно недостаточно для воссоздания на бумаге эпизодов — ярких, подробных, со множеством деталей морского уклада, будоражащих сознание читателя головокружительно страшной правдивостью.

С Лутатини случается самое ужасное, что может случиться с моряком в шторм: «огромнейшая волна, с седым, завернутым внутрь гребнем», смывает его за борт. Выбраться из клокочущей пучины океана практически невозможно. Но по законам приключенческого жанра спасение приходит откуда ни возьмись: через некоторое время другая, столь же мощная волна закидывает истерзанное и, казалось, безжизненное тело Себастьяна снова на палубу.

С момента чудесного спасения и начинается, как с чистого листа, новая жизнь бывшего католического священника. Если раньше ему казалось, что на судне его окружают «василиски и



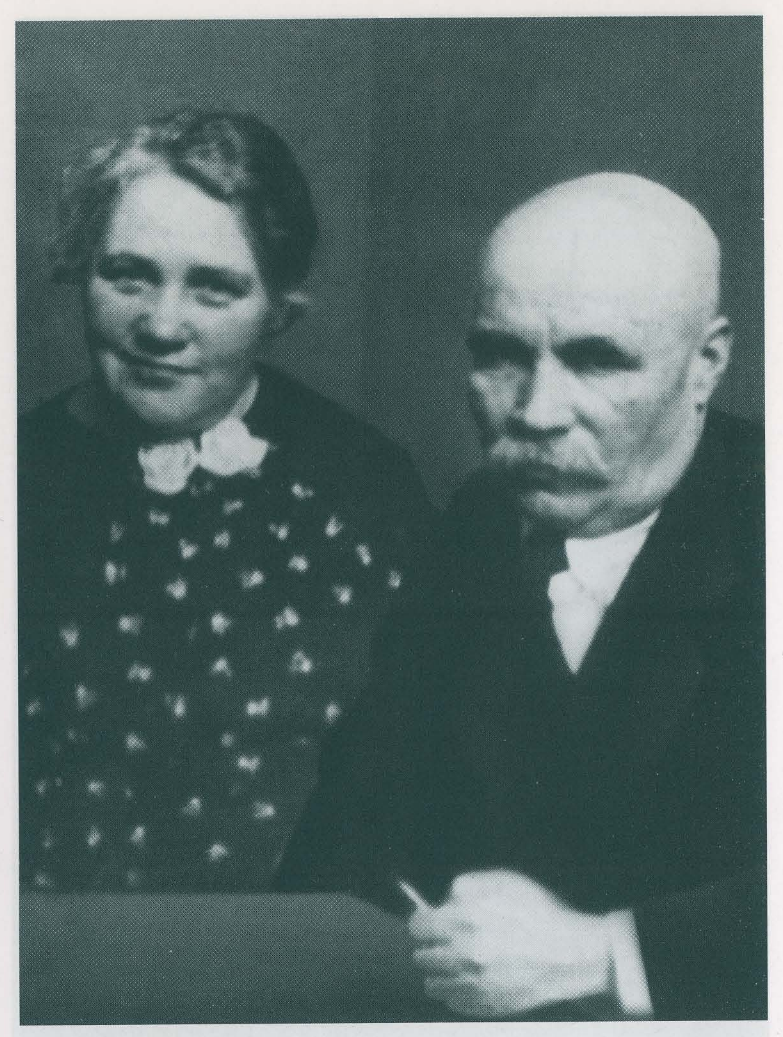
А. С. Новиков-Прибой в своём кабинете. *1940 г.*



А. С. Новиков-Прибой с семьёй
(слева направо – сын Анатолий, дочь Ирина, Алексей Силыч, Мария Людвиговна с внучкой Олей, Игорь, жена Анатолия Нина).
Апрель 1941 г.

В гостиной семьи Новиковых
(слева направо – племянница Алексея Силыча Вера, Мария Людвиговна с дочерью Ириной, Игорь, Алексей Силыч, писатель Н. Никандров).
1938 г.





Мария Людвиговна и Алексей Силыч Новиковы.
1937 г.

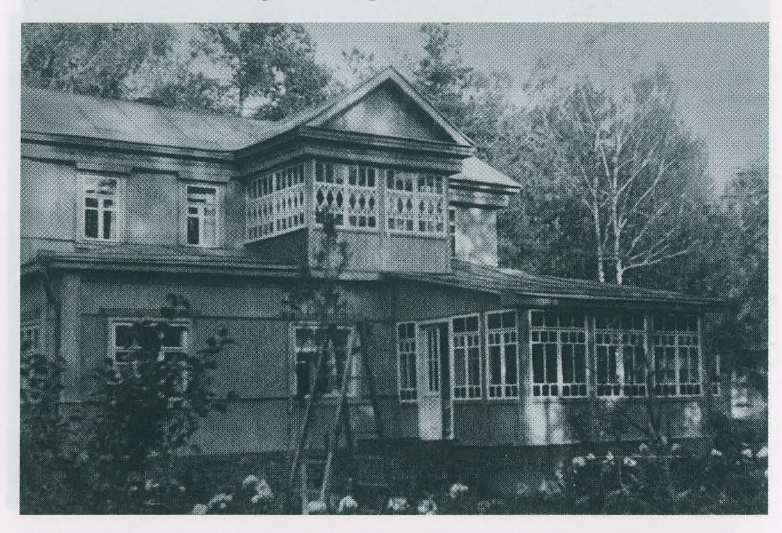


Сын А. С. Новикова-Прибоя –
Анатолий.
Севастополь. 1935 г.



А. С. Новиков-Прибой
с сыном Игорем на даче.
1939 г.

Дача А. С. Новикова-Прибоя в Тарасовке





Дети А. С. Новикова-Прибоя: Анатолий, Игорь, Ирина. *1937 г.*



Открытие памятника
А. С. Новикову-Прибою
на Новодевичьем
кладбище
(слева направо –
Анатолий Алексеевич,
Ирина,
Мария Людвиговна
с внучкой Олей,
Игорь Алексеевич).
1951 г.



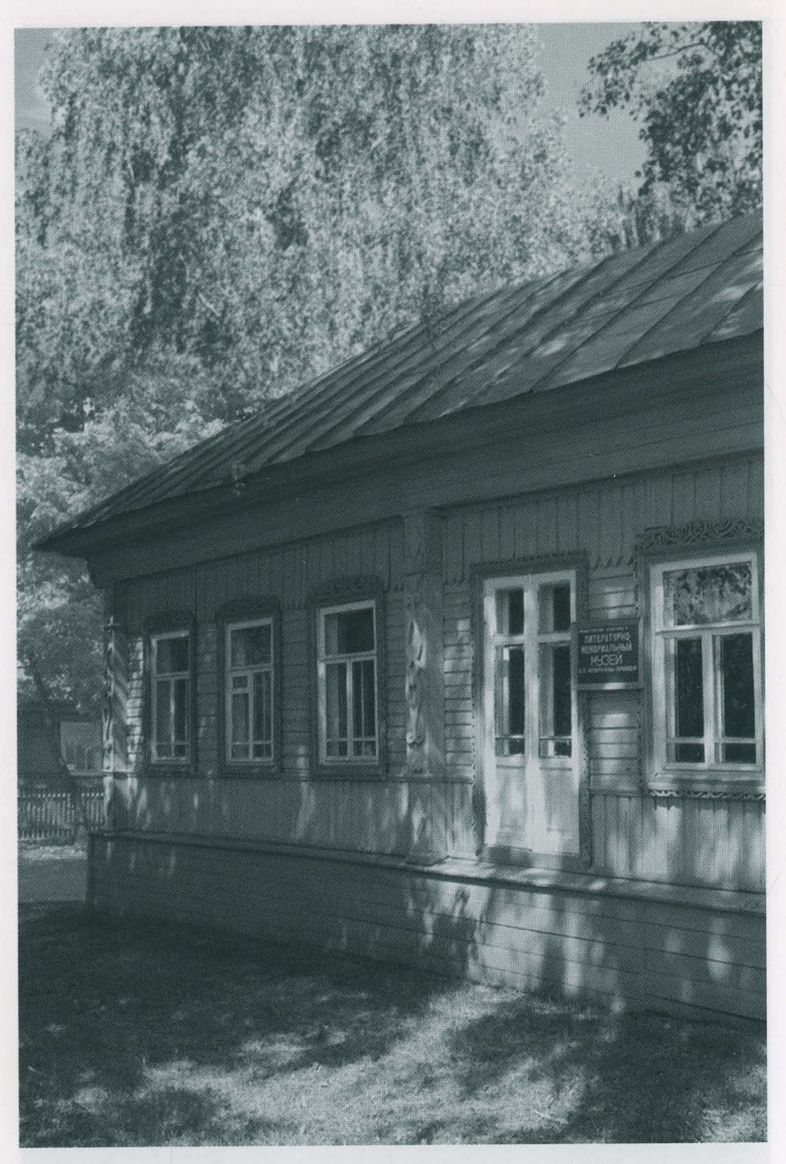
Открытие
мемориальной доски
на доме 5
в Большом Кисловском
переулке, где жил
А. С. Новиков-Прибой.
10 декабря 1956 г.



И. А. Новикова
с капитаном теплохода «Новиков-Прибой» Ю. М. Макарьевым. *2009 г.*

И. А. Новикова с дочерью Марией
и внучкой Сашей на теплоходе «Новиков-Прибой». *2009 г.*





Литературно-мемориальный музей А. С. Новикова-Прибоя
в селе Матвеевское Сасовского района Рязанской области



Основная экспозиция в музее А. С. Новикова-Прибоя.
Село Матвеевское

Комната в доме семьи Новиковых.
Село Матвеевское





Афиша фильма «Капитан первого ранга»,
снятого по одноимённому роману А. С. Новикова-Прибоя в 1958 году

Встреча потомков участников цусимского боя на крейсере «Аврора».
Санкт-Петербург. 2002 г.





И. А. Новикова с дочерью Марией и внучками Машей и Сашей
в доме-музее А. С. Новикова-Прибоя.
Село Матвеевское. 2002 г.



И. А. Новикова с А. Л. Ларионовым, сыном младшего штурмана броненосца «Орёл», в Военно-морском музее на выставке, посвящённой 100-летию со дня Цусимского сражения. *Санкт-Петербург. 25 мая 2005 г.*

Празднование 130-летия со дня рождения А. С. Новикова-Прибоя в селе Матвеевское. *23 марта 2007 г.*

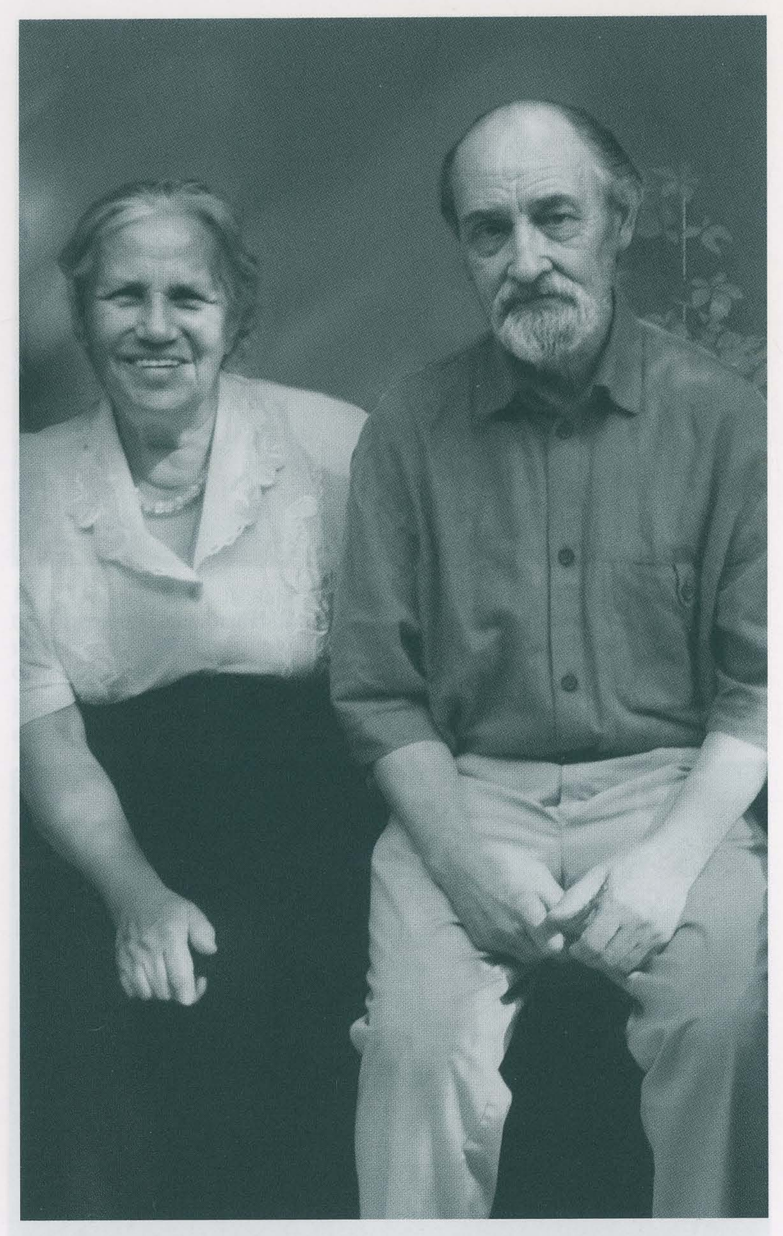




Участники литературного праздника,
посвящённого 130-летию со дня рождения А. С. Новикова-Прибоя.
Рязанская областная библиотека им. Горького. 24 марта 2007 г.

И. А. Новикова среди моряков-рязанцев





И. А. Новикова с мужем А. Н. Стрижёвым в Тарасовке. *2007 г.*

Внук писателя
А. И. Новиков
на набережной
А. С. Новикова-Прибоя
в Москве.
2003 г.



А. И. Новиков
с дочерью Юлией.
2003 г.



И. А. Новикова с правнучкой Таисией. *2011 г.*

аспиды», то теперь он окончательно понимает, что в большинстве своём это «славные ребята». Он узнаёт, что во время шторма погиб угольщик Вранер, который особенно ненавидел Лутатини, как тому казалось. Но, смытый волной, Себастьян видел, что именно Вранер первым бросился ему на помощь. И он задаётся вопросом: «Мог ли он, служитель алтаря, так же рискнуть собою для другого человека, который не был ему ни родственником, ни другом?»

Впервые оказавшись на торговом судне, Лутатини, по существу, смог увидеть здесь модель всего огромного социального организма, существующего на суше. Он понял, что благополучный, придуманный мирок, в котором он раньше жил, — это мизерная часть большой жизни, где много зла и несправедливости.

В спорах о Боге с рулевым Карнером Себастьян неизменно терпел поражение. А ведь когда-то он считал себя хорошим проповедником... И не сразу, конечно, а постепенно, в мучительных сомнениях, гасла его вера «как забытый в поле костёр». И чтобы избавиться от иллюзий, ему нужно непременно стать таким же, как эти простые люди, с которыми он встретился на «Орионе».

После того как «Орион» был подорван немецкой подлодкой и после многодневного болтания в шлюпке без запасов воды команда судна, спасённая французским военным кораблём, попадает наконец на сушу, в Нидерланды. Закончились мытарства главного героя.

И, видимо, окончательно расставшись со своим церковным прошлым, Себастьян Лутатини «исповедуется» в борделе смуглой черноглазой девице по имени Синта:

«...Что такое наша планета? Разве это не сплошной разбойничий вертеп? Бьют, режут, насилуют, грабят друг друга. И тут же торгуют, торгуют всем, чем только можно поживиться, — честью, любовью, святыней. И находятся люди, которые благословляют такой порядок! Можно ли после этого верить в божественное назначение человека? А главное — и сам я, единица, затерявшаяся среди полутора миллиарда людей, мало чем отличаюсь от них».

Как бы ни был Новиков-Прибой озабочен заданной проблематикой романа, он, как всегда, верен себе. Во-первых, лихо закручивает сюжет (читателю должно быть прежде всего интересно, и поэтому в «Солёной купели» есть, например, даже шпионские страсти!). А во-вторых, не забывает о главном — непредсказуемом и изменчивом характере моря, притягательно-прекрасного в хорошем расположении духа и дьявольски опасного и безжалостного в гневе.

Вот перед нами спокойный, умиротворённый океан:

«Погода стояла хорошая. Иногда налетал слабый ветер, бесшумно скользил по светлой поверхности. Океан, оживая на короткое время, поблёскивал серебристой рябью и опять погружался в ленивую дрёму, замкнутый в широкий круг горизонта. Появлялись облака, белопенными островками висели между двумя безднами и медленно таяли».

Вот затишье перед штормом:

«Огромнейшим огненным шаром солнце приблизилось к черте горизонта. Оно не пылало и не сияло, как раньше, а угрюмо тлело, медно-красное, без блеска, без лучей. А когда погрузилось в воды океана, сразу стало темно.

Над мачтами обозначились редкие, едва уловимые красные точки звёзд, словно и для них наступила минута угасания. Безжизненная тишина царила в неподвижном сумраке».

И наконец — яростная и страшная картина взбунтовавшегося океана:

«Не прошло и нескольких секунд, как напряжённая тишина взорвалась, словно от вулканического извержения. Сначала рвануло в верхних частях мачт, а вслед за этим шквал зарылся в зыбучей поверхности океана, окатив мостик хлещущими брызгами. Молния, полыхнув, прорезала синеватым блеском беспредельность мрака, раздались звеняще-трескучие удары грома. И началось месиво из воды, ветра, туч и огня. Всё смешалось в стремительном беге, в бешеной пляске, в клокочущей кутерьме. "Орион" делал невероятные усилия, чтобы продвигаться вперёд среди яростно взвихренного мрака. Качаясь, он черпал бортами многочисленные тонны воды, разливавшейся по палубе бурлящими потоками. Временами, провалившись в пустоту, он на мгновение останавливался, содрогаясь каждой частицей своего железного корпуса, словно теряя прежнее мужество. Но проходили тягостные секунды — он снова взбирался на высоту, потрясаемый от киля до клотика, или, как буйно помешанный, шёл напролом, вонзаясь носом в кипящие горы воды. А на него всё сильнее, всё озлобленнее лезли волны, угрожая снести все верхние надстройки».

Близость «Солёной купели» к авантюрно-приключенческим романам, с одной стороны, была хорошей мишенью для вечно алчущих разборок критиков, с другой — именно она сделала это произведение одним из самых читаемых сразу после выхода в свет. Ну а многочисленные, разнообразные, никогда не повторяющиеся описания морских просторов снова и снова подтверждали: Новиков-Прибой, как писала крити-

ка, — настоящий Айвазовский в литературе, и его словесные пейзажи не менее великолепны, чем известные полотна знаменитого русского художника-мариниста.

Работая над последними главами «Солёной купели», Новиков-Прибой скрывается от московской суеты в маленьком тамбовском городке Усмань.

В Усмань Алексея Силыча пригласил писатель Леонид Николаевич Завадовский.

Писатель Л. Н. Завадовский тоже был родом был из Тамбовской губернии. Тоже в своё время активно занимался революционной деятельностью. Прошёл каторгу. После революции сначала работал в Усмани на руководящих должностях, а потом преподавал в школе рисование. В это время и начал писать, преимущественно о крестьянстве, о Сибири, о таёжных нравах. В 1937 году Завадовский был оклеветан и арестован, а в 1938-м — расстрелян.

Возвращаясь в 1928 год, читаем в письме Новикова-Прибоя Н. В. Трухановой от 26 июня про жизнь в Усмани: «Здесь тихо и никто не тревожит на разные заседания».

Но уже в июле Алексей Силыч уезжает в Москву. И тут уж «разных заседаний» было не избежать. В те годы очень любили всякого рода сходки, а уж в литературной среде они были особенно популярны: нужно было не сбиться с курса. Кому-то это удавалось, кого-то подводили чутьё или излишняя принципиальность... Сориентироваться было, прямо скажем, непросто.

Но главная забота Алексея Силыча в это время — дописать роман «Солёная купель». Тем более что в мае случилось важнейшее в жизни Новикова-Прибоя событие, которое на долгие годы вытеснит из неё все не имеющие отношения к этому событию писательские намерения.

В ноябре 1928 года Новиков-Прибой и Борис Пильняк едут в Кронштадт, а оттуда на пароходе «Рудзутак» отправляются в двухнедельное путешествие в Англию с заходом в Гамбург. Литературной работой во время этой поездки Алексей Силыч не занимался. Но каждый вечер выступал перед командой парохода: с большим успехом читал свою «Солёную купель».

К концу 1920-х годов Новиков-Прибой уже не просто известный, а один из самых читаемых в СССР писателей. Его популярность подтверждается не только огромными тиражами, которые хорошо раскупаются, но и обилием критических публикаций как сторонников, так и противников писателя.

В статье «По морям, морям, морям» (Печать и революция. 1928. № 8) некто С. Обручев по поводу вышедшего в свет первого тома собрания сочинений Новикова-Прибоя, в который вошли уже неоднократно изданные морские рассказы, высказался весьма негативно. Критикуя маринистику вообще (начиная со Станюковича с его «сентиментальным идеализмом» и «раскаивающимися интеллигентами в образе морских офицеров»), Обручев отмечает у Новикова-Прибоя и излишнюю идеализацию матросов, и любовь к избитым образам и эпитетам, и слабую выраженность «приключенческой линии». Ничего положительного автор статьи в морских рассказах Новикова-Прибоя не нашёл, отметив лишь, что они выходят уже пятым (!) изданием.

С Обручевым спорит переводчица и писательница Лидия Тоом, которая в этом же 1928 году пишет в журнале «Красная новь» (№ 10), что произведения Новикова-Прибоя настолько густо насыщены опаснейшими приключениями, что «какой-нибудь европейский или американский мастер приключенчества из одного произведения нашего писателя выкроил бы несколько».

Говоря о том, что Новиков-Прибой, по мнению некоторых критиков, мало занимается социальными темами, мало пишет о революциях, Тоом считает, что ни в коем случае нельзя умалять значение творчества этого писателя.

«Новиков-Прибой, — утверждает критик, — почти единственный и первый открывает в русской литературе страницу полнокровно-действенной, эмоционально насыщенной литературы приключенчества в лучшем смысле этого слова. В его любви к здоровому, бурному приключенчеству несомненно находит выражение — бодрость, энергия и любовь к жизни пролетариата, из среды которого он вышел и под влиянием которого вырос. Поэтому пожелаем ему и дальше продолжать отвоёвывать нашего пролетарского читателя от полухалтурной переводной приключенческой литературы».

В начале 1929 года «Солёная купель» выйдет массовым тиражом в «Роман-газете». Успех будет грандиозным. А вот оценка Горького — увы... И хотя мнение Алексея Максимовича будет высказано в частном письме, оно дойдёт и до Новикова-Прибоя.

М. Горький в письме Ф. Гладкову от 25 апреля 1929 года писал: «“Солёная купель” Новикова [Прибоя] очень напоминает перевод плохого английского романа. Новикова я не люблю читать, это — литературный мастеровой; ремесло, избранное им, нимало не волнует его, равнодушный к нему; он почти не совершенствуется в нём и, хотя выработал некото-

рую ловкость, всё-таки пишет таким языком: “И не волны, а злые духи, наряжённые в бел. плащи, с гулом и шипением вкатывались на палубу”. Вот эти “духи в плащах”, и многое прочее в таком же роде, и делает сочинение Новикова похожим на дешёвый английский роман».

Первые попытки защитить всенародно любимого писателя от во многом несправедливой критики Горького сделает в будущем В. Красильников. «Горький был не прав, — напишет он. — Лучше сказать: он был прав лишь отчасти — прав в той степени, в какой Новиков-Прибой давал основания для упрёков. Но раздражение, вызванное отдельными проявлениями недостаточно высокой культуры, по-видимому, помешало Алексею Максимовичу оценить несомненный рост одного из его талантливейших учеников, помешало заметить всё то сильное, настоящее, полнокровное, что было в повестях и рассказах Новикова-Прибоя...» Но всё это будет сказано только в 1966 году. И остаётся только сожалеть, что при жизни Новиков-Прибой не услышал этих слов, в то время как критические замечания Горького больно ранили самолюбие писателя, которого народ любил ничуть не меньше, чем самого Алексея Максимовича.

Серьёзную моральную поддержку Новикову-Прибою по-прежнему оказывают письма Рубакина. Вот фрагмент одного из них, написанного 7 мая 1928 года:

«Дорогой Алексей Силыч! Пожалуйста, по получении этого письма, не теряя времени, пришлите нам Ваши новые, оригинальные, в том числе и детские книжки, вышедшие в 1927 г. первым изданием. Я по “книжной летописи” записал их в число кандидаток на помещение в “Международный список наиболее выдающихся русских книг, вышедших в СССР в 1927 г.”».

В этом же письме Рубакин сообщает: «Наша Секция ныне преобразована в “Международный институт библиопсихологии”. Я по-прежнему его директор».

15 мая Новиков-Прибой отвечает:

«Дорогой Николай Александрович! Посылаю Вам 5 томов собрания сочинений и отдельные книжки. Приложил также книгу с критическими статьями о себе и книгу “Что читают взрослые рабочие из современной беллетристики”». (Полное название «Что читают взрослые рабочие и служащие из современной беллетристики». — *Л. А.*)

На двух книгах из собрания сочинений автор сделал дарственные надписи. Вот одна из них: «Человеку, на книгах которого просвещались миллионы...»

В ответ на присланные Новиковым-Прибоем книги его первого собрания сочинений Николай Александрович пишет: «...Смотрю на лежащие передо мной на рабочем столе Ваши произведения и искренне радуюсь. Наконец-то и Вам удалось выбраться из узких и опасных фиордов литературных исканий в широкое, свободное море свободного творчества. Поздравляю Вас самым энергичным образом...»

Отмечая в этом письме, что от произведений Новикова-Прибоя «веет морской свежестью», Рубакин говорит, что надо сделать Алексея Силыча «известным и на Западе». Однако уже через несколько лет Николай Александрович станет свидетелем того, как новиковская «Цусима» сама, без чьей-либо помощи, проложит себе путь к читателям и Запада, и Востока, будучи переведённой на многие языки мира.

КТО НАПИСАЛ «ЦУСИМУ»?

Главной книгой Алексея Силыча Новикова-Прибоя, его любимым детищем, его поистине звёздным часом стал, как известно, роман «Цусима», создание которого потребовало от автора, пожалуй, не меньшего мужества, чем то, которое проявили русские моряки в сражении с японским флотом. Многолетняя история создания произведения сложна и драматична, полна ярких, острых коллизий.

Работу А. С. Новикова-Прибоя над романом-эпопеей можно разделить на три этапа: 1905—1914 годы, когда по свежим впечатлениям были написаны отдельные очерки и рассказы, ставшие своеобразными этюдами к будущему масштабному повествованию; 1928—1932 годы, когда была создана первая книга — «Поход»; и, наконец, третий этап — с 1934 по 1941 год, в этот период в результате включения многих дополнительных глав и тщательной стилистической переработки был создан окончательный вариант «Цусимы». Все эти годы были наполнены не только кропотливым, упорным трудом, но и победами над обстоятельствами, которые поначалу могли показаться непреодолимыми.

Вернёмся к этим обстоятельствам.

Подробнейшие сведения обо всех кораблях, участвовавших в Цусимском сражении, обо всех обстоятельствах боя, которые баталер броненосца «Орёл» Новиков собирал в японском плену, были, как мы помним, сожжены. Однако будущий писатель не оставил идеи собрать все сведения о походе и гибели русской эскадры и начал по памяти восстанавливать погибший материал. Во многом это удалось, потому что память у него была уникальной.

По возвращении из плена, провезя бумаги через всю Россию, Алексей Силыч передал их в Матвеевском на хранение старшему брату Сильвестру, который всё тщательно спрятал.

Спасаясь от преследований властей, Новиков уезжает сначала в Петербург, а позже в трюме торгового судна «по-тёмному» покидает Россию.

Когда через несколько лет Алексей Силыч вернулся в Матвеевское, его ждал новый удар: материалы о Цусиме были утеряны. Лишь в мае 1928 года (через 22 года!) его племянник, перебирая старые колоды ульев, нашёл в одной из них связку бумаг. Так весь цусимский материал вернулся к автору. Началась работа над давно задуманным романом.

Историю про старую пчелиную колоду читатель узнаёт из предисловия к «Цусиме», и она потом многократно повторяется во всех книгах и статьях, посвящённых жизни и творчеству писателя.

Но есть ещё одна версия того, почему Новиков-Прибой приступил к работе над романом именно в 1928 году.

В книге В. В. Богданова и С. В. Ларионова «Почувствовать себя русским» (Санкт-Петербург: Алетейя, 2007) в статье «Второй “бой” за “Цусиму”», без ссылок на какие-либо авторитетные источники (правда, у статьи есть странный и таинственный подзаголовок: «По материалам Елены Сакс» — кто это такая, установить пока не удалось), не очень внятно, рассказывается о том, что Новиков-Прибой при написании «Цусимы» использовал дневники В. П. Костенко. И поэтому, пишут Богданов с Ларионовым, «многие (опять же не ясно, кто эти «многие». — *Л. А.*) выступают за то, чтобы при переиздании книги “Цусима” значилось две фамилии». Итак, сначала авторы предлагают записать в соавторы к Новикову-Прибою В. П. Костенко, а затем, говоря о Костенко, увлекаясь, заявляют: «О нём никто ничего не знал, читателям было неизвестно, что “Цусима” — его труд».

Попытаемся разобраться. Использовал ли Новиков-Прибой записи Костенко? Да, использовал. Но это не даёт оснований объявлять, что Новиков-Прибой не является автором «Цусимы». Подробно и гораздо более достоверно пишет об этом доктор исторических наук Д. В. Лихарев[1]:

«В конце 1960-х — начале 70-х гг. аспирантка Белгородского государственного педагогического института О. И. Осыкова, исследовавшая творчество А. С. Новикова-Прибоя, сделала любопытное открытие: “Важно отметить то обстоятельство, что, когда Новиков-Прибой приступил к работе над ‘Цусимой’, Костенко уже подготовил для публикации свои дневники ‘В бездну Цусимы. Воспоминания моряка’ (1928 г.)... При сравнении отдельных дневниковых записей Костенко со страницами ‘Цусимы’ Новикова-Прибоя бросается в глаза не только фактическая, но и текстовая стилистическая перекличка, ‘похо-

---

[1] *Лихарев Д. В.* Как создавалась «Цусима» А. С. Новикова-Прибоя // Россия и АТР. 2008. № 1.

жесть'. Однако до сих пор нет работ, посвященных выяснению роли дневников Костенко в истории создания 'Цусимы'"».

Причины этой «похожести» выяснились лишь относительно недавно, после публикации в альманахе «Цитадель» воспоминаний дочери В. П. Костенко Натальи Владимировны. Н. В. Костенко пишет, что после ареста В. П. Костенко в 1928 году и вынесения ему сурового приговора А. С. Новиков-Прибой обратился к его второй жене Ксении Александровне с предложением продать ему рукопись о Цусиме. Во время свидания в тюрьме Владимир Полиевктович, не чувствуя проблеска в своей судьбе, дал на это согласие. К. А. Костенко, оставшаяся с малолетним сыном и весьма ограниченная в средствах, воспользовалась выгодным предложением Новикова-Прибоя.

Д. В. Лихарев цитирует слова дочери В. П. Костенко: «А. С. Новикова-Прибоя никак нельзя упрекнуть в непорядочности по отношению к Владимиру Полиевктовичу: он сделал его героем своей исторической эпопеи (под псевдонимом инженера Васильева). Также нельзя поставить Новикову-Прибою в вину версию о находке дневников, начатых в японском плену, в деревне, у брата в улье. Наверное, тогда такой вариант судьбы дневников Костенко был наилучшим. Они не пропали и не оказались в случайных руках».

Но «версия», по словам Н. В. Костенко, о находке записей самого Новикова-Прибоя не является вымыслом. Д. В. Лихарев, задаваясь вопросом, существовали ли материалы, собранные самим А. С. Новиковым-Прибоем в японском плену, готов ответить утвердительно. Он пишет: «Близкий друг А. С. Новикова-Прибоя писатель А. В. Перегудов, написавший книгу воспоминаний о своём собрате по перу, утверждал, что лично присутствовал в тот момент, когда племянник героя Цусимы передавал своему дяде связку пыльных и пожелтевших бумаг, найденных в старом улье: "В комнату вошёл Иван Сильвестрович, держа в руках бумажный свёрток, перевязанный мочалкой. Протягивая свёрток Силычу и чуть-чуть лукаво улыбаясь, он сказал:

— Вот, дядя, посмотри. Может быть, пригодится.

Новиков-Прибой разговаривал с Елизаветой Феоктистовной. Он бросил рассеянный взгляд на свёрток и вдруг внезапно замолчал, резко отодвинул чашку с чаем и бережно принял свёрток. На его лице сначала отразилось изумление, потом лицо стало необычно строгим, затем на нём что-то дрогнуло, детски радостная улыбка тронула губы и затеплилась в слегка прищуренных глазах. Он разорвал мочалку и, перебирая пожелтевшие старые бумаги, спросил Ивана Сильвестровича:

— Где? Где ты это нашёл?

Иван Сильвестрович пришёл к столу и рассказал, что сегодня утром он перебирал старые колоды ульев, много лет лежавшие под стеной бани, и в одной из колод обнаружил эту связку бумаг"».

Однако далее в мемуарах Перегудова есть одно существенное замечание, которое многое объясняет: «Новиков-Прибой хотел сначала написать небольшую повесть, в которой выдуманные герои действовали бы в исторически верной обстановке. Записки, найденные в улье, не давали материала для такой повести, и Алексей Силыч начал собирать всё, что было написано о русско-японской войне». Недостающий материал, которого «хватило» для грандиозного романа-эпопеи, А. С. Новиков-Прибой нашёл в приобретённых им дневниках В. П. Костенко.

Итак, скорее всего в истории, рассказанной Новиковым-Прибоем, сошлись две правды, одну из которых он огласить не мог.

Первая: племянник действительно обнаружил записи, сделанные самим Алексеем Новиковым в японском плену, в старой пчелиной колоде в 1928 году.

Вторая: именно в 1928 году, когда Костенко арестовали, его дневник по доброй воле самого Владимира Полиевктовича попадает к Новикову-Прибою. Говорить о том, что он использует дневник «врага народа», на месте Новикова-Прибоя никто бы не смог, это абсолютно ясно.

Действительно, именно записки Костенко дали толчок к созданию «Цусимы». (Не случайно в поздних редакциях романа автор напишет, что без воспоминаний инженера Васильева (его прототипом и был В. П. Костенко) не было бы этой книги.) В этом нет ничего ни странного, ни предосудительного. В руки писателя попадает бесценный материал по теме, к которой он давно примеривается, — это вспышка, молния, сигнал: вот оно!

То, что у Новикова-Прибоя было наработано многое до дневников Костенко, — не вызывает никаких сомнений. Его очерки о Цусимском сражении, опубликованные по горячим следам, это абсолютно подтверждают. Не будем также забывать, что к тому моменту, когда к Новикову-Прибою попадают дневники Костенко, он не просто человек, владеющий пером, а уже довольно известный писатель. И попытки обвинить его в плагиате абсолютно беспочвенны.

Да, он использовал записи Костенко (который понимал, что самому ему, возможно, уже не придётся написать о Цусиме), как используют любые другие исторические и художест-

венные источники при написании подобной книги. Не даёт ссылок? Это не диссертация и не монография, а художественное произведение.

Вопрос об авторстве «Цусимы», очевидно, возникал ещё в то время, когда была опубликована последняя редакция «Цусимы». Об этом читаем в письме В. П. Костенко Е. А. Воронецкой от 13 февраля 1941 года. Там же находим и однозначный ответ на этот вопрос. Итак, Владимир Полиевктович пишет:

«...я не был литературным секретарём Новикова-Прибоя и не собирал для него материалов. Я в плавании вёл дневник, который у меня сохранился. Мне не удалось его издать, и я предоставил его в качестве материала своему другу Новикову-Прибою, с которым поддерживаю тесную связь до настоящего времени. Новикову я со своей стороны давал некоторые советы и указания, касающиеся технических вопросов. Но автором романа вполне самостоятельным является сам Новиков-Прибой».

Как работал Алексей Силыч над главной книгой своей жизни?

Игорь Новиков, сын писателя, в воспоминаниях об отце пишет: «...на подоконнике, письменном столе, стульях и просто на полу стояли стопки книг, переплетённые комплекты журналов “Нива” и иллюстрированного приложения “Русско-японская война” к газете “Русь” за 1904—1905 годы, “Настольный календарь на 1904 год”, изданный Сувориным... Здесь же в известном лишь одному отцу порядке разместились книги по мировой лоции, отдельные номера газеты того периода “Новое время”, различные географические квоты, схемы, фотографии, открытки и описания военных кораблей японского флота и русской 2-й Тихоокеанской эскадры, многочисленные документы правительственной следственной комиссии и “Объяснительная записка” о цусимской катастрофе контр-адмирала Небогатова, книги Владимира Семёнова, вырезки из иностранной прессы и даже лубочные картинки и плакаты с примитивными изображениями победоносного русского воина и “забитых шапками” японских солдат. Всё это помогало отцу воссоздать сложную международную и политическую обстановку далёкой эпохи, а также историческую правду о русско-японской войне».

Работая над «Цусимой», Алексей Силыч часто наведывался в Малеевку. В начале января 1930 года компанию ему составили П. Г. Низовой, старший сын Анатолий и его друг Борис Неверов.

В Малеевке, как и в Москве, Алексей Силыч вставал не

позднее шести часов утра и сразу садился за работу, обычно начиная с того, что правил написанное накануне. Работа длилась, с перерывом на обед и прогулку, до вечера. Алексей Силыч писал в день по пять-шесть страниц, а вечером обычно читал вслух написанное.

Вспоминая об этой поездке, Б. Неверов-Скобелев пишет, что чем больше он общался с отцом своего друга и другом своего отца, тем больше убеждался в том, какой это удивительно простой и хороший человек: «Говорят, что у каждого есть какие-то недостатки, но у него, по моему глубокому убеждению, их не было.

Как-то я спросил Алексея Силыча, что он больше всего любит в жизни, и он ответил мне:

— Человека люблю и его добрые дела во имя счастья знакомых и незнакомых для него людей...»

О своих собратьях по перу он чаще всего отзывался с теплотой и восторгом. Искренне ценил произведения отца Бориса, о ранней смерти которого глубоко печалился всю свою жизнь.

Алексей Силыч радовался, когда в литературе появлялось имя молодого, способного автора, особенно если он писал о море. С восторгом он принял «Капитальный ремонт» Леонида Соболева, с нетерпением ждал продолжения романа.

В январе — феврале 1930 года Алексей Силыч побывал в гостях у боцмана Воеводина на Рязанщине, в селе Собчаково (ныне — Сапожковский район Рязанской области).

Вместе с Воеводиным возвратились они в 1906 году из японского плена и, обменявшись адресами, распрощались. Распрощались, как оказалось, надолго: почти на четверть века. Почтовая связь наладилась несколько раньше. Письмо Воеводина нашло уже известного писателя в 1926 году. Началась переписка.

Когда в 1928 году Новиков-Прибой вернулся к работе над давно задуманной «Цусимой», одним из первых, кому он отправил письмо с просьбой поделиться своими воспоминаниями о походе 2-й Тихоокеанской эскадры и печально знаменитом сражении, стал Максим Иванович Воеводин.

Максим Иванович отнёсся к просьбе друга-писателя очень серьёзно и довольно скоро отправил в Москву свою рукопись вместе с деревенскими гостинцами. Новиков-Прибой сразу же откликнулся открыткой:

«Дорогой Максим Иванович!

Большое Вам спасибо за гостинец. Очень жаль, что не могу к Вам попасть в село. Подсобрал бы я там литературный материал. Рано или поздно, а всё-таки приеду я к Вам. Если бу-

дете в Москве, обязательно заходите ко мне. Буду очень рад повидаться с Вами. Скоро у меня выйдет новый морской роман “Солёная купель”. Вышлю Вам немедленно. Спасибо за рукопись о Цусимском бое. Воспользуюсь ею обязательно.

Жму руку.

А. Новиков-Прибой.

24.XII — 1928».

И вот снежным морозным январём 1930 года Новиков-Прибой отправился в Собчаково. Он провёл здесь несколько недель, продолжая писать новые и редактируя уже написанные главы будущего романа. Долгие разговоры с Воеводиным более чем способствовали этому. Память у Максима Ивановича, по воспоминаниям его сына Константина, была очень хорошей. И бывший боцман броненосца «Орёл», возглавивший во время боя команду трюмно-пожарного дивизиона, подробно рассказывал, что происходило на верхней палубе и в трюмах корабля, как ложились неприятельские снаряды, как гибли люди и корабли.

Рассказал Воеводин и о том, как в начале 1908 года приехали к ним в село жандармы и допытывались, известно ли ему, кто такой матрос Затёртый и где его можно найти. Псевдоним «Затёртый» Воеводину был знаком, поскольку именно на эту фамилию он отправлял другу несколько писем в Финляндию. Причину же этого давнего происшествия объяснил ему теперь сам Алексей Силыч. После нелегального выхода в 1907 году очерка «Безумцы и бесплодные жертвы», подписанного А. Затёртым, книга была срочно конфискована и изъята из продажи. И поиски её неблагонадёжного автора начались с допросов всех тех, кто был назван в очерке. Но, как нам уже известно, действия жандармов не увенчались успехом: автора обнаружить не удалось.

О судьбе Максима Ивановича Воеводина стоит сказать отдельно. После освобождения из японского плена он был, как и большинство участников Цусимского сражения, награждён Георгиевским крестом, медалями, серебряной позолоченной чаркой и значительной суммой денег. По возвращении на родину он трудился в своём крестьянском хозяйстве, но в 1930-е годы был раскулачен. При этом у него забрали не только позолоченную чарку, но и все боевые награды. Зная, что его должны арестовать, он тайком покидает село, отправляется в Москву, где какое-то время работает извозчиком. Туда постепенно перебираются пятеро его сыновей. Максим Иванович был частым и желанным гостем в доме Новиковых.

Избежать ареста боцману Воеводину, однако, не удалось. Попытки Новикова-Прибоя заступиться за друга были безре-

зультатны. Воеводин умер в июле 1942 года в заключении. Алексей Силыч тяжело переживал утрату, как и вообще тяжело переживал то, что любой человек в те времена мог в одночасье оказаться «врагом народа». Из его окружения в их число попал не один десяток людей. Понимая всю абсурдность происходящего, Алексей Силыч всё равно истово верил Сталину и, как многие, полагал, что во всём виновато сталинское окружение, обманывающее вождя.

В марте 1930 года, несмотря на огромную загруженность, но очень беспокоясь о ситуации, сложившейся в его родном Матвеевском, Алексей Силыч обратился с письмом к «всесоюзному старосте» Калинину.

Прочитаем внимательно это любопытное свидетельство эпохи.

Автор, вернувшись к канцелярскому стилю, который когда-то был им вполне освоен, пытается быть объективным и беспристрастным. Но неудержимо прорываются эмоции. И, пожалуй, было бы странно, если бы Силыч, говоря о бесчинствах в родном селе и бедах односельчан, оставался спокойным и гладким, как море в штиль. Штормит его душу, штормит, и никакой канцелярщиной этого не скрыть.

«Председателю ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет СССР, формально — высший орган государственной власти. — *Л. А.*) товарищу Михаилу Ивановичу Калинину

Члена общества Пролетарских писателей "Кузница"... — А. С. Новикова-Прибой

Заявление.

За последнее время в газетах появилось много статей о всяких перегибах на местах в проведении политики колхозов и раскулачивания. Прежде чем перейти к сути моей просьбы, разрешите и мне немного приподнять завесу того, что творится у меня на родине — в селе Матвеевском, только что перешедшем в Сасовский РИК (районный исполнительный комитет. — *Л. А.*) Рязанского округа. Я буду откровенен.

Насколько мне удалось выяснить из бесед с крестьянами, в сельсовет попали люди, совсем не подходящие для своей роли: пьяницы, взяточники, а женщины плюс ко всем качествам — самогонщицы. Они проводили раскулачивание под лозунгом: "Наша власть, а потому, что хотим, то и делаем". И началось рвачество. Брали у крестьян при раскулачивании не только скотину и орудия производства, но и всё, что только можно взять: одежду, подушку, сапоги, детское бельё, табуретки, стенные календари, кухонную посуду, вёдра, корыта, кадушки, яблоки сушёные и т. д. Были случаи, когда брали ико-

ны и, кстати сказать, тут же делили между бедняцкими активистами, а те их ставили у себя на божницах. При изъятии вещей не выдавали хозяину никаких квитанций, не оставляли после себя никаких письменных следов. А потому большая часть конфискованного добра расползлась по частным рукам, попадая председателю и членам сельсовета и уполномоченному РИКа. По ночам, собравшись у какой-нибудь активистки, эти, по словам крестьян, урядники от революции пьянствуют, закусывают жареной солянкой, а в заключение занимаются развратом. О всех таких проделках местной горе-власти знают крестьяне. Вот где сеется настоящая контрреволюция.

Кто же такие кулаки, на которых обрушилось такое бедствие? Один крестьянин-трудовик, Иван Моханов, никогда не занимавшийся торговлей, имеющий восемь малолетних детей, теперь раскулачен, стал лишенцем. («Лишенцами» называли тех, кто был лишён избирательных прав за «неправильное» социальное происхождение или за «излишки», чаще всего заработанные непосильным трудом членами всей семьи. — *Л. А.*) Он провинился тем, что когда-то обидел на словах председателя Гришкова, — личные счёты. Раскулачили также одного 80-летнего старика, Дмитрия Попова, вспомнив, что лет 40 тому назад он был старшиною. Старик этот не имел никакой скотины, на себе возил из лесу дрова, побирушка, ходил по чужим дворам, выпрашивая картошки поесть.

Лишили голоса и моего родного племянника, Ивана Сильвестровича Новикова. Он шесть лет добровольно прослужил в Красной Армии. У него взяли всё до последних сапог включительно, взяли даже кроликов, которых подарил ему я. Все данные о нём изложены в моём письме, адресованном в Зубовский РИК, от которого, к сожалению, я не получил ответа.

А теперь в селе Матвеевском арестовано 16 человек, в том числе и мой племянник Иван Новиков.

Обстоятельства, которые предшествовали этому случаю, были таковы. 2-го сего марта, в субботу на масленой неделе, около полудня в селе Матвеевском произошёл пожар. Загорелся двор одного крестьянина, потом огонь перекинулся на другую сторону улицы, на дом председателя Гришкова. Крестьяне кинулись тушить его дом, но он не допустил их и не позволил вытаскивать добро. Нетрудно догадаться, в чём тут дело: могла бы обнаружиться вся его роль в раскулачивании других. На второй день Гришков вытребовал из города Сасово отряд красноармейцев. А к вечеру этот отряд в 21 человек, вооружённых винтовками и пулемётами, уже явился в село Матвеевское усмирять бунт, которого там не было. Этим самым только навели ненужную панику на крестьян и взяли из них

16 человек, которые в настоящее время находятся в Рязанском исправдоме. В проведении всей этой преступной политики гр-на Гришкова и его сподвижников помогал уполномоченный РИКа, некий гр-н Каретников.

На основании вышеизложенного прошу Вас, т. Калинин, как председателя ВЦИКа сделать распоряжение произвести самое строгое расследование в селе Матвеевском. Это послужит только на пользу в смысле раскрытия истинных виновников уголовных преступлений и в смысле поднятия авторитета советской власти.

За своего племянника Ивана Новикова я, пролетарский писатель, ручаюсь, что он вполне свой человек и что он страдает совершенно невинно, а потому прошу Вас оградить его, пока не будет произведено окончательного расследования, от ещё более худших последствий. Если потребуется, то за него могут поручиться и другие писатели, хорошо знающие его в течение нескольких лет.

А. Новиков-Прибой. 14/III-30 г.

Мой адрес: Москва, Б. Кисловский пер. д. 5, кв. 10-а».

По распоряжению Калинина была создана комиссия для проверки этого письма. Было изучено положение в Сасовском районе Рязанского округа Московской области. Вот выдержки из резолюции этой комиссии:

«Пичкиряевский сельсовет.

В январе месяце с. г. на общем собрании гр-н села Пичкиряева по докладу уполномоченного Облисполкома тов. Фенькина было вынесено решение о коллективном вступлении в сельскохозяйственную артель. Из выступлений на пленуме сельского совета с бедняцко-середняцким архивом выяснилось, что это решение было принято в результате заявления тов. Фенькина, что "кто не войдёт в колхоз, будем отбирать скот и сводить на общий скотный двор".

Всего в селе Пичкиряеве 618 хозяйств, в настоящее время в колхозе состоит всего 156 хозяйств, отлив продолжается.

Ликвидация кулачества производилась путём непосильного обложения на тракторизацию (от 300 до 1000 рублей). С требованием выполнения в 24 часа. У ликвидируемых хозяйств отбиралось всё имущество, включительно до портянок и фотографий. Описи имущества владельцам последнего не выдавалось, что вело к злоупотреблению. По заявлению крестьян на пленуме сельсовета, бывший председатель сельсовета Цуцурев увёз к себе на родину до двух возов имущества, отобранного им у раскулаченных.

Матвеевский сельсовет.

На общем собрании граждан села Матвеевского 11-го фев-

раля с. г.... была принята резолюция об коллективном вступлении в коммуну "Свобода". Резолюция кончается словами: "Кто не войдёт в коммуну, является чуждым элементом совласти и партии". На 24-е марта в коммуне осталось всего 28 % хозяйств... Отлив продолжается.

Раскулачивание и лишение избирательных прав проводилось с полным нарушением директив правительства. Устанавливались проценты. Раскулачивание проводилось путём непосильного обложения картофелезаготовками и на тракторизацию. Отбиралось абсолютно всё имущество включительно до икон. Описи имущества владельцам последнего не выдавалось... Имущество сдавалось в коммуну "Свобода", но отдельные вещи отдавались "бедняцким активистам" и брались членами сельсовета, председатель взял себе без расписки кровать и перину. Раскулачено 15 хозяйств.

Комиссия предложила Матвеевскому сельсовету возвратить имущество и живой и мёртвый инвентарь в следующие хозяйства:

1. Новикову И. С. Лишён избирательных прав и раскулачен по распоряжению уполномоченного Мордовского облисполкома тов. Матвеева за ломку кладовых, кирпич которых был нужен ему для постройки кроличника. Хозяйство середняцкое — одна лошадь и одна корова, служил 6 лет добровольцем в РККА.

2. Глимакову Д. И. Хозяйство бедняцкое — одна корова, по заявлению зам. председателя сельсовета тов. Малышева, раскулачен и лишён избирательных прав, потому что "процента не хватает".

7. Попову Д. А. Лишён избирательных прав и раскулачен как церковный староста, хозяйство бедняцкое, имеет один старый дом. Самому 70 лет, нищий.

В сельский совет пролезли торговцы и шинкари. Секретарь совета гр. Коблев — бывший торговец, в настоящее время крупный шинкарь, члены совета, считающиеся бедняцкими активистами, Милованова и Подзябкина занимаются шинкарством и проституцией. Крестьяне отзываются о своём сельсовете, что "у нас нет советской власти, в сельсовете сидят бандиты".

Председатель комиссии: член ВЦИК Бабинцев. 28 марта 1930 г.».

Эпизод с письмом Калинину — яркое доказательство того, что Новиков-Прибой, всегда оставаясь борцом за справедливость, сочувствуя всем «униженным и оскорблённым», не мог остаться в стороне от творимого в родном селе беззакония. Делай что должен, и будь что будет.

Но главное дело жизни — «Цусима»! Ей отданы всё время, все думы, все нервы... В 1931 году были выпущены книги «Бегство» и «Бунт на корабле», изображающие отдельные фрагменты цусимской эпопеи. А в 1932 году вышла в свет первая книга романа под названием «Поход». Успех у читателей был поистине ошеломительный, они с нетерпением ждали продолжения.

Между тем заметно улучшается быт Новиковых. Ещё в 1930 году семья переезжает из Староконюшенного переулка в кооперативный дом в Большом Кисловском переулке, где на третьем этаже занимает четырёхкомнатную квартиру под номером 10А.

Впервые у писателя появился собственный кабинет, который он оборудовал в самой маленькой комнате, распорядившись сделать из неё в коридор отдельный выход с массивной деревянной дверью, которая не должна была пропускать шума. Эта дверь, хоть и была окрашена в белый цвет и не задраивалась винтами, как на боевом корабле, напоминала Алексею Силычу стальную дверь орудийной башни на броненосце «Орёл». Эту комнату он сразу стал называть своей боевой рубкой.

«Кабинет был обставлен так же просто и неприхотливо, как прост и неприхотлив был в жизни отец», — писал И. А. Новиков. В своих воспоминаниях он даёт точное описание кабинета писателя и рассказывает о том, как Алексей Силыч работал:

«Сбоку от окна находился большой письменный стол — с ящиками. На нём стояла квадратная, с металлической конусообразной крышкой чернильница и рядом на подставке лежала обыкновенная деревянная ручка с пером "рондо". Он всегда и везде пользовался только такими простыми ручками.

Справа от чернильницы находилась маленькая, пузатенькая, розовая фарфоровая чашечка с плотным пучком конских волос для чистки перьев, и тут же — деревянное лакированное пресс-папье. Слева — небольшая фаянсовая пепельница, которую в дальнейшем заменила половинка огромной белой морской раковины с берегов Индийского океана, подаренная отцу его другом писателем Павлом Георгиевичем Низовым. За письменным столом отец много курил. В свободное время, за дружеским застольем, на улице или в своём саду, где любовно выращивал фруктовые деревья, совсем не курил. Редко пользовался папиросами и на охоте.

В кабинете отца, напротив письменного стола, находились два шведских стеклянных шкафа тёмного дерева, набитых книгами, главным образом посвящёнными русско-японской войне 1904—1905 годов, морскими лоциями и мемуарами свидетелей той далёкой эпохи. Книги и журналы стопками лежа-

ли на подоконнике и письменном столе, на стульях и в углах комнаты.

Окно кабинета выходило на белую и голую стену трёхэтажного флигеля. От этой стены веяло тоской и одиночеством, но отцу с его оптимистическим характером она по-своему нравилась, так как помогала сосредоточиваться в работе».

Одним из самых заметных культурно-политических событий 1932 года стало вышедшее 23 апреля Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» и создании единого Союза советских писателей. Это событие всколыхнуло всю литературную Москву.

Алексей Силыч, к этому времени уже отошедший от литературной группы «Кузница», многие члены которой перешли в РАПП, был настроен весьма оптимистично. Постоянно работая над «Цусимой», он умудрялся не пропускать важные собрания и заседания, активно включившись в работу оргкомитета будущего Союза писателей.

В это же время в Москву из Сорренто вернулся А. М. Горький. Вскоре Алексей Силыч получил приглашение навестить Алексея Максимовича в его квартире на Малой Никитской.

«В день назначенного свидания, — вспоминает И. А. Новиков, — отец заметно волновался и никак не мог вместе с моей мамой подобрать галстук к своему лучшему костюму. Но вот он оделся. Я проводил его до Большой Никитской улицы. Отец бодро вскочил на подножку трамвая № 16 и, помахав мне рукою, уехал на встречу со своей литературной молодостью».

Вечером Алексей Силыч со всеми подробностями рассказывал своей семье о приёме у Горького. Там были А. Фадеев, А. Толстой, Л. Сейфуллина, Ф. Гладков и многие другие прозаики и поэты. Конечно, Новикову-Прибою особенно были дороги минуты личной беседы с Алексеем Максимовичем, когда они вспоминали их первую встречу в 1912 году.

А в марте 1933 года — как гром среди ясного неба...

В военной секции Ленинградского оргкомитета Союза советских писателей состоялось обсуждение первого тома «Цусимы». В качестве главного докладчика и критика романа Новикова-Прибоя выступил С. Варшавский, в июне журналы «Октябрь» и «Залп» напечатали его статью «“Цусима” Новикова-Прибоя».

Признавая, что писателем осмыслен огромный материал, С. Варшавский предъявил автору серьёзное обвинение в «крупнейших идейных срывах» и «величайших погрешностях против правильного ленинского истолкования событий»:

«Море, пафос борьбы с его стихией роднит людей, объединяет их, сплачивает в едином и нерушимом братстве. Такова центральная идея большинства рассказов и повестей Новикова-Прибоя о торговом флоте. Применённая к конкретным историческим условиям Русско-японской войны и к кораблям эскадры Рожественского эта идея, подменяя собой реальное содержание тихоокеанского столкновения русского самодержавия с молодым японским империализмом, как-то незаметно превращала под пером Новикова-Прибоя Цусимский бой в борьбу русских моряков — командиров и матросов совместно — с морскими волнами. Тут вступает в свои права *идея морского братства, заслоняя собой классовые антагонизмы*, в действительности разрывавшие корабельную жизнь».

Прежде чем приступить к подробному разбору «Цусимы», С. Варшавский останавливается на других произведениях Новикова-Прибоя. Он находит, что в «доцусимских» рассказах и повестях мировоззрение их автора было более «правильным». А вот по поводу нового романа стоит крепко задуматься и рассмотреть вопрос о том, «чьи же мысли, думы и чаяния отражает "Цусима", выражением каких процессов и сдвигов в революционизирующейся матросской массе она является».

Пересказывая эпизод за эпизодом, С. Варшавский приходит к выводу: «...баталер Новиков, а вместе с ним и писатель Новиков-Прибой ещё целиком находятся в плену буржуазных представлений о том, что "война, начатая правительствами, непременно кончится как война между правительствами" (Ленин, т. XVIII, стр. 205). Матросы не представляли себе реальной возможности превращения войны между правительствами в революционную борьбу со своим собственным правительством. Им казалось неизбежным и неотвратимым их участие в войне на стороне своего кровного врага за его чуждые и даже враждебные массе интересы. Отсюда — трагизм их положения, ярко отображённый Новиковым-Прибоем. Это — трагизм революционной неподготовленности, вынуждающий служить делу, которое ненавидишь. Победишь в борьбе с Японией — и неизбежна тёмная реакция внутри страны. Потерпишь вместе с царским флотом поражение — погибнешь под неприятельскими ядрами на дне океана. Третьего не дано».

По мнению С. Варшавского, «сотоварищи баталера Новикова были ещё очень далеки от осознания большевистской тактики». А тактика эта заключалась в «пораженчестве», а не в «оборончестве». Новиков-Прибой виноват в том, что, не видя вокруг себя большевиков, он таковых в своём романе не придумал:

«*Не видя выхода из тупика, в котором оказались матросы эскадры Рожественского, идущие воевать против своей воли за*

чуждые им интересы, Новиков-Прибой по существу обрекает их на бездействие, на полнейшую пассивность. Он, правда, упоминает о создании подпольной организации, ставящей себе задачу "если уж подниматься, то всей эскадрой". Но писатель сообщает об этом факте лишь мельком, не придавая ему значения, и тут же забывает о нём. *Книга в целом пронизана сознанием невозможности что-либо предпринять»*.

С. Варшавский искренне возмущается появлением положительных откликов на роман Новикова-Прибоя, упрекая в «политической нечуткости» авторов «восторженных дифирамбов». Особенно не устраивает его статья В. Костенко, опубликованная в «Литературной газете» 23 декабря 1932 года. Именно Костенко, по словам Варшавского, поторопился подвести «идейную базу» под одну из основных ошибок Новикова-Прибоя. Варшавский пишет: «...Вл. Костенко спешит сделать ошеломляющее по своей вздорности заключение, будто бы "матросы 2-й эскадры сознательно пошли на Голгофу — в этом величие их жертвы".

Только политически совершенно неграмотный человек, не знающий ни буквы ленинских высказываний, ни существа ленинской методологии, способен единым духом выпалить всю эту галиматью».

Называя концепцию Костенко, «который за "Голгофу" и против восстания», оппортунистической, С. Варшавский пишет:

«С сожалением приходится констатировать значительную близость художественных образов Новикова-Прибоя с чужеродной ленинизму тарабарщиной Костенко».

Главный вывод, который делает С. Варшавский, звучит так: «Отсюда вытекает беспросветная философия "Цусимы", — невозможность чёткой постановки вопроса о революционном выходе из войны, мышление по принципу "или — победа, или — поражение России", тактика пассивности и бездействия, сдерживания революционных масс».

В конце концов Варшавский утверждает, что в определённом смысле позиция Новикова-Прибоя идентична взглядам В. И. Семёнова, автора «Расплаты»: «...Официальный историк при особе Рожественского, его апологет Семёнов и писатель-матрос Новиков перед кровавым лицом Цусимы протягивают друг другу руки, чтобы броситься в пучину не смертельными врагами, а братьями».

Вот такая статья... И её нужно было как-то пережить. Спасали читательская любовь и поддержка друзей. Спасали семья и бытовые хлопоты.

Например, в подмосковном посёлке Тарасовка достраивалась дача. Средства, прямо скажем, позволяли. Мало ли что варшавские понапишут, а тиражи-то миллионами расходятся.

Постройка дома в Тарасовке — одно из семейных преданий Новиковых. По воспоминаниям дочери Ирины Алексеевны, их главной хранительницы, история эта восходит к 1930 году, когда в один из мартовских дней Алексей Силыч и Мария Людвиговна были в гостях у своих друзей Парфёновых. Писатель Пётр Парфёнов с семьёй жил в подмосковном посёлке Тарасовка. Алексей Силыч поделился своим заветным желанием — жить за городом. Парфёновы активно хвалили свою Тарасовку, и после чая все дружно отправились осматривать окрестности.

Вышли к высокому берегу реки Клязьмы. Открывшаяся панорама завораживала красотой. Сначала все долго стояли молча. А потом тишину нарушил Алексей Силыч:

— Здесь, только здесь будем строить дачу. Правда, Мария?

А повернувшись к Петру Семёновичу и Антонине Алексеевне, Силыч обрадованно воскликнул:

— Ну, Парфёновы, уважили вы моё русское сердце и морскую душу!

Почти год ушёл на хлопоты о выделении земельного участка. Осенью Мытищинский районный исполнительный комитет разрешил строительство дома и разведение фруктового сада. Новикову-Прибою отвели участок рядом с бывшей дачей московского фабриканта Бахрушина.

Вскоре Алексей Силыч купил в Калининской области, где часто бывал на охоте, бревенчатый сруб, который был перевезён в Тарасовку на нескольких санях. Обоз сопровождал Максим Иванович Воеводин. В феврале 1932 года началось строительство.

Дом был поставлен на кирпичный фундамент, к нему пристроили две террасы, возвели мезонин для рабочего кабинета, и всё обшили тёсом. Надо сказать, что это было отступлением от первоначального архитектурного плана, и Новикову-Прибою пришлось почти два года объясняться с Мытищинским исполкомом, вплоть до октября 1934 года, когда дело наконец было улажено.

Строительство дома не обошлось без некоторых трудностей. Например, строители никак не могли сообразить, как втиснуть лестницу на второй этаж в оставшиеся два квадратных метра в коридоре. Возможность сделать её из какой-либо жилой комнаты первого этажа Алексею Силычу не нравилась. Долго судили-рядили, пока в гости к Новикову-Прибою не приехал Костенко, который предложил вписать в это ограниченное пространство лестницу-трап, как на военных кораблях. Алексей Силыч очень гордился полученным результатом и всегда с восторгом показывал гостям лестницу Костенко.

Свою лепту в отделку дома внесла и Мария Людвиговна. Она предложила застеклить террасу разноцветными стёклами. Получилось очень красиво, и терраса на долгие годы стала любимым местом отдыха семьи и многочисленных гостей Новикова-Прибоя. Здесь за большим столом сиживали друзья-писатели Сергей Николаевич Сергеев-Ценский, Алексей Николаевич Толстой, Михаил Михайлович Пришвин, Александр Перегудов, Владимир Лидин, Пётр Парфёнов, Леонид Леонов, Лидия Сейфуллина, Ольга Форш и многие другие.

Алексею Силычу хорошо писалось в Тарасовке. Каждый день его дачной жизни, подробно описанной позднее сыном Игорем Алексеевичем, начинался в шесть часов утра. Писатель завтракал в своём кабинете, затем часа два работал в саду, после чего переключался на литературный труд. Обедал Алексей Силыч рано, в 12 часов дня. В это время вся семья собиралась на веранде. «Если мы были одни, — пишет И. А. Новиков, — то говорили о семейных и хозяйственных делах, прочитанных книгах, изданиях произведений отца, событиях в стране и за границей. Если с нами обедали друзья и знакомые, то застольные беседы касались литературных новостей, творческих планов, воспоминаний, забавных случаев на охоте и в жизни, садоводства. После обеда отец, как правило, час-другой спал, пил чай и снова занимался в саду или в кабинете литературной работой. В предвечернее время вместе с нами поливал грядки с овощами, заполнял бочки водой, косил на участке траву, готовил компост. Наиболее интересные разговоры возникали за ужином, когда отец по-настоящему отдыхал. В это время он сам или кто-то из гостивших в Тарасовке писателей читали отрывки из своих новых произведений, давали друг другу советы, спорили, шутили, иногда все вместе пели песни».

С весны и до осени Алексей Силыч ежедневно ходил купаться на Клязьму. Зимой он вместо купания в реке чистил от снега дорожки на участке и колол дрова.

«Когда отец жил на даче один, — пишет И. А. Новиков, — то предпочитал готовить на маленькой плите в своём кабинете “сливуху”. Особенностью этого варева, которому его в детстве научили тамбовские охотники, было то, что кушанье готовилось быстро и одновременно состояло из супа и каши. В кастрюлю или котелок с большим количеством воды засыпали две-три горсти пшена. После того как крупа разваривалась, в похлёбку для аромата добавлялись жареный лук и шкварки. Затем жидкость осторожно сливалась (“сливуха”) в тарелку или миску и была первым блюдом, а оставшаяся жидкая каша — вторым блюдом».

Именно на даче Новиков-Прибой написал практически всю вторую книгу «Цусимы», здесь он начал работать над «Капитаном 1-го ранга», здесь время от времени возвращался к охотничьему роману «Два друга».

Но, наверное, самым отрадным в эти годы были для Силыча отклики на его «Цусиму» самих цусимцев. Это были и письма, и множество визитов, в том числе и неожиданных.

Об одной из встреч Алексея Силыча с цусимцем Степаном Цунаевым, которого в бытность службы на «Орле» за могучее телосложение прозвали «чугунным человеком», рассказал в своё время рязанский писатель Василий Золотов:

«Они стояли друг против друга в каком-то замешательстве.

— Силыч, неужели не узнаёшь?

— Хоть убей, не припомню.

— “Чугунного человека” забыл. Эх, баталер, баталер.

— Цунаев?! — Новиков-Прибой бросился в распростёртые объятия побратима, оба затихли, превозмогая мужские слёзы. — Двадцать восемь лет прошло, двадцать восемь!..»

Потекли воспоминания о службе, о походе, о бое...

О себе Цунаев рассказал, что живёт в селе Октябрьском Пронского района Рязанской области, работает механиком в МТС. Как-то услышал по радио «Цусиму» и живо собрался в Москву:

«Ну, думаю, это он, Лексей, написал про нас. Сыскал я дом твой, поднимаюсь по лестнице, и вдруг оторопь взяла: а примешь ли, чай, в большие люди вышел.

— Да ты что, Стёпа, как не стыдно. Побратимы же!

...Силыч на радостях в тот же день повёз цусимца в Союз писателей, познакомил с друзьями, сфотографировались на память».

«Довольный, весёлый, — пишет В. Золотов, — Степан Сидорович вернулся домой. Он знал, что я, молодой сельский учитель, пытаюсь писать рассказы о жизни земляков, но не всё у меня тогда получалось толком.

— Поезжай к Силычу, наверняка поможет, — посоветовал Цунаев.

Встреча состоялась в редакции журнала “Молодой колхозник” (ныне “Сельская молодёжь”).

С пользой поговорили мы, хорошо помог мне Силыч своими советами.

— Пиши только о том, что знаешь. А то вот один художник взялся иллюстрировать моё сочинение, нарисовал броненосец под парусами. Смеху было!»

Прощаясь с Золотовым, Алексей Силыч крепко пожал ему руку. И это рукопожатие молодой рязанский писатель запом-

нил на всю жизнь: «крепкое, горячее, обнадёживающее, отцовское». Силыч как будто говорил: «Знай наших. По-моряцки жмём».

Все, кому довелось общаться с Новиковым-Прибоем, вспоминали то доброе и светлое чувство, которое оставалось после разговора с ним. Этот крепкий, кряжистый человек с простым крестьянским лицом умел обаять любого собеседника своей открытой улыбкой, озорным лукавством в глазах, неизменным вниманием и дружеским расположением.

На протяжении 1932—1934 годов Алексей Силыч упорно трудится над второй книгой романа «Бой», и в 1934 году она будет опубликована. Но автор не удовлетворён своей «Цусимой», ему кажется, что более широкое общение с участниками похода 2-й Тихоокеанской эскадры поможет усовершенствовать роман, поможет дополнить его новыми и важными подробностями.

В 1935 году Новиков-Прибой размещает в газетах «Красная звезда», «Красный флот», в республиканских и областных изданиях своё обращение к оставшимся в живых морякам 2-й Тихоокеанской эскадры с просьбой рассказать о пережитом:

«Для пополнения моей книги "Цусима" новыми героическими эпизодами я разыскиваю, и частью уже нашёл, живых участников Цусимского боя — старых моряков 2-й Тихоокеанской эскадры. По свидетельствам этих очевидцев мне нужно подробнее выяснить некоторые обстоятельства боя и героические действия русских моряков на других кораблях, кроме броненосца "Орёл", на котором присутствовал сам.

В связи с этим я прошу государственные, профсоюзные и общественные организации, а также редакции центральных, краевых, областных и районных газет помочь мне в этой работе, сообщив известные им адреса старых моряков — живых цусимцев, участвовавших в боях 14 и 15 мая 1905 года на следующих кораблях: броненосец "Адмирал Ушаков", крейсер "Светлана", миноносец "Громкий". Кроме того, среди живых моряков я ищу ещё тех, кто из японского плена возвращался в Россию вместе с адмиралом Рожественским на пароходе "Воронеж" и был свидетелем или участником революционного выступления в море против Рожественского и офицеров, которых тогда под свою защиту взяли японцы.

Самих старых моряков — моих боевых товарищей с указанных кораблей — я очень прошу лично отозваться на это моё обращение, чтобы я мог немедленно списаться с ними по интересующим меня вопросам.

Другие газеты прошу перепечатать это обращение».

Откликнулось более трёхсот цусимцев. Они прислали писателю свои воспоминания, фотографии, рисунки. Получив огромный и чрезвычайно интересный дополнительный материал от очевидцев, Новиков-Прибой самозабвенно работает над новой редакцией романа.

Александр Перегудов, один из самых близких друзей Алексея Силыча, в доме которого, в Дулёве, Новиков-Прибой написал некоторые главы «Цусимы», в своей книге «Повесть о писателе и друге» вспоминает: «Работа над “Цусимой” властно захватила его. Он снова переживал пережитое если не с такой силой, то, во всяком случае, с не меньшей страстностью. Помню, как однажды ночью разбудил меня крик:

— Пожар!.. Бегите к бомбовым погребам!..

Я вскочил с постели. За окном — голубовато-серебристый лунный свет, снега и сосны. Глубокая тишина глубокой ночи была в квартире. Я включил настольную электрическую лампочку и увидел: на кровати у противоположной стены спал Силыч и с закрытыми глазами, с испуганным и страдальческим лицом что-то горячо-горячо говорил. И впервые в этот ночной час понял я ту страсть, то не потухающее ни на минуту горение, которое заставляет его с такой любовью и мукой работать над самым близким и любимым ему произведением. Он спал, но и во сне “Цусима” продолжала волновать его».

В статье «Как я работал над “Цусимой”» Новиков-Прибой вспоминал: «...писал не по порядку. Сначала описывал бой. Когда-то он произвёл на меня такое впечатление, что спустя много лет вновь переживал его как наяву. Перед внутренним взором с поразительной ясностью возникли жуткие картины, о которых я давно забыл. Во время работы над этой частью я страдал бессонницей... Это тяжёлое состояние принудило меня перейти к первой книге романа (описание похода). На этом я отдыхал, а потом вновь приступал к описанию боя».

Каждую написанную строчку, страницу, главу «Цусимы» писатель проверял на достоверность. Он встречался со многими из цусимцев, читал им отрывки, главным образом те, в которые они могли внести коррективы. Так что «соавторов» у Алексея Силыча были сотни.

И всё-таки главным из них является, безусловно, Владимир Полиевктович Костенко, к которому и сам Алексей Силыч, и его друзья, и его семья относились с безграничным уважением. Всех, кто знал Владимира Полиевктовича, потрясали всесторонняя образованность этого человека, его воспитанность и благородство, глубокий и оригинальный ум, талант инженера-изобретателя.

Костенко был действительно незаурядной личностью, не-

обычайной была и его биография. Один из организаторов судостроения в СССР, лауреат Сталинской премии, он в общей сложности трижды (и до, и после революции) арестовывался и даже был приговорён к расстрелу, но, видимо, властям так были нужны его способности, знания и опыт, что ему сохранили жизнь и дали возможность работать до самых её последних дней.

В 1904 году инженер Костенко оборудовал броненосец «Орёл» первой в мире системой быстрого выравнивания крена и сам напросился в поход 2-й Тихоокеанской эскадры. Под его руководством были созданы первые отечественные транспортные суда, а также судостроительные заводы в Комсомольске-на-Амуре и Северодвинске. Он автор многочисленных публикаций по гидродинамике, броневой защите кораблей, организации судостроительного производства, а также книги воспоминаний «На "Орле" в Цусиме».

Один из любопытных фактов из жизни Костенко: в 1909 году, находясь в командировке в Англии, он обратил внимание конструктора «Титаника» Томаса Эндрюса на потенциальную опасность того, что водонепроницаемые переборки отсеков судна не доходят до главной палубы. Последний оставил совет русского инженера без внимания, что впоследствии явилось одной из причин гибели судна.

В марте 1910 года Костенко арестовали за революционную деятельность и заключили в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, а в июле он был осуждён на шесть лет каторги. В декабре 1911 года Костенко помиловали. Репутация политического преступника, каторжанина не помешала ему сначала возглавить судостроительную контору, а затем получить должность главного инженера Общества Николаевских заводов и верфей «Наваль» (ныне Черноморский судостроительный завод).

После революции В. П. Костенко занимал различные руководящие должности на судостроительных предприятиях в Николаеве, Харькове, Ленинграде.

В 1928 году Костенко был арестован, а в 1929-м направлен в Соловецкий лагерь особого назначения, затем привлечён к работе в особых бюро при ОГПУ в Харькове, а потом в Ленинграде. Освобождён в 1931 году.

В 1932—1941 годах он руководит возведением кораблестроительных предприятий на Дальнем Востоке.

В феврале 1941 года Костенко снова арестовали, а в июле 1942 года освободили.

С 1931 года и до конца жизни (с перерывом в 1941—1942 годах) В. П. Костенко был одним из руководителей судопроектного института «Проектверфь» (с 1936 года — Государствен-

ный союзный проектный институт-2, сокращённо ГСПИ-2). Ныне это проектная фирма «Союзпроектверфь». С 1948 года В. П. Костенко был также членом научно-технического совета ЦНИИ им. академика Крылова.

Костенко умер в Ленинграде 14 января 1956 года, похоронен на Серафимовском кладбище.

Перипетии судьбы инженера Костенко в сложные, а точнее сказать, страшные годы никак не отразились на их крепкой дружбе с Новиковым-Прибоем, который в силу своих связей и возможностей хлопотал за опального Владимира Полиевктовича, что было в те годы довольно опасно. Только Силыч ведь был не из пугливых. Сам он словно в рубашке родился: не попал под репрессии, хотя был «запятнан» дружбой со многими «врагами народа», не сносившими головы в крутую годину. Среди них и Александр Воронский, и Борис Пильняк, и Павел Васильев, и боцман Воеводин, и Леонид Завадовский...

Кроме Костенко огромную помощь в работе над «Цусимой» оказал Новикову-Прибою и ещё один офицер с броненосца «Орёл» — Леонид Васильевич Ларионов.

Об удивительной личности Л. В. Ларионова рассказывает в своей книге «Взрыв корабля» замечательный современный писатель-маринист Николай Черкашин.

Леонид Васильевич Ларионов (1882—1942), сын флотского офицера, окончил Морской корпус в 1901 году, участвовал в Цусимском сражении в качестве младшего штурмана эскадренного броненосца «Орёл». В бою был тяжело ранен. По возвращении из японского плена Ларионов работал несколько лет в учёном отделе Главного морского штаба по научному разбору документов Русско-японской войны.

С 1914 по 1917 год капитан 1-го ранга Ларионов командовал яхтой морского министра Григоровича и состоял при нём офицером для особых поручений. Так же, как и его патрон, Ларионов лояльно встретил советскую власть. Он прослужил на Балтике до 1921 года и с окончанием Гражданской войны был демобилизован.

Как пишет Черкашин, не всем хватило кораблей. Далеко не все морские офицеры, перешедшие на сторону новой власти, смогли найти применение своему опыту и знаниям на флоте в качестве военспецов. Кораблей у молодой советской республики действительно было мало: одни погибли в Гражданскую, другие были уведены интервентами, третьи стыли и ржавели в «долговременном хранении». К тому же готовились новые командиры — из рабоче-крестьянской массы. И бывшие мичманы, лейтенанты, кавторанги устраивались кто как мог: шли в бухгалтеры, учётчики, учителя, одним словом, в совслужащие.

Совслужащим стал и Ларионов. Сначала он служил в Упрснабе северо-западных областей, позже — в Поверочном институте Главной палаты мер и весов СССР, затем на протяжении шести лет в Сейсмологическом институте Академии наук СССР.

В середине 1930-х кто-то, пишет Черкашин, припомнил ему офицерские погоны, и Ларионов остался без работы. На его попечении были мать, больная жена, пятилетний сын и престарелая нянька. В эти «немыслимо трудные годы, когда деньги приходилось рассчитывать даже на трамвайную поездку, когда покупка пирожного для больного сына образовывала в семейном бюджете ощутимую брешь», Ларионов занялся литературным трудом. Он писал «Аварии царского флота» и ежевечерне по старой штурманской привычке заполнял «вахтенный журнал» — дневник своей нелёгкой сухопутной жизни. Вот одна из тех дневниковых исповедей: «Приход революции не был для меня неожиданностью. Мой путь до семнадцатого года был покрыт большими терниями. Трудное детство. Ранняя потеря отца. Цусима. Раны. Плен. Пять лет лечения. После плена следствие и суд над Небогатовым. Бедствование без денег. Меня никто не тянул. Всей карьерой обязан сам себе. Но подлостей не делал и подлизыванием не страдал. В 1916 году к 1^{г} декабря заплатил все долги и 5 декабря попал в капитаны 1-го ранга. С 1917 по 1935 год я честно служил и работал, испытывал много лишений, и холод, и голод. Временами работал день и ночь. Высшей радостью были достижения Союза. Только социализм мог их дать. С точки зрения морской: освоение Арктики — мечта отца и моя, флот, поставленный на исключительную высоту».

Черкашин пишет: «...только в 1937 году потомственный моряк смог снова связать свою судьбу с военным флотом: ему предложили принять участие в создании музея РККФ. И хотя Ларионов считался обыкновенным совслужащим, он с превеликой радостью облачился в белый китель и беловерхую фуражку, сохранённые с незапамятных времён...

Была у него в те сухопутные годы великая отрада — дружба с Новиковым-Прибоем...»

Отдельная глава в книге Черкашина «Взрыв корабля» посвящена Новикову-Прибою и называется «Пометки на полях “Цусимы”». Современный писатель, свободный от каких-либо идеологических пут, человек, не просто чрезвычайно сведущий в морском деле, а настоящий моряк-подводник, Николай Черкашин даёт высочайшую оценку роману Новикова-Прибоя «Цусима». И, думается, это дорогого стоит именно в наше время. И поэтому хочется цитировать без сокращений и купюр. Итак, читаем Черкашина:

«“Цусиму” заметили не только в нашей стране, но и за рубежом. Даже обычно ядовитые белоэмигрантские морские журналы невольно отметили. “Бесспорная ценность этого произведения, — писал в Праге бывший сослуживец баталера Новикова по «Орлу» князь Я. Туманов, — в том, что оно единственное, написанное не обитателем офицерской кают-компании, а человеком, проделавшим знаменитый поход в командном кубрике и носившим в то время матросскую фуражку с ленточкой... Хорошим литературным русским языком автор живо и красочно описывает незабываемый поход Второй эскадры от Кронштадта до Цусимы... Книгу эту следует прочесть всем морским офицерам. Это человеческий документ, написанный искренне и правдиво”.

Книги — как факелы. Одни еле чадят, другие ярко пылают. Тут всё от того, чем заправлен этот светоч, — правдой, талантом, гуманизмом... “Цусима” — из того редкого разряда книг, что не только светят, но и греют. Она, как добрый костерок, собирала вокруг себя людей, объединяла их, связывала, роднила... Участники похода Тихоокеанских эскадр — а их, уцелевших, насчитывалось в тридцатые годы несколько тысяч, разбросанных по всей бескрайней стране, — стали искать друг друга, списываться, съезжаться... Старые моряки как бы воспрянули духом. В романе развертывалась ярчайшая панорама матросского мужества. Впервые к ним, комендорам, кочегарам, гальванёрам, минёрам, сигнальщикам, машинистам, рулевым злосчастных эскадр, применялось слово “герой”. И если раньше они стыдились того, что были цусимцами, то с выходом “Цусимы” на них стали смотреть иными глазами. Их, седоусых, изрубленных осколками японских снарядов, наглотавшихся ядовитых газов шимозы, но стоявших в своих рубках, погребах и башнях до последнего выстрела последнего уцелевшего орудия, стали приглашать в школы, в цехи, на корабли, в библиотеки, стали слушать их рассказы, стали печатать их воспоминания.

Книга Новикова-Прибоя обернулась для них как бы свидетельством о реабилитации. Они писали Алексею Силычу благодарственные письма, они приезжали к нему в Москву на квартиру в Кисловском переулке, чтобы пожать руку, потолковать о пережитом, поделиться памятью... Они увидели в своём Силыче нового флагмана и порой обращались к нему даже с житейскими просьбами. Жилище писателя превратилось в своего рода штаб-квартиру ветеранов всех двух тихоокеанских эскадр».

«К этому матросскому костерку, — пишет Черкашин, — потянулись и бывшие офицеры-цусимцы. Не все, разумеется,

лишь те, с кого жизнь сбила сословный гонор, заставила по-новому взглянуть на мир. Первыми откликнулись соплаватели по "Орлу" — корабельный инженер В. П. Костенко, бывший старший офицер К. Л. Шведе (в романе он назван Сидоровым), бывший младший штурман лейтенант Ларионов. Много интересного об отряде крейсеров смог рассказать Новикову-Прибою и младший артиллерист "Олега" Домерщиков (личность и судьба Домерщикова — предмет отдельного исследования Черкашина. — *Л. А.*). Все они не раз бывали в квартире писателя на Кисловке. Алексей Силыч по-особому дорожил их дружбой. Они, бывшие офицеры, как бы приоткрывали ему те двери, в которые баталер Новиков не был вхож: двери кают-компаний и флагманских салонов, штурманских и боевых рубок. Безусловно, это расширяло панораму романа, делало её полнее, объёмнее... Кроме того, они консультировали его как специалисты в области морской тактики, артиллерии, навигации, корабельной техники, помогали заметить неточности и исправить их».

Черкашин рассказывает о том, как держал в руках томики «Цусимы» самого первого издания. Новиков-Прибой прислал их в Ленинград Ларионову, чтобы тот прочитал строгим глазом. Судя по заметкам на полях, чтение было и строгим, и доброжелательным. Почти все ларионовские поправки автор учёл в последующих изданиях. Потом в предисловии Новиков-Прибой напишет: «Я мобилизовал себе на помощь участников цусимского боя. С одним я вёл переписку, с другим неоднократно беседовал лично, вспоминая давно минувшие переживания и обсуждая каждую мелочь со всех сторон. Таким образом, собранный мною цусимский материал постепенно обогащался всё новыми данными. В этом отношении особенно большую пользу оказали мне следующие лица: корабельный инженер В. П. Костенко, Л. В. Ларионов, боцман М. И. Воеводин, старший сигнальщик В. И. Зефиров и другие».

И снова читаем Черкашина:

«Тут надо заметить вот что: отношения именитого писателя со своими бывшими начальниками были по-мужски прямыми, без панибратства и снисходительности. Да, они все прекрасно понимали, что некогда нижний чин стоит теперь на социальной лестнице неизмеримо выше каждого из них, и всё же обращались к нему без заискивания, без горечи ущемлённой гордыни. Они писали ему просто и уважительно, как все: "Дорогой Силыч!.." Силыч тоже не льстил однопоходникам, героям романа, держась правила: дружба дружбой, а правда правдой. Он ничего не менял в своей матросской па-

мяти в угоду добрознакомству. И в тексте тоже ничего не менял. Наверное, бывшему старшему офицеру Шведе (в “Цусиме” — Сидорову) не очень-то было приятно читать о себе такие строки: “Старший офицер у нас... танцор и дамский сердцегрыз, каких мало. Вид имеет грозный... а никто его не боится...” Однако у Константина Леопольдовича хватило понимания и достоинства, чтобы не впадать в амбициозность, их переписка и встречи продолжались как ни в чём не бывало».

От пламени «Цусимы» загорелись, как пишет Черкашин, новые книги.

Весной 1935 года постучался к Новикову-Прибою ярославский речник Александр Васильевич Магдалинский, назвался бывшим рулевым боцманматом крейсера «Олег» и был принят радушно, как и все однопоходники. И конечно же старый моряк не думал тогда, что входит не только в стены новиковского дома, но вступает в роман как один из будущих его героев. С легкой руки Силыча Магдалинский написал и выпустил в свет свои воспоминания о походе — «На морском распутье». Должно быть, бывший боцманмат не сразу поверил в такое чудо: на обложке всамделишной книги стояло его имя.

И мемуары другого однопоходника Новикова-Прибоя корабельного инженера Костенко «На “Орле” в Цусиме» тоже вышли не без влияния «силового поля» знаменитого романа.

Но, пожалуй, никто так ревностно, искренне и бескорыстно не следил за творчеством Новикова-Прибоя, не откликался так чутко на малейшую его просьбу, как Ларионов. Только в период работы писателя над второй частью «Цусимы» он послал ему сто семнадцать писем с собранными им записками матросов и офицеров «Орла» о бое. Он жил этим романом, ибо в нём «воскрешались его молодость, его лучшие годы, героический всплеск его судьбы...».

Обращаясь непосредственно к содержанию романа, Черкашин вспоминает момент, когда тяжело раненный младший штурман Ларионов, узнав о сдаче броненосца японцам, идёт выполнять свой последний долг: «Два матроса вели его под руки, а перед ним, словно на похоронах, торжественно шагал сигнальщик, неся в руках завёрнутые в подвесную парусиновую койку исторический и вахтенный журналы, морские карты и сигнальные книги. В койку положили несколько 75-миллиметровых снарядов, и узел бултыхнулся через орудийный порт в море. Это произошло в тот момент, когда неприятельский миноносец пристал к корме “Орла”».

«И наконец, — пишет Черкашин, — едва ли не самый волнующий эпизод романа, во всяком случае, мне он памятен со

школьных лет, когда я впервые прочитал "Цусиму". Умирающий командир "Орла" капитан 1-го ранга Юнг ещё не знает, что на броненосце хозяйничают японцы, что спущен Андреевский флаг, что броненосец вражеские эсминцы конвоируют в ближайший японский порт, что у дверей его каюты стоит японский часовой. Но он догадывается, что на корабле что-то не так... Он зовёт к себе не старшего офицера, замещающего его, а младшего штурмана Ларионова, сына покойного друга.

Раненый лейтенант вторично покидает лазаретную койку, два матроса под руки ведут его к командирской каюте.

"Юнг, весь забинтованный, находился в полусидячем положении. Черты его потемневшего лица заострились. Правая рука была в лубке и прикрыта простынёй, левая откинулась и дрожала. Он пристально взглянул голубыми глазами на Ларионова и твёрдым голосом спросил:

— Леонид, где мы?

Нельзя было лгать другу покойного отца, лгать человеку, так много для него сделавшему. Ведь Ларионов вырос на его глазах. Командир вне службы обращался с ним на 'ты', как со своим близким. Юнг только потому и позвал его, чтобы узнать всю правду. Но правда иногда жжёт хуже, чем раскалённое железо. Зачем же увеличивать страдания умирающего человека?..

Ларионов, поколебавшись, ответил:

— Мы идём во Владивосток. Осталось сто пятьдесят миль.

— А почему имеем такой тихий ход?

— Что-то 'Ушаков' отстаёт.

— Леонид, ты не врёшь?

Ларионов, ощущая спазмы в горле, с трудом проговорил:

— Когда же я врал вам, Николай Викторович? — И чтобы скрыть своё смущение, штурман нагнулся и взял командира за руку. Она была холодная, как у мертвеца, но всё ещё продолжала дрожать. Смерть заканчивала своё дело".

Уверен, если бы кто-то из кинематографистов отважился бы экранизировать "Цусиму", лейтенант Ларионов был бы одним из главных героев фильма».

Едва ли отрывок из книги Черкашина нуждается в каких-либо комментариях.

Новикову-Прибою помогали писать его книгу не только друзья-цусимцы. «Довольно частыми слушателями и критиками работы отца, — вспоминает И. А. Новиков, — были и писатели: Павел Георгиевич Низовой, Николай Никандрович Никандров, Александр Владимирович Перегудов, а иногда Пётр Алексеевич Ширяев. Нередко в обсуждении отдельных

отрывков романа принимали участие их жёны и члены нашей семьи.

Обычно такие встречи происходили по вечерам, в кабинете или столовой. Все вооружались бумагой и карандашами и в течение всего чтения молча делали пометки. После окончания чтения каждый по очереди высказывал свои замечания и давал общую оценку прослушанному отрывку. По раз и навсегда заведённому порядку все должны были быть откровенными и искренними в своих оценках, без каких-либо скидок на переживания автора».

Но особое значение автор «Цусимы» придавал литературным вечерам, где он читал новые главы из романа и чутко прислушивался к тому, как их воспринимает аудитория.

Исправленное и дополненное издание «Цусимы» вышло в 1935 году, а потом — в 1937-м, а писатель всё продолжал работу над романом.

Высокую оценку роману «Цусима» дал критик С. Розенталь в газете «Правда» 19 февраля 1935 года (первая его статья о романе была напечатана в той же «Правде» ещё в декабре 1932 года). Он, в частности, писал: «Но если есть книги, подлинно написанные кровью сердца, то несомненно, что эти две книги Новикова-Прибоя («Поход» и «Бой». — *Л. А.*) — из их числа. “Цусима” — книга, которую читаешь залпом от первой до последней страницы. <...> Книга Новикова-Прибоя рассказывает о смерти и умирании, но мы, читатели, понимаем, как среди пепла, осколков, обломков кораблей, в грохоте канонады рождались новые люди...»

Около двух тысяч писем получил Новиков-Прибой от читателей «Цусимы». Роман был переведён на несколько языков советских республик и на многие языки мира: английский, французский, немецкий, польский, болгарский, чешский. Но, что особенно интересно, — первыми «Цусиму» перевели японцы, при этом они, правда, постарались сократить или убрать (насколько это было возможно) эпизоды, связанные с героизмом русских моряков, потерями японского флота и ошибками адмирала Того во время сражения.

В семье Новиковых по сей день хранятся отзывы о «Цусиме», напечатанные в газетах и журналах Англии, США, Франции, Индии, стран Северной Африки, Новой Зеландии, Австралии.

В своё время Алексей Силыч, по словам И. А. Новикова, испытал большое удовлетворение, прочитав рецензию, которая появилась 30 августа 1936 года в газете «Нью стейтсмен»: «Если есть ещё люди, верящие, что царский режим следовало сохранить, эта книга разубедит каждого из них — за исключе-

нием тех, кто хочет остаться неразубеждённым». Не менее порадовал его отзыв «Нью-Йорк таймс», в котором было сказано: «Презрительное отношение автора к умственным способностям своих властителей впоследствии было ратифицировано самим временем». Но особенно взволновала писателя оценка английского вице-адмирала Усборна, напечатанная 23 августа 1936 года в газете «Санди таймс»: «Для морских специалистов книга изобилует полезными сведениями по части командования, стратегии и тактики. Книга займёт своё место в каждой морской библиотеке. <...> Многим морским офицерам за всю свою жизнь так и не приходится участвовать в большом морском бою; им приходится лишь в воображении переживать тот кульминационный момент, к которому они готовятся в течение всей своей карьеры. <...> Вот почему я без всякого колебания говорю, что каждому морскому офицеру необходимо прочитать эту книгу, ибо она многому его научит».

В СССР о «Цусиме» Новикова-Прибоя писали очень много. Писали на протяжении почти полувека: с момента выхода первой редакции произведения и в течение всего того времени, пока оно пользовалось необычайной популярностью у читателей. Но особенно полно и подробно «Цусима» рассматривается в книге С. Петрова «Русский советский исторический роман».

«Цусима» А. С. Новикова-Прибоя — это, по мнению С. Петрова, «талантливый военно-исторический роман об одном из трагических эпизодов русской военной истории. По своему масштабу, по силе реализма это, пожалуй, единственное в мировой литературе художественное произведение о походе военной эскадры и о гигантском морском сражении».

В книге, исследующей произведения советской литературы, вполне естественным является признание величайшим достоинством романа Новикова-Прибоя его соответствие принципам социалистического реализма. Но то, что в своё время считалось достоинством «Цусимы» — её идейно-политическая заострённость, в настоящее время уже рассматривается как недостаток эпопеи. Между тем такой подход не может считаться обоснованным. Автор «Цусимы» — дитя своего времени. Поправка на это необходима, она диктуется здравым смыслом. Кроме того, достоинств у книги так много, что на её идейную направленность, если она кому-то мешает, легко закрыть глаза. Остановимся вслед за С. Петровым на этих несомненных достоинствах романа-эпопеи А. С. Новикова-Прибоя «Цусима».

Роман начинается с того, что баталер Новиков, главный

его персонаж, получает назначение на броненосец «Орёл», включённый в состав 2-й Тихоокеанской эскадры.

В невесёлых размышлениях баталера, в разговорах матросов, в специальных отступлениях-рассказах об адмиралах Бирилёве, Рожественском возникает картина плачевного состояния царского флота и его неудач на Дальнем Востоке. Это и есть экспозиция романа-эпопеи. Затем идут подробные описания броненосца «Орёл», внутренней жизни корабля и его команды, попутно проходят эпизоды похода с упоминанием других кораблей.

Всё новые и новые люди входят постепенно в поле зрения читателя. Одни из них вызывают симпатию, другие — неприятие и даже презрение. В романе живёт и действует коллектив, образ которого создан очень экономными средствами, с помощью глубокой типизации персонажей. В очерке «Современная история», опубликованном в 1933 году в первом номере журнала «Литературный критик», Д. Заславский писал: «Кажется, что вы своими собственными глазами видите полтора десятка тысяч матросов, составляющих команду эскадры. А в действительности перед вами проходят лишь полтора десятка лиц».

Повествование в романе ведётся от лица участника похода и цусимского боя — баталера Новикова. Мемуарная форма исторического романа была сопряжена с определёнными трудностями для писателя.

Автор позднее признавался: «...я в “Цусиме” допустил громадную ошибку: написал роман от первого лица. Вначале мне самому не ясны были масштабы романа, и я думал, что этот приём вывезет. И никто не остановил меня. Но когда пришлось писать батальные сцены, я понял непригодность “первого лица”. Рассказчик-матрос, находящийся на броненосце “Орёл”, не может видеть того, что происходит на других кораблях. Тут начинается “условность” и фальшь. Кроме того, излагая события от первого лица, я лишил себя возможности изобразить психологию солдат и офицеров. Это привело почти к очерковой форме. Так писать исторические романы нельзя. Например, я даю внешний облик адмирала Рожественского и других офицеров флота, описываю их поступки. А ведь они живые люди. Они что-то думают, переживают. И я не могу об этом сказать: приём связывает».

Но именно мемуарная форма, по мнению С. Петрова, дала Новикову-Прибою другую возможность — «судить события глазами и голосом их очевидцев». Алексей Новиков — опытный, любознательный, вдумчивый моряк, тяжело переживший цусимскую катастрофу и гибель товарищей, исполнен-

ный справедливого гнева за позорное поражение российского флота.

Повествование ведётся не от имени бесстрастного летописца, а от имени участника, комментатора и судьи событий. Это придаёт его рассказу и живость, и достоверность, и эмоциональность.

Сюжет «Цусимы» не выходит за рамки похода эскадры, однако в романе даётся достаточно ясный исторический фон событий. Настроения и высказывания матросов и офицеров 2-й Тихоокеанской эскадры, эпизоды её похода органично связываются с международной обстановкой, с обстановкой внутри страны. Писателю незачем было прибегать к вымыслу, чтобы расширить эпическую основу своего произведения: в судьбе эскадры отразилась судьба страны и народа. С. Петров подчёркивает, что автор не прибегает «ни к каким фабульным или романическим осложнениям в целях усиления драматизма». Сами исторические события и трагические судьбы множества людей определяют драматизм повествования.

Эскадра адмирала Рожественского состояла из нескольких десятков кораблей. Большинство из них проходит по страницам романа. Создать образ большой эскадры, мощного военно-морского соединения, было делом нелёгким, поэтому композиция «Цусимы» тщательно продумана.

«Цусима» состоит из эпизодов, посвящённых судьбе отдельных судов русской эскадры. А между тем роман представляет собой целостное и монолитное произведение. Это достигается за счёт того, что каждый из эпизодов раскрывает одну из сторон потрясающей человеческой драмы, а собранные вместе, они воссоздают эту драму во всей полноте исторической правды.

Батальные сцены боя, картины гибели кораблей несут в себе элементы повторяемости, потому что каждый из эпизодов связан с судьбой разных людей. Перед тем как показать их гибель, автор рассказывает о их жизни. Свой облик и свою биографию имеет и каждый корабль эскадры. Они тоже погибают каждый по-своему, волнуя драматическим своеобразием общего для всех конца. С. Н. Сергеев-Ценский так писал об этом в своём очерке «Рождение "Цусимы"»: «Дать незабываемые детали боя на каждом из судов злополучной эскадры Рожественского, тем самым сделать каждое судно неповторяемо живым и близким к читателю, заставить читателя переживать каждый новый разрыв неприятельского снаряда на том или ином корабле как новую рану на чьём-то родном теле, заставить сердце сжаться от боли, когда перевёртывается вдруг килем кверху смертельно раненное судно и море его глотает вме-

сте с сотнями людей, — это под силу только большому художнику. Описание гибели "Суворова", "Осляби", "Дмитрия Донского" принадлежит к самым трагическим страницам, какие есть в нашей литературе: как по-разному умирают эти корабли на глазах читателя и как по-разному погибают на них люди, десятки, сотни людей, с которыми автор или раньше познакомил, ещё в первой книге романа, или успевает ознакомить за несколько минут до их гибели! Деловито-спокойный тон, в котором ведёт автор своё повествование об ужасном, ещё более способствует потрясающему впечатлению от этих картин. Сумасшествие спасённых с погибшего "Осляби" матросов, вновь расстреливаемых японскими снарядами на "Дмитрии Донском", — это положительно предел человеческой скорби».

«Повествуя о трагедии Цусимы, Новиков-Прибой нигде не прибегает ни к каким мелодраматическим эффектам, ни к нагромождению ужасов, рассказ его прост и скуп, а картина гибели русских кораблей достигает подлинно трагического пафоса», — пишет С. Петров.

С самого начала в «Цусиме» звучит мотив приближающейся катастрофы. Постепенно этот мотив ширится, звучит громче, сильнее, всё заполняя собой. Драматизированы даже картины моря, которые автор рисует с большой выразительностью: «Неугомонный ветер свежел, становился всё более упругим и не только тормошил море, заставляя его угрюмо ворчать, но и разрывал, взлетая, чёрные облака. В глубине неба показался кривой обрезок ущерблённой луны. Тусклым сиянием заблестели круто изогнутые спины волн, яснее обозначились контуры корабля. На минуту моё внимание привлёк обрезок луны. Он похож был на золотой козырёк. Из-под него, внося в сознание какое-то смутное беспокойство, смотрела на нас звезда, словно сверкающий зрачок в дрожащих, паутинно-тонких ресницах».

Писатель любит выразительную матросскую речь, матросский юмор. «Эх, покатилась, родная, в трюм моего живота!» — шутит матрос, принимая полагающиеся полчарки. «Коли в море попадёшь, то скорее хватайся за воду — не утонешь», — советует Бакланов своему другу Васе Дрозду.

Новиков-Прибой много внимания уделяет изображению повседневной жизни военного корабля, матросского быта, рисуя корабельный интерьер и бытовые картины, по словам С. Петрова, «во фламандском стиле».

О выведенных образах офицеров во главе с адмиралом Рожественским в романе Новикова-Прибоя в советские времена писали так: «Господствующий помещичий класс, наиболее

реакционные круги представлены в романе кадровыми офицерами-дворянами во главе с царским лизоблюдом, бездарным и самодовольным адмиралом Рожественским. Тупые и жестокие держиморды, карьеристы и чинуши — все эти Бирилёвы, Воробейчики, немцы Беры презирают и ненавидят матросов и стоящие за ними народные массы. Новиков-Прибой не скупится на сатирические зарисовки царских адмиралов и других старших командиров эскадры. Внешняя импозантность и внутренняя пустота, самомнение и бездарность, пресмыкательство перед высшими, дикое самодурство и жестокость в отношении к низшим — такова характеристика адмиралов Бирилёва, Рожественского. Галерея портретов подобрана таким образом, чтобы осветить различные черты царского офицерства. Капитан второго ранга Баранов — стяжатель; капитан Попов — неумный барин-сибарит, увлекающийся курами различных пород, с которыми он и в поход отправился; тупой бюрократ, обер-аудитор Маневский и в воде не расстанется со своим портфелем; лейтенант Бурнашев — ревизор-грабитель и т. д. Все они в решающий час проявили трусость и низость».

И именно эти характеристики являются причиной того, что в послеперестроечные времена с утратой ориентиров прежней идеологии, с появлением иных взглядов как на современную жизнь, так и на историю России, часть современных читателей увидела в романе Новикова-Прибоя пасквиль на российский флот. Однако если читать «Цусиму» без предубеждения, если делать поправку на время, когда она писалась, то подобный взгляд на этот роман будет более чем неоправданным.

Да, отношение к простым людям, к матросам, является для Новикова-Прибоя главным мерилом нравственной ценности командиров, офицеров. Кто человечно относится к матросам, тот оказывается мужественным в час боя. И таких героев в его книге немало.

Мысль об исторической обречённости царизма в романе Новикова-Прибоя не воспринимается как заранее заданная и навязываемая читателю автором. «Она раскрывается всей образной системой романа, изображением разгрома обречённой на гибель эскадры. Правда в “Цусиме” — правда истории. В самом движении эскадры, громоздкой, нелепой, отсталой, руководимой глупыми, барски чванливыми и равнодушными к народу начальниками, как бы отражён ход истории, движения самой царской России к историческому краху». А сам писатель размышляет: «Это была не только эскадра, а оторванная от материка часть старой царской России, которая плыла ку-

да-то вдаль, сохраняя при этом в полном цвету весь колорит крепостнических порядков царской эпохи». Но он не забывает напомнить и о славных флотских традициях, об адмиралах Ушакове и Нахимове, тем самым, как пишет Петров, «сильнее оттеняя бездарность Рожественского и ему подобных и подчёркивая преступность самодержавия, доведшего богатый в прошлом победами русский флот до неслыханного поражения». Да, слова эти тоже написаны в советское время, но истинность их доказана жизнью.

Подробно разбирая эпопею Новикова-Прибоя, Петров останавливается на психологических характеристиках персонажей, которые выявляют их внутренний мир в условиях суровой военно-морской службы. Трогательная история с вылупившимся под солнцем экватора цыплёнком, приведшая в умиление всю команду броненосца, напоминает, по его мнению, те рассказы Станюковича, в которых раскрывается человечность, добрая душа русского матроса.

Добрым юмором и симпатией проникнуты образы Васи Дрозда (прототипом его стал один из матросов), кочегара Бакланова (это, кстати, полностью выдуманный персонаж, с которым связано большинство комических ситуаций в романе), боцмана Воеводина и многих других. Автор романа не скрывает грубости матросов, их малограмотности, ограниченности интересов. Однако в биографиях некоторых из них, в страстном их стремлении к просвещению, в их дружбе, а главное — в подвигах во время боя, писатель раскрывает высокий нравственный облик матросской массы, подлинную её человечность.

Из офицеров броненосца «Орёл» Новиков-Прибой выделяет инженера Васильева, лейтенанта Гирса, капитана 1-го ранга Юнга. Он говорит от имени рассказчика: «Меня не прельщали ни офицерские чины, ни ордена, ни богатство. Я хорошо знал, что всё это даётся людям не обязательно даровитым и честным. Но мне до болезненной страстности хотелось быть таким же умным и просвещённым человеком, каким представлялся в моих глазах Васильев...»

Чрезвычайно выразительны созданные Новиковым-Прибоем портретные характеристики персонажей. Автор рисует невзрачный облик царя Николая II и комически воинственную фигуру Вильгельма II, сопоставляет грозную и величественную внешность адмирала Рожественского в начале похода с его жалким видом после боя. Импозантный внешний облик прикрывает подлую натуру Баранова; нежные, девичьи черты лица мичмана Воробейчика контрастируют с его злобными и жестокими выходками по отношению к матросам. Весьма не-

пригляден облик судового священника отца Паисия, обрисованный со всей страстностью атеистического нигилизма автора.

По композиции «Цусима» — необыкновенно целостное произведение. В нём нет ничего неясного и незавершённого. Убеждённый в этом, С. Петров пишет, что Новиков-Прибой ни о чём не забыл и ни рядовой читатель, ни профессионал-специалист не могут предъявить писателю каких-либо упрёков в неполноте или неточности: «Подготовка эскадры, состав её сил, военно-техническая оснащённость, уровень подготовки офицеров и матросов, способности командования, тактические вопросы, моральное состояние личного состава эскадры — всё освещено в “Цусиме” художественно объективно — в образах, сценах, картинах, всё, что необходимо для полного представления о Цусимском сражении, его причинах, характере и результате».

«ПИСАТЕЛЬ СКЛАДЫВАЕТСЯ ГОДАМИ»

В архиве А. С. Новикова-Прибоя сохранилось множество блокнотов и тетрадок с его заметками, сделанными в разные годы жизни.

«Писатель подобен пчеле, — любил повторять Алексей Силыч. — Как пчела собирает нектар с различных цветов, чтобы создать из него душистый мёд, так и писатель по капелькам, по крупицам собирает материал, из которого создает своё произведение».

Вот записи о море и моряках:

«Примета в Архангельске: если чайки сидят на воде, значит, в море разыграется шторм»;

«Поверье моряков: если увидеть зелёное солнце, то не погибнешь в море»;

«Два капитана, подвыпив, хвалятся:

— Я могу в любой туман пройти, как по нитке.

— Вы ещё не видали настоящего тумана, — сказал другой. — Я однажды попал в такой густой туман, что свистка нельзя было дать — пар не лезет в трубу»;

«Он засмеялся, загрохотав, точно якорный канат в клюзе»;

«Вокруг глаз у него морщины — это отпечаток моря, где приходится смотреть, постоянно щурясь»;

«Он был стар, и казалось, что его душа обросла ракушками»;

«Понимаешь ты в этом деле, как лангуст в библии»;

«Он начал дрейфовать около неё»;

«Он шёл, точно плыл под бом-брамселями и лиселями».

Есть в блокнотах наброски морского пейзажа («Солнце развесило золотые паруса облаков»), есть пословицы («Уснула акула, да зубы живы», «Моя красавица пройдёт — и травы не сомнёт»), есть короткие заметки, из которых потом рождались рассказы и романы.

Например, вот такая короткая запись легла в основу сюжета романа «Солёная купель»: «Аббат, напившись, попал в матросы и что из этого вышло».

Использованные заметки писатель чаще всего перечёркивал, а иногда помечал, в какие рассказы они попали.

В РГАЛИ, в архиве Новикова-Прибоя, хранится потрёпанный блокнот в клеточку с набросками к выступлению «Как я учился писать»: «Наметить курс и добиваться своей цели»; «Писатель складывается годами» (кстати, по воспоминаниям друзей Алексея Силыча, это было одно из самых любимых его выражений); «Нужно из собранного материала делать тщательный отбор. Уплотнить своё произведение — братья Гонкур и Вольтер»; «Из огромнейшего количества золотоносного песка собирается немного грамм золота».

Алексей Силыч цитирует Флобера («Я предпочитаю издыхать, как собака, нежели на одну секунду ускорить фразу, которая ещё не созрела»), Джека Лондона («Омут лесных озёр. Кажется, дна нет. А войди в воду — она только по пояс. Некоторые произведения такие бывают. Обманная глубина»).

В этом же блокноте отдельным столбиком перечислены почитаемые Новиковым-Прибоем зарубежные прозаики: Флобер и Мопассан, братья Гонкур, Вольтер, Джек Лондон.

Все писатели знали, что Алексей Силыч особенно уважал французов. Он восхищался, например, мастерством Мериме, удивляясь, что тот практически не использует сравнений. «Все удачные и мыслимые сравнения, — говорил он И. Арамилеву, — давно использованы, заштампованы. Нельзя в тысячу первый раз писать: Пётр Иванович покраснел как рак. Это уже не действует на читателя. Теперь некоторые писатели мучаются над изобретением сравнений, подобно несчастным алхимикам, и выдумывают всякие нелепости. Один сравнивает облако с мопсом или рогатой коровой, другой — солнце с кровавой раной, третий — человеческие глаза с шариками ртути, четвёртый — женскую ножку с хоботом слона. Мы боимся, что без сравнений читатель не почувствует красоты моря, не поверит в мягкость земли, не запомнит глаза и ножки героини романа. А вот я читаю Мериме, всё понимаю, во всё верю».

Как-то, уже во время Великой Отечественной войны, заговорили Арамилев с Новиковым-Прибоем о норвежце Гамсуне, у которого к тому времени была дурная слава: оправдывал фашизм. Этот факт Силыч объяснил совершенно удивительно, по-своему, по-крестьянски. «Я думаю, что Гамсун, — сказал он, — примкнул к фашистам по старческому слабоумию. Я знал в деревне мужика. Он был замечательный человек — умница, широкая натура, хлебосол. Состарился — не узнать. Превратился в такого скопидома и выжигу — удивленье. Одни, сколько ни живут, остаются самими собой. Других старость преоб-

ражает, уродует. Гамсун изуродован старостью — думаю, что это верно, и поэтому скатился к фашизму».

Главная задача писателя, считал Новиков-Прибой, — постоянно наблюдать за жизнью, собирать как можно больше фактов. Именно поэтому он очень много ездил по стране: ему нужны были встречи с людьми разных профессий, ему нужно было посмотреть, как живут строители и шахтёры, крестьяне и рабочие, рыбаки и конечно же моряки, хотя уж о них-то он, казалось, знал всё. Но его интересовал современный флот, изменений было так много и они осуществлялись столь стремительно, что Алексей Силыч боялся что-нибудь пропустить. Поэтому он был постоянным гостем на военных кораблях Балтийского и Черноморского флотов.

Не уставая работать над «Цусимой», получая множество положительных откликов на свой роман, Новиков-Прибой переживает и очень неприятные моменты, связанные с его работой. И это требует большого мужества.

14 февраля 1934 года «Литературная газета» опубликовала «Открытое письмо А. С. Серафимовичу» М. Горького. Вступив в полемику о современной литературе с одним из пролетарских писателей, главный пролетарский писатель отстаивал необходимость беспощадной борьбы «за очищение литературы от словесного хлама», «за простоту и ясность нашего языка, за честную технику, без которой невозможна чёткая идеология».

Упомянул в своём послании Горький и Новикова-Прибоя. Больно было читать Алексею Силычу не просто негативные, а крайне издевательские слова о себе: «По линии идеологической славные литераторы наши сугубо беззаботны и даже более того: некоторые хвастают слабостью идейного вооружения своего. Так, например, в какой-то газетке я нашёл нижеследующее заявление автора "Цусимы" Новикова-Прибоя:

У меня этого не бывает, чтобы вычёркивать из написанного что-нибудь, хоть строчку... Это вычёркивают те, которые стараются напустить как можно больше идеологии и которым приходится сказать: "Ты с этой, с позволения сказать, идеологией только срамишь Советскую власть". А у меня идеология в крови и волосах.

О составе крови этого писателя мне, разумеется, ничего не известно, но волос на голове его, мне помнится, не очень много, а судя по приведённым его словам — совсем нет волос».

Надо сказать, что здесь произошло досадное недоразумение. Одно из высказываний Новикова-Прибоя было искажено в «Литературной газете» (1934. 16 января), и получилось, будто бы он заявил, что никогда ничего не вычёркивает из на-

писанного (полный абсурд: все близкие знали, как упорно он работает над каждой страницей своих текстов, перемарывая их не по одному десятку раз). Алексей Силыч разъяснил ошибку (Литературная газета. 1934. 4 марта), газета принесла свои извинения, но, думается, легче от этого Силычу не стало. Тяжело было у него на сердце. Человек, которого он буквально боготворил, к которому испытывал светлое и тёплое чувство благодарности, при каждом удобном случае отзывался о Новикове-Прибое пренебрежительно или уничижительно.

Однажды, как вспоминает Борис Неверов, Алексей Силыч вместе с Марией Людвиговной были на приёме у Горького, на котором Алексей Максимович делился своими впечатлениями о последних произведениях московских литераторов, опубликованных в журналах и вышедших отдельными книгами. С приёма Алексей Силыч вернулся необычайно расстроенным и подавленным. Оказалось, что Горький очень неодобрительно отозвался о «Цусиме». Рассказывая об этом, Алексей Силыч сказал: «Много Алексей Максимович помогал мне, когда в литературе я был "матросом Затёртым"... Спасибо ему за это... А вот "Цусиму" мою не понял и так опозорил при всём честном народе».

И вот уж где спасал надёжный тыл — семья. Истинная хранительница очага, Мария Людвиговна создавала все условия для того, чтобы Алексей Силыч как можно меньше огорчался. Уж она, как никто, знала, как нуждается её муж в общении, и то, что дом всегда был полон друзей, — несомненно, её заслуга. Как, наверное, она уставала! Только никто никогда никаких жалоб не слышал. В ней удивительно сочетались доброта, приветливость и строгость (прежде всего по отношению к детям, ведь именно на ней лежала ответственность за их воспитание).

Алексей Силыч никогда не позволял себе хандрить, показывать своё плохое настроение. Он всегда был в гуще всех событий, благодаря своей кипучей, деятельной натуре и личной ответственности за всё, что происходит в стране.

В феврале, конечно, тяжеловато было из-за этого открытого письма, а в марте уже нужно было принимать участие в Третьем пленуме оргкомитета Союза советских писателей.

Событий было множество, и практически на всех Новиков-Прибой, по-настоящему популярный писатель из народа, был желанным гостем.

16 апреля. Постановлением ЦИК СССР учреждено звание Героя Советского Союза. Первыми награждёнными стали лётчики, спасшие челюскинцев. Среди них — Водопьянов, Ка-

манин, Ляпидевский... Новиков-Прибой очень ценил лётчиков, многих из них хорошо знал и, конечно, присутствовал на приёме.

1 мая. На Красной площади — военный парад и демонстрация трудящихся. К. Паустовский писал: «На влажных от тумана мостовых плясали танкисты. Они ждали начала парада... На Красной площади демонстранты выпустили почтовых голубей. Они шумно взмыли в стратосферическое небо, где рокотали стаи лёгких самолётов-разведчиков. Десятки маленьких воздушных шаров перепутались с голубями. К шарам были привязаны живые цветы». На трибуне, среди почётных гостей — и известный писатель Новиков-Прибой.

4 мая. На Васильевской улице открылся Центральный дом кино. И на этом мероприятии нельзя было не побывать: «кино — важнейшее из искусств».

13 мая. Первое заседание по приёму в члены Союза советских писателей. Членский билет № 1 выдан А. М. Горькому. Билеты получила первая группа писателей: А. Безыменский, Г. Никифоров, А. Караваева, К. Зелинский, Б. Ясенский, Б. Иллеш, А. Глебов, И. Ильф, Е. Петров, В. Киршон, М. Герасимов, А. Свирский.

А 24 мая на улице Воровского открылся Центральный дом литераторов. Предыстория этого события такова: в начале 1930-х годов московские писатели пожаловались Горькому, что у них нет своего клуба. Горький передал это Сталину. Тот перебрал все здания рядом с Союзом писателей и остановился на бывшем особняке графа Олсуфьева, принадлежащем посольству США.

— Америка плохо относится к нам, — сказал он. — Заберём этот дом у американцев, отдадим его писателям, а когда Америка изменит своё отношение, мы найдём американцам другой.

19 июня. На Белорусском вокзале столицы восторженно встречали легендарных челюскинцев. От имени писателей их приветствовал А. С. Новиков-Прибой. По-праздничному оделись площади, улицы, бульвары, переулки столицы. Дома украсили гирляндами цветов, портретами Сталина, лётчиков-героев Советского Союза, ледового командира О. Ю. Шмидта, мужественных челюскинцев. На Красной площади состоялся митинг, который открыл заместитель председателя СНК В. В. Куйбышев. Выступали спасённые полярники и лётчики, вывезшие их с льдины.

А вот 23 июля 1934 года произошло событие, затмившее для Алексея Силыча всё на свете. В семье появилась долгожданная дочка! В это время ему — 57, а Марии Людвигов-

не — 43. Назвали Ириной. И кто больше всего любил и баловал девочку? Конечно, отец.

Но, тающий от нежности к малышке, от общественной жизни Алексей Силыч не отрывался.

В конце июля 1934 года в Москву прилетел известный английский писатель-фантаст Герберт Уэллс. В московском аэропорту гостя встречали официальные лица, представители общественности. Литераторов представляли М. Кольцов, А. С. Новиков-Прибой, И. Бабель. Пройдёт совсем немного времени — и из этих троих посчастливится остаться в живых только одному.

Но пока жизнь прекрасна и удивительна! И сердце Силыча не сжимается от боли и непонимания: почему происходит то, что происходит?! И страха за свою семью пока нет. Потом, через три года, появится. Как у всех...

В начале 1930-х годов Новиков-Прибой ближе познакомился с Александром Константиновичем Воронским, которого знал по многочисленным критическим публикациям, в том числе и по поводу своих произведений.

Жизнь Воронского закончилась трагедией. Подобные исходы, к сожалению, были страшной приметой «славного» шествия страны под сталинскими победными знамёнами.

Видный революционер, идеолог нового искусства, на протяжении нескольких лет главный редактор популярного журнала «Красная новь», А. К. Воронский в своих взглядах на литературу во многом совпадал с Троцким, осуждал принципы Пролеткульта, выступал за привлечение в советскую литературу интеллигенции. В 1923 году он примкнул к левой оппозиции РКП(б), а в 1927-м был исключён из рядов партии и отправлен в ссылку вместе с другими оппозиционерами. Через два года он заявил об отходе от оппозиции и получил разрешение вернуться в Москву, где был назначен редактором отдела классической литературы в Гослитиздате. В 1934 году закончил работу над самой значительной своей книгой о жизни и творчестве Н. В. Гоголя. С 1929 по 1935 год (в 1935-м он был арестован) пишет множество литературно-критических статей, в том числе и о Новикове-Прибое. Летом 1937 года Воронский был расстрелян.

И Новиков-Прибой, как и большинство граждан страны, как и все поголовно писатели, увы, поверил в вину человека, который совсем недавно о нём, об Алексее Силыче, веря в его талант писателя-мариниста, писал:

«Почти все рассказы и повести Новикова-Прибоя морские. В них на первом плане вольные дети морского труда. Они надёжны на море, они пережили тысячи опасностей, они гляде-

ли в глаза смерти, каждому из них есть что рассказать; об ужасных, небывалых случаях они повествуют спокойно, эпически. Они находят в себе силы даже подшучивать, подсмеиваться...

На море труд и опасности, но на море проще. Тут человек забывает о береговых несчастиях, тут забывает он о том, что саднит душу на земле. Эта великая, немолчная, таинственная стихия, эта бездна, эти тёмные и неизведанные, сказочные пучины, эти пленительные восходы и закаты, эта ласкающая синь и эти чудовищные, адские штормы — они отметают, они заглушают земные невзгоды. Оттого "море зовёт", оттого оно тянет и властно требует к себе человека».

Алексей Силыч Новиков-Прибой (хоть и не жалует его Горький) в стране почитается и как популярный писатель, и как заметный общественный деятель. И не случайно летом 1934 года ему, одному из первых среди писателей, достаётся легковой автомобиль «ГАЗ». Алексей Силыч был несказанно рад, что теперь в любое время года сможет выезжать на охоту на собственной машине.

7 августа в Колонном зале Дома союзов открылся Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Это было грандиознейшее событие!

Из воспоминаний Ильи Эренбурга: «Съезд продолжался пятнадцать дней, и каждое утро мы спешили в Колонный зал, а у входа толпились москвичи, желавшие посмотреть на писателей. К трём часам дня, когда объявляли обеденный перерыв, толпа была такой плотной, что мы с трудом пробирались... Приходили различные делегации: Красной Армии и пионеров — "база курносых", работниц "Трёхгорки" и строителей метро, колхозников Узбекистана и московских учителей, актёров и бывших политкаторжан. Железнодорожники выстраивались под специальный свисток; пионеры дули в трубы; колхозницы приносили огромные корзины с фруктами и овощами; узбеки привезли Горькому халат и тюбетейку; матросы — модель катера. Всё это было патетично, наивно, трогательно и походило на необычайный карнавал; привыкшие к трудным часам у рабочего стола, мы вдруг оказались на площади, осыпаемой розами, астрами, георгинами, настурциями — всеми цветами ранней московской осени».

В октябре 1934 года А. С. Новиков-Прибой приглашён на празднование двадцатилетия линкора «Октябрьская революция». Как всегда, он берёт в эту поездку сына Игоря.

И. А. Новиков позже напишет: «Мы поднялись на палубу линейного корабля. К нам подошли, отдали честь, пожали ру-

ки командующий Балтийским флотом флагман 1-го ранга Лев Михайлович Галлер и командующий бригадой линкоров флагман 2-го ранга Константин Иванович Самойлов. Сразу завязалась непринуждённая дружеская беседа».

«Находясь на судне и наблюдая за отцом, — вспоминает Игорь Алексеевич, — я удивлялся его неиссякаемой энергии. Для него, человека "морской косточки", корабельная жизнь была привычной и желанной средой. Он вставал рано, вместе с побудкой на линкоре, ложился спать, когда на судне объявляли отбой. Ежедневно на верхней палубе присутствовал на утренних и вечерних поверках команды корабля, при подъёмах и спусках гюйса и кормового флага. В течение дня он успевал побывать в разных отсеках линкора, поговорить с краснофлотцами о военной службе, их интересах и увлечениях, семейных новостях, ознакомиться с современными военными приборами и аппаратами, выяснить у командира корабля их особенности в походах и на манёврах, побеседовать с механиками о технических данных судовых машин, расспросить специалистов об огневой мощи и мореходных свойствах линкора».

Во время пребывания на линкоре Новиков-Прибой познакомился с молодым, подающим надежды поэтом Н. Флёровым.

Тесная дружба связывала Алексея Силыча с писателями-маринистами Всеволодом Вишневским и Леонидом Соболевым. Алексей Силыч очень любил спектакль «Оптимистическая трагедия» и много раз смотрел фильм «Мы из Кронштадта», снятый по сценарию Вишневского.

Мария Людвиговна и Алексей Силыч всегда были желанными гостями Вишневского на премьерах его новых спектаклей в московских театрах. В пьесе «Раскинулось море широко», созданной Вишневским в 1942 году в блокадном Ленинграде, любовно выписан образ носителя лучших морских традиций — боцмана Силыча, названного так в честь А. С. Новикова-Прибоя.

Жизнь в Москве 1934 года продолжала кипеть.

Осенью на экранах всех кинотеатров города появился «Чапаев», очереди у касс были невообразимые, а мальчишки умудрялись смотреть его всеми правдами и неправдами десятки раз.

Ощущение праздника закончилось 1 декабря. В Ленинграде был убит один из истинных народных кумиров — Сергей Миронович Киров. 4 декабря тело Кирова привезли в Москву, гроб был установлен в Колонном зале Дома союзов. Прощание было многолюдным и многослёзным.

Но уже 25 декабря москвичи спешили посмотреть вышедшую на экраны первую советскую музыкальную комедию

«Весёлые ребята». Новые всеобщие кумиры — Любовь Орлова и Леонид Утёсов.

В 1935 году в жизни семьи Новиковых — новое приятное событие.

Вскоре после появления в семье дочки Новиковы решили поменять жильё на более просторное. Сложилось всё очень удачно: переехали в пятикомнатную квартиру в своём же доме, в Большом Кисловском переулке, даже в этом же подъезде, только этажом ниже.

В середине 1930-х годов Новиков-Прибой вместе с писателями Перегудовым и Низовым объездил с литературными вечерами несколько городов Донбасса.

Там писатели побывали на заводах, в шахтах, в забоях и у мартеновских печей, знакомились с работой горняков и литейщиков, восхищались их самоотверженным трудом. Везде они встречали удивительно внимательное, тёплое к себе отношение, все встречи проходили с особым подъёмом и, как всегда, в роли самого яркого рассказчика оказывался Алексей Силыч.

В 1937 году Новиков-Прибой работает над либретто оперы «Цусима». Наброски либретто хранятся в РГАЛИ. Предполагалось масштабное действо со множеством персонажей. Опера должна была состоять из шести картин с прологом и эпилогом.

18 июня 1936 года. Умер писатель Максим Горький. Да ещё при непонятных обстоятельствах. Врачи-отравители! Сердце кипит искренней ненавистью к убийцам любимого писателя. И не высказаться по этому поводу нельзя. И Новиков-Прибой в числе других писателей выступает с гневными статьями в газетах, искренне веря в заговор против молодой советской республики.

Со смертью Алексея Максимовича, «флагмана советской литературы», забылись все обиды. В семье Новиковых — настоящий траур. И все разговоры — только о Горьком, об учителе.

Часто вспоминая о жизни на Капри, Алексей Силыч рассказывал, как каждое утро почтальон с проклятиями тащил в гору на дачу Горького громадный кожаный мешок, доверху набитый письмами, журналами, газетами, книгами. Всю эту громадную корреспонденцию Алексей Максимович всегда разбирал и прочитывал сам. Без ответа не оставалось практически ни одно письмо, и все книги и журналы были внимательно изучены. Читал Горький невероятно много. Толстую книгу в 400—500 или 600 страниц прочитывал очень быстро.

Удивляясь этому, Алексей Силыч говорил: «У меня создавалось впечатление, будто Горький не читает, а только листает, просматривает книги. А чтобы в том увериться, взял и самым внимательным образом проштудировал одну из книг, только что просмотренных Горьким, а вечером спрашиваю:

— Вы, Алексей Максимович, читали эту книгу?

— Да!

— А как вам нравится описание грозы в лесу?

Ничего не подозревая, Алексей Максимович самым обстоятельным образом разбирал описание грозы, чуть ли не цитируя некоторые строки наизусть из этого описания».

Очевидно, Горький блестяще владел навыками того, что мы сейчас называем скорочтением, хотя тогда эту технику ещё никто не изобрёл — и это было или его собственным, удивительным для того времени, изобретением, или чудесным природным даром.

Рассказывая о Горьком, Новиков-Прибой открывал некоторые тайны жизни великого пролетарского писателя:

«Горький получал немало за издания книг, и всё-таки у него частенько не хватало денег. Рассылал их нуждающимся писателям, раздавал тем, кто обращался к нему за помощью. А всё хозяйство в доме вёл повар-итальянец. Преизрядный прохвост, он самым бесцеремонным образом обирал Горького. И самому Алексею Максимовичу не раз приходилось занимать деньги у повара. Конечно, Горький не мог не догадываться, откуда у того деньги».

Воспоминания о Горьком, очевидно, самому Новикову-Прибою доставляли немалое наслаждение. Не спеша, раздумчиво он извлекал из памяти характерные чёрточки, живо лепя лицо, фигуру великого писателя. Он рассказывал, как Мария Фёдоровна Андреева покинула Горького, как Горький переживал это, как старался разговорами с друзьями скрасить пустоту, образовавшуюся с её неожиданным уходом.

Рассказы Алексея Силыча, как пишет его друг писатель Степанов, всегда были необыкновенно интересны, полны любопытных деталей: «Горький был человеком исключительной образованности, невероятной начитанности и, что особенно важно, обладал гениальной памятью на лица, людей, даты, фамилии. Главное, он никогда не забывал того, что однажды прочитал или услышал. И, может быть, поэтому стоило только "завести" его, то есть сказать, например: "А вот в Нижнем Новгороде был цирк братьев Никитиных", — как он тотчас же вспомнит всех известных артистов цирковой труппы, шутки, какие выкидывал в ту пору знаменитый Дуров, какие происшествия волновали город, какие сплетни ходили по купечес-

ким и мещанским домам. Неистощим был на воспоминания. Слушаешь его, и люди, нравы старины проходят перед тобой, как на экране хорошего кино почти в объёмных образах.

Неподражаемый рассказчик, он был подлинным учителем писателей.

Меня он “натаскивал на литературу”, как опытный охотник охотничьего щенка на дичь. Многим, бесконечно многим обязан я ему. Да разве только я один?! Почти все писатели последнего полустолетия, начиная от Леонида Андреева и кончая Константином Фединым, прошли через его руки, благодаря ему стали на ноги».

Степанов рассказывает, что, вспоминая о Горьком, Алексей Силыч по-горьковски ставил локти на стол и иногда чуть подкрашивал речь своеобразным волжским оканьем: «...и тогда на лице его, широком и скуластом, на одно-другое мгновение появлялось что-то схожее с чертами самого Горького, и даже голос его звучал интонациями, свойственными низкому чистому басу Алексея Максимовича, и тогда невольно представлялось, будто Новиков-Прибой непостижимым, почти чудеснейшим образом перевоплощается в Горького».

Конечно, Алексей Силыч тяжело переживал, что отношение к нему человека, которого он искренне любил и всегда считал своим учителем, круто изменилось в то время, когда Новиков-Прибой уже стал известным и успешно издаваемым писателем.

В «Страничке из прошлого» Новиков-Прибой писал: «В России редко найдёшь такого писателя, который с первых своих литературных шагов обошёлся бы без Горького. Все начинающие, как птицы на маячный огонь, тянулись к нему, зная заранее, что у него они найдут и справедливую оценку своих творений, и его поддержку по устройству рукописи в журнале, если, конечно, она достойна этого. Нужно было удивляться, как он успевал прочитывать горы рукописей и отвечать авторам, подробно разбирая их произведения».

Помня, как радушно принял его Горький на Капри, как много отеческой заботы дарил каждому начинающему литератору, Новиков-Прибой тоже всегда с исключительной теплотой и вниманием относился к молодым писателям. И, пожалуй, число тех, кому в разные годы своей жизни помог Алексей Силыч, не уступает количеству питомцев великого пролетарского писателя.

Ставший позже известным советским прозаиком, лауреатом Государственной премии СССР, Афанасий Лазаревич Коптелов вспоминает, как в 1926 году он приехал в Москву из Сибири с объёмистой рукописью своего первого романа. Не

было у него в столице ни друзей, ни знакомых. Зато было рекомендательное письмо для Новикова-Прибоя, которого ему предстояло разыскать. Письмо передал Иван Григорьевич Зобачёв, редактор бийской газеты «Звезда Алтая». В своё время он работал вместе с Алексеем Силычем в редакции журнала «Сибирский рассвет» в Барнауле.

Новиков-Прибой встретил начинающего автора приветливо. За полночь затянулась беседа об Алтае, о сибиряках. Много было воспоминаний о Гражданской войне. Много рассуждали о творчестве. Алексей Силыч не упустил момента покритиковать Бориса Пильняка, о котором тогда много говорили и которого он очень не любил. Коптелов так передаёт слова Новикова-Прибоя: «Ну, этот опять наворотит, засыплет страницы журнала пустословием. Помните, как он писал о море? Будто из подвала кричал: “Море, море, море”. И полагал, что таким пустым криком он изображает морские просторы. А я за этими словами ничего не вижу — ни воды, ни воздуха. Не знаю — спокойное море или бурное. Нет ни изображения, ни чувств. В книге о тайге — помните? — у него написано: “Леса, леса, леса”. Будто он заблудился и орёт: “Спасите!” А спасают — не хочет выходить из леса, кривляется. Говорят, собирается в Японию. Можно ждать — напишет: “Вот идёт японец, за японцем ещё японец, ещё японец”. Человеческой души в его сочинениях нет. И настоящей живописи нет. Словами-пустышками пытается заменить картину, но ничего не выходит. И не выйдет».

После этого Алексей Силыч с воодушевлением и восторгом заговорил о Горьком: «Горький — вот мастер! Великий художник! У него всё ясно, всё вылеплено, всё походит на живую жизнь, всё правдиво. Вот у кого нам всем надо учиться живописи словом».

24 марта 1937 года широко отмечалось шестидесятилетие Новикова-Прибоя. Все центральные газеты пестрели заголовками: «Любимый писатель краснофлотцев», «Народный писатель», «Создатель народной книги», «Писатель большой правды», «Мастер социалистического реализма».

Письменный стол Новикова-Прибоя был завален поздравительными письмами и телеграммами от читателей, учреждений, издательств, библиотек, командующих флотами и армейскими частями, друзей-цусимцев, друзей-писателей.

На вечере в честь юбиляра было сказано множество торжественных и тёплых слов. Алексея Силыча приветствовали чиновники и общественные деятели, моряки, литераторы, арти-

сты. Вечер закончился грандиозным банкетом. За столиком Новикова-Прибоя сидели самые почётные гости — лётчики Валерий Чкалов и Георгий Байдуков.

Конечно, тёплые слова грели, давали новые силы для работы. И уже на следующее утро, как обычно, в шесть часов, не расслабляясь, Алексей Силыч принялся за работу. А в работе у него в это время были: «Цусима», во-первых (он продолжал редактировать роман, расширять его новыми эпизодами, и казалось, конца-краю этому не будет), и «Капитан 1-го ранга», во-вторых.

Работа над новым романом шла полным ходом. А задуман он был достаточно давно. В сентябре 1930 года в письме Н. В. Трухановой Новиков-Прибой, сообщая о текущих событиях своей жизни, делится и планами на будущее: «Побывал я на кораблях, поплавал, участвовал в маневрах в Балтийском море. Подготовляю материал к будущим работам. Когда кончу "Цусиму", возьмусь за изображение современного Красного флота».

Жизнь современного флота волнует писателя не меньше, чем трагедия 2-й Тихоокеанской эскадры. И хотя именно «Цусима» забирает всё время, все силы и энергию, Алексей Силыч подспудно готовится к работе над новым романом. Основная тенденция для него изначально ясна: показать различия между царским флотом и флотом советским.

В своей статье «Новая страна, новые люди» (опубликована 23 февраля 1935 года в газете «Правда») Новиков-Прибой писал: «При Цусиме наша экспедиция потерпела небывалое поражение. Нас разгромили за отсталость, за бескультурье, за неподготовленность к войне, за неумелую организацию службы на кораблях, за отсутствие боевого управления эскадрой и за многие другие грехи империи... Что было тогда, мной без утайки рассказано в "Цусиме". А сейчас можно с уверенностью сказать, что жуткие картины ужасов этого величайшего в истории морского сражения не устрашат наших любимых бойцов Красной Армии. Что я вижу теперь? Я побывал во многих красноармейских частях, плавал и на кораблях Красного советского флота. Всё изменилось коренным образом. Вместо прежней слепой субординации введена строгая, но сознательная и разумная дисциплина, вместо бессмысленной муштры красноармейцы и краснофлотцы вооружаются знаниями военной техники, готовятся по-настоящему постоять за свою социалистическую родину... И мне начинает казаться, что не 30 лет, а несколько веков отделяют меня от пережитого грозного боевого урока истории, пошатнувшего основы самодержавия».

Однако идея, сколь высока она бы ни была, сама по себе едва ли могла вдохновить писателя, чьи произведения всегда

отличались занимательным, напряжённым сюжетом и колоритными образами. Требовалась правдивая и интересная история. Требовался яркий герой. Обычно воображение прозаика-реалиста начинает активно работать, едва судьба подарит ему необычный случай, или столкнёт с занятным явлением (которое сначала может всего лишь блеснуть одной из многочисленных граней или проявиться невидной обычному глазу деталью), или подарит встречу с любопытным человеком.

Служил у адмирала Рожественского вестовой Пётр Пучков. Алексей Новиков был знаком с ним по Кронштадту: в первый год службы судьба свела матросов на крейсере «Минин». Потом пути их разошлись: Новиков был переведён на броненосец «Орёл», а Пучков — на броненосец «Суворов». Встретиться им довелось лишь в 1935 году, когда Новиков-Прибой активно общался с цусимцами.

Пётр Пучков, родившийся в деревне Клишино Рязанской губернии, был тепло встречен в доме уже именитого, но отнюдь не зазнавшегося, а напротив, отличавшегося простотой и радушием писателя. Живые, интересные, пересыпанные солью морского юмора рассказы Пучкова радовали Алексея Силыча массой любопытных подробностей. И в результате общения появилась новая глава для «Цусимы» — «Адмиральский вестовой», вошедшая позднее в третью редакцию (1937 года) постепенно разраставшейся эпопеи. В процессе работы над этой главой у автора более чётко оформляется замысел будущего романа о современном флоте, вырисовывается любопытная фабула, приходит название — «Капитан 1-го ранга».

Сопоставляя содержание главы из «Цусимы» и сюжет «Капитана 1-го ранга», нетрудно заметить черты сходства между адмиральским вестовым и героем нового романа Захаром Псалтырёвым. Оба — уроженцы Рязанской губернии. Оба отличаются расторопностью, находчивостью, крестьянской сметливостью. Вместе с тем им одинаково присуще чувство собственного достоинства, которое так трудно было сохранить в условиях подчинения командиру, чьи действия и поступки были, мягко говоря, непредсказуемы.

В архиве Новикова-Прибоя хранится датированная 1935 годом рукопись набросков двух рассказов, объединённых названием «Вестовые». Читаем:

«Первый рассказ ведётся от первого лица в форме разговора. Вестовой рассказывает, как барин (капитан 2-го ранга, пожилой человек) поручил ему следить за молодой женой. От барина он получал за это по два рубля лишних сверх жалованья. От любовника барыни, молодого мичмана, за каждое посещение по 20 копеек. Сама барыня, если свидание с любовником

было удачным, награждала его тремя рублями. Доход шёл с трёх сторон.

Однажды вестовой пришёл в экипаж весь избитый.

— Что случилось? — спросили мы.

— Накрыл барин мичмана. Ну и досталось же мне. Думал, убьёт до смерти».

Далее:

«Этот рассказ в третьем лице. Описание наружности смекалистого вестового. Он быстро разбирался в военно-морском деле. Это был самородок. Если бы ему пришлось служить во времена Наполеона I, он был бы произведён в генералы.

Вестовой замечал все непорядки на корабле и сообщал об этом командиру. Командир отдавал приказ:

"Мною замечено, что минное дело у нас поставлено из рук вон плохо..."

Шло перечисление недочётов.

В заключение старший минный офицер получал выговор.

То же самое получал и старший артиллерийский офицер, старший штурман, старший механик. И никто не подозревал, что фактически управлял кораблём вестовой.

Этот командир был холостяк. Любил выпить сильно, но слыл за трезвенника. Он жил только с вестовым вдвоём. Причём вестовой по его распоряжению одевался во время таких "загулов" в командирскую форму. Оба, выпивая, называли друг друга по имени и отчеству. Критиковали адмиралов. <...>

Однажды во время такой гулянки командиру стало дурно. Командир, хватаясь за друга, закричал:

— Сердце, сердце... Скорее доктора...

Вестовой, находясь под сильным хмелем, побежал в экипаж, забыв снять командирский мундир с эполетами. Конечно, ни один часовой, видя перед собой человека в офицерской форме, не мог задержать вестового. Прибежав к доктору, он крикнул:

— Ваше высокоблагородие! Мой барин умирает... Скорее... Скорее...

Доктор принял его за сумасшедшего. А когда выяснилось, что это матрос в офицерской форме, вестового арестовали. Пошли на квартиру командира. Тот лежал на полу мёртвым.

Вестовой пошёл под суд».

Описанные эпизоды, безусловно, могли бы стать отдельными рассказами, но творческое воображение писателя, нацеленное в тот момент на поиски героя для нового романа, рисует главную сюжетную линию: бывший вестовой, не получивший никакого образования, но наделённый от природы глубоким и быстрым умом, настойчивостью, прозорливостью,

в определённых условиях, а именно в условиях советской действительности, становится блестящим военно-морским офицером — капитаном 1-го ранга. И в результате второй эпизод, поначалу кажущийся всего лишь трагикомической зарисовкой, становится одним из важных эпизодов задуманного повествования.

Практически сразу после выхода в свет первых редакций «Цусимы» Новиков-Прибой приступил к работе над романом «Капитан 1-го ранга», которая успешно продвигалась в течение всего 1936 года. Уже с весны следующего года в периодической печати («Литературная газета», газета «Красный флот», журнал «30 дней») публикуются фрагменты романа.

Главного героя новой книги Захара Псалтырёва автор наделяет не только качествами Петра Пучкова, но и своими собственными, о чём нетрудно догадаться с первых же страниц романа. Например, новобранец Псалтырёв говорит своим сослуживцам:

« — А я очень рад, что попал на службу...

Я сам напросился во флот. В нашем селе Хрипунове никакой речушки нет. Воду можно увидеть только в колодцах и в лужах во время дождя. Одно лето мне всё-таки подвезло. Работал батраком на Оке. Это будет от нас вёрст сто. Там и плавать научился и пароходы повидал. А теперь моря и океаны увижу. И уж очень мне хочется узнать, как военные корабли устроены. Может, какой-нибудь специальности обучусь.

— Чёрт с ней, со специальностью, лишь бы дома остаться! — сказал один из новобранцев.

Псалтырёв строго посмотрел на него:

— Если так каждый будет рассуждать, то мы без армии и флота останемся. А тогда другие государства раскромсают нашу Россию по частям и приберут к своим рукам. Хорошо будет?»

Псалтырёв так же, как молодой Алексей Новиков, задаётся множеством вопросов обо всём на свете. Его тяга к знаниям огромна и неудержима. Он постоянно удивляет товарищей своим необычайным любопытством и упрямым желанием понять, почему именно так, а не иначе устроен этот мир:

«Псалтырёв оглядел всех и продолжал:

— Помню, оставался у меня на огороде квадратный аршин свободной земли. И посадил я на нём разные цветы. Почва была одинаковая, одинаково на неё светило солнце, и одинаково орошали дожди. А почему-то рядом росшие былинки зацвели все по-разному. На одном и том же месте пестрели красные, синие, жёлтые, розовые цветки. Откуда же, спрашивается, берут они свои особенные краски? С неба, что ли, или из земли? Ведь каждый из вас и на лугах видел то же самое.

Вопрошающим взглядом Псалтырёв обвёл присутствующих, но в ответ на него уставились недоумевающие лица. И мнение всех выразил один новобранец огромного роста и могучего телосложения. Почесав стриженый затылок, верзила мрачно пробасил:

— Вот чёрт! Какой дотошный!»

Образ Захара Псалтырёва, с которым читатель знакомится в самом начале книги, получился у Новикова-Прибоя чрезвычайно притягательным и правдивым. Читаешь и понимаешь: а что... всегда на Руси были и есть такие колоритные личности, наделённые Богом и открытой душой, и хватким умом, и крепким характером (таких с пути не собьёшь!), и чувством юмора (на всякий жизненный случай припасена у них шутка). И снова вспоминаются и сказочные герои, и герои Лескова... Автор хоть и с явной иронией относится к своему Псалтырёву, но явно симпатизирует ему. А читатель просто не может не полюбить Захара, настолько он обаятелен и простодушен.

«Помню, в экипаж он явился в домотканом коротком зипунишке, в облезлой заячьей шапке, в лаптях, с небольшим сундуком за спиной. Засунув сундук под койку, снял с кудрявой тёмно-русой головы шапку и распахнул зипун...

Лицо Псалтырёва, обескровленное деревенской нуждой, на момент приняло выражение беспредельной тоски. Но сейчас же он расправил, словно от усталости, широкие, крутые плечи и, тряхнув кудрявой головою, промолвил:

— Ну, ладно! Начало сделано. Остаётся немного — только семь лет прослужить.

Кто-то из новобранцев посмеялся над ним:

— Что ж это ты явился во флот в таком наряде?

Псалтырёв, не смущаясь, ответил:

— А для чего мне другой наряд? Казённое добро получу, — защеголяем».

Нелегко давалась служба многим новоиспечённым матросам:

«Время шло, но мы, несмотря на молодость, чувствовали себя подавленными... Нас пугали стены казармы... Казалось, что мы перестали принадлежать самим себе, перестали быть людьми... Многие из нас старались заглянуть вперёд — что же будет дальше? И служба нам рисовалась нудной, как осенняя слякоть, и невероятно длинной, как этапная дорога через Сибирь».

А вот Псалтырёв не унывал:

«Его серые глаза, роговицы которых были усыпаны маленькими, как маковые зёрна, сияющими точками, смотрели на всё с жадностью, — так хотелось ему скорее разобраться в новой жизни. Каждое движение его было неторопливо и рассчитано. А месяца через полтора он стал выявляться перед на-

ми как исключительно даровитый человек. В самых простых вещах он видел намёки на что-то интересное, что другим было невдомёк».

У Псалтырёва великолепная память, он прекрасный рассказчик:

« — Откуда, Захар, ты знаешь так много сказок?

Он охотно объяснил:

— От бабушки. Она — первая сказочница на селе. И плакальщицы такой нигде не найти. Её на свадьбы часто приглашают — поплакать по невесте. Вот уже начнёт причитать, кажется, камни прослезятся».

Итак, рассказчик, познакомив читателя с Захаром Псалтырёвым, человеком, безусловно, незаурядным, начинает повествование о том, как складывается служба его героя. Захар попадает в вестовые к разным офицерам: на этом пути его ждёт множество перипетий, о которых он, изредка встречаясь с рассказчиком, говорит с присущим ему неподражаемым юмором. Захар понимает, что служба вестового — не его удел, он мечтает о настоящей морской службе. Случай помогает ему. Есть у него и любовь — Валя, девушка бедная, но образованная, и Псалтырёв изо всех сил старается постичь и грамматику, и арифметику, чтобы не быть на её фоне неучем.

«Шли годы и революции», — пишет автор. И Захар Псалтырёв надолго исчезает из жизни рассказчика.

И вот уже автор, известный писатель, встречается на линкоре «Красный партизан» с его командиром — капитаном 1-го ранга Куликовым, в котором он не смог узнать своего давнего сослуживца Захара Псалтырёва.

Образ Куликова, хотя и не полностью раскрыт (Новиков-Прибой не успел дописать роман), сразу выявляется как образ более чем положительный. Перед нами — интеллигентный, умный, справедливый, требовательный командир — именно такой, каким должен быть офицер нового флота.

«Капитан 1-го ранга» остался неоконченным. О том, как писатель планировал продолжить вторую часть и завершить произведение, рассказывает А. Перегудов в своей «Повести о писателе и друге». Алексей Силыч, который всегда делился с ним своими творческими планами, говорил: «В “Капитане 1-го ранга” не нужно говорить о военных действиях, о подвигах моряков, — это увело бы меня далеко в сторону, нарушило бы композицию романа. Об этом нужно писать в новом, самостоятельном произведении. Сейчас передо мной стоит такая задача: не говоря о военных действиях на море, показать твёрдую уверенность советских моряков в победе. Как это сделать? Я много думал об этом, и пока лучшим мне кажется такой ва-

риант конца романа. Война началась, война идёт. На линкоре, которым командует капитан 1-го ранга, всё в боевой готовности. И вот капитан получает какое-то боевое задание. Линкор снимается с якоря. По тому, как ведут себя в это время моряки, по их непоколебимой уверенности в том, что задание они выполнят, читатель поймёт: враг будет побеждён...»

А для читателей роман завершается словами, которые Алексей Силыч выпестовал всей своей жизнью:

«Вокруг расстилалось море, играющее золотыми всплесками под лучами солнца, море, которое так же близко мне, как и земля родины, которое всегда волнует меня и пробуждает во мне самые лучшие чувства, — море, которое я никогда не перестану любить...»

Ещё в 1929 году критик Г. Якубовский назвал Новикова-Прибоя «Айвазовским в литературе», а Кубиков, подтверждая этот статус Алексея Силыча, писал: «...через все невзгоды и испытания он пронёс свою заражающую читателя влюблённость в морской пейзаж». Новиков-Прибой, даже по мнению самых суровых критиков, романтик, «для которого связанность с морской стихией является источником душевного подъёма и отрешения от грубой житейской пошлости» (И. Кубиков).

Этим душевным подъёмом моряка-романтика, который Алексей Силыч Новиков-Прибой пронёс через всю свою творческую жизнь, наполнена и вторая главная (после «Цусимы»), как он сам считал, книга — «Капитан 1-го ранга».

В 1937 году старший сын Новикова-Прибоя Анатолий был призван на военную службу. Разумеется, по своему собственному желанию и по желанию отца, он попал на флот. Алексей Силыч с радостью делился со всеми этой новостью: «Вот и осуществилась моя мечта давнишняя... Теперь бы дожить до внука и его подготовить в матросы».

В самое сложное и страшное время, когда шли бесконечные, публичные и тайные, судебные процессы над многочисленными «врагами народа» и когда многие из окружения Новикова-Прибоя попали в их число, сгущаются тучи и над Алексеем Силычем. В газете «Красный флот» от 22 декабря 1938 года появляется огромно-разгромная статья И. Амурского «“Цусиму” надо переделать».

Признавая, что Новиков-Прибой «проделал большую работу», что после Станюковича «ещё никто так полно и ярко не изображал в художественных произведениях образы русских военных моряков, как это сделал советский морской писатель Алексей Силыч Новиков-Прибой», Амурский высказывает

ряд претензий к автору, реакция на которые могла последовать незамедлительная и определённая.

Вот несколько фрагментов из публикации И. Амурского:

«Несмотря на чёткое и исчерпывающее ленинское разъяснение разницы между понятием “русский народ” и “русское самодержавие”, автор “Цусимы” вместе со многими издателями в течение нескольких лет продолжает печатать некоторые свои неправильные утверждения»;

«Писатель слепо, некритически записывает как неопровержимую истину такой, например, абсурдный вывод: “Все иностранцы поняли, что несокрушимая мощь России с народонаселением в полтораста миллионов оказалась на деле бутафорией...” (с. 100).

Если “все (?) иностранцы” действительно пришли к такому неправдоподобному выводу, то значит ли это, что писателю-патриоту с ними надо соглашаться? Конечно, нет»;

«Допущенные в “Цусиме” ошибочные смешивания таких понятий, как “русский народ”, “Россия-родина” и “самодержавие”, тем более досадны, что вся книга, по замыслу автора, на конкретном историческом примере должна была как можно полнее показать гигантскую пропасть между нашим народом и царским правительством, ещё более углубившуюся после разгрома 2-й тихоокеанской эскадры в Корейском проливе 27—28 (13—14) мая 1905 г.

Неправильные утверждения автора “Цусимы” по каким-то неизвестным причинам до сих пор поддерживаются некоторыми издательствами. Немногие произведения советских писателей оказались распространёнными в таком большом количестве, как эта книга»;

«А. С. Новиков-Прибой без всякого доказательства слишком переоценивает боевые способности японских самураев и неоправданно умалчивает о многих замечательных героических подвигах русских моряков в бою у Цусимы в мае 1905 г. Размышляя, например, о предстоящей встрече с вражеским флотом, автор ещё в начале похода пишет: “Что это такие за всемогущие японцы?”» (с. 62);

«Боязнь перед возможностью нападения на нас японцев всё возрастала и так затуманила у всех разум, что все потеряли способность здраво мыслить» (с. 65);

«Вспоминая о ночной стрельбе по гулльским морякам на Доггер-Банке, автор вздыхает: “Если бы мы стреляли так же умело, как японцы...”» (с. 67);

«Чувство глубокого возмущения вызывают страницы, карикатурно описывающие поведение рядовых русских моряков 2-й тихоокеанской эскадры во время “гулльского инцидента”»;

«Недооценивая героические подвиги многих русских моряков, А. С. Новиков-Прибой по непонятным причинам делает огромные скидки тем, кого надо было заклеймить за предательство родины, за измену. Так поступает писатель, например, в отношении адмирала Небогатова...»;

«Как можно советскому писателю уже в 1938 году писать одобрительные строки по адресу таких, как Небогатов, и называть "человеколюбивыми" действия, направленные против интересов русского народа?»

Приближаясь к финалу своей статьи, И. Амурский пишет: «Вместо пользы такая книга может принести большой вред, вводит в заблуждение неопытного в исторических вопросах читателя, неверно отображает прошлое русского народа.

Сейчас, в связи с выходом в свет такого ценнейшего марксистско-ленинского произведения, каким является "Краткий курс истории ВКП(б)", как никогда, особенно назрела необходимость проверить и исправить все исторические ошибки, где бы и кем бы они ни были допущены, в том числе и в литературно-художественных произведениях».

После статьи Варшавского в 1933 году это было самое серьёзное обвинение в адрес Новикова-Прибоя, и можно представить себе, с каким настроением встречала семья писателя новый, 1939 год.

В своём «Ответе критикам "Цусимы"» («Красный флот» опубликовал его уже 16 января) Алексей Силыч пишет, что не считает свою книгу «свободной от некоторых недостатков» (хотя бы потому, что работа над ней ещё не закончена), но вместе с тем никак не может признать многие замечания И. Амурского, который, выхватывая из контекста отдельные фразы, толкует их по-своему.

Например, по поводу возмущения Амурского «выдернутой» из текста фразой: «Что за проклятая страна!» — Новиков-Прибой говорит следующее: «Эту фразу у меня говорят матросы после того, как им вместо обуви прислали крестики, освящённые на "гробе господнем". Да и то на весь экипаж нашего корабля в 900 человек таких крестиков досталось 31. А для матросов по распоряжению начальства марсовые начали плести из прядей троса лапти. Некоторые из команды ворчали:

— Что за проклятая страна! Посылает нас на смерть и не может снабдить даже обувью.

Конечно, под словом "страна" они подразумевают не народ и не родину, а правительство, пославшее их на эту бессмысленную бойню».

На обвинение Амурского в том, что Новиков-Прибой карикатурно описывает поведение «рядовых русских матросов» во время «гулльского инцидента», Новиков-Прибой отвечает:

«У меня описано поведение не только матросов, но и офицеров. Это была настоящая паника, психологически подготовленная самим командованием. Для военных она бывает особенно страшной, когда ею заражено само командование. Тогда одна рота противника может уничтожить целую дивизию, охваченную паникой. Ей подвергаются не только новобранцы и запасные матросы, в обилии находившиеся на 2-й эскадре, но и испытанные в боях воины. Военная история знает много подобных примеров. Чем как не паникой, можно объяснить то, что мы с четырёх лучших броненосцев выпустили две тысячи снарядов по рыбацкой флотилии, стреляя с расстояния от двух до пяти кабельтовых, и потопили только один пароходик? В этом "сражении" обнаружилась наша чудовищная неподготовленность. Мало-мальски благоразумное правительство такую эскадру должно было бы немедленно вернуть обратно. Нечего было думать о посылке её в далёкое, опасное плавание, зная, что Порт-Артур к её приходу не устоит и что неприятельский флот будет почти в два раза сильнее, чем 2-я эскадра. Мне казалось, что глава о "гулльском инциденте" должна быть поучительна».

Продолжая последовательно и аргументированно оспаривать претензии Амурского, Новиков-Прибой пишет:

«К числу "нетерпимых и грубых ошибок" в моей книге т. Амурский причисляет и то, что я плохо отзываюсь о нашей стрельбе.

"Неверно, — говорит он, — что русские артиллеристы плохо стреляли (даже из плохих орудий!)".

Я бы сказал как раз наоборот: орудия у нас были неплохие. Лишь три корабля имели пушки старого образца: "Николай I", "Наварин" и "Адмирал Нахимов". На остальных кораблях в то время были новейшие орудия. Но наши комендоры, вышедшие из школы Рожественского, стрелять всё-таки не умели. Если к этому ещё прибавить, что у нас не хватало снарядов, а те, что были, не разрывались, то будет понятным, почему эскадра потерпела такое поражение. Излишне доказывать, что в морском бою главную роль играет артиллерия. А при Цусиме наша стрельба до того была нелепа, как будто мы только салютовали врагу. Это подтверждают все официальные документы, воспоминания участников Цусимского боя, "Заключение следственной комиссии", судебные отчеты о процессах Небогатова и Рожественского. Вот что писал сам адмирал Рожественский в приказе, выдержки из которого приведены в моей книге:

"Стрельба из 75-миллиметровых пушек была также очень плоха; видно, на учениях наводка по оптическим прицелам

практиковалась ‘примерно’, поверх труб. О стрельбе из 47-миллиметровых орудий, изображающей отражение минной атаки, стыдно и упомянуть; мы каждую ночь ставим для этой цели людей к орудиям, а днём всею эскадрой не сделали ни одной дырки в щитах, изображающих миноносцы, хотя эти щиты отличались от японских миноносцев в нашу пользу тем, что они были неподвижны”».

И ещё против одного обвинения, «которое уже носит более тяжкий характер», возражает Новиков-Прибой:

«Он (Амурский. — *Л. А.*) пишет: “Сколько ярких, горячих красок находит писатель на своей палитре, когда описывает гибель кораблей 2-й тихоокеанской эскадры, и какими часто холодными становятся эти краски, когда писатель переходит к описанию героизма русских моряков. О мужественных подвигах своих соотечественников автор часто упоминает лишь двумя-тремя фразами”...

Из этих слов читатель может сделать вывод, что я — по меньшей мере какой-то недоброжелатель своей родины, лишённый всякого чувства патриотизма. В такой абсурд едва ли может верить и сам т. Амурский. Разве у меня недостаточно ярко описаны миноносец “Буйный” и его командир Коломейцев? Крейсеру “Дмитрий Донской” я посвятил несколько глав. И неужели такими холодными красками описаны мной герой-кочегар Бакланов, машинист Бабушкин, лейтенант Гирс, командир Лебедев, старший офицер Блохин?»

Вчитываясь в страницы развернувшейся между Амурским и Новиковым-Прибоем полемики, понимаешь, насколько мешали писателю подобные выпады «идеологически подкованных» и держащих нос по ветру «критиков», имеющих весьма смутное представление о предмете обсуждения. Главным для них было не остаться в стороне, заявить о себе, подольститься к власти.

Вспомним, насколько объективны и конструктивны были советы и замечания действительно сведущих людей: В. П. Костенко, Л. В. Ларионова, М. И. Воеводина и сотен других, прошедших через Цусиму.

В 1939 году, отслужив срочную службу на Черноморском флоте, вернулся в Москву старший сын Анатолий и сразу же привёл в дом жену — Нину, дочь лучшего друга Алексея Силыча, так рано ушедшего из жизни. А через положенное время у Нины с Анатолием родилась дочка Оля. Силыч радовался. Вот оно счастье: чтобы нашему роду не было переводу!

Вот какой запомнила квартиру Новикова-Прибоя и атмосферу жизни в ней Нина Александровна Новикова (в девичестве Неверова):

«Кабинет Алексея Силыча удивлял в первую очередь своей простотой. По стенам стояли шкафы с книгами, макеты кораблей. На стенах висело огромное количество фотографий, которые напоминали пережитое, друзей, родных. Большой письменный стол был завален газетами, рукописями и письмами. На переднем плане стояла пишущая машинка. А над всем этим висела люстра в виде якоря морского.

Две маленькие комнаты занимали сыновья, а одна была спальней, и в ней находилась его маленькая дочка Ирина, ей ещё не было пяти лет.

Большая столовая поражала входящих своей величиной, простотой и уютом. Это была огромная комната, стены которой были отделаны резным дубом. По стенам, как и в кабинете, были развешаны картины с изображением кораблей и фотографии родных. На буфете, который был как бы слит с дубовой отделкой стен, стояли различные подарки, полученные Алексеем Силычем на шестидесятилетие».

Кстати, одним из самых ценных подарков в квартире Алексея Силыча и по сей день является уменьшенная чугунная копия знаменитого монумента, посвящённого подвигу матросов миноносца «Стерегущий». Этот монумент был создан скульптором К. Изенбергом и установлен в 1911 году в Петербурге, около Петропавловской крепости. Чугунную копию, а вернее, авторский экземпляр, отлитый для самого скульптора, Мария Людвиговна подарила мужу в то время, когда он усиленно работал над главами своей «Цусимы».

Из воспоминаний Н. А. Новиковой:

«В середине комнаты стоял очень большой и широкий стол старинной работы, застеленный белоснежной скатертью и бесконечным количеством вышитых салфеточек. Этот уют хранила и поддерживала жена Алексея Силыча — Мария Людвиговна, большая рукодельница.

В доме Новиковых очень любили и старались сохранить семью. За стол садились всей дружной семьёй. Кроме семьи, у Новиковых за столом всегда были посторонние: секретарь, шофёр и кто-нибудь из посетителей.

Алексей Силыч и Мария Людвиговна были очень общительны и приветливы. К ним шли с радостью и с горем. Всех встречали, всех сажали за стол и всем помогали. Алексей Силыч сидел на своём месте, приветливо кивал окружающим и глаза его блестели лучистой, доброй улыбкой. Чем больше сидело людей, тем больше светились глаза Алексея Силыча.

В доме Новиковых очень любили собирать гостей. Алексей Силыч и Мария Людвиговна были очень гостеприимны.

В столовой и без того большой стол раздвигался на две до-

ски и накрывали на 30—40 человек. Приглашали на дни рождения, на семейные юбилеи, по случаю нового издания, после удачной охоты или просто поделиться с друзьями новой задумкой.

Красиво сервированный стол был заставлен графинами, всевозможной закуской, нарядными салатами, мастерски украшенными руками Марии Людвиговны.

После удачной охоты на стол подавали жареную дичь или жареную зайчатину.

Среди гостей почти всегда присутствовали писатели Перегудов А. В., Лидин В. Г., Леонов Л. М., Никандров Н. Н., литературный критик Замошкин и директор издательства Чагин П. И.

Гости выходили на балкон, где были развешаны зайцы, и обсуждали подробности охоты, рассказывали анекдоты и всевозможные случаи из охотничьей жизни.

Мария Людвиговна умела очень вкусно приготовить зайчатину. Она шпиговала их салом и зажаривала в духовке.

Чагин П. И., этот весёлый и остроумный человек, перемигиваясь с гостями и глядя на Марию Людвиговну, всегда замечал:

— Ну и зайчатина, я вам скажу, просто прелесть! И кто это так сумел приготовить?

А потом всегда заканчивал такими словами:

— Силыч, заверни-ка мне парочку зайчиков с собой домой! Вон их сколько висит у тебя на балконе!

Все весело смеялись, снова пили за здоровье охотника, за его удачу и за вкусную кухню хозяйки. Далеко за полночь засиживались гости и долго не смолкали их смех и шутки».

Гостеприимный дом Новикова-Прибоя всегда был полон людей. Однажды молоденькая родственница Верочка, которая жила у них с момента рождения Ирины и помогала ухаживать за ней, попыталась вспомнить те дни, когда в квартире находились только её обитатели (напомним, их тоже было немало: Алексей Силыч, Мария Людвиговна, её сестра София, Анатолий с семьёй, старшеклассник Игорь, маленькая Ирина, всеобщая любимица, и Верочка). Так вот у неё, у Верочки, ничего не получилось. Потому что если не было гостей-писателей, или приехавших родственников, или навестивших старого друга цусимцев, то присутствовал кто-нибудь из секретарей, или, например, шофёр, или кто-то зашёл из соседей на минутку. И непременно всех кормили-поили.

Игорь Алексеевич Новиков вспоминает об этом так: «Мы жили шумно, с постоянными гостями в доме, многочисленными родственниками, заезжавшими без предупреждения знакомыми, в каком-то людском круговороте, характерном для русского уклада жизни, в котором переплетаются раду-

шие, хлебосольство, безалаберность, бесцеремонность. Я до сих пор удивляюсь, как при этих условиях в нашей семье соблюдались режим дня и относительный порядок, каждый из нас выполнял свои домашние обязанности, мы, ребята, росли, воспитывались, брат стал инженером, я — врачом, сестра — биологом. Безусловно, на наше духовное развитие и культурный кругозор особое влияние оказывали встречи на квартире с писателями, охотниками, художниками, цусимцами, скульпторами, колхозниками, артистами, партийными работниками, рабочими, журналистами, моряками, военачальниками, лётчиками и другими обыкновенными и выдающимися людьми того времени».

«Общался он, — пишет и писатель В. Лидин, — с великим множеством людей; в его рабочей комнате всегда — кажется, в любое время дня и ночи — кто-нибудь находился или даже ночевал на диване: то какой-то охотник или егерь из подмосковного хозяйства, то появившийся откуда-то участник Цусимского боя, то старый портартурец, то просто брат литератор, — бесхитростное сердце Алексея Силыча было широко открыто каждому. Ему нравилось такое многолюдство — всё это напоминало кают-компанию или привал на охоте...»

Всегда говорят о том, что Алексей Силыч был прекрасным рассказчиком. А он ведь и слушателем был необыкновенным. Читаем у Лидина: «Он любит слушать, по-детски восхищаясь образностью или складностью речи, трогательно удивляясь каждой новой для него подробности, затягивая беседу за полночь, вне времени, даже довольный очередным беспорядком, с точки зрения домашних, и единственно близким ему порядком. А особенно если это застольная беседа, — тогда часовые стрелки могут вращаться сколько им угодно, и растроганный Силыч от всего сердца скажет: “Ах, друг, ну до чего же хорошо!” — готовый дружбы ради на всё, что бы у него ни попросили».

Говоря о личных качествах Новикова-Прибоя, его друг писатель Арамилев отмечал, что ко всем жизненным удачам и неудачам Силыч относился с философским спокойствием. Испытания, выпавшие на его долю в начале жизненного пути, очевидно, настолько закалили его, что он ничему никогда не удивлялся и редко выходил из себя. Тем не менее любое проявление человечности, как пишет Арамилев, приводило его в восторг: «Он загорался, как ребёнок, и начинал доказывать, что человек, даже самый испорченный, способен возродиться к нормальной жизни».

Все близкие и знакомые Алексея Силыча хорошо помнят случай, когда в его дом в Тарасовке среди бела дня пробрался вор и украл кожаную куртку и пишущую машинку писателя.

Вора поймали. Алексей Силыч явился в суд как потерпевший. Судья начал стыдить обвиняемого:

— Знаешь, кого ты ограбил? Новикова-Прибоя, нашего писателя. Весь мир читает его с благодарностью, а ты — грабишь. Ему машинка для сочинительства нужна, а ты её пропил бы в два дня и человека без орудия производства оставил.

— Клянусь вам, гражданин судья, я не знал, кого ограбил! — воскликнул вор. — Я «Цусиму» тоже читал. Хорошая книга. Если бы я знал, что это дача Новикова-Прибоя, — не полез бы. Прошу извинить. Тут недоразумение вышло. Совсем я этого не знал.

Алексей Силыч до того умилился, что стал просить судью о смягчении наказания. Судья внял его просьбе, учёл чистосердечное раскаяние преступника и ограничился минимальным сроком.

Довольно часто в гости к Новикову-Прибою заезжал Валериан Владимирович Куйбышев. Однажды Куйбышев совершенно серьёзно заявил Алексею Силычу, что подозревает его в антигосударственной деятельности. Силыч растерялся, а Валериан Владимирович продолжил:

— На днях вернулся я поздно вечером из Госплана. Поужинал и прилёг на кушетку немного отдохнуть перед тем, как продолжить работу над большим докладом для Совнаркома. Взял с полки твою «Цусиму» полистать, да так увлёкся, что заново её перечитал. А когда перевернул последнюю страницу, за окном брезжил рассвет, и тут-то я с ужасом вспомнил, что мой доклад так и остался незаконченным, то есть срывается важнейшее заседание. Впервые в жизни мне пришлось сказать неправду: я позвонил в Совнарком и сообщил, что заболел. Как после этого тебя, Силыч, не обвинить в антигосударственной деятельности?

Постоянное общение с друзьями в семье Новиковых — обильное, шумное, даже, казалось бы, чрезмерное — никогда не мешало Алексею Силычу работать. Так уж замечательно он был устроен. Много и успешно пишущий писатель и его распахнутая настежь душа — всё-таки редкостное сочетание. Очень редкостное. Писание давалось ему не затворничеством, а строжайшей дисциплиной: в дом и в душу все впускались тогда, когда он, Силыч, уже «отстоял свою вахту».

Вспоминая о том, как отец работал, И. А. Новиков пишет:

«В пять или шесть часов утра он один завтракал стаканом молока или простокваши с куском чёрного хлеба и садился за письменный стол. Дообеденное время посвящал чтению собранных им документов, выпискам из книг, журналов и газет и первым литературным наброскам будущего своего романа.

После обеда спал сорок—пятьдесят минут, причём отец обладал завидной способностью мгновенно засыпать и так же быстро просыпаться, совершенно освежённым и работоспособным... Такое умение выключаться на некоторое время из суетной и напряжённой жизни отец, по его словам, приобрёл на военной службе...»

Во второй половине дня Алексей Силыч обычно занимался общественными делами в Союзе писателей. Ложился спать между одиннадцатью и двенадцатью часами вечера, считая, что сон до полуночи по-настоящему обновляет организм.

«Воспитывала нас, детей, — вспоминает И. А. Новиков, — в основном мать». Но при этом Алексей Силыч всегда оставался истинным другом и прекрасным наставником для своих детей. Своим сыном он считал и Бориса Неверова, уделяя общению с ним немало времени. Новиков-Прибой воспитывал и в своих сыновьях, и в Борисе прежде всего чувство патриотизма, стараясь передать им свою искреннюю любовь к родной стране, гордость за неё. Вот как вспоминает об этом Борис Неверов:

«С первых лет после революционного времени газеты капиталистических стран печатали на своих страницах злобные статьи о нашем государстве, его политике и жизни. Не помню уж точно когда, но где-то в начале первой половины 30-х годов я спросил Алексея Силыча, как он к этому относится.

Посмотрев на меня, он вдруг спросил:

— А тебе наша дача нравится? Только по-честному скажи...

Дача мне очень нравилась, я так и ответил.

— Спасибо на добром слове... — улыбнулся он. — Только не всё в ней сделано так, как мне хотелось бы... А всё равно люблю я свою дачу и радуюсь, когда бываю в ней... Вот и “Цусиму” здесь пишу...

— Государство, — продолжал Алексей Силыч, — это большой дом, в котором живёт наш народ. Строить его начали в семнадцатом году, тоже не имея опыта в таком деле... Может быть, иногда кое-что и не так получалось, как думалось... Строителей-то миллионы... За всеми не уследишь, всех сразу не научишь, как хотелось бы...»

И ещё один эпизод из воспоминаний Неверова: «В начале 1936 года в газетах для всенародного обсуждения был опубликован проект новой Конституции Советского Союза. В тот день вечером Алексей Силыч, едва я переступил порог его кабинета, приветствовал меня словами:

— Читал?.. — И он кивнул в сторону развёрнутой на его письменном столе газеты «Правда». — А я уж какой раз читаю и перечитываю каждую строчку, каждое слово... Документ та-

кой, что не оторвёшься от него... Вековая мечта человечества...»

Однажды, вскоре после первого издания «Цусимы», в квартире Новиковых появился Константин Эдуардович Циолковский. Пришедший к Новиковым Борис Неверов тогда ещё не знал, что это за человек. Да и многие не знали. Алексей Силыч так рассказывал об этом через два-три дня своим гостям:

«Что “Цусима”-то со мной делает!.. Вот приехал ко мне человек из Калуги... Изобретатель Константин Эдуардович Циолковский... О таких делах он мне поведал, о которых можно только разве в сказках услышать... Да и сказок-то таких ещё нет... А говорил с таким жаром и убедительностью, что и меня заразил своими ракетами... Тяжёлую жизнь он прожил, как все изобретатели... Сокрушался, что до сих пор многие смотрят на него, как на чудака-фантазёра, хоть кое-что и делается по его идеям энтузиастами, любителями рискованных дел...

Хотел я через нашу писательскую братию привлечь внимание к планам Циолковского, да ничего не вышло... Поговорил кое с кем из таких, как я сам, — так они смеются... Рано, мол, этими делами заниматься... Надо, говорят, индустриализацию сначала провести...

Он помолчал в задумчивости и добавил:

— Вот какие мы, русские люди... И социализм первыми строим, и на другие планеты лететь уже мечтаем... А что? — оживился Алексей Силыч, обращаясь почему-то ко мне. — Думаешь, не полетим?.. Придёт время, и ещё как полетим-то... Вот здорово будет, на диво всему миру!»

В 1939 году Комитет по делам кинематографии заказал А. С. Новикову-Прибою сценарий фильма-комедии «Настоящие моряки». Конечно, предложение это весьма заинтересовало Алексея Силыча, но появились опасения, что эта работа отвлечёт от главного — романа «Капитан 1-го ранга». Поэтому Силыч предлагает поработать с ним вместе над сценарием верного друга — Сашу Перегудова. Александр Владимирович поначалу принялся отказываться: мол, ни кораблей не знаю, ни службы на них. «Узнаешь, — убеждал друга Алексей Силыч. — Побываем на кораблях Балтийской или Черноморской эскадры, проведём несколько литературных вечеров, поговорим с моряками. Они нам столько расскажут, что за сюжетом дело не станет».

Уговоры возымели действие, и друзья сначала отправились в Ленинград. Разумеется, было запланировано и посещение Кронштадта. А там уже, зная о приезде знаменитого писателя,

чья морская и литературная судьба была напрямую связана с этим городом, срочно готовили мероприятие в Доме офицеров.

Этот литературный вечер, пожалуй, стал самым незабываемым в жизни Алексея Силыча Новикова-Прибоя. Зал был переполнен искренне заинтересованной и заранее благодарной публикой. Да и сам писатель был как никогда взволнован и воодушевлён: считай, вернулся в молодость, пусть и трудную, но ведь именно этот город с его свежим дыханием Финского залива, да улицы его, чугуном мощённые, да история его морская славная весь его жизненный путь определили.

Алексей Силыч редко начинал своё выступление с какой-нибудь заранее заготовленной фразы. Не мудрствуя лукаво, доставал, хитро улыбаясь, тетрадку из внутреннего кармана пиджака и начинал читать. Правда, тетрадка ему особенно не пригождалась: так, для виду в руках держал. В этот раз, как вспоминает в «Повести о писателе и друге» Перегудов, звучали отрывки из «Подводников», из «Рассказа боцманмата» и из ещё не опубликованной полностью первой части «Капитана 1-го ранга».

Чтение Новикова-Прибоя не походило на актёрское: он читал просто, спокойно, без какого-либо особенного интонирования. Он будто и не читал, а рассказывал слушателям, которых сразу же обращал в своих друзей, о самом сокровенном — о море и моряках. Но при этом он увлекался сам и неизменно увлекал аудиторию. Увлекал искренностью, душевной теплотой, неподражаемым юмором.

Не вспомнить лишний раз о том, что Новиков-Прибой всегда завораживал и покорял своим словом любую публику, никак нельзя. И снова хочется процитировать Константина Федина: «Слушатели покорялись его рассказам с тем счастливым самозабвением, какое охватывает детей, когда они слушают сказку. На трибуне или на сцене перед огромной аудиторией он чувствовал себя так же легко и естественно, как в той обстановке, что порождает сказку и воспитывает сказителя, — в лесу, около костра, в деревенской избе с двумя-тремя слушателями». И ещё: «...он был непревзойдённым рассказчиком и свои написанные произведения никогда не читал по книге, а сказывал наизусть...»

Итак, не читал Алексей Силыч написанное, а «сказывал наизусть». Прекрасное слово — «сказывал». В нём всё: и неторопливость, и ладность повествования, и естественная красота гармонии, и затаённая, негромкая любовь к миру и людям... И зрители отвечали тем же — любовью. Отзывались добрым и ласковым приятием на его тамбовско-рязанский говорок, его юмор, благодушную улыбку в моржовые усы, лукавый прищур ясных глаз.

Сценарий был закончен незадолго до Великой Отечественной войны, но в производство запущен не был. В основу «Настоящих моряков» была положена повесть Новикова-Прибоя «Ералашный рейс».

Работая над сценарием, Новиков-Прибой и Перегудов выезжали в Севастополь, где провели десять дней на линейном корабле «Парижская коммуна». Это помогло Алексею Силычу и в работе над второй частью романа «Капитан 1-го ранга».

В Севастополе Новикова-Прибоя хорошо знала и любила как читающая, так и пишущая публика, поскольку именно он стал инициатором создания там литературного объединения.

22 июня 1939 года Постановлением Совета народных комиссаров и ЦК ВКП(б) был установлен День Военно-морского флота СССР, который теперь ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.

Алексей Силыч искренне радовался новому всесоюзному празднику, считая его своим. Он говорил знакомым и друзьям: «Дождался! Теперь и на нашей улице праздник!» И, получив приглашение, заторопился в Ленинград на первый парад кораблей в День Военно-морского флота СССР.

Вернувшись из Ленинграда, Алексей Силыч, как всегда, много и упорно работает: пополняет «Цусиму» новыми эпизодами, одновременно пишет «Капитана 1-го ранга». При этом никогда не отказывается от творческих встреч с читателями, на которые его активно приглашают и клубы, и коллективы заводов и фабрик, и, разумеется, воинские и флотские соединения. Он по-прежнему с огромным желанием выезжает на военно-морские учения. Кроме того, много сил и времени Алексей Силыч отдаёт общественной работе в Союзе писателей СССР и в редколлегии журнала «Знамя».

Всё, казалось бы, в радость. Но нет-нет да и затоскует Силыч по родному Матвеевскому... Всё дела да заботы, и никак лишний раз не вырваться, чтобы ещё разок на отцовский дом посмотреть, да по мелкой Журавке, закатав штаны, побродить, да с родными и односельчанами о жизни потолковать.

О поездке в Матвеевское, наверное, больше, чем сам Алексей Силыч, мечтал его пятнадцатилетний сын Игорь. Он практически никогда не видел родины отца (только в младенчестве родители его туда один раз возили) и очень ждал, когда тот, наконец, объявит: «Едем!»

Долгожданный призыв прозвучал в августе. Насколько желанной и радостной была эта поездка, мы узнаём именно из воспоминаний Игоря — Игоря Алексеевича Новикова. Безусловно наделённый литературными способностями, он с подъёмом и воодушевлением рассказывает, как ранним солнечным

утром он, отец, недавно вернувшийся после действительной службы на Черноморском флоте брат Анатолий (за рулём) и секретарь Новикова-Прибоя Дмитрий Павлович Зуев выехали на машине из столицы и взяли курс на Матвеевское.

«Настроение у всех было приподнятое, — пишет Игорь Алексеевич, — тем более что помимо предстоящей встречи с людьми, которых отец хорошо знал, когда жил, а затем неоднократно бывал в Матвеевском, мы решили проехать на озеро Имарка и попасть на осеннюю утиную охоту.

Ружья, патроны, сапоги и всякая необходимая мелочь в рюкзаках лежали в багажнике, поэтому в автомобиле было просторно и светло от косых лучей восходящего солнца. Шуткам и весёлым воспоминаниям не было конца. Где-то недалеко от Рязани отец неожиданно запел свою любимую песню “Как задумал сын жениться”.

Голос у него был баритонального тембра и глуховатый, но пел он с большими душевными переживаниями: то повышая, то понижая звучание мелодии. Очень радовался, когда другие подхватывали припев и вели его в другой тональности, отчего песня звучала разноголосо и обретала объёмное слуховое восприятие.

Помню, когда отец подводил песню к припеву, я, мой брат Анатолий и Дмитрий Павлович включились в пение и исполняли припев на более высоких нотах. Отец при этом испытывал большое удовольствие. Потом все хором исполнили любимую им морскую песню “По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там”.

Путь до Матвеевского был неблизким, но и не таким уж далёким: добрались часов за шесть — с пением, разговорами, смехом».

У родительского дома Алексея Силыча и его спутников уже поджидала большая делегация колхозников. Сразу же завязалась оживлённая беседа: о жизни селян, об их заботах и нуждах, о непростом международном положении.

Алексея Силыча радовали и волновали успехи колхозной жизни односельчан:

— В старину рязанские крестьяне были, пожалуй, самыми захудалыми, тёмными и забитыми, — говорил он. — А теперь в деревне тракторы, комбайны, клубы, библиотеки. И люди совсем другими стали!

Новиков-Прибой то шутил, то был предельно серьёзен и внимателен. Иногда делал короткие пометки в записной книжке: брал на карандаш просьбы земляков (которые в дальнейшем с присущей ему обязательностью, как отмечает И. А. Новиков, выполнил).

Во второй половине дня состоялся дружеский обед: «...столы вынесли на улицу, сдвинули вместе и обильно уставили их тарелками и мисками с отварной говядиной и картофелем, свежими огурцами и луком, жареной рыбой, большими ломтями чёрного хлеба и деревянными солонками с крупной солью. В запотевших жбанах были хлебный квас, простокваша, свежее молоко и медовая брага.

Начались застольные разговоры, весёлые воспоминания о деревенских событиях и многочисленные тосты за трудовые успехи и здоровье старшего поколения».

По существу, это был большой семейный разговор, поскольку Алексей Силыч всегда, в любой компании, большой и маленькой, благодаря своей искренности и непосредственности, умел создать атмосферу особой сердечности и задушевности, так что беседа неизменно протекала по-дружески открыто и благожелательно.

Под вечер, «когда заходящее солнце стало цепляться за крыши изб», Алексей Силыч с сыновьями навестили погост (так во всех среднерусских деревнях называют кладбище), поклонились могилам самых близких людей: Силантия Филипповича, Марии Ивановны и Сильвестра Новиковых.

В доме, где Алексей Силыч родился и вырос, была теперь школа. И он искренне радовался, находя это символичным.

Столичных гостей разместили на ночёвку в бывшем доме одного из братьев Поповых.

Игорь Алексеевич вспоминает, как поздно вечером разливалась за окном деревенская гармошка, звенели озорные частушки. Отец, по его словам, очень любил частушки, считая их устной юмористической газетой: талантливый народ сразу зарифмует всё, что на селе за день произошло, а вечером сообщит об этом забористо и весело.

На следующий день учителя матвеевской семилетней школы попросили Алексея Силыча побеседовать с учащимися. Он рассказал ребятам, как учился у дьячка, а затем в церковноприходской школе. На этом и закончилось его образование. Только долголетняя, настойчивая самостоятельная учёба помогла ему овладеть необходимым запасом знаний.

— Завидую вам, — говорил он ребятам. — Все дороги для вас открыты. Все условия создала для вас советская власть. Это не то, что было в прежнее время. Теперь всё зависит только от вас самих. Учитесь отлично и тогда сумеете принести настоящую пользу нашему Советскому государству, своему народу.

По воспоминаниям учительницы Н. Козловой, учащиеся «забрасывали А. С. Новикова-Прибоя вопросами о его путешествиях, о море, о том, в каких странах он побывал». Всем

интересно было слушать его рассказы о кораблях, бурях и штормах, о храбрости и бесстрашии моряков. «Впоследствии многие наши ученики, — пишет Н. Козлова, — увлеклись книгами Новикова-Прибоя. А когда пришёл срок призыва в армию, они добровольно вызвались служить во флоте. По примеру своего знатного земляка морской профессии посвятили себя бывшие ученики школы В. Яковлев, П. Попов, Н. Ивашкин и многие другие».

На следующий день, «когда забрезжил рассвет и на траву упала крупная роса», путешественники выехали на утиную охоту к озеру Имарка.

Невозможно, хотя бы коротко, не остановиться на теме охоты в жизни Новикова-Прибоя и не сказать о его любимом пристанище — писательском домике на озере Имарка.

Николай Смирнов вспоминает: «Навсегда запомнились наши охотничьи поездки.

Мы ездили главным образом на родину Силыча — в окрестности села Матвеевского, где на берегу озера Имарка стояла охотничья избушка».

История избушки такова. Весной 1928 года компания писателей (Новиков-Прибой, Перегудов, Низовой, Ширяев и Завадовский) охотилась неподалёку от родных мест Силыча — в Мордовии. И очень всем понравился пологий песчаный косогор возле озера Имарка. Начали мечтать о домике на этом красивом, тихом берегу. Не откладывая дела в долгий ящик, они обратились с просьбой в журавкинский сельсовет Зубово-Полянского района отвести им небольшой участок земли под постройку дома. Просьбу писателей уважили, а в качестве арендной платы попросили по десять экземпляров книг из сочинений писателей для местной библиотеки. На том и поладили. А осенью 1929 года друзья уже справили новоселье в новой бревенчатой избушке.

На охоту Силыч, по воспоминаниям друзей, собирался деловито и серьёзно, с присущей ему хозяйственностью, предусматривая каждую мелочь.

— Я ничего не люблю делать тяп да ляп, — озабоченно говорил он, — а тут и дело-то предстоит особенное: охота — мой лучший отдых, и я должен чувствовать себя во время этого отдыха не хуже, чем в самом хорошем санатории.

И когда охотники, устроившись в поезде, разложив на полках ружья, рюкзаки и сумки, облегчённо вздыхали, Силыч, весь сияющий, пожимал всем руки и радостно повторял:

— С праздником!

«На полустанке с романтическим названием Тёплый Стан, — пишет Н. Смирнов, — мы — Силыч, Низовой, Ширяев, Пе-

регудов и я — выгружались и сразу попадали в душистый берёзовый лес. Миновав лес, выходили к синему, в золотых волнах озеру. Силыч, подбросив ружьё, дважды стрелял: это был салют в честь начинающейся охоты.

Избушка над озером пахла свежим тёсом, лесным мхом, водяной прохладой. Настежь распахивались окна, под окнами вспыхивал костёр, Перегудов начинал хлопотать с чайником, а Силыч спешил купаться: быстро и ловко наискось пересекал озеро саженками. Потом, освежённый и особенно радостный, степенно и важно колдовал над закусками.

Ширяев обычно по этому поводу говорил: "Силыч так уютно раскладывает закуски, так неподражаемо наливает из бутылки, что аппетит появляется сам собой..."

Невдалеке от озера протекала спокойная, в камышах, река Вад.

Вскоре после нашего приезда в избушке появлялись деревенские друзья Силыча. Первым приходил сосед-пасечник мордвин Кузьма Косов. Сдержанный и немногословный, Косов деловито делился местными новостями.

За ним появлялся наш постоянный сопровождающий, тоже мордвин, Тимофей — крестьянин средних лет, шутливый и смешливый.

Потом приходил товарищ детских лет Силыча, страстный охотник, матвеевский крестьянин Степан Максимович Ивашкин — добродушный, синеглазый и русобородый, говоривший певучим старинным говорком.

Утром охотились за утками, днём отсыпались в избушке, купались в озере, подолгу лежали на его берегу, обсуждая подробности охоты.

Силыч, по доброй воле, почти всегда выполнял обязанности кока, превосходно готовя утиный суп и жаркое. Ему с шутками и прибаутками помогал Перегудов.

Перед сумерками мы опять расходились по лугам — в звонкой тишине и малиновом блеске зари начинался утиный перелёт.

Силыч неизменно горячился, внося в охоту, как и в любое дело, всю кипучесть своей натуры...

Иногда на охоту с нами ездили Лидия Сейфуллина и её муж писатель Валерьян Павлович Правдухин.

Не раз бывал в домике на Имарке известный поэт Эдуард Багрицкий. По вечерам, после охоты, Багрицкий читал стихи — как свои, так и других поэтов, чаще всего Киплинга, Гумилёва, Пастернака, Сельвинского.

Во время наших охотничьих поездок бывали интересные встречи. Одна из них — с удивительной девушкой Ниной, ко-

торая жила недалеко от озера в поселке Умёт. Она работала счетоводом в лесхозе, но при этом страстно любила литературу: могла подолгу читать наизусть Пушкина, а из современных поэтов — Багрицкого и Есенина. Новикова-Прибоя и Низового она покорила тем, что, как оказалось, читала все их произведения».

Писатели-охотники общими силами помогли Нине перебраться в Москву, где она поступила в институт, вышла замуж.

Вот как вспоминает один из весенних дней на охоте В. Лидин:

«Начало весны; тревожная, бродящая в крови пора жизни. Начались мартовские тока. Уже давно, ещё в Москве, Силыч затомился, стал отрешённым от московской жизни. Он был уже весь здесь, в предвесенних полях, на вольной природе, столь близкой его душе моряка и охотника. Он был искатель, ходок, при этом неутомимый искатель и неутомимый ходок. Море, ветер; весна, птичьи перелёты; мартовские глухариные и тетеревиные тока; зимняя пороша; шумный круг друзей; сдвинутые в дружбе стаканы; бесконечные охотничьи и всякие иные истории, — тут он оживлялся, шумел, был неистощим на шутку, песню, дружбу и веселье. Удивительной лёгкости был этот человек, которого все друзья звали сокращённо “Силыч”, вкладывая в это слово много хорошей, настоящей нежности».

И дальше:

«Весеннее утро холодное, нужно терпение, но сейчас на поляне перед нами должно совершиться чудо: уже видно, как с дерева на дерево перелетают, подлетая всё ближе, тяжёлые чёрные тетерева. Уже во всех концах леса начинается волшебная музыка токования, песня весны, — и, страстный охотник, Силыч заворожён в своём шалашике. Вот к чучелу выставленной им тетёрки широким полётом сверху спускается большой тетерев, но выстрела из шалашика не последовало, Силыч его не убил. Позднее, чуть конфузясь, он признался мне:

— Жалко было убивать. Я прицелился было, да вижу, как он крылья распустил, топчется вокруг чучела по земле и бормочет и чуфыкает... до чего же был хорош! — Любовь к природе оказалась в нём сильнее страсти охотника, и вот уже обстоятельно Силыч достаёт фляжку, нож, колбасу, которой хорошо закусить добрый глоток на воздухе. — Только, слушай, ты того... не рассказывай, что я не выстрелил, — просит он вдруг стеснительно. — Охотники засмеют: тетерева пожалел».

«Он весь, — пишет Лидин, — растворился в природе, слушает её звуки, нюхает её запахи, живёт охотничьей жизнью, когда ещё затемно надо пробираться по глухим местам к глухариному току, когда весь мир вокруг полон движения, шеле-

ста крыльев и птичьих голосов. Москва, литература — это далеко, это там где-то; сейчас он слился с землёй, с весенним её плеском и бульканьем, и в эти дни можно сказать про него, что он счастлив».

Лидин пишет о Силыче с восхищением, подмечает в своём друге главное: «Он не любит ничего обычного, повседневного. Всё обычное для него — застой души, а его душа полна жизни, движения...»

Прочувствованные на охоте моменты единения с природой, моменты очарованного восхищения её скромной, непостижимой и притягательной красой, разумеется, находили место в произведениях Новикова-Прибоя, чья проза изобилует не только яркими, красочными морскими пейзажами, но и акварельными зарисовками родных среднерусских просторов.

Много лет Алексей Силыч собирал материал для охотничьего романа «Два друга». Урывками делал наброски, писал отдельные главы. Отдаться полностью этой работе мешали другие произведения.

О своём заветном замысле Новиков-Прибой делился с писателем Иваном Арамилевым, таким же заядлым охотником, как он сам.

«Я изображу, — говорил он, — все виды русской охоты. Покажу все времена года нашей природы. Это будет самая задушевная, самая интимная моя книга. Тут много своего, личного, но писать от первого лица, как большинство моих повестей, не буду. Героем будет художник, человек тонкой и чистой души, влюблённый в природу, охотник божьей милостью, романтик и мечтатель».

Одна из глав неоконченного романа, напечатанная как отдельный рассказ («Клок шерсти»), получила в 1938 году первую премию на литературном конкурсе в Швейцарии.

В романе «Два друга» покоряют своей поэтичной прозрачностью пейзажи:

«Только что прошёл, рассыпавшись блестящим жемчугом, мелкий дождь. Остатки жидких облаков разбрелись по небу, не заслоняя собою вечернего солнца. Зелень трав, ивняковых кустарников и редких ольховых деревьев посвежела и разноцветно заискрилась каплями росы. Широко расстилались пойменные луга. Пахло особенным запахом болотных растений: бывалый человек может определить их с завязанными глазами. Майский воздух был чист и прозрачен, и всё в природе как будто обновилось»;

«Над лесом распростёрлась голубая высь. Сквозь голые деревья разливались косые лучи уходящего солнца. Чувствовалось, как под животворящим теплом пробуждается земля, по-

крываясь нежно-молодыми побегами травы. Кое-где расцвели подснежники и фиалки — первые радостные дары весны»;

«Солнце уже скрылось, и лишь на вершинах деревьев догорали его последние лучи. Под вечерним небом рыхлые и серые низины закурились лёгким беловатым туманом. Недалеко поблёскивало болото, постепенно окрашиваясь в медно-рыжий цвет».

А в следующем фрагменте мы не только видим — мы слышим ликование раннего утра «расцветающей весны»:

«Через луга послышались первые голоса воркующих тетеревов. Постепенно число их увеличивалось, игра становилась громче, страстнее. В ольшанике просыпалась болотная дичь: клинкали красноголовые нырки, скрипели, разыскивая самок, стрекуны и где-то быком мычала выпь, эта мрачная и одинокая птица. Бледнеющая высь зазвенела песнями жаворонков. С какого-то далёкого озера, скрывающегося в таёжной глуши, чистыми и высокими нотами донеслись крики журавлей. Медленно ширилась и зарумянивалась заря, а вместе с нею на огромнейшем пространстве вокруг как будто невидимые музыканты начали разыгрывать концерт в честь расцветающей весны, вливая в него всё новые и новые звуки».

Возвращаемся в августовские дни 1939 года. После охоты на Имарке Новиков-Прибой с сопровождающими его лицами (сыновьями и секретарём Зуевым) прибыл в районный город Сасово. В Клубе железнодорожников общественность города устроила грандиозный литературный вечер. По-другому и быть не могло: вся Россия читала Новикова-Прибоя. Как всегда на подобных встречах, писатель выступил с чтением отрывков из своих произведений; подробно, с присущим ему юмором, отвечал на многочисленные вопросы.

В марте 1940 года А. С. Новиков-Прибой приехал в Рязань. Здесь он остановился у бывшего машиниста броненосца «Орёл» И. А. Трубина-Немцева, встретился с цусимцами П. Семёновым и Н. Кочиным.

В Рязани прошло несколько литературных вечеров: в частности, в средней школе № 7, в Доме Красной армии.

В октябре 1940 года Алексей Силыч вместе с писателем Иваном Арамилевым приехал в Курск. Там их часто сопровождал общий друг Новикова-Прибоя и Сергеева-Ценского — Георгий Степанов.

Подробный рассказ об этой поездке в художественном очерке Г. Степанова «Певец моря» даёт представление о том, насколько имя Новикова-Прибоя было в те времена популяр-

но в Советском Союзе и насколько он сам был желанен во всех городах и весях:

«Окружённый толпой, Алексей Силыч, держа перед собой букеты пышных осенних цветов, шёл по перрону несколько враскачку, походкой старого моряка, привыкшего ощущать под ногами палубы океанских кораблей.

— Новиков-Прибой!.. Новиков-Прибой!.. — кричали в толпе.

Весть о его приезде скоро облетела весь Курск.

Вечером того же дня большой зал заседаний облисполкома, празднично освещённый хрустальными люстрами, заполнился партийным и советским активом города».

На другой день Алексей Силыч выступал утром во Дворце пионеров, днём — в воинской части, а вечером — в медицинском институте.

«Всюду на рекламных щитах висели огромные афиши, извещавшие об очередных выступлениях писателя. Областные газеты вышли с портретами Новикова-Прибоя.

Многообразная жизнь большого города с приездом Новикова-Прибоя особенно оживилась. Всюду на фабриках, заводах, в учреждениях говорили о Новикове-Прибое, о его жизни и особенно о книге "Цусима". Устроителей вечеров, распределявших билеты по учреждениям и предприятиям, со всех сторон атаковали люди, жаждавшие видеть знаменитого писателя». Его вечера состоялись в педагогическом и учительском институтах, в Клубе железнодорожников и работников НКВД, в средних школах, в городском театре, на заводах, в Доме Красной армии.

Принимали Алексея Силыча, как всегда, на ура. На сцене он был такой же, как в жизни, — добрый, мудрый сказитель и при этом одновременно — шутник и балагур. Его ответы на записки были всегда оригинальны и находчивы, память охотно подсказывала соответствующую теме байку.

Баек у него было припасено великое множество, на все случаи жизни. Они часто повторяются в воспоминаниях современников, поскольку не раз звучали и во время праздничного застолья, и у охотничьего костра, и со сцены перед читателями. Неутомимый выдумщик, Новиков-Прибой мог на ходу добавлять новые смешные детали, но суть оставалась неизменной и его байки передавались из уст в уста, как анекдоты. Вот одна из них:

— Во время смотра царь подошёл к кочегару и спрашивает: «Ну-ка, ответь мне, что значит двуглавый орел?» А тот возьми и брякни: «Урод, ваше императорское величество!» И вот очень толстый адмирал, весь обросший жиром, обойдя ко-

рабль, заинтересовался смышлёным матросом, отвечавшим очень бойко на все вопросы. Довольный его ответами адмирал, наконец, спросил: «А теперь скажи, отчего я такой толстый?» — «От ума, ваше высокопревосходительство!» — не задумываясь, отчеканил матрос. «Это как же понять? Объясни, пожалуйста!» — «Весь ум в голове не помещается, в живот лезет!» — живо ответил матрос не моргнув глазом.

Алексей Силыч любил подтрунивать над своей внешностью. И часто рассказывал:

— Внешность у меня, как видите, невзрачная. Лысый, ростом не вышел, лицо грубоватое. Ничего во мне поэтического нет. Пришёл я однажды на литературный вечер. В вестибюле раздеваюсь. Швейцар куда-то отлучился. Вешаю пальто на крючок и стою, приглаживая лысину. Входит изящная дама, снимает свой демисезон, кидает мне на руку. Что делать? Подавленный и оскорблённый, я покорно беру демисезон и вешаю на свободный крюк. Вручаю даме номерок. Она сует мне двугривенный на чай, поднимается по лестнице. Я прячу двугривенный в карман. Не успеваю отойти от вешалки — подходят мужчина и женщина (они видели, как я принимал у дамы пальто), суют мне свою одежду. Принимаю и у них. Опять дают на чай... Чистая беда! Наконец возвращается швейцар и говорит: «Ты, гражданин, что тут делаешь? Разве это порядок? Кто тебя просил на моё место становиться?»

Я поскорее в зал. Начинается вечер. Предоставляют мне слово. Подхожу к рампе и — о ужас! — вижу в первом ряду ту женщину, которая дала мне двугривенный на чай. Она меня узнала, смущена. Я тоже чувствую себя неловко. В антракте дама подходит ко мне за кулисы, просит извинить её и хочет получить обратно свой двугривенный. «Я, — говорит, — оскорбила вас». — «Ничего, — отвечаю, — не оскорбили, а двугривенный не отдам: я его заработал».

Наблюдая за Алексеем Силычем во время его десятидневного пребывания в Курске, бывая на всех его творческих встречах и выбираясь с ним при первой возможности за город, Степанов пишет:

«Да, несмотря на то, что ему шёл седьмой десяток, он не потерял страсти к передвижению, много ездил, лёгок был на подъём, любил закатиться куда-нибудь в лесные края и там вместе с самыми заправскими охотниками побродить по лесным чащобам. Русские леса, родные поля Тамбовщины, спокойные реки средней полосы, сёла, забытые просёлки и людные большаки — всё, всё было любо живой поэтической душе жизнелюбца. Всюду у него были друзья, и с каждым годом их становилось больше и больше».

Когда Новиков-Прибой и Арамилев возвращались из Курска, в купе с ними оказался седовласый толстяк, который, немного подремав на своей верхней полке, проснулся и, видимо, заскучав, вдруг увидел на столике книгу «Женщина в море». Попросил посмотреть. Арамилев протянул ему книжку: пожалуйста!

Попутчик с полчаса листал книгу молча, а потом дал волю эмоциям: «Вот прохвост! Ну и чёртов сын!»

— Кого это он так величает? — поинтересовался потихоньку Алексей Силыч у друга. Тот переадресовал вопрос читателю, который взглянул на обложку и ответил:

— Новикова-Прибоя! Вот ведь дьявол полосатый!

Алексей Силыч заинтересовался, Арамилев — смутился.

— Да как же, — объяснил пассажир, — я вообще книжек не читаю. Некогда, да и скучно. А этот так написал, что сразу взял за душу. Уж больно занозисто пишет, прохвост. Вы уж позвольте дочитать.

Во время поездки в Белгород в феврале 1941 года вместе с Перегудовым Новиков-Прибой встретился с семьёй, где пятилетнюю девочку отец, большой поклонник Новикова-Прибоя, переименовал в... Цусиму. Уже зная об этом факте, Новиков-Прибой привёз своей «крестнице» из Москвы большую куклу. Когда семья пришла в гостиницу к писателю, он поднял на руки и расцеловал девочку: «Здравствуй, здравствуй, Цусимочка!»

Вспоминая о пребывании Новикова-Прибоя в Белгороде, Г. Степанов рассказывает, как тот с Перегудовым долго не могли пробиться к центральному входу городского театра, такая огромная там была толпа. И они в поисках служебного входа отправились в узкий переулок, огибая большое здание. Найти нужный подъезд им помогла толпа поменьше. Уж здесь им пришлось представиться, чтобы их пропустили побыстрее.

В Белгороде корреспондент спросил Новикова-Прибоя, кого из современных писателей он больше всего любит.

— Я люблю художников, — ответил Алексей Силыч. — А таковыми в наше время являются Сергеев-Ценский, Шолохов и Шишков!

С Шолоховым Алексею Силычу довелось общаться немного, но он всегда говорил о нём с нескрываемым удовольствием и восхищением:

— Ух, весёлый он! Ехали мы по Ярославскому шоссе, так он то и дело останавливал машину. Ловко затевал разговоры со встречными женщинами. Весело с ним было. Юмор у него природный. Его «Тихий Дон» и «Поднятая целина» века переживут. Смелый художник, не отступал ни на шаг от жизненной правды.

— Я не люблю писателей, — частенько повторял Новиков-Прибой, — которые стараются озадачить читателя заумными метафорами и сравнениями. Ну, какой собачий нюх надо иметь, чтобы написать: «От бёдер женщины пахло парным молоком и мёдом» или «Земля пахла кисло, как солдатка на рассвете».

Совсем зло издевался Алексей Силыч над такой фразой: «Дверь приоткрылась, и сквозь неё просочилась капля лысины».

— Чепуха несусветная! — возмущался он.

В Белгороде Новиков-Прибой пробыл шесть дней.

Находясь вне дома, он, как правило, ничего не писал, однако, где бы ни был, в семь утра уже был на ногах. «Эту привычку вставать рано, — рассказывал он Степанову, — я перенял у Горького. Бывало, на всю ночь затянется какое-нибудь литературное бдение, а рано утром Алексей Максимович, как ни в чём не бывало, умытый, одетый — за письменным столом. Этой привычке работать по утрам он не изменял никогда».

15 марта 1941 года Постановлением Совета народных комиссаров СССР впервые были присуждены Сталинские премии за выдающиеся работы в области искусства и литературы.

В прозе первую премию получили А. Н. Толстой («Пётр I»), М. А. Шолохов («Тихий Дон») и С. Н. Сергеев-Ценский («Севастопольская страда»), вторую — Л. Киачели («Гвади Бигва»), А. С. Новиков-Прибой (вторая книга романа «Цусима»).

Весной 1941 года Алексей Силыч Новиков-Прибой, вдохновлённый высокой наградой, как никогда много встречается с читателями.

И СНОВА — ВОЙНА...

13 июня 1941 года в Москве послу Германии в СССР был вручён текст сообщения ТАСС о беспочвенности слухов о возможной войне между двумя странами. Этот текст был опубликован на следующий день: «По данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерениях Германии порвать пакт и предпринять нападение на Советский Союз лишены всякой почвы».

22 июня в 12 часов 15 минут по радио с сообщением о нападении Германии на Советский Союз выступил нарком иностранных дел В. М. Молотов.

В наше время слова знаменитого обращения к согражданам звучат хрестоматийно: мы помним их по многим фильмам о войне. Но при этом они ничуть не утрачивают силы воздействия на сознание любого человека, родившегося и выросшего в Советском Союзе. Они возвращают генетическую память в тот страшный день, потрясая неотвратимостью случившегося, мобилизуя волю к победе, вдыхая веру в неё и силы, которых потребуется так много...

«Сегодня в четыре часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города. Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, советским правительством дан нашим войскам приказ — отбить разбойничье нападение. Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В своё время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил Отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришёл к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную

отечественную войну за Родину, за честь, за свободу. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Вся семья Новиковых (кроме Анатолия, которого в апреле забрали на переподготовку), собравшись в большой комнате, замерла, слушая по радио выступление Молотова.

И только шестилетняя Иришка не разделяла всеобщей тревоги. Она недавно научилась прыгать через скакалку, и ей очень хотелось, чтобы все видели, как у неё это здорово получается. И вдруг отец, всегда такой ласковый с ней, резко сказал: «Перестань! Война!» Она поняла, что случилось что-то страшное, подбежала к матери, прижалась к ней и заплакала.

Уже 23 июня в Москве появился первый военный плакат, созданный Кукрыниксами: на нём был изображён красноармеец, пронзающий штыком Гитлера. У военкоматов выстраивались длинные очереди: не дожидаясь повесток, военнообязанные спешили на защиту родины. Не счесть было и добровольцев обоего пола и разного возраста. Сразу же начали проводиться учения по противовоздушной обороне, установилось дежурство на крышах домов...

27 июня 1941 года в «Правде» была опубликована первая статья Новикова-Прибоя, посвящённая борьбе советского народа против гитлеровцев, она называлась «Воля к победе».

Враг стремительно продвигался вперёд. В первые же дни войны началась эвакуация граждан, о чём Михаил Пришвин 6 июля записал в своём дневнике: «Москва и Ленинград потихоньку эвакуируются, и уверенно никто не скажет, что Москва не будет взята немцами. Но всякий знает, что Россия останется неразбитой страной и без Москвы».

В ночь на 22 июля начался первый налёт вражеской авиации на Москву. Около 250 тяжёлых бомбардировщиков пытались прорваться к столице, но в большинстве были рассеяны на подступах к городу. Было сбито 22 самолёта. Налёт продолжался пять с половиной часов. Одна фугасная бомба попала в Кремль, перебила перекрытие Георгиевского зала Большого Кремлёвского дворца, но по счастливой случайности не взорвалась.

Американский писатель Э. Колдуэлл, находившийся в это время в Москве, писал: «На здания и улицы сыпались тысячи зажигательных бомб величиной с рекордный оранжерейный огурец. Недели учебных тревог дали свои результаты: пожарным и московским гражданам, дежурившим на всех крышах, удалось обезопасить свой город от огня. “Зажигалка” не успевала упасть, как её засыпали песком или швыряли в бочки с водой, которые стояли на всех чердаках и крышах. Алые сполохи занимающихся пожаров, как правило, гасли почти сразу

же — пожарные быстро справлялись с огнём... Сотни прожекторных лучей вонзались в небо. Непрерывно били зенитные батареи, расположенные кольцом вокруг Москвы, а также зенитные пулемёты и лёгкие пушки, установленные на крышах».

Михаил Пришвин записывает: «В 10 вечера, когда ещё было светло, прилетели самолёты врага и сыпали на Москву до 4-х часов утра зажигательные бомбы. Вышли из подвала около четырёх, кругом везде были пожары большие и маленькие».

Алексей Силыч перевозит семью на дачу.

Из воспоминаний Нины Александровны Новиковой:

«В апреле 1941 года моего мужа Анатолия взяли на переподготовку на три месяца во Владивосток, а в июне началась война...

Вся семья переехала жить на дачу в Тарасовку...

После ввода продовольственных карточек оказалось, что из всей семьи только у Алексея Силыча была служащая карточка, остальные были иждивенческие и две детские...

Семья наша была большая, да кроме этого приходила сестра Марии Людвиговны — Анжель Людвиговна Шестаковская с двумя сыновьями...

Позже Алексей Силыч помог выехать из блокированного Ленинграда своей племяннице Адровой Марии Селивёрстовне с дочерью Раей. Они тоже временно жили с нами. Народу было много, но у всех был кров над головой...

Для всех находил Алексей Силыч доброе слово и всем оказывал помощь...»

Ирина Алексеевна Новикова рассказывает об этом времени так: «Мы голодали. Тогда отец попросил проезжавших на машине на фронт солдат привезти ему убитую лошадь. Этой лошадью мы питались всю зиму да ещё кормили голодных друзей-писателей, родственников. Где-то за своё выступление отец получил вместо гонорара ведро патоки. Это было такое богатство! На следующий год весь участок на даче был засажен картошкой, собрали 16 мешков».

Алексей Силыч заботится о семье и внимательно следит за событиями на фронте, готовясь откликнуться на них словом. «...Мы обретаемся на даче. Сделали бомбоубежище. Несмотря на войну, я продолжаю заниматься литературой. Написал несколько откликов, напечатанных в разных газетах», — сообщает Алексей Силыч в письме Перегудову.

В ночь на 7 августа над столицей был совершён первый в истории авиации ночной таран, уничтожен вражеский бомбардировщик. За этот подвиг младшему лейтенанту Виктору Талалихину присвоили звание Героя Советского Союза. В конце октября 1941 года он, защищая родной город, погиб.

7 октября газета «Вечерняя Москва» напечатала статью Новикова-Прибоя «Наши женщины». Комментируя строки из поэмы Некрасова, Алексей Силыч пишет о русской женщине:

«Любовь к родине, борьбу за её свободу и счастье она ставит выше властного и ревнивого чувства любви к себе. Она удваивает свою любовь к человеку, мужу, отдавшему всю свою жизнь на борьбу за счастье родины. И всегда русская женщина была верна себе: на протяжении всей нашей многовековой истории, когда отечеству угрожала опасность, она становилась рядом с отцами, мужьями и братьями, как равная, на защиту родного очага. Бесправная и забитая в быту, она в бою вырастала в свободную гражданку и в высоком патриотическом порыве часто превращалась в героиню. Народная память в преданиях и былинных образах сохранила нам немало эпизодов, рисующих подвиги русской женщины».

Автор вспоминает монголо-татарское нашествие и нашествие Наполеона, Гражданскую войну. И вот теперь — новая беда, и русский народ снова встал на защиту своей родины:

«С величайшим мужеством, доблестью и геройством уничтожает он вторгшиеся полчища немецких оккупантов, проявляя чудеса храбрости и самоотверженности. За землю, за волю, за созданную счастливую трудовую жизнь борется он. Нет меры, нет числа его подвигам! И в этих подвигах, в этой борьбе он не одинок: ему помогает, его вдохновляет на борьбу всё она же, наша родная русская женщина! Провожая на фронт мужа, сына, брата, она неизменно даёт ему один наказ: бить, уничтожать до конца вражеские силы — и стойко благословляет на смерть, если это будет необходимо. Оставаясь дома, здесь, в тылу, она в патриотическом порыве проявляет чудеса трудового героизма, заменяя на производстве ушедших мужчин. В тысячах томов не перечислить того, что порождается трудовым героизмом женщин на необъятном пространстве нашей Родины!..»

В те времена такие слова не называли «громкими» — их слышали, как набат, их воспринимали разумом и сердцем, они помогали на фронте и в тылу. Они были нужны.

20 октября за подписью И. В. Сталина было опубликовано постановление ГКО, в котором, в частности, говорилось: «Ввести с 20 октября 1941 г. в городе Москве и прилегающих к городу районах осадное положение».

28 октября в четыре часа утра у колонн Большого театра взорвалась полутонная бомба, разрушившая часть фасада. На другой стороне взрывной волной и осколками вышибло окна в гостинице «Метрополь» и сорвало часть крыши.

Москва становилась прифронтовым городом. Столицу покидали те, кто ещё не успел эвакуироваться. Железнодорожные станции были забиты составами с промышленным оборудованием и музейными ценностями: поезда не успевали вывозить их на восток. Над затемнённой Москвой поднимались, чтобы зависнуть на всю ночь, сотни огромных аэростатов воздушного заграждения. По пустынным улицам через весь город в эти ночные часы ускоренным маршем проходили войска — подкрепление фронту, а он неумолимо приближался к столице. Враг рвался к Москве, где Гитлер планировал 7 ноября 1941 года парад своих войск.

Новиков-Прибой часто приезжал в эти дни в Москву дежурить в здании Союза писателей, приходилось и ему тушить «зажигалки» во время немецких налётов. Дома на столе у него была разложена большая карта, он постоянно отмечал на ней всё, что сообщалось в сводках Совинформбюро за прошедший день. Как и все, очень тяжело переживал отступление наших войск.

7 ноября в восемь часов утра на Красной площади начался торжественный парад войск Московского гарнизона, который передавали в прямом эфире по радио. За пехотой на низкорослых мохнатых лошадях проскакали конники генерала Доватора. Потом по брусчатке двинулись самоходная артиллерия, танки, зенитные батареи. После их прохождения с трибуны мавзолея выступил с речью Сталин, помянувший добрым словом полководцев России: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!» Прямо с парада войска отправлялись на фронт.

Настроение москвичей после парада совершенно изменилось, на лицах стали появляться улыбки, а в глазах — вера.

Алексей Силыч напряжённо следит за сводками Совинформбюро. У него есть возможность эвакуироваться со всей семьёй, но невестка Нина ждёт второго ребёнка: пускаться в путь опасно. Да и внутренний голос подсказывает: Москва выстоит.

На подступах к столице шли тяжёлые бои. Враг лез напролом, стремясь любой ценой прорваться к Москве своими танковыми клиньями. «Но глубоко эшелонированная артиллерийская и противотанковая оборона, — пишет в своих воспоминаниях маршал Г. К. Жуков, — и хорошо организованное взаимодействие всех родов войск не позволили противнику прорваться через боевые порядки 16-й армии. Медленно, но в полном порядке эта армия отводилась на заранее подготовленные и уже занятые артиллерией рубежи, где вновь её части

упорно дрались, отражая атаки гитлеровцев... ГКО, часть руководящего состава ЦК партии и Совнаркома по-прежнему оставались в Москве. Рабочие Москвы трудились по 12—18 часов в сутки, обеспечивая оборонявшие столицу войска оружием, боевой техникой, боеприпасами».

А в конце ноября на экраны кинотеатров вышел новый фильм «Свинарка и пастух». И люди, валясь с ног от усталости после смены, шли в кино. И смеялись, и радовались, и, вспоминая счастливую довоенную жизнь, верили в её возвращение.

13 декабря «Правда» вышла с крупным заголовком: «Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы. Поражение немецких войск на подступах Москвы».

Ближе к родам Нина Новикова перебралась в Москву. «...Рядом были, — вспоминает она, — мама, бабушка и брат Борис, освобождённый от военной службы.

Во время тревоги он залезал на крышу нашего дома, чтобы сбрасывать зажигательные бомбы. Мать моя была в бригаде по охране порядка и дисциплины во время тревог. В конце нашего двора была вырыта траншея, служившая укрытием. Время было уже холодное, да и опасение, что дом могут разбомбить, заставляло всех жильцов ходить в траншею в тёплых пальто. У нас в комнате на рояле было предусмотрительно расстелено тёплое одеяло, лежала детская шубка и моё пальто. В кармане пальто были паспорт, продовольственная карточка и деньги. По тревоге я быстро собирала ребёнка, надевала пальто и шла во двор. Во время одной из тревог брат мой подобрал осколок зажигательной бомбы и подарил его Алексею Силычу. Тот долго вертел его в руках, внимательно рассматривал кусок металла, а потом положил его на письменный стол и сказал:

— Пусть тут лежит. Останется как память о войне. Как там немцы ни стараются, чего ни придумывают, а войну мы всё равно выиграем!»

Однажды во время воздушной тревоги Нина с дочкой на руках, торопясь укрыться в траншее, упала. Мальчик родился восьмимесячным и через неделю умер.

«Брат Борис, — вспоминает Нина Александровна, — купил гроб, взял ребёнка из роддома и принёс на квартиру к Новиковым. Квартира не топилась, на улице были ужасные морозы, и гробик несколько дней стоял на столе в столовой, пока шли оформления к похоронам.

Один раз я застала Алексея Силыча дома, он сидел у гроба и плакал, глядя на мёртвое тельце давно желанного внука.

Увидев меня, он смахнул слёзы, подтянулся и, ласково обняв меня, сказал:

— Ну ничего, надо пережить и это горе. Взрослых сынов теряют, всё война наделала. Анатолию я сам напишу обо всём.

Хоронили ребёнка Алексей Силыч вдвоём с моим братом Борисом. Захоронили его в могилу моего отца на Ваганьковском кладбище. После смерти ребёнка я ещё прожила суровую морозную зиму у мамы, а потом вернулась опять на дачу в Тарасовку».

Как-то на даче вышла из строя печка. И без печки — никак, и печника найти сложно. Но сосед дал Алексею Силычу адрес одного знаменитого мастера печного дела. Сговорились о дне работы. Но в этот день, когда должен был прийти мастер, Алексею Силычу срочно надо было ехать в Москву, где была в это время и Мария Людвиговна. Встречать печника поручили невестке Нине.

Алексей Силыч долго объяснял ей, что надо напомнить мастеру, на что обратить внимание:

— Вот ведь досада какая! И не поехать нельзя, и печник придёт, надо бы мне самому присутствовать. Ты обязательно его после работы покорми и водочки налей.

Печник, пожилой, крупный мужчина, исправлял печь, снисходительно выслушивая просьбы Нины в отношении ремонта, и бурчал:

— Работу свою мы сами знаем, нас учить не надо.

Когда всё было закончено и печник зажёг печь испробовать её для проверки своей работы, он пошёл мыть руки.

Нина накрыла на стол и пригласила его пообедать. Около тарелки она поставила стопку водки.

Печник посмотрел на неё внимательно и спросил:

— Ты что, дочка, по доброте своей угощаешь или так писатель наказал?

— Писатель, писатель приказал вас накормить досыта и водки оставил. Он недавно с охоты приехал и много уток привёз. У нас сегодня на обед утка варилась. Утки-то сейчас редкость большая, вот он и сказал, чтобы я вас накормила.

Он сел за стол, беря ложку, сказал:

— Должно быть, хороший человек этот писатель, мы ведь с ним только о деньгах говорили, а об обеде и разговору не было. А сейчас хороший обед дороже денег. От обеда я не откажусь, да и водочку выпью за его здоровье.

Он ел и приговаривал: «Вот ведь какой человек! Говорят — большой писатель, а сколько внимания к простым людям».

2 февраля 1943 года победоносно завершилась Сталинградская битва. Это было начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.

Весной 1943 года Новиков-Прибой отправился в Свердловск. Здесь его можно было увидеть на заводах, в госпиталях, в запасных полках, в учебных заведениях. Он читал главы из «Цусимы», отрывки из «Капитана 1-го ранга». Но каждая встреча неизменно заканчивалась разговором о положении на фронтах, о подвигах советских людей в борьбе против фашистских захватчиков.

В начале апреля Новиков-Прибой собрался в Москву. Буквально накануне отъезда ему вручили телеграмму: «Узнал, Алексей Силыч, о твоём приезде в Свердловск, прошу побывать у меня в гостях. Цусимский друг Семён Мурзин».

Алексей Силыч не задумываясь сдал билет и отправился в село Зайково, где заведовал колхозной фермой Семён Антонович Мурзин, упомянутый в эпилоге «Цусимы».

Трое суток прожил писатель у старого товарища. Вспоминали былые годы, говорили об идущей войне.

О том, что у Семёна Мурзина гостит знаменитый писатель, моментально узнал весь район. Состоялся большой литературный вечер, где Новикова-Прибоя ждал ещё один сюрприз — встреча с цусимцем Аристархом Евграфовичем Пушкарёвым, матросом-водолазом с броненосца «Орёл».

9 июля 1943 года в Москве в последний раз была объявлена воздушная тревога (за время войны её объявляли в столице 141 раз), а 5 августа москвичи увидели первый салют. Ровно в 24 часа был дан залп из 120 орудий. Всего было дано 12 залпов, производившихся через каждые 30 секунд в течение шести минут. Москва салютовала войскам Брянского фронта, освободившим при содействии с флангов Западного и Центрального фронтов город Орёл, и войскам Степного и Воронежского фронтов, освободившим город Белгород. Отныне все крупные победы отмечались в Москве салютами, 354 раза столица салютовала доблестным победам советских войск.

В середине августа 1943 года Алексей Силыч, взяв с собой верного друга Сашу Перегудова, отправился в Тамбов.

— Хочу повидать родные тамбовские края, — повторял он, словно предчувствуя, что жить ему осталось совсем немного.

Единственная в Тамбове гостиница была полностью заселена эвакуированными. Став уже там постоянными жильцами, они, узнав о приезде известного и многими любимого писателя, потеснились, освободив целый номер.

Утром Новиков-Прибой отправился на рынок. Конечно, рынок военного времени навевал печальные мысли, но Алексей Силыч не хотел изменять своей привычке.

Он любил потолкаться среди людей, послушать разговоры.

— Вот часок похожу по рынку, — говорил он, — и уже

знаю всю подноготную города. А если ещё в столовой потолкую с официантками, то узнаю, кто на ком в городе женится, кто разводится, кто кому изменяет.

На тамбовской толкучке Алексей Силыч шутил с колхозницами, расспрашивал о житье-бытье, о том, что пишут с фронта мужья. Сочувствовал тем, кто уже получил похоронки.

Он рассматривал с одинаковым любопытством и поношенные гимнастёрки, и старые журналы, и какие-нибудь причудливые бронзовые канделябры.

Уходя с базара, Алексей Силыч купил у старика-пасечника банку мёда. Довольный, повторял: «Сейчас в Москве этого лакомства днём с огнём не сыщешь».

Н. А. Новикова вспоминала, как однажды в довоенное время Алексей Силыч учил её выбирать рыбу на арбатском рынке:

«Он шёл по рыбному ряду, изредка останавливался, брал рыбу за жабры, вертел, похваливал и шёл дальше.

— Ты, Нина, знаешь, как надо выбирать рыбу? Главное надо, чтобы у неё жабры были красные — значит, свежая!

Мы прошли весь ряд. Я не понимала:

— Алексей Силыч, что же вы рыбу-то не покупаете? Хвалите, а не берёте?

Он посмотрел на меня с улыбкой:

— А вот надо весь ряд пройти, всё посмотреть и порядиться надо. Для порядка. Продавцы любят, когда с ними покупатель рядится, уважают такого покупателя. Значит, хороший хозяин, значит, знает цену деньгам.

Мы купили огромного розового леща и целую кучу блестящих карасей».

В Тамбове Новиков-Прибой бывал ещё в пору своей крестьянской юности. Помня дореволюционный Тамбов, он рассказывал:

— Страшно было ездить по тамбовским улицам. Нырнёт лошадь в выбоину, только уши да дуга торчат оттуда.

Его радовало, что, несмотря на то, что Воронежский фронт проходил недалеко от Тамбова и он неоднократно подвергался налётам «мессершмиттов», город уцелел.

Первое выступление Новикова-Прибоя состоялось, как это чаще всего бывало, в зале облисполкома, а затем литературные вечера прошли в летнем городском театре, в Клубе НКВД, у железнодорожников, на заводах.

Алексею Силычу было особенно приятно находиться в читальном зале старейшей областной библиотеки, ибо ему приходилось уже там бывать.

— Помню я себя деревенским малым, — рассказывал

он, — впервые попавшим в это святилище. При виде тысячи книг я шапку снял. Стою, глаза мои разбегаются. Господи, думаю, какое богатство! А барышня из-за книжной стойки спрашивает: «Какую вам книгу?» Ужасно растерялся и говорю: «Библию!» Не посмел попросить другую. Так и просидел здесь с Библией часа четыре.

Новиков-Прибой прожил в Тамбове около месяца. Чувствовал он себя уже неважно, но был по-прежнему деятелен, старался сохранять оптимизм и бодрость.

Однажды их с Перегудовым на ужин пригласил доктор, главный терапевт фронта. Алексей Силыч с удовольствием принял приглашение, но во время этой встречи очень скоро почувствовал себя плохо. «Не понимаю, что со мной происходит», — жаловался он Перегудову. И, предполагая самое худшее, тут же заявлял: «Нет, нет, мой организм не из таковских, чтобы в нём заводились какие-либо злокачественные опухоли!»

Из Тамбова Новиков-Прибой выезжал во многие близлежащие города: Рассказово, Мичуринск, Котовск...

В Мичуринске у Алексея Силыча нашлось немало знакомых. Сидя в гостях у своего друга — директора большого хозяйства, созданного на основе опытной плодово-ягодной станции знаменитого селекционера, он делился своими планами: «Хочу написать роман о Мичурине — душистый, как антоновские яблоки».

Новиков-Прибой встречался и с лётчиками, боевая часть которых находилась в Мичуринске, откуда каждый день наши самолёты вылетали под Киев и Полтаву, где в это время шли ожесточённые бои.

Переживая каждое событие войны, все поражения и победы наших войск, откликаясь на них статьями и очерками в газетах и журналах, Алексей Силыч мечтал написать книгу о партизанах. Об этом вспоминает Иван Арамилев: «...в газетах была напечатана статья о старике-охотнике, повторившем в немецком тылу подвиг Сусанина. Силыч был необычайно взволнован этим подвигом:

— Кончится война, я соберу весь материал о стариках-партизанах и обязательно напишу о них повесть. Об этом непременно следует написать. Через них вся Россия видна. Это чисто русское явление. У немцев нет и не может быть таких партизан, таких стариков, героизма такого накала, такой стойкости и любви к родине. На днях я читал, как наши бойцы с гранатами в руках ложились под немецкие танки, чтобы остановить врага. У меня слёзы из глаз хлынули. Разве можно победить страну с таким народом?! Если тебе попадутся под руку материалы о Сусаниных наших дней — присылай мне. Книгу писать хочу».

В годы Великой Отечественной войны А. С. Новиков-Прибой много писал для газеты «Красный флот» и журнала «Краснофлотец». Несколько раз печатался в «Правде». Писал для Совинформбюро, которое рассылало его статьи и очерки в зарубежные газеты дружественных стран. Несколько раз выступал по радио. Особенно сильно, по воспоминаниям П. И. Мусьякова, возглавляющего в то время редакцию газеты «Красный флот», звучал очерк «Русский матрос».

Герои очерков Новикова-Прибоя — это и снайперы, и лётчики, и партизаны. Но более всего его привлекали подвиги моряков. Он много пишет о славных традициях русского флота.

Главное, что постоянно подчёркивал писатель, — нравственная сила русского народа. Эта сила, по его словам, «является незыблемой основой нашей Красной Армии и Красного Флота. Именно поэтому с каждым днём растут и крепнут мощные удары по врагу. Это доказывают своим поведением на войне наши герои. Многие из них погибли, но сила, питавшая их, жива. Она развита в миллионах сердец и кипит в них мщением к жестокому врагу, вызывая горячую веру в победу над ним. Никогда не удавалось сломить нравственную силу русского народа, притупить её или обезличить. Победит эта нравственная сила и теперь».

Начало 1944 года ознаменовалось впервые прозвучавшим по радио новым Государственным гимном СССР, заменившим «Интернационал». Это отражало чаяния советского народа, сплотившегося в борьбе за любимую родину. Это было символом братства, мужества, грядущей победы. Во всяком случае, именно так воспринял появление нового гимна писатель Новиков-Прибой, говоривший об этом в своих выступлениях перед читателями. А выступлений этих по-прежнему было немало, хотя чувствовал себя Алексей Силыч всё хуже и хуже.

Мария Людвиговна пыталась уложить его в больницу, а ему было некогда: наметил поездку на Урал. Вот вернусь, сказал, тогда посмотрим.

В начале января заехал навестить Алексея Силыча сын боцмана Воеводина — Константин. Позднее Константин Максимович вспоминал, каким увидел писателя — сильно осунувшимся, с ввалившимися невесёлыми глазами. Уже понимая серьёзность своей болезни, чувствуя неотвратимость смерти (теперь он всё чаще философски рассуждал об этом), Алексей Силыч всё равно строил планы, надеясь успеть завершить и «Капитана 1-го ранга», и «Двух друзей». Собирался встречаться с читателями. А главное, надеялся дожить до Победы, верил, что до неё — рукой подать.

11 января 1944 года газета «Уральский рабочий» писала: «Вчера в Свердловск приехал Новиков-Прибой. Писатель вы-

ступит с чтением своих произведений в рабочих клубах города, побывает в районах области».

В феврале Алексей Силыч вернулся в Москву.

В Свердловске ему подарили набор эмалированных кастрюль, а в Перми — щенка какой-то особой северной породы.

Алексей Силыч не уставал восторгаться живым подарком, заявляя, что этот пёс не просто смышлёный, а совершенно гениальный.

— Всё понимает! Всё! — восклицал довольный Силыч. И с упоением рассказывал, как они пойдут с новым другом Задором на охоту.

Приближался март — тот месяц, который, как вспоминают его друзья, «будоражил его морскую, охотничью кровь».

Трепля Задора за лохматый загривок, Алексей Силыч мечтательно говорил:

— Скоро, скоро мы пойдём с тобой в мартовские поля, походим по мартовским токам, поохотимся за глухарями.

Задор радостно повизгивал, как будто действительно всё понимал, преданно лизал руки хозяина.

А он, потирая руки, жаловался:

— Что-то начали сохнуть...

Но окружающие видели: не только руки — весь он высох; глаза потеряли прежний блеск, на потемневшем лице углубились морщины.

Сергеев-Ценский вспоминал, как накануне того дня, как лечь в кремлёвскую больницу, Новиков-Прибой зашёл к нему в гости (Сергей Николаевич был в это время в Москве). Алексей Силыч что-то живо рассказывал, балагурил, не заговаривая о болезни. А пришёл домой и упал на лестнице без чувств. На следующий день его отвезли в клинику, откуда он уже не вышел.

Борис Неверов так вспоминает о своей последней встрече с Алексеем Силычем:

«В последний раз я видел Алексея Силыча в марте 1944 года перед его уходом в больницу, из которой он уже не вернулся... Он был грустен в тот день: не было на его лице обычной для него ласковой и доброй улыбки, глаза его не искрились и не смеялись... А когда я от него уходил, он сказал мне, как оказалось, свои последние для меня слова:

— Вот, дружище... Может быть, больше и не увидимся, а если не увидимся, то помни, что жить надо так, чтобы каждодневным трудом приносить пользу и своей стране, и окружающим тебя людям».

Последней работой А. С. Новикова-Прибоя была статья, посвящённая столетию со дня рождения К. М. Станюковича: 1 апреля он продиктовал её Марии Людвиговне в больнице.

13 апреля Алексея Силыча навестили Перегудов и невестка Нина.

Каждый из них немного по-разному помнит эту встречу.

Александр Перегудов пишет: «О последней нашей встрече говорит мне небольшая книжечка первой части романа "Капитан 1-го ранга". Я получил её в Кремлёвской больнице, где лежал тяжело больной Новиков-Прибой. С трудом он достал из-под подушки книжку, несколько дней назад вышедшую из печати, и сказал:

— Давай я напишу тебе на память.

Я подал ему ручку, подставил спину, и, положив на мою спину книжку, лёжа, Алексей Силыч написал:

"Другу Саше Перегудову сердечно.

А. Новиков-Прибой.

Кремлёвская больница. Температура. Рука дрожит. 13.IV-44 г."».

Из воспоминаний Н. А. Новиковой: «...я видела его незадолго перед смертью, когда мы с писателем Перегудовым ходили к нему в больницу. Он просил нас прийти к определённому часу. Это был час обеда. Принесли обед. Помню, что это был куриный суп и на второе тоже что-то мясное. Алексей Силыч сидел в кресле в пижаме, бледный и исхудавший. Болезнь брала своё. Он велел нам сесть за стол и кушать.

— Я теперь есть ничего не могу, вот хочу вас угостить, посмотреть хочу, как здоровые люди едят.

Себе он налил минеральной воды и сказал:

— Я вот попью, а вы поешьте.

Это было ужасно. Я сидела с ложкой в руках, но есть не могла.

— Ну что же ты не ешь? Разве курицы не хочешь или, может, невкусно?

Комок подкатил к горлу, я заплакала.

— Ну что ты так на меня смотришь? Что, плохой я стал? Что-то после операции никак не оправлюсь. — Он расстегнул пижаму, поднял рубаху. — Вот, смотри, шов зарос как на собаке, а я всё худею и сильно ослаб.

Немного посидев, Алексей Силыч взял со стола книгу и, показывая её нам, гордо сказал: "Вот и дождался я своего Капитана 1-го ранга, напечатали!"

Подавая её Перегудову, сказал: "Вот, Саша, подарить тебе хочу, как лучшему другу своему, я уж и подписал". Я взяла книгу, на первой странице была сделана дарственная надпись. Буквы были кривые и неровные, вся надпись была корявой.

— Вот что-то писать совсем здесь разучился, рука не слушается.

Это была последняя подпись и последний автограф заме-

чательного писателя и чудесного человека, каким был Алексей Силыч Новиков-Прибой. Муж мой, Анатолий, ещё застал отца в живых, когда приехал в Москву.

Встреча была очень радостной и неожиданной.

— Вот уж не чаял тебя увидеть. Радость-то какая, сынок! Как ты в Москву попал, проездом, что ли?

Вернувшись домой, Анатолий плакал навзрыд, как женщина. Он любил отца, дружба у них была давняя. Многое связывало их обоих».

Сердце писателя остановилось в 16.00 29 апреля 1944 года. Ему не удалось закончить своего любимого «Капитана 1-го ранга». Финалом романа так и остались заключительные слова первой части:

«Вокруг расстилалось море, играющее золотыми всплесками под лучами солнца, море, которое так же близко мне, как и земля родины, которое всегда волнует меня и пробуждает во мне самые лучшие чувства, — море, которое я никогда не перестану любить...»

НОВИКОВ-ПРИБОЙ И ЕГО «ЦУСИМА». НАШЕ ВРЕМЯ

Нынешние нечитающие подростки... О чём мечтают они? О чём грезят? Что посеял в их души уже не столь опасный телевизор, а всесильный Интернет?

Когда-то мальчишки читали «Повесть о настоящем человеке» — и мечтали о подвиге. Погружались в мир героев Джека Лондона — и видели себя похожими на них, стойких, дерзких, бесстрашных. Открывали Новикова-Прибоя и, отродясь не видевшие моря, отправлялись прямиком в моряки. Так случилось с моим отцом. Так случилось со многими, кто прочитал в своё время легендарную «Цусиму», «Солёную купель», «Море зовёт», «Подводников».

В книге В. Щербины «А. С. Новиков-Прибой» есть такие слова: «...Не будет преувеличением, если мы скажем, что не одну тысячу советских людей привлекало и привлекает к морской профессии знакомство с произведениями Новикова-Прибоя».

Взяв эти слова в качестве эпиграфа к своей статье «Писатель с броненосца "Орёл"», один из самых известных советских подводников, вице-адмирал, Герой Советского Союза Григорий Иванович Щедрин в год столетия со дня рождения А. С. Новикова-Прибоя писал:

«Автор этих строк — один из тех, к кому непосредственно относится эпиграф, предваряющий эту статью. Произведения писателя помогли мне в ранней юности избрать службу на море своей профессией. И книги Новикова-Прибоя были и остаются моими самыми любимыми книгами. <...>

Для себя Новикова-Прибоя я "открыл" в середине двадцатых годов. Тогда я прочитал "Морские рассказы". Поразила меня их связь с "земной" жизнью. Герои рассказов служат на кораблях, плавают в далёких морях и океанах, а думают о своём, заброшенном где-то среди непроходимых лесов селе, обременены "береговыми" заботами, волнующими всех людей. Это лишний раз подчёркивало, что моряки не обособленная

каста, а плоть от плоти народа, его сыны, живущие одной с ним жизнью. Новиков-Прибой не уводит читателя от реальной обстановки в стране к созерцанию заморской экзотики и "особого" морского мирка, чувствуется органическая связь писателя и его героев с народной почвой, преданность делу народа».

Другой моряк, капитан 1-го ранга П. Абламонов в своё время написал о том, какая традиция существует на военных кораблях, путь которых лежит через Цусимский пролив. И это тоже в определённой степени связано с именем Новикова-Прибоя. С его «Цусимой».

П. Абламонов рассказывает, что на корабле, на котором ему пришлось пройти по Цусимскому проливу, не было ни одного офицера или матроса, не прочитавшего роман Новикова-Прибоя.

«Перед моими глазами, — пишет он, — стоит ритуал отдания почестей героям Цусимского сражения. По сигналу "Большой сбор" на корабле выстроился личный состав. Плечом к плечу стояли ветераны корабля, молодые матросы, старшины и офицеры. На юте корабля было тесно. Началась торжественная церемония.

С короткой взволнованной речью обратился к собравшимся командир корабля. Он говорил о беззаветной храбрости русских моряков, воскресил в памяти картины прошлого сражения, описанные в "Цусиме".

По команде командира в память о погибших русских моряках медленно приспускается флаг. Матросы, старшины, офицеры, стоявшие в ровных шеренгах, обнажив головы, опускаются на одно колено...

Пролетели минуты прощания. Группа матросов осторожно приподнимает зелёные венки и, подойдя к срезу юта, медленно погружает их в пучину. На венках надпись: "Вечная слава героям-морякам русского флота". Над ютом тихо плывёт песня, дружно подхваченная всем строем:

В Цусимском проливе далёком,
Вдали от родимой земли,
На дне океана глубоком
Погибшие есть корабли».

Новиков-Прибой всегда был убеждён, что главное качество настоящего моряка — истово-сокровенная любовь к морю, любовь, которая никак не может быть благостной, ровной, прекраснодушной, потому что она вся — борьба и преодоление. Помните слова главного героя повести «Море зовёт»: «Будь я королём-самодержцем, я бы издал суровый закон: все,

без различия пола, должны проплавать моряками года по два. И не было бы людей чахлых, слабых, с синенькими поджилками, надоедливых нытиков. Я не выношу дряблости человеческой души. Схватки с бурей в открытом море могут исправить кого угодно лучше всяких санаторий...»

«Я не выношу дряблости человеческой души». Как не хватает подобного максимализма большинству современных мальчишек, уже не мечтающих поголовно, как это было когда-то, стать космонавтами и моряками. А ведь сама такая мечта дорогого стоит: говорит о стремлении быть настоящим мужчиной — надёжным, сильным, отважным. В перестроечные и послеперестроечные времена вектор геройства в сознании подростков, увы, поменял своё направление. Хочется верить, что эта аномалия временна, что понятие «мужество», истинное, проверенное веками, вновь обретёт свою притягательность и силу.

«Я не выношу дряблости человеческой души». Эти слова, вложенные в уста героя повести «Море зовёт», могли бы стать эпиграфом к биографии самого Новикова-Прибоя, который выковал свой характер, покоряя, преодолевая, побеждая...

Его книги расходились миллионными тиражами — а серьёзная литературная критика рассматривала произведения Новикова-Прибоя больше как занимательное чтиво («Литературные журналы меня не жалуют», — вздыхал частенько Алексей Силыч), а не как самобытную, талантливую прозу, ставя в укор и излишнюю цветистость языка, и беллетристические штампы, и стилистические погрешности. Стоит признать, что стиль Новикова-Прибоя не безупречен. Но сам писатель поистине безупречен в своей искренности, честности, самозабвенной любви к человеку, литературе и морю. Поэтому и завоевал простой народ. Именно — простой. Новиков-Прибой писал про море не для литературных снобов (не то у него было происхождение), а для обыкновенных людей — тех, кто искал в книжках приключений и правды одновременно. А море и моряков на Руси всегда любили и продолжают любить даже в самых сухопутных захолустьях, потому что море — это романтика, отвага, мужество и честь. А ещё — надежда, вера, любовь...

Думается, что писательскую судьбу Алексея Силыча Новикова-Прибоя некоторым образом повторил Валентин Саввич Пикуль. Каждый из них в своё время одинаково хлебнул горя от высокомерия собратьев по перу и критиков, но это тысячу раз окупилось искренней любовью миллионов читателей. Причём их книгами не просто зачитывались — на их книгах воспитывались поколения.

Романтические герои Новикова-Прибоя и Пикуля — мужественны и бесстрашны, они умеют любить и ненавидеть, они знают, что такое долг, честь и достоинство, поэтому не могут не вызывать восхищения и желания им подражать в стремлении покорять любые обстоятельства, брать на себя ответственность и за судьбу ближнего своего, и за судьбу отечества.

Разве не потрясающее сочетание — яркий, занимательный, напряжённый сюжет и рождающиеся в процессе следования за ним высокие, красивые, благородные чувства? Всем ли пишущим дано умение создавать такие сюжеты и умение так ими распоряжаться? И не особый ли это дар, о котором стоит говорить чаще, чем это принято?

Главной книгой писателя стал роман-эпопея «Цусима», создание которого потребовало от автора не меньшего мужества, чем то, которое проявили русские моряки в сражении с японским флотом. Многолетняя история создания произведения, как мы убедились, сложна и драматична, полна ярких, острых коллизий.

Много споров вокруг «Цусимы» ведётся и в наше время. Достаточно войти в Интернет, чтобы обнаружить всякого рода толки и кривотолки по поводу романа Новикова-Прибоя. Говорится об ушате помоев, который автор вылил на русское морское офицерство (это цитируются слова из статьи С. Семанова «Русское офицерское сословие» — Литературная Россия. 1992. 7 февраля), говорится о том, что взгляд баталера на цусимскую трагедию не выдерживает критики именно потому, что книга писалась «всего лишь баталером» (тут на все лады перепевается один из эпизодов «Непридуманного» Л. Разгона) и т. д.

Серьёзный отпор хулителям дал в своё время сын писателя Игорь Алексеевич Новиков (он ушёл из жизни в 1996 году) в двух публикациях: «Придуманное в “Непридуманном”» (Молодая гвардия. 1988. № 12) и «Если читать “Цусиму” без предубеждения» (Литературная Россия. 1992. 23 октября).

Напоминая о великой читательской любви к писателю Новикову-Прибою, о многочисленных благодарных отзывах и публикациях о его романе, о серьёзных исследованиях творчества писателя, Игорь Алексеевич называет несколько весомых аргументов против обвинения в «очернительстве» Новиковым-Прибоем русского офицерства. И главный из них следующий: значительную консультационную помощь в создании романа оказывали писателю именно офицеры: В. П. Костенко, Н. В. Новиков, Л. В. Ларионов, К. Л. Шведе, Н. Н. Зубов, В. П. Зефиров, А. П. Авроров.

Если бы Новиков-Прибой описывал офицерство только чёрными красками, «то едва ли, — пишет И. А. Новиков, — оно отвечало бы ему сердечной симпатией и помогало в работе над романом "Цусима". Это аксиома человеческих отношений».

Весомым аргументом сын писателя считает слова (уже упоминавшиеся) английского вице-адмирала Усборна: «...каждому морскому офицеру необходимо прочитать эту книгу, ибо она его многому научит».

Присоединиться к аргументации И. А. Новикова с полным правом мог бы и писатель Николай Черкашин. Вспомним, ведь именно он рассказал в своей книге «Взрыв корабля» о дружбе и переписке Новикова-Прибоя с Л. В. Ларионовым, К. Л. Шведе. Именно Черкашин дал пронзительный комментарий к сцене последнего разговора командира «Орла» капитана 1-го ранга Юнга с младшим штурманом Ларионовым — сцене, изображённой Новиковым-Прибоем с уважением, нежностью и скорбью. Именно Николай Черкашин написал о «Цусиме» искренние и выстраданные слова:

«Это не просто роман, беллетристика... Это литературный памятник русским морякам, сложившим головы на Тихом океане. Это хроника небывалой морской трагедии, это реквием по обеим Тихоокеанским эскадрам, это, наконец, энциклопедия матросской жизни.

В лице Новикова-Прибоя безликая, бессловесная матросская масса, какой она представала с высоты командирских мостиков, обрела в печати свой зычный голос. Заговорили корабельные низы — кубрики, кочегарки, погреба... И мир спустя четверть века после Цусимского сражения узнал о нём, может быть, самую главную правду».

Среди многочисленных, часто весьма противоречивых публикаций о Цусиме-бое и о «Цусиме»-книге встретилась очень симпатичная статья 1995 года, на которой хочется остановиться довольно подробно. Её автор — В. Водопьянов, лоцман Санкт-Петербургского порта, большой поклонник Новикова-Прибоя.

В. Водопьянов вспоминает, как в училище курсанты втянули в разговор о Цусиме уважаемого седовласого профессора — не участника боя, но успевшего в юности сменить гардемаринские погоны на мичманские.

— Эта тема бездоннее, чем сам Цусимский пролив, — сдержанно отозвался он. — Рассуждения тут ни к чему не приведут, нужны большие исследования. При штабе эскадры был официальный историк — Владимир Иванович Семёнов, капитан 2-го ранга. Поинтересуйтесь в нашей библиотеке.

Автор статьи не пропустил этого совета. И не просто поинтересовался, а внимательно проштудировал книги трилогии Семёнова. Отзывается о нём с большим уважением: «Моряк, писатель, участник боя. Его книги стоят у меня на одной полке с “Цусимой”».

«Но всё-таки, — пишет Водопьянов, — роман Новикова-Прибоя — главная книга о Цусиме. Да, написана матросом, но этот матрос в короткие часы отдыха читает “Введение в философию” Паульсена и на равных ведёт беседы с самым образованным офицером на броненосце. Приходская школа за спиной? Но разве мало славных имён дала России приходская школа? Мужик, крестьянин? Но это была прочная и грамотная крестьянская семья».

Однако Водопьянову казалось, что у него всё-таки недостаточно аргументов для защиты любимого писателя. Хотелось найти фразу, весомую и неотразимую, как «прямое попадание двенадцатидюймового снаряда».

Помог случай. «В погожий августовский полдень, — рассказывает автор статьи, — мы вышли на просторный балкон лоцманской станции на берегу Финского залива в Старом Петергофе. Кто подышать свежим воздухом, кто, наоборот, отравить лёгкие новой дозой никотина. Два лоцмана, инженер-электронщик и два молоденьких техника-связиста. Оптическое чудо — рефракция — приподняла над горизонтом очертания противоположного берега; по левую руку она же вытянула ввысь силуэт Кронштадта с его заводскими трубами, судовыми мачтами и куполом знаменитого Морского собора. По Морскому каналу в сторону Санкт-Петербурга шёл большой и тяжёлый сухогруз “Магнитогорск”, приближался к траверзу нашей станции.

— До него сейчас примерно двадцать два кабельтова, а можно разглядеть даже марку на трубе и бурун под форштевнем, — сказал электронщик.

— Ну и что? — спросил радист. — Видимость хорошая.

— Просто вспомнилось из “Цусимы” Новикова-Прибоя: “Стрельбу из главного калибра открыли с дистанции девятнадцати кабельтовых”. А тогдашние линейные броненосцы по размерам были примерно с этот грузовик.

— Что с того?

— Да как-то не по себе представить, что с такого расстояния швыряются друг в друга полутонными игрушками.

— Слушайте вы больше этого Новикова, который Прибой, — опять встрял в разговор радист. — Матрос, баталеркой заведовал, а туда же. Там он описал, как команда стоит в очереди у лоханки с водкой, — вот это по его части. А недолёты-

перелёты, повороты-построения — тут, простите за грубость, вспоминаются свинья и апельсины.

Мой коллега-лоцман из бывалых капитанов, обошедший весь свет, человек чётких мыслей и несколько резковатых суждений, шлёпнул обеими ладонями по железным поручням балкона, сжал пальцы до побеления суставов и отчеканил, не поворачиваясь к радисту:

— Вы безнадёжно запутались. На броненосце "Орёл" в бою действительно участвовал баталер Новиков. Просто Новиков. Алексей Силыч Новиков-Прибой, когда писал роман "Цусима", был уже известным русским писателем.

И добавил при общем молчании:

— А лохань для раздачи водки на кораблях называлась ендовой. Ен-до-ва.

Спасибо, коллега, за помощь и выручку».

А ваша покорная слуга от имени всех, кому дорога память об Алексее Силыче Новикове-Прибое, благодарит моряка Водопьянова за то, что он в своё время не поленился рассказать читателям эту любопытную и поучительную историю.

Имя популярнейшего в своё время советского писателя-мариниста Алексея Силыча Новикова-Прибоя носят названные в честь него улицы в разных городах, набережная Москвы-реки, круизный теплоход на Волге, библиотеки и литературные объединения.

Тёплая память о человеке и писателе живёт в мемориальной гостиной его квартиры в Большом Кисловском переулке в Москве, в музее на даче в Тарасовке и музее в селе Матвеевское, на родине писателя.

Хозяйка и экскурсовод домашнего музея на даче Новикова-Прибоя — Ирина Алексеевна Новикова, дочь Алексея Силыча. Биолог по профессии, жена писателя-натуралиста А. Н. Стрижёва, мама, бабушка, а теперь уже и прабабушка, Ирина Алексеевна на протяжении всей своей жизни ни на день не отвлеклась от возложенной на неё судьбой миссии — бережно хранить и собирать всё, что имеет отношение к жизни и творчеству её отца.

Ирина Алексеевна — невысокая, стройная, миловидная женщина. Уже перешагнув свои семьдесят пять, выглядит прекрасно. Несмотря на больные ноги, подвижна, бодра, легка на подъём. Весь её облик — интеллигентный, собранный, скромный, светлый — притягивает и внушает уважение. Подкупают проницательный, спокойный взгляд серых глаз и сдержанная, мудрая улыбка.

Ирина Алексеевна с неизменным увлечением проводит экскурсию по дому-музею в Тарасовке, сколько бы человек его ни посетило — один-два или больше десятка. Кто здесь бывает? Жители посёлка, дачники, учащиеся местной школы. Из Москвы приезжают знатоки творчества Новикова-Прибоя, заглядывают военные моряки. Наведываются потомки цусимцев.

Поднимаясь по узкой лестнице (той самой, которую когда-то спроектировал Владимир Полиевктович Костенко) на второй этаж, гости музея сразу же видят первый экспонат — афишу: «Художественный фильм “Капитан первого ранга” по одноимённому роману А. Новикова-Прибоя. Таллинская студия, 1958 год». «Прекрасная была лента, — замечает Ирина Алексеевна. — Но случилось, что режиссёр Александр Мандрыкин покинул страну и фильм сняли с проката».

Лестница приводит в маленькую прихожую. Из неё две двери ведут в комнаты, где располагается основная экспозиция музея, а третья — на маленькую террасу. На этой терраске, в «светёлке», Алексей Силыч, как рассказывает Ирина Алексеевна, любил пить чай. Сюда приглашались самые близкие друзья. Бывали здесь Перегудов, Пришвин, Сергеев-Ценский. А уж большие шумные застолья устраивались на нарядной, с разноцветными стёклами большой террасе внизу. Здесь на столе стоял начищенный до блеска самовар, и Алексей Силыч, спускаясь со своего второго этажа к чаепитию (Мария Людвиговна обычно пекла к пяти часам вечера пирог), с удовольствием напевал: «У самовара — я и моя Маша...»

Две комнаты второго этажа — это и есть непосредственно музей. В первой из них Ирина Алексеевна собрала фотографии родных и друзей отца, книги, сувениры, памятные подарки (главный из них — от Ленинградского военно-морского музея — макет броненосца «Орёл», подаренный писателю на шестидесятилетие), известный дружеский шарж на Новикова-Прибоя знаменитых Кукрыниксов. Сюда же попала часть обширной переписки Алексея Силыча с ветеранами-цусимцами и читателями его произведений.

Ирина Алексеевна обращает внимание на две картины инженера Костенко, которые написаны пастелью во время похода. На одной — стоянка эскадры на Мадагаскаре, на другой — один из моментов боя.

Третья комната — кабинет писателя — уже многие годы сохраняется такой, какой была при его жизни. Возле окна, из которого видна река Клязьма, заливной луг на её противоположном берегу и лес, стоит небольшой письменный стол, обитый сверху коричневой клеёнкой. На нём портативная пишу-

щая машинка «Корона», самодельный светильник — «коптилка» из плоской консервной банки, простая стеклянная чернильница, школьная деревянная ручка со стальным пером, писчая бумага. Около стола — стул с изогнутой спинкой. Рядом в углу висит большая самодельная полка со множеством книг по морскому делу и садоводству, различными справочниками, несколькими томами словаря Брокгауза и Ефрона, энциклопедиями, журналами об охоте.

О необыкновенной страсти Новикова-Прибоя к справочной литературе рассказывает одно из семейных преданий.

Когда во время Первой мировой войны Алексей Силыч служил на санитарном поезде, на одной из станций он увидел, что старушка продаёт два тома энциклопедического «Словаря общедоступных сведений по всем отраслям знаний» под редакцией Южакова. Рискуя опоздать, он всё же отправился домой к этой самой старушке, чтобы купить остальные 18 томов.

Возвращаемся в комнату Алексея Силыча. Вдоль стены стоит узкая железная кровать, над ней — барометр в деревянной резной оправе. Рядом развешаны рисунки Анатолия («Автопортрет») и Игоря («Цусимский бой»), а также вышивки Марии Людвиговны: полотенце с зайцами для Алексея Силыча, полотенце с куклами — для Ирины. И ещё одна вышивка — симпатичная японка как напоминание мужу о его кумамотской любви.

Ирина Алексеевна рассказывает, что Мария Людвиговна шила, вышивала и вязала настолько искусно, что маленький Толя любил всем хвастаться, что его мама из юбки может сделать любую шляпку, а из шляпки — юбку.

У входной двери с одной стороны — кирпичная плита на две конфорки, с другой — застеклённый шкаф с книгами, подаренными друзьями-писателями. Собраны в кабинете и охотничьи принадлежности Алексея Силыча, сохранены и чучела двух тетёрок. Интерьер завершают обитые зелёным бархатом стулья с тонкими спинками и ножками. Они расставлены между двумя окнами, выходящими в сад, в котором так любил трудиться писатель.

Ценность этого удивительного домашнего музея заключается не только в том, что здесь с любовью сохраняется быт знаменитого писателя-мариниста, — здесь царит атмосфера другого времени, которое отдалено от нас не просто количеством прошедших лет, а качественно новыми событиями, осмыслить которые нам ещё предстоит. И на этом пути вглядывание и вчувствование в прошлое кажется не просто волнующим, а необходимым, значимым, существенным. Чтобы наша история не переписывалась политиками и теми, кто их обслуживает,

чтобы правда не подменялась кривдой, и должны существовать такие музеи — острова времени, притягивающие к себе подлинностью, доверчивой открытостью и естественной простотой...

В 1957 году, в год восьмидесятилетия со дня рождения А. С. Новикова-Прибоя, Сасовской центральной библиотеке было присвоено имя писателя-земляка. В краеведческом фонде библиотеки хранятся произведения Новикова-Прибоя, изданные в разные годы, литература о нём, богатый фотоархив. В читальном зале действует постоянная экспозиция, посвящённая творчеству знаменитого советского писателя-мариниста. Библиотекой по инициативе и стараниями её директора Марии Алексеевны Грашкиной выпущены в 2004 году сборник воспоминаний «Нам дорог Новиков-Прибой» (составитель М. Грашкина, редактор В. Хомяков), а в 2007-м — сборник неизданных произведений Новикова-Прибоя «Победитель бурь» (составитель И. А. Новикова, редактор В. Хомяков).

Раз в пять лет в Сасовском районе проходят литературные чтения, посвящённые жизни и творчеству А. С. Новикова-Прибоя.

В день столетия со дня рождения писателя в марте 1977 года (этот год был объявлен ЮНЕСКО годом А. С. Новикова-Прибоя) в Матвеевском, в доме, где он родился, был открыт музей. Раиса Ивановна Букарёва, его бессменная берегиня, истово служит святому делу — сохранению прошлого нашей родины, прошлого, в которое вписана жизнь и судьба человека, немало сделавшего и для русской литературы, и для русской истории одновременно.

Здесь, в этом удивительном музее, удалённом на тысячи километров от любого из морей, омывающих Россию, в самом что ни на есть сухопутном её уголке, хранится не только память о его уроженце, замечательном писателе-маринисте Алексее Силыче Новикове-Прибое, — здесь живёт память обо всех русских моряках, нашедших свой последний приют в волнах чужого, далёкого моря в годы Русско-японской войны — жестокой, ненужной и неоправданной, впрочем, как и любая другая война. И в скорбные памятные даты здесь часто звучат стихи В. Хомякова:

Под синевой деревьев кротких,
вдоль чужедальних берегов,
как перевёрнутые лодки,
могилы русских моряков.

У Чемульпо и у Цусимы
они остались навсегда,
в глубинной памяти хранимы,
что неотступна и тверда.

Резная тень деревьев кротких.
Блеск отдалённых маяков.
Как перевёрнутые лодки,
могилы русских моряков.

Чувства, которыми наполнены эти строки, очевидно, собирают вместе и потомков цусимцев в Петербурге на крейсере «Аврора» — ежегодно, в печальные майские дни (первые две встречи проходили в Таллине в 1990 и 1991 годах). Детей русских моряков уже давно сменили внуки... И верится, что правнуки не подведут, тоже будут встречаться, чтобы помянуть своих предков. Чтобы рассказать о них снова и снова. И чтобы помолчать...

Кто знает, стали бы собираться на «Авроре» со всех концов России люди, если бы не было «Цусимы» Новикова-Прибоя? Ведь именно он объединил своей книгой сотни и сотни участников цусимского боя...

Алексей Силыч Новиков-Прибой стал при жизни поистине всенародным любимцем. Его называли «вторым Станюковичем», «Айвазовским в литературе», «флагманом советской маринистики». Но однажды один молодой критик сказал о нём просто: «труженик русской литературы». Это определение показалось самому писателю и понятным, и самым верным. «Я ведь в самом деле труженик, — сказал он в одном из выступлений. — Я вошёл в литературу с заднего крыльца, без образования, без подготовки. Чего это мне стоило — один бог знает. Сколько мучений, бессонных ночей! Колебаний! Сомнений!..»

Писатель и моряк Новиков-Прибой был не только великим тружеником — он был на редкость целеустремлённым и мужественным человеком, который наперекор всем жизненным штормам выполнил наказ своих боевых товарищей: «Друг наш Алёша! Опиши всю нашу жизнь, все наши страдания. Пусть все знают, как моряки умирали при Цусиме».

О том, что значил Новиков-Прибой для советской литературы и советских читателей, достаточно полное и яркое представление даёт изданная в 1980 году книга «А. С. Новиков-Прибой в воспоминаниях современников». Трудно удержаться от цитирования.

«Он и вправду Силыч, потому что крепко сбит, широкоплеч, светел лицом и взглядом, в себе уверен — его не покачнёшь. Отец его — Сила и, как богатырь былинный, эту силу отцовскую сын не растратил попусту: своим писательским ма-

стерством после себя он оставил достойный след, прочно впечатанный в историю развития советской литературы».

С. Сартаков

«Он писал упорно, вдумчиво, писал кровью сердца. И вот Россия, наш Советский Союз и весь мир, наконец, получили роман "Цусима".

Спасибо тебе, дорогой наш Силыч, хороший, умный, упрямый русский человек! Спасибо тебе за дело твоей жизни...»

В. Вишневский

«Новиков-Прибой соединил лучшие две профессии в мире — морскую и писательскую. Может быть, морю он и обязан тем, что стал писателем».

К. Паустовский

Прислушаемся ещё к одному авторитетному мнению. Оно принадлежит С. Н. Сергееву-Ценскому и подкупает немногословной, но при этом весомой и точной образностью: «К тесному столу русской художественной литературы подошёл тамбовский крестьянин по рождению, матрос по царской службе, пришёл и занял своё просторное место, неотъемлемое, бесспорное и прочное».

Подтверждение словам Сергеева-Ценского находим в сотнях публикаций советского периода, посвящённых жизни и творчеству известного, любимого народом писателя-мариниста, автора поистине знаменитой «Цусимы».

В учебнике «История русской советской литературы» для филологических факультетов университетов под редакцией П. С. Выходцева (М.: Высшая школа, 1979) роману Новикова-Прибоя «Цусима» уделяется достаточно много внимания. Безусловно, это продиктовано существующей (не насаждаемой, а просто — существующей!) государственной идеологией (к чему приводит её отсутствие, нам, родившимся в СССР и пережившим перестройку и её последствия, увы, хорошо известно). «Цусима» Новикова-Прибоя рассматривается как «одно из выдающихся произведений, в котором разоблачение векового самодержавия перерастало в реально осознаваемое изображение революционной бури». Да, Новиков-Прибой был революционером, что было естественным следствием того, что он один из многих, кого «угораздило родиться в России с умом и талантом» (и все они во все времена были по-своему революционерами). Понятно, что если бы этому незаурядному человеку судьбой была уготована колыбель не в мужицкой избе, а в дворянском особняке, расклад был бы другой. Но он родился тем, кем родился. И времена ему были дарованы опять же не те, которые выбирают. Поэтому баталер Новиков

написал именно ту «Цусиму», которую мог написать только он, представитель своего сословия и дитя своего времени.

Очень часто эпопее Новикова-Прибоя противопоставляют «Расплату» капитана 2-го ранга В. Семёнова, который, как уже было сказано, служил при штабе Рожественского, вместе с адмиралом прошёл путь от Либавы до японского плена, собрал большой материал о походе эскадры и о Цусимском сражении, располагая многими документами и фактами, которыми не мог оперировать простой матрос. Его «Расплата» — это взгляд флотских командиров, взгляд с капитанского мостика. Но Цусима — это трагедия *всего* флота и *всей* России.

Новиков-Прибой действительно изображал войну прежде всего с точки зрения рядовых участников сражения, так называемых нижних чинов. «Матросская масса говорила его устами», — пишет Л. Г. Васильев. И это правда: не будем забывать, сколько цусимцев опросил Новиков-Прибой. Но при этом не будем забывать и об использованных в эпопее записках инженера Костенко, и о многочисленных поправках младшего штурмана с броненосца «Орёл» Ларионова, и о подсказках капитана 2-го ранга Шведе. Так что «Цусима» — это взгляд на грандиозное сражение не только бывшего баталера Новикова, но и многих сотен людей, в том числе и офицеров.

А если кто-то недоволен односторонним (да, конечно, с точки зрения новой эпохи — односторонним, поскольку «Цусима» с полным правом относилась к ярким образцам социалистического реализма) подходом Новикова-Прибоя к вопросу о Цусиме и ищет истину, то пусть её ищет как положено, посередине, читая и «Цусиму», и «Расплату», и множество исторических трудов и монографий на эту тему.

Кстати, о соцреализме. Когда-то часто цитировали слова Шолохова, который отвечал на обвинения в том, что советские писатели пишут по указке партии, так: «Мы пишем по указке своего сердца, а сердца наши принадлежат партии». Новиков-Прибой тоже писал по указке сердца. Но его сердце принадлежало не партии — оно принадлежало морю и социалистическому отечеству, которое дало ему всё и которое он искренне и преданно любил.

Но вернёмся к «Истории русской советской литературы». Говоря о том, что роман «Цусима» не случайно стал одной из любимейших книг советских читателей, авторы учебника подчёркивают главное достоинство романа: показанная автором «матросская масса, несмотря на её разнохарактерность, порой грубость, малограмотность, ограниченность интересов, оказывается подлинно человечной, носительницей лучших качеств русской воинской славы».

А вот в современном двухтомном вузовском учебнике «Русская литература XX века» под редакцией Л. П. Кременцова (М.: Издательский центр «Академия», 2005) имя Новикова-Прибоя даже не упоминается. Следовательно, и Цусима, как одна из трагических вех русской истории, и мужество русских моряков, и воинская слава России — всё это никому, в том числе и сегодняшним студентам, не нужно? Думается, что это не нужно авторам учебника. И удивления, собственно, не вызывает: все знают, что происходит сегодня в сфере образования. Но... К счастью, людей, искренне любящих Россию и почитающих её историю, немало. И глас их — и слышен, и востребован. Поэтому такие книги, как «Цусима», забвению предать не удастся, как не удастся отменить «за ненадобностью» такие качества русского человека, как честь, достоинство, патриотизм.

Роман-эпопея Новикова-Прибоя — это не только история трагического поражения русского флота в Цусимском проливе — это скорбная поминальная молитва, это безутешный плач по погибшим русским морякам, это памятник их мужеству, стойкости, презрению к врагу и смерти.

2007—2011 гг.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. С. НОВИКОВА-ПРИБОЯ

1877, 12 (24) марта — в селе Матвеевское бывшего Спасского уезда, бывшей Тамбовской губернии (ныне Сасовский район Рязанской области) в семье крестьянина Силантия Филипповича Новикова и его жены Марии Ивановны родился второй сын — Алексей.

1899 — призван на военную службу матросом Балтийского флота.

1900 — служба в Кронштадте на крейсере «Минин».

1901, 3 октября — в газете «Кронштадтский вестник» опубликована без подписи статья А. Новикова «Начало занятий в воскресной школе».

1902 — написан рассказ «Письмо одного матроса к брату» (впервые опубликован в 2007 году).

1903, март — арестован за революционную деятельность.

1904, 27 января — начало Русско-японской войны.

Осень — переведён на броненосец «Орёл», который в составе 2-й Тихоокеанской эскадры отправляется на Дальний Восток.

1905, май — участвовал в Цусимском сражении, попал в плен к японцам.

1906 — вернулся в родное село, занимался революционной пропагандой среди крестьян.

1 апреля — в газете «Новое время» опубликован первый «цусимский» очерк «Гибель эскадренного броненосца “Бородино” 14 мая 1905 года».

Сентябрь — покидает Матвеевское, чтобы избежать ареста за революционную агитацию среди крестьян.

1907 — в Петербурге и Москве подпольными издательствами выпущены брошюры «Безумцы и бесплодные жертвы» и «За чужие грехи», подписанные псевдонимом «Бывший матрос А. Затёртый».

Осень — спасаясь от преследований полиции, вынужден эмигрировать за границу.

1908 — занимается революционной работой. Живя в Лондоне, бывает во Франции, Испании, Северной Африке.

1909, июль — встречается в Швейцарии с Н. А. Рубакиным, знаменитым автором книг по самообразованию. Именно от него впервые получает «благословение» на писательский труд.

1910 — женитьба на Марии Людвиговне Нагель.

1911, 10 января — рождение сына Анатолия. Написал рассказ «По-тёмному», который отправил Горькому.

1912, май — по приглашению Горького выехал на Капри, где в течение года учился литературному мастерству, написал рассказы «Порченый», «Лишний», «Попался», «Рассказ боцманмата».

1913 — возвращается в Россию, живёт с семьёй в Москве.

1914 — подготовил к печати первый сборник «Морские рассказы», который был изъят цензурой в наборе.

1915—1916 — во время империалистической войны работал вместе с женой на санитарных поездах.

1917 — издан сборник «Морские рассказы».

1918, весна — вместе с женой отправляется по заданию правительства на Алтай, сопровождая составы с мануфактурой для обмена на хлеб.

Июнь — вторая поездка на Алтай «для художественно-культурной работы в пределах Сибири».

1919 — книгоиздательством «Сибирский рассвет» опубликована повесть «Море зовёт», выпущен сборник «Две души».

1920 — написан рассказ «Судьба», опубликован в журнале «Творчество». Возвращение в Москву.

1921, осень — направлен в Кронштадт для изучения жизни и быта подводников.

1922 — в журнале «Молодая гвардия» (№ 1—2) опубликован рассказ «Зуб за зуб».

1923, 8 июня — рождение сына Игоря.

Октябрь — на борту парохода «Коммунист» отправляется из Ленинграда в Германию и Англию; опубликована повесть «Подводники».

1924 — в «Рабочем журнале» (№ 2) опубликован рассказ «“Коммунист” в походе»; закончена повесть «Женщина в море», опубликован рассказ «В бухте “Отрада”».

1925 — написана повесть «Ералашный рейс».

1926, июнь — уходит в плавание вокруг Европы на пароходе «Камо».

1927 — в журнале «Новый мир» (№ 1) опубликована повесть «Ухабы».

1928 — первое отдельное издание повести «Женщина в море» в «Роман-газете».

Ноябрь — отправляется в двухнедельное путешествие в Англию.

1929 — издательство «Московский рабочий» выпустило массовым тиражом роман «Солёная купель» в «Роман-газете».

1930, март — Новиков-Прибой обращается с письмом к М. И. Калинину.

1932 — опубликована первая книга романа «Цусима» — «Поход».

1933 — работа над второй книгой романа «Цусима».

1934, 23 июля — рождение дочери Ирины.

Опубликована вторая книга романа «Цусима» — «Бой».

1935 — в печати появилась вторая редакция романа «Цусима».

1936 — начало работы над романом «Капитан 1-го ранга».

1941, 15 марта — удостоен Сталинской премии 2-й степени за вторую книгу — «Бой» романа «Цусима».

1942—1944 — выступает в печати и на радио с публицистическими очерками о героизме советских людей в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

1944, 29 апреля — умер в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

ЛИТЕРАТУРА

Абламонов П. Нестареющее оружие //Приокская правда. 1977. 24 марта.

Агапов Я. Книги, воспитывающие любовь к родной земле //Сталинское знамя. 1952. 23 марта.

Амурский И. «Цусиму» надо переделать //Красный флот. 1938. 22 декабря.

Ангарская М. Победитель бурь //А. С. Новиков-Прибой в воспоминаниях современников. М., 1980.

Арндт Е. По обе стороны экватора //А. С. Новиков-Прибой в воспоминаниях современников. М., 1980.

А. С. Новиков-Прибой в воспоминаниях современников: Сборник. М., 1980.

Бабурин А. В. Рязанский топонимический словарь (названия рязанских деревень). Рязань, 2004.

Баковиков А. Писатель-патриот //Сталинское знамя. 1952. 23 марта.

Бамдас С. Книга вместо профессора... //Огонёк. 1977. № 13.

Басинский П. В. Страсти по Максиму: Горький: девять дней после смерти. М., 2011.

Богданов В. В., Ларионов С. В. Почувствовать себя русским. СПб., 2007.

Бойчевский В. А. Новиков-Прибой //Новый мир. 1937. Кн.10.

Быков Д. Большие пожары. Роман 25 писателей //Огонёк. 2001. № 21.

Васильев Л. Г. Алексей Силыч Новиков-Прибой: очерк творчества. Саранск, 1960.

Вишневский В. Он писал кровью сердца //А. С. Новиков-Прибой в воспоминаниях современников. М., 1980.

Водопьянов В. Цусима-бой, «Цусима»-книга //Книжное обозрение. 1995. 4 июля.

Воеводин К. Встречи с Новиковым-Прибоем //Огонёк. 1977. № 13.

Воеводин К. Два друга //А. С. Новиков-Прибой в воспоминаниях современников. М., 1980.

Воронова О. Е. А. М. Горький и писатели-рязанцы: дипломная работа по литературе / Науч. рук. И. Н. Гаврилов. Рязань, 1979.

Воронский А. Избранные статьи о литературе. М., 1982.

Воронский А. Литературно-критические статьи. М., 1963.

Воронский А. О группе писателей «Кузница»: Общая характеристика // Красная новь. 1923. № 4.

Воронцов К. Музей знаменитого писателя //Рязанский комсомолец. 1977. 2 апреля.

Вострышев М. И. Москва сталинская: Большая иллюстрированная летопись. М., 2008.

Гаврилов И. Подвиг писателя //Приокская правда. 1977. 24 марта.

Гаврилов И. Писатели и Рязанский край: Библиографический словарь. Рязань, 2000.

Галенин Б. Г. Цусима — знамение конца русской истории. Скрываемые причины общеизвестных событий. М., 2009. Т. 1.

Горький М. О языковом несовершенстве «Солёной купели» Новикова-Прибоя: Из письма к Ф. В. Гладкову 1929 г., 25 апр. //Литературное наследство. М., 1961. Т. 70.

Горький М. Собрание сочинений: В 30 т. Статьи, доклады, речи, приветствия. 1933—1936. М., 1953. Т. 27.

Грашкина М. Между жизнью и смертью: О неизданных произведениях А. С. Новикова-Прибоя //«Призыв». Сасово. 2007. 1 марта.

Гудкова Т. Судьба героя Цусимы: О М. И. Воеводине //Сапожковские вести. 2007. 2 февраля.

Ершов Г. На Алтае //А. С. Новиков-Прибой в воспоминаниях современников. М., 1980.

Заславский Д. Современная история //Литературный критик. 1933. № 1.

Захаров С. «Капитан 1-го ранга от литературы» на Урале //Урал. 1977. № 3.

Золотов В. Побратимы //Приокская правда. 1977. 23 марта.

Игнатьев А. Слово памяти //Урал. 1977. № 3.

История российского флота. М., 2008.

История русской советской литературы: Учебное пособие для филологических факультетов университетов /Е. П. Бахметьева, В. В. Бузник и др.; под ред. П. С. Выходцева. М., 1979.

Каневский В. Памяти А. С. Новикова-Прибоя //Новый мир. 1944. № 6, 7.

Киличенков А. Ошибка Того и последний шанс Рожественского // Морской сборник. 1990. № 3.

Козлова Н. Незабываемая встреча //Сталинское знамя. 1952. 23 марта.

«Коммунист» в походе: Неопубликованное письмо А. С. Новикова-Прибоя жене //Советский воин. 1962. № 6.

Коптелов А. Мой друг, писатель и природолюб //А. С. Новиков-Прибой в воспоминаниях современников. М., 1980.

Костенко В. Матрос царского флота Алексей Силыч Новиков // А. С. Новиков-Прибой в воспоминаниях современников. М., 1980.

Костенко В. П. На «Орле» в Цусиме. Л., 1968.

Красильников В. А. Новиков-Прибой //Новый мир. 1927. № 5.

Красильников В. Первая статья А. Новикова-Прибоя //Вопросы литературы. 1957. № 4.

Красильников В. А. А. С. Новиков-Прибой. М., 1966.

Кубиков И. Н. Литературные очерки. М., 1929.

Кулаков Н. Имя на борту корабля //Приокская правда. 1977. 24 марта.

Кулиничин Н. А., Карпус А. А. Алексей Силыч Новиков-Прибой и его роман «Цусима»: Исторический очерк //Переяславль — Рязань. 2008. № 13.

Куриленков В. А. С. Новиков-Прибой //Книжные новости. 1937. № 6.

Лавров В. Неизвестный А. С. Новиков-Прибой //Правда. 1990. 11 мая.

Лежнев А. Новиков-Прибой //Красная новь. 1927. № 1.

Лидин В. Силыч // А. С. Новиков-Прибой в воспоминаниях современников. М., 1980.

Лихарев Д. В. Как создавалась «Цусима» А. С. Новикова-Прибоя // Россия и АТР. 2008. № 1.

Лихарев Д. В., Тамура А. Российские мемуаристы и историки о роли человеческого фактора в Цусимском сражении 14—15 мая 1905 г. //История и современность. 2008. № 2.

Лобачёв В. Долгое, долгое плавание //В мире книг. 1977. № 3.

Малинов А. В доброй памяти земляков //А. С. Новиков-Прибой в воспоминаниях современников. М., 1980.

Малинов А. На родине А. С. Новикова-Прибоя //Приокская правда. 1962. 24 марта.

Малинов А. Отчий край — как песня жаворонка //Приокская правда. 1977. 24 марта.

Мартин Кристофер. Русско-японская война 1904—1905. М., 2003.

Мартишин В. Морская душа //Рязанские ведомости. 1997. 3 июля.

На земле Рязанской. Путеводитель. 2-е изд. М., 1976.

Нам дорог Новиков-Прибой: Сборник /Сасовская центральная библиотека им. А. С. Новикова-Прибоя. Рязань, 2004.

Небогатов Н. И. Объяснительная записка о Цусимской катастрофе: судебная хроника //Новое время. 1906. 10 (23) февраля. № 10744.

Неверов-Скобелев Б. Двадцать лет рядом с автором «Цусимы» // Москва. 1973. № 3.

Неопубликованные письма А. Новикова-Прибоя / Публикация Н. Родионова //Вопросы литературы. 1957. № 4.

Нечунаева О. Алексей Новиков-Прибой //Алтай. 1973. № 1.

Никитина Е. Ф. А. С. Новиков-Прибой: статьи и исследования. М.: Никитинские субботники, 1927. Т. 1.

Новиков И. А. ...В работе над «Цусимой» //Октябрь. 1977. № 2.

Новиков И. А. Если прочитать «Цусиму» без предубеждения? //Литературная Россия. 1992. 23 октября.

Новиков И. А. Отец, друзья, время. М., 1997.

Новиков И. А. Придуманное в «Непридуманном» //Молодая гвардия. 1988. № 12.

Новиков И. А., Перегудов А. В. Записные книжки А. С. Новикова-Прибоя //Литературное обозрение. 1977. № 3.

Новикова М. Большая жизнь //А. С. Новиков-Прибой в воспоминаниях современников. М., 1980.

Новикова Н. А. Воспоминания жены старшего сына А. С. Новикова-Прибоя. РГАЛИ. Ф. 356. Оп. 3. Ед. 52.

Новикова-Прибой М. Л. Матрос Балтийского флота //Москва. 1973. № 3.

Новиков-Прибой А. Ответ критикам «Цусимы» //Красный флот. 1939. 16 января.

Новиков-Прибой А. С. «Картинка с натуры». 23 февр. 1918 г. РГАЛИ. Ф. 356. Оп. 1. Ед. 4.

Новиков-Прибой А. С. «Цусима»: Либретто оперы. РГАЛИ. Ф. 356. Оп. 3. Ед. 21.

Новиков-Прибой А. С. Записные книжки... РГАЛИ. Ф. 356. Оп. 1. Ед. 91.

Новиков-Прибой А. С. Победитель бурь: Проза и публицистика / Сост. И. А. Новикова. Сасово, 2007.

Новиков-Прибой А. С. Собрание сочинений: В 5 т. М., 2004.

Обручев С. По морям, морям, морям //Печать и революция. 1928. № 8.

Остертаг Л. М. 125 лет со дня рождения русского советского писателя А. С. Новикова-Прибоя //Барнаульский хронограф. 2002.

Открытие памятника А. Новикову-Прибою //Литературная газета. 1951. 30 июня.

Очерки русской литературы Сибири. Т. 2. Советский период. Новосибирск, 1982.

Палей А. Р. Современные писатели: А. Новиков-Прибой //Красная звезда. 1929. 26 июля.

Памяти А. С. Новикова-Прибоя //Правда. 1944. 30 апреля.

Панченков В. Дом окнами в сад //Литературная Россия. 2007. № 12.

Паустовский К. Крепкая жизнь //А. С. Новиков-Прибой в воспоминаниях современников. М., 1980.

Перегудов А. Автор «Цусимы» //Приокская правда. 1967. 24 марта.
Перегудов А. В. Повесть о писателе и друге. М., 1968.
Петров С. Русский советский исторический роман. М., 1980.
Попова Н. Ф. Матрос Балтийского флота //Кронштадт литературный. СПб., 2004.
Потапов А. Он жил всегда во власти моря //Морским судам быть. Рязань, 1996.
Потапов А. Адмирал советской маринистики //Рязанское узорочье. 2007. № 3.
Прилепин З. Леонид Леонов: «Игра его была огромна». М., 2010.
Пыльнев А. Народный писатель //Нева. 1977. № 3.
Рассадин С. Советская литература: Побеждённые победители. СПб., 2006.
Родионов Н. Неопубликованные письма А. Новикова-Прибоя //Вопросы литературы. 1957. № 4.
Российский флот и Рязанский край: Опыт историко-энциклопедического словаря / Под ред. Б. В. Горбунова. Рязань, 2011.
Рубакин А. Н. Рубакин: Лоцман книжного моря. М., 1967.
Русская литература XX века: Очерки. Портреты. Эссе /Л. А. Смирнова, А. М. Турков, А. М. Марченко и др.; сост. Е. П. Пронина; под ред. Ф. Ф. Кузнецова. М., 1991.
Рыжонок Г. Верна ли версия В. Чистякова //Морской сборник. 1989. № 4.
Сартаков С. Люди, море, революция //Правда. 1977. 24 марта.
Сартаков С. Слово о писателе //А. С. Новиков-Прибой в воспоминаниях современников. М., 1980.
Сергеев-Ценский С. Н. Письма к А. С. Новикову-Прибою //Русская литература. 1980. № 1.
Сергеев-Ценский С. П. Рождение «Цусимы» //А. С. Новиков-Прибой в воспоминаниях современников. М., 1980.
Смирнов Г. В. Жизнь и деятельность кораблестроителя В. П. Костенко. СПб., 2000.
Смирнов Н. А. С. Новиков-Прибой среди друзей //Новый мир. 1967. № 3.
Степанов Г. Г. А. С. Новиков-Прибой. С. Н. Сергеев-Ценский: Письма и встречи. Краснодар, 1963.
Тоом Л. Литературные портреты. М., 1930.
Топоров А. Правда — превыше всего... //А. С. Новиков-Прибой в воспоминаниях современников. М., 1980.
Труханова Н. В. На сцене и за кулисами. М., 2003.
Флёров Н. Встреча на линкоре //Советская культура. 1977. 25 марта.
Франк С. Л. Из размышлений о русской революции //Новый мир. 1990. № 4.
Хомяков В. А. О времени и об отце //Рязанские ведомости. 1997. 24 декабря.
Хомяков В. А. Писатель, вдохновлённый морем //Рязанские ведомости. 2004. 7 июля.
Хомяков В. А. Юбилей автора «Цусимы» //Рязанские ведомости. 2002. 23 марта.
Цыганков Г. Писатель А. С. Новиков-Прибой //Сталинское знамя. 1950. 20 августа.
Черкашин Н. Взрыв корабля. М., 1988.
Чистяков В. Четверть часа в конце адмиральской карьеры. М., 2008.

Чистяков В. Четверть часа для русских пушек //Морской сборник. 1989. № 2.
Шигин В. Герои забытых побед. М., 2010.
Щедрин Г. Писатель с броненосца «Орёл» //Знамя. 1977. № 3.
Щербина В. А. С. Новиков-Прибой. М., 1951.
Эренбург И. Люди, годы, жизнь. М., 2005.
Яковлев А. С. Любимое слово — «друг» //А. С. Новиков-Прибой в воспоминаниях современников. М., 1980.
Якубовский Г. Писатели «Кузницы». М., 1929.

СОДЕРЖАНИЕ

9 июля 1935 года. Москва 6
20 апреля — 3 мая 1944 года. Москва 11
Родина и родные 17
«Назвался охотником пойти во флот...» 32
«Что с нами будет дальше — пока ничего не известно» 53
«...свою добычу смерть считала» 77
Японский город Кумамото 95
Возвращение на родину 105
«И много будет странствий и скитаний...» 118
В учениках у Горького 137
Снова — Россия. 1913—1917 148
На Алтае 170
«Кузница» 186
«Книги идут бойко...» 203
Кто написал «Цусиму»? 231
«Писатель складывается годами» 266
И снова — война... 308
Новиков-Прибой и его «Цусима». Наше время 322

Основные даты жизни и творчества А. С. Новикова-Прибоя 336
Литература 338

Анисарова Л. А.

А 67 Новиков-Прибой / Людмила Анисарова. — М.: Молодая гвардия, 2012. — 343[9] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1367).

ISBN 978-5-235-03523-2

Имя Новикова-Прибоя (1877—1944), самобытного писателя-мариниста, знакомо не только морякам. Крестьянин, мечтавший служить на флоте, прошедший через цусимский ад и японский плен, избороздивший многие моря и океаны, стал писателем. Критики укоряли его за цветистость языка и беллетристические штампы, а читатели сметали с прилавков многомиллионные тиражи его книг. Создание романа-эпопеи «Цусима» потребовало от писателя не меньшего мужества, чем то, которое проявили русские моряки в сражении с японским флотом, история его создания сложна и драматична, полна ярких, острых коллизий. «Я не выношу дряблости человеческой души» — эти слова одного из его героев могут стать эпиграфом к биографии самого писателя, который выковал свой характер, покоряя и побеждая судьбу, далеко не всегда благоволившую к нему.

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8

Анисарова Людмила Анатольевна

НОВИКОВ-ПРИБОЙ

Редактор **Е. В. Смирнова**
Художественные редакторы **Е. В. Кошелева, И. И. Суслов**
Технический редактор **М. П. Качурина**
Корректоры **Т. И. Маляренко, Г. В. Платова**

Сдано в набор 25.01.2012. Подписано в печать 06.02.2012. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Усл. печ. л 18,48+1,68 вкл. Тираж 3200 экз. Заказ № 1200360.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: http://gvardiya.ru. E-mail:dsel@gvardiya.ru



Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 978-5-235-03523-2

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

издательства

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Оформить заказ
можно на нашем сайте:

http://gvardiya.ru/shop/

или по телефону:

+7 (495) 787-95-59

(с 10-00 до 17-30 в будние дни)

Заказанные книги

можно получить по адресу:

г. Москва, ул. Сущевская, д.21, подъезд 1

или воспользоваться курьерской

и почтовой службой доставки

Наши книги
доступны всем регионам России!

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

С. Даншен
«ЭЛВИС ПРЕСЛИ»

В. Шубинский
«ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ»

В. Скоробогатов
«БЕРЗАРИН»

Д. Азио
«ВАН ГОГ»

Ж.-П. Ру
«ТАМЕРЛАН»

Н. Долгополов
«КИМ ФИЛБИ»

В. Лапин
«ЦИЦИАНОВ»



Телефоны для оптовых покупателей:
8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64
http://gvardiya.ru. dsel@gvardiya.ru

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

Д. Петров
«ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ»

Б. Духон, Г. Морозов
«БРАТЬЯ СТАРОСТИНЫ»

А. Танасейчук
«МАЙН РИД»

П. Зырянов
«КОЛЧАК»

Р. Медведев
«АНДРОПОВ»

А. Балканский
«КИМ ИР СЕН»

Л. Млечин
«БРЕЖНЕВ»



Телефоны для оптовых покупателей:
8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64
http://gvardiya.ru. dsel@gvardiya.ru

Что свидетельствует ныне о быте ушедших эпох? Как выглядели жившие в них люди? Как были одеты, причесаны, как развлекались и любили друг друга, чем украшали себя женщины, какие кушанья подавались к столу, что считалось приличным, а что возмутительным? На эти и множество подобных вопросов ответят книги новой серии

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ:

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Уже изданы и готовятся к печати:

Л. Петрушенко
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ

Е. Акельев
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ВОРОВСКОГО МИРА МОСКВЫ ВО ВРЕМЕНА ВАНЬКИ КАИНА

О. Ковалик
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ БАЛЕРИН РУССКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ТЕАТРА

Б. Ковалев
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В ПЕРИОД НАЦИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ

Н. Будур
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ИНКВИЗИЦИИ В СРЕДНИЕ ВЕКА

Телефоны для оптовых покупателей:
8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64
http://gvardiya.ru. dsel@gvardiya.ru

Что свидетельствует ныне о быте ушедших эпох? Как выглядели жившие в них люди? Как были одеты, причесаны, как развлекались и любили друг друга, чем украшали себя женщины, какие кушанья подавались к столу, что считалось приличным, а что возмутительным? На эти и множество подобных вопросов ответят книги новой серии

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ:

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Уже изданы и готовятся к печати:

Ж.-П. Креспель
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ИМПРЕССИОНИСТОВ

Е. Глаголева
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ МАСОНОВ В ЭПОХУ ПРОСВЕЩЕНИЯ

А. Зверев
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПАРИЖА

Ю. Батурин
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКИХ КОСМОНАВТОВ

П. Декс
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СЮРРЕАЛИСТОВ В 1917—1932 ГОДАХ

Телефоны для оптовых покупателей:
8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64
http://gvardiya.ru. dsel@gvardiya.ru

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

М. Чертанов
ХЕМИНГУЭЙ

Эрнест Хемингуэй (1899—1961) был и остается одним из самых популярных в России американских писателей. В 1960-е годы фотография бородатого «папы Хема» украшала стены многих советских квартир; вольномыслящая молодежь подражала его героям — мужественным, решительным, немногословным. Уже тогда личность Хемингуэя как у нас, так и на Западе окружал ореол загадочности. Что заставляло его без устали скитаться по миру, менять страны, дома и жен, охотиться, воевать, заводить друзей и тут же делать их врагами? Был ли он великим мастером слова или его всемирная слава — следствие саморекламы и публичного образа жизни? Что вынудило его, как и многих его родственников, совершить самоубийство — наследственная болезнь, житейские неудачи или творческий кризис, обернувшийся разрушением личности? На все эти вопросы отвечает писатель Максим Чертанов в самой полной на сегодняшний день биографии Хемингуэя. Эта неожиданная, местами шокирующая книга откроет поклонникам писателя множество неизвестных подробностей из жизни их кумира.



Отзывы, творческие и коммерческие предложения
ждем по адресу:
127055, Москва, Сущевская ул., 21
Телефон: 8(495) 787-63-85 Факс: 8(499) 978-12-86
Телефоны для оптовых покупателей:
8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64; 8(499) 978-21-59
Адрес АО «Молодая гвардия» в Internet:
http://gvardiya.ru dsel@gvardiya.ru

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

Д. П. Петров

АКСЕНОВ

Этот писатель стал легендой еще при жизни. Казалось бы — один из крупнейших молодых советских прозаиков, ставший американским, а потом, наконец, международным — он широко известен. Но это иллюзия. Непростая судьба и труд знаменитого автора «Коллег», «Звездного билета», «Ожога», «Московской саги» и других популярных повестей и романов — Василия Аксенова — всегда были темой сплетен, доносов, баек, мифов. Его многочисленные рассказы, стихи, очерки, интервью и сегодня вызывают интерес. Книга Дмитрия Петрова — итог работы с сотнями текстов, десятками людей — родных, друзей, недругов и критиков Аксенова. Это — отважная попытка рассказать о нем правду. А может, сделать Аксенова еще большей загадкой?..



Отзывы, творческие и коммерческие предложения
ждем по адресу:
127055, Москва, Сущевская ул., 21
Телефон: 8(495) 787-63-85 Факс: 8(499) 978-12-86
Телефоны для оптовых покупателей:
8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64; 8(499) 978-21-59
Адрес АО «Молодая гвардия» в Internet:
http://gvardiya.ru dsel@gvardiya.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Склад
издательства «Молодая гвардия»
находится в центре Москвы
по адресу:
Сущевская ул., д. 21
ст. м. «Новослободская», «Менделеевская»



В отделе реализации действует гибкая система скидок



Доставка книг по территории Москвы и Московской области БЕСПЛАТНО

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА РЕАЛИЗАЦИИ
8(495) 787-64-20
8(495) 787-62-92
ТЕЛЕФОНЫ СКЛАДА
8(495) 787-65-39 8(495) 787-63-64